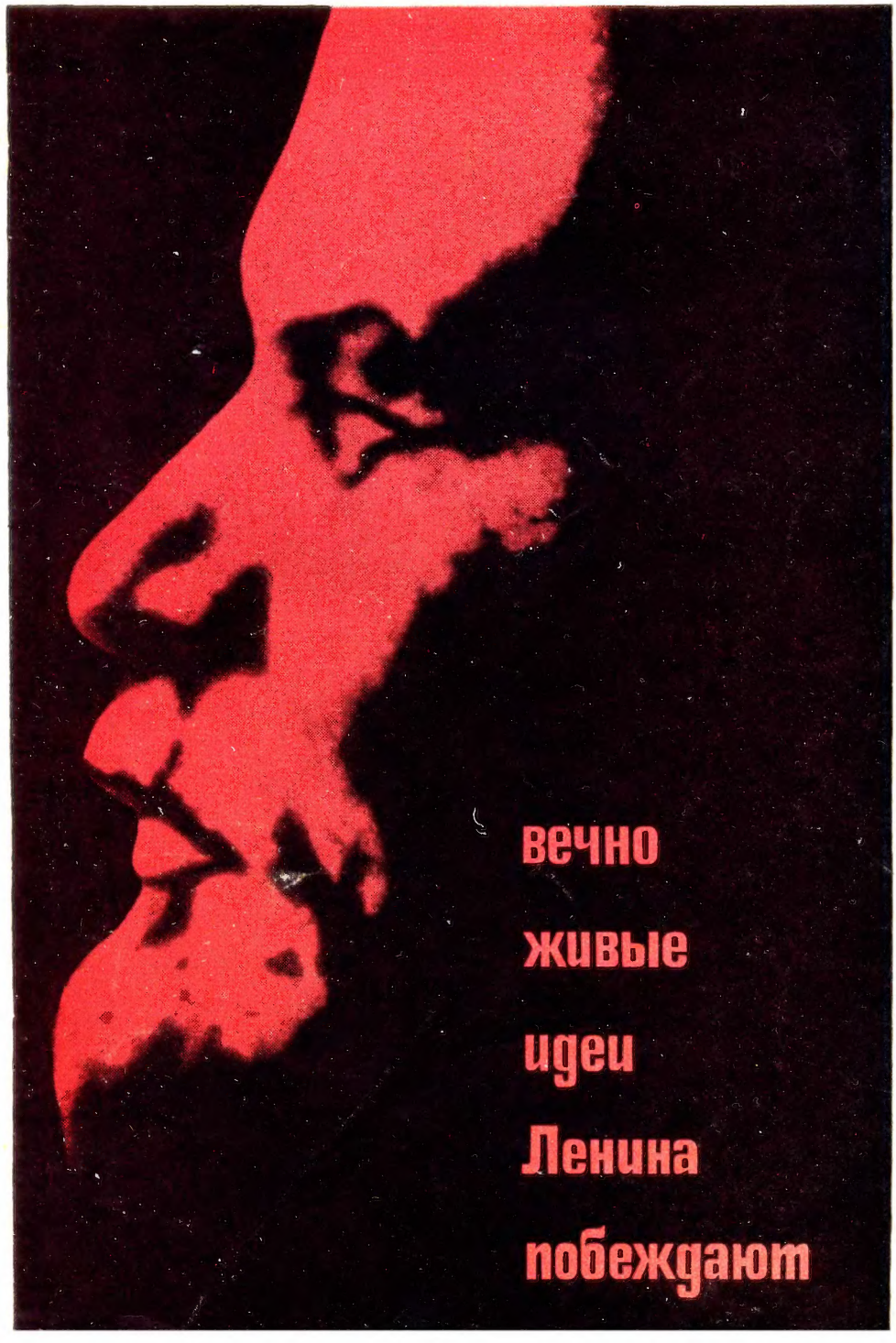
4
1967

Иностранная литература



Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ДЖОН АПДАЙК — Ферма 11
МАКС ФОН ДЕР ГРЮН — Светляки и пламя (Окончание) 114
ЧИНУА АЧЕБЕ — Человек из народа (Окончание) 188

РАДИОПЬЕСЫ

ЛЮДВИК АШКЕНАЗИ — За ваш счет... . . 90

СТИХИ

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ — Стихи разных лет 3
РОБЕРТО ОБРЕГОН МОРАЛЕС — Строки древней легенды 108

КРИТИКА

БОРИС СЛУЦКИЙ — Владислав Броневский и Октябрь 211
В. СКОРОДЕНКО — Радужная отрава беллетристики («Шпионский роман» Яна Флеминга) 221

ЛЕТОПИСЬ НОВОГО МИРА

К 50-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

БОГУМИР ШМЕРАЛЬ — Правда о Советской России (Отрывки из книги) 227

4

АПРЕЛЬ

1967

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ПОЛЬ ХОГАРТ — Лондон à la Mode 236

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Л. ЧЕРНАЯ — Время тревог и надежд . . 247

Б. ГРИБАНОВ — Американская интеллигенция и правительство Джонсона 251

НАШИ ГОСТИ

СТОРОННИКИ И ПРОТИВНИКИ. Мишель Бютор и Арман Лану в «Иностранной литературе» . . . 254

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 258

ПАМЯТИ Б. П. ТЕРЕШКИНА 259

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Е. Книпович — Книга Франца Фюмана ◆ А. Турков — Жажда новых встреч ◆ Р. Орлова — «Неприятные» пьесы . . . 260

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Л. Зонина — Человек в обезумевшем мире ◆ Г. Брейтбурд — Литературные индульгенции ◆ Эрик Даниэльсен — Народная комедия Эрнста Бруна Ольсена 266

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 272

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 288

На обложке: плакат польского художника ЕЖИ ПШИГОДСКОГО.

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ

Поклон Октябрьской революции

Кланяюсь Октябрьской революции
шапкой до земли, по-польски, в пояс,—
всем бездомным, что, как к дому, рвутся к ней,
всем, кому она — оплот и поиск.

Шапку, что снимаю перед нею я,
не снабдила цапля острым перышком —
каторга дала в подарок мне ее,
ночи Шлиссельбурга — над околышем.

Нас плетьми царям учили кланяться,
но и под плетьми не мог согнуться я,—
пусть твое святое дело славится,
кланяюсь тебе я, революция.

Кланяюсь праху Рылеева,
кланяюсь праху Желябова —
всем, кого взрастила ты, взлелеяла,
всем, кому надеждой ты одна была.

Мавзолей Ленина прост, как мысль.
Мысль Ленина проста, как дело.
Дело Ленина — простота и высь
революции, не знающей предела.

Кланяюсь могилам Сталинграда,
могилам от Берлина до Москвы.
Ведь по ним из лет стального града
в будущее мы мостим мосты.

На земле — на русской и на польской,
на земле любви и крови —
над полегшим войском встали войском
цветы, что все вокруг покроют.

Магнитогорск, или Разговор с Яном

Сидим вместе с Яном в тюрьме, в Ратуше,
в тесной камере номер тринадцать.
Здесь нас держат три дня подряд уже.
До чего-то им надо дознаться.

Пол — подушка, на ужин — корочка...
Тут найти опору сумейте-ка!
Мчит ко мне поэзии облачко,
к Яну мчит сама диалектика.

Кто-то стонет. Кто-то похрапывает.
Вонь. И насекомые бегают...
На стене углем нацарапано:
«Да здравствует забастовка пекарей!»

Я-то что? Мне все это — шутка!
Хоть на целый месяц засяду.
А у Яна — катар желудка,
да к тому ж ему шесть десятков.

А какая там диалектика,
если болит живот...
Даже лучшего теоретика
со свету боль сживет!

Только Ян — из железа, истинно!
Хорошо, что вздремнул опять...
А над глобусом его лысины
начинает светлеть. Скоро пять.

Утро — серым комочком в горстке.
Ян вздыхает с улыбкой доброй.
«Знаешь, парень, в Магнитогорске
нынче в строй вступают две домны...»

Еле полз рассвет мутно-грязный.—
за улитой и то не угнаться! —
а я думал: «Как здесь прекрасно,
в гнусной камере номер тринадцать!»

И — где Рим, где Крым, а где Польша...
Но пылают в тюрьме этой польской,
согревая душу все больше,
домны Магнитогорска.

Перевод с польского Р. КАЗАКОВОЙ

Милая улица

Улица Милая вовсе не милая,
ты не ходи по ней, моя милая.

Дома-то, дома-то какие там страшные —
трехэтажные, четырехэтажные,
тянутся, ковыляют, горбятся,
тащат с собой болести да горести.
При каждом доме гниет дворишко,
в каждом доме — мусор и мыши,
крик, толчея, грязища унылая.
Милая улица.
Улица Милая.

На улице Милой — похоронное бюро,
рядом — мясная, подальше — ситро,
напротив вывеска — кукла, направо — зонт.
Улица ножом мясника рассекает горизонт.
Мчит, трубя, скорая помощь по булыжнику голому,
в тринадцатом повесился парикмахер, что-то вбил себе в голову;
читал детективы, хотел стать артистом,
декламировал, пел голосом неказистым.

Милая, есть ли что-нибудь хуже,
чем по улице Милой пересчитывать лужи,
таская бездомные сны и ненаписанную строку.
Скажи, моя милая, поймешь ли ты эту тоску?

И подлинный ангел, а не душа брадобрея,
как с трамплина слетел, над улицей рея,
на белоснежных крыльях ангел летал,
белоснежные перышки детям метал,
дети ангельские перышки ловили, ловили,
и тогда снежные хлопья с неба повалили.
А люди, люди, люди шлепали пешком.
Сгинул ангел, грязь смешалась со снежком.
Ночью над улицей Милой — звездная оспа.
Ночью на улице Милой — уродство.
Много бед ты увидишь, милая, блуждая по миру,
но больше всего на улице Милой, в тринадцатом номере.

В подвале мертвец.
Худой конец.
На первом вдова,
сама чуть жива.
На втором этаже — банкрот, пристав с описью,
на третьем кухарка отравилась какой-то окисью.
На четвертом — обыск производится втайне.
На пятом — читают объявления о найме.
Под крышей девица младенца загубила.
Милая улица.
Не правда ли, мило?

Улица Милая так мертва, так страшна,
там и в мае не знают, что наступила весна,
там одни фонари гуляют в ночной тишине,
припадая лбами к кладбищенской стене.

Моя милая, я той улицей не хожу,
если мимо иду, я ее обхожу,
даже когда к тебе иду,
обхожу, несмотря на поспешность.
А то вдруг не выдержу и повешусь.

Перевод с польского Д. САМОЙЛОВА

Оружье к бою

Когда придут поджечь твой дом,
ту Польшу, где родился,
когда железный грянет гром,
чтоб враг в ней утвердился,
когда под дверью ночью встанут
и колотить прикладом станут,
неужто не проснемся мы с тобою?
Нет, встанем у дверей.
Оружье к бою!
Крови — не жалей!

На родине бичи и язвы,
и враг не зачеркнет их счет,
но в крови мы откажем разве?
Из сердца — с песней потечет.
Что из того, что мы не раз вкусили
тюремный хлеб, неправый суд?
Те, кто на Польшу руку заносили,
живыми не уйдут!

Поэт, сердца строкой толковой
воспламеняющий не раз,
сейчас поэзия — окоп стрелковый,
призыв, приказ:
Оружье к бою!
Оружье к бою!
Припомним, что сказал Камбронн *.
и если суждено судьбою,
то здесь, над Вислою, умрем.

Апрель 1939 г.

---

* Генерал наполеоновской армии. В битве при Ватерлоо командовал дивизией старой гвардии. Был тяжело ранен и взят англичанами в плен. Ему приписывают слова: «Гвардия умирает, но не сдается».

■ ■ ■

Сын завоеванной нации, сын независимой песни,
что мне, чей дом — руина, как мне петь — не знаю.
Сентябрь растоптал, как танком, отчизны грады и веси,
а моя рука безоружна, безоружна земля родная.

Вернусь на эту землю, хочу защитить отчизну,
чтоб песня моя и сердце пожаром пылали над нами,
чтоб рос из руин Варшавы бетон социализма,
чтоб Мариацкие звоны шумели, как красное знамя.

Варшава, прекрасная, гордая, славны твои руины.
Измученные кирпичины хочу целовать и трогать.
Руку мне дай, Белоруссия, руку мне дай, Украина!
Серп и молот свободы дайте мне на дорогу.

Свети, свобода народов, мощный кулак летящий!
Скоро сгинет былое, день приближается вешний.
Пишу рукой безоружной, грозной, хотя не мстящей,
сын завоеванной нации, сын независимой песни!

Перевод с польского Бориса СЛУЦКОГО

Домой

На севере ждет разрушенный дом,
будут — работа, закон, счастье.
Время брать в руки плуг, перо, лом,
время строить, пора возвращаться.

Как журавли из дальних сторон,
мы вернемся в свои жилища,
где поет погребальный звон,
где руины и пепелища.

Возвращаться пора; опять
всколыхнуть эту землю мертвую,
всю эту жизнь — перепахать,
есть для этого руки твердые.

Мы наладим пястовый плуг,
нефть потянет в четыре такта.
Землю крестьянам! Не надо слуг!
Равенство! Просвещение! Трактор!

Угольщики! В лифты — и в глубь!
Глубже в пласты, рубите, бурите!
Неистовствуйте, кирка и бур!
Клад у родимой земли берите!

Черное золото пусть возьмут
Люди Щецина, Гдыни, Гданьска.
Труд, труд и еще раз труд.
Польша рабочая, а не панская!

Вставайте, трубы, будто леса,
урчите, урчите, прядильни Лодзи,—
тките для города и села,
оденьте детей и оденьте взрослых!

Пусть закипает в мартенах сталь,
пусть вовсю работает Хожув!
Машинисты, ведите вдаль
воскрешенный гурт паровозов!

Матросы, на мачты свои скорей!
На Балтику, на польское море!
Ведите впереди кораблей
«Орла» — затопленного героя!

Пехотинцы, железные львы,
видавшие Монте-Кассино и Нарвик,
подвиги Польше нужны, и вы
свершите эти подвиги завтра!

Летчики, по машинам, на старт,
летите, боги, польские витязи!
Берлин — он что? Домик из карт.
Сегодня в Окенче приземлитесь вы!

Варшава, из руин подымись,
другая, с прежней, с бывшей не схожа:
дадут тебе новую форму и смысл
каменщик, архитектор, художник!

Сегодня сердце одно у нас.
Польша вновь становится явью.
Братья! Домой! Наступает час
Строить стеклянные зданья в Варшаве...

Надо землю руками рвать,
кирпичи выгребать из пепла,
строить дом и сердце отдать
Неподлеглой!

Руки нужны и нужны сердца,
чтоб грезы скитальца явью воскресли.
Мы дом отстроим свой до конца.
тогда нас любви обучайте, песни!

Палестина, 1945

Перевод с польского Вл. **КОРНИЛОВА**

Тела

Миру — благо,
миру — прибыток,
а мне немного:
тела убитых.

Если поднимут
воскресших из тла,
мир обнимут
убитых тела:

тела детей
со дна крематория
будут лететь
над всей историей,

тела девчат,
тела юнцов,
над ними — чад
терновых венцов,

тела солдат,
что во рвах ютятся,
пойдут побеждать —
освободятся,

тела из траншей,
из могилок временных,
с веревкой на шее,
тела расстрелянных,

тела затоптанных,
тела гонимых,
нахлынут толпами
непримиримых!

Докажут делом
свою правоту!
А мне с одним телом
невмоготу.

Роды

Роды? Что ж! Крутило, ломало
женское тело сначала.
Из него понемногу, помалу
выходило что-то, кричало.

Спеленают, сядут около,
школьный ранец дадут,
и тогда слетятся соколы,
духи придут.

Согнется над Мицкевичем,
Словацкого обоготворит.
«А я — ничто. Мне — не о чем!»
Это он говорит.

Потом подрастет, полюбит,
стихи напишет про то,
не о Марыле, не о Людвике:
«За что любить... Я — ничто».

И тогда звезда повиснет
над его головой
и поэзией брызнет,
словно водой ключевой.

Эти роды — болезненней дело,
чем ребенку родиться.
Я утверждаю все более смело,
что всегда могу омолодиться.

Перевод с польского Бориса СЛУЦКОГО

Гвоздика

Купил я Ванде розовую
гвоздику.
Походит она, придет с мороза
домой — гляди-ка.

Пройдут октябри, ноябри,
декабри — трудны,
а она придет домой,
а она придет домой,
как двенадцатый час
в полудни.

■ ■ ■

Приклонились вербы за сараем.
«Заходите, вербы, повечеряем.
Есть комариная брага,
да росы корчага,
и девка,
и запевка,
и настойка крепка,
и сама я ведьма — верба сохата —
вот чем хата богата».
А вербы в гуде
думают, как люди.

■ ■ ■

Просыпаюсь я слишком рано,
в мутную пору,
провожаю месяц за рамой,
больной я, хворый,
болен, тяжко я болен
(уже не от пьянства),
что мне делать, не знаю боле,
и мысль бесстрастна,
но как гляну, встревожен,
в окно ночное —
поэзия все же
всегда со мною.

Перевод с польского Д. САМОЙЛОВА

Адам

Слиться хочу с тишиною
колоколом, что замолк.
Все, что сделано мною,
он давно превозмог.

Не полюблю Марыли
(сколько их было, страсть!) —
с Ним давно разделили
эту страсть.

Не верю, что умер Ордон,—
историки лгут.
Ни я, ни Он
не признаем их суд.

В Дзядов и Духов не верю,
в чары, в ночные заклятья.
Хоть по ним я мерю
мерки мои и понятья.

Эй! Поля, в хлеба разряженные,
мы вам верны
и с винтовкой, уже не заряженной,
умрем у стерни.

Перевод с польского Бориса СЛУЦКОГО

ДЖОН АПДАЙК

Ферма

РОМАН

Перевод с английского
Е. КАЛАШНИКОВОЙ

Таким образом, когда я со всей убежденностью признал, что у человека существование предшествует сущности, что, свободный по природе своей, он в различных обстоятельствах может желать лишь своей свободы, я признал тем самым, что могу желать лишь свободы для других.

Ж.-П. Сартр

Мы свернули с автострады на гудронированное шоссе, а потом с шоссе на красноватую грунтовую дорогу. Мы въехали на крутой невысокий пригорок, где стоял по колено в сумахе и жимолости почтовый ящик Шелкопфа с покосившейся крышкой, словно в шляпе, заломленной набекрень, и отсюда моя жена впервые увидела ферму. Сидя рядом со мною, она вся тревожно подалась вперед, а в спину мне уперся локоть ее сына, сидевшего сзади. С дальнего косогора, поверх зеленой впадины луга смотрели знакомые постройки.

— Вон наша старая конюшня,— сказал я.— К ней еще был пристроен большой навес, но мать всегда говорила, что он портит вид, и в конце концов заставила его снести. Этот луг наш. Земля Шелкопфа кончается за теми кустами сумаха.

Мы с грохотом понеслись вниз по выветренному до песчаникового остова склону, преддверию нашей земли.

— И справа и слева от дороги все ваше? — спросил Ричард.

Ему было одиннадцать лет, он любил точность и разговаривал всегда несколько воинственно.

— Да,— сказал я.— Раньше все тут принадлежало нам, но мой дедушка продал Шелкопфу часть земли, когда собрался переезжать в Олинджер. Акров сорок примерно.

— А сколько осталось?

— Восемьдесят. Все, что отсюда видно, относится к нашей ферме. Это, пожалуй, самое крупное землевладение, еще уцелевшее так близко от Олтона.

— А никакой живности у вас нет,— сказал Ричард. Я ему раньше говорил, что нет, но в его тоне прозвучало осуждение.

— Только собаки,— сказал я,— и ласточки в конюшне, и множество сурков. При жизни отца мать еще держала кур.

— Зачем тогда ферма, если на ней не хозяйничать? — спросил Ричард.

— Это уж ты у моей матери спросишь.— Он сразу замолчал, приняв мои слова как укор, хотя у меня не было намерения корить его. Я добавил: — Мне и самому это всегда было непонятно. Я был таким, как ты сейчас, когда мы переехали сюда. Нет, я был постарше. Мне уже минуло четырнадцать. Я всегда себя чувствовал моложе своих лет.

Тогда он спросил:

— А эти леса чьи? — И я понял, что он заранее знает ответ и хочет дать мне возможность погордиться.

— Наши,— сказал я.— Кроме того, что мы продали под полосу отчуждения двадцать лет назад, когда тут хотели вести линию электропередачи. Деревья тогда все повырубили, а линию так и не провели. Вон, видишь, тянется полоска молодняка, там и была просека. С тех пор все уже снова заросло. Только вырубали дуб, а выросли клен и сассафрас.

— Зачем тогда полоса отчуждения, если отчуждать нечего? — спросил он и неловко засмеялся. Я был тронут: ведь он шутил над самим собой, быть может пробуя подражать моей манере, пробуя избавляться от недетской серьезности, навязанной ему годами безотцовщины.

— Так уж у нас дела делаются,— сказал я.— Головотяпски. Тебе хорошо, ты живешь в Нью-Йорке, где умеют ценить пространство.

Пегги вступила в разговор.

— Здесь, как видно, всего в избытке,— сказала она о ферме, об угодьях, стлавшихся вокруг нас, и откинула волосы со лба и щек — ее обычный жест, когда она чувствует, что ее слова могут вызвать возражение; мужчина в таких случаях засучивает рукава.

В самом деле, когда бы я ни вернулся сюда, даже после самой долгой отлучки, эти акры земли, разбегающиеся во все стороны, вызывали во мне что-то, похожее на хвастливость. Моя жена учуяла это и, так как она совсем недавно стала моей женой, усмотрела тут недостаток, который нужно исправить. Мне было мило в ней это стремление исправлять недостатки (Джоэн, моя первая жена, никогда во мне ничего не осуждала, оттого казалось, что она осуждает во мне все), но я со страхом думал о том, как к этому отнесется моя мать. Когда-то Джоэн по простоте души заикнулась, что надо бы матери завести стиральную машину. Ей этого так и не простили. И сейчас, в последние считанные минуты перед надвигающейся встречей с матерью, меня неудержимо тянуло говорить о ней, поскорей выговорить все то, чего потом уже нельзя будет сказать вслух.

— На ферме есть трактор, Ричард,— сказал я.— К нему прицепляют вращающийся вал с ножами, чтобы косить траву. В Пенсильвании такой закон: если у вас на ферме земля под паром, вы обязаны два раза в лето делать прополку сорняков.

— Что значит «земля под паром»?

— Сам хорошенько не знаю. Земля, на которой ничего не посеяно.

— А кто водит трактор?

— Моя мать.

— Так и надорваться недолго,— жестко сказала Пегги.

— Она это знает,— не менее жестко ответил я.

Ричард спросил:

— А можно, я буду водить?

— Не стоит. Здесь иногда мальчики водят трактор, но это опасно, можно...— Я хотел сказать «остаться калекой», но удержался; один мой сверстник в детстве сломал шейку бедра, и мне вдруг вспомнилось, как

он странно хромал, словно закручиваясь при каждом шаге.— ...можно пораниться.

Я ждал, что он будет настаивать, но его уже заинтересовало другое.

— А это что? — В густой зелени мелькнули розовые развалины.

— Здесь когда-то был сарай для сушки табака.

— Сделать крышу, так можно бы устроить гараж.

— Он сгорел лет сорок назад, когда у фермы был другой хозяин.

Пегги спросила:

— До того, как твоя мать снова ее купила?

— Не надо так говорить. Она теперь уверена, что это было желание отца.

— Джой, я боюсь!

Ее восклицание пришлось на паузу, когда мое внимание было поглощено дорогой, круто огибавшей в этом месте гору. Если бы навстречу шла на большой скорости другая машина, ее бы не было видно до последней минуты, и легко могло произойти столкновение. Но я тысячи раз делал этот поворот и ни разу ни с кем не столкнулся, хотя местные парни обожали носиться на своих драндулетах мимо наших границ, дразня собак и приводя мою мать в бешенство. А по ночам они часто брали пикап и шныряли кругом с включенными фарами, выслеживая оленей.

Уже смеркалось. Я благополучно обогнул конюшню, затормозил у заросшего травою въезда и сказал Пегги:

— Не надо. Я ведь и не жду, что вы с ней сойдетесь. В свое время я думал, она ласково примет Джоэн, но вышло иначе.

— У меня еще меньше надежды понравиться ей.

— Не думай об этом. Будь просто такой, как ты есть. Я люблю тебя.

Но это признание было сделано наспех, и так же наспех я похлопал ее по бедру — впереди уже завиднелась фигура моей матери, темным, зыбким пятном отделилась от дома и поплыла к нам под синей тенью высокой тсуги, сторожившей подъезд. Из-за этого дерева в доме всегда рано темнело; сколько раз я мальчишкой подбегал к окну, уверенный, что уже ночь на дворе, и к удивлению своему видел, как на крыше конюшни слитком драгоценной руды лежит еще солнечный свет. С виноватой поспешностью я распахнул дверцу машины и, замахав рукой, крикнул матери:

— Приве-ет!

— Привет, странники! — откликнулась она с легкой иронией, едва различимой на странном акустическом фоне, созданном внезапным молчанием мотора и шипением воздуха в пневматических тормозах.

Меня поразило, как медленно мать идет по аллее. Сколько раз она на моих глазах обгоняла отца, спеша от конюшни к дому под хлынувшим внезапно дождем. Теперь ее донимала грудная жаба — и хоть она никогда не курила — эмфизема легких. Все силы она положила на покупку этой фермы и переезд сюда всей семьей, а между тем, по словам врача, у нее были легкие закоренелой горожанки. В защиту от августовской сырости она надела мужской, дедушкин еще, серый шерстяной жилет ребристой вязки, сверху донизу застегнутый на пуговицы, а из-под жилета виднелась старая розовая блузка, напомнившая мне детство и пасхальные праздники. К нам бросился щенок колли, единственная из собак фермы, бегавшая на свободе; залаял, ощетинился, остановясь в нескольких шагах от рыбьей морды нашего «ситроена», потом вскачь понесся назад, к моей матери. Он сердито кидался и тявкал на нее за то, что она так нестерпимо медленно двигается; светлая грудка

и светлый кончик хвоста мельтешили в тени на газоне. Газон весь зарос подорожником, его давно пора было подстричь.

Пока мы с Ричардом доставали из багажника чемоданы, Пегги нервно заторопилась матери навстречу, и я с опаской подумал, не обидит ли мать эта бессознательная демонстрация молодого здоровья. В дробном стуке высоких каблуков Пегги по каменным плитам было что-то нетвердое, неустойчивое. Я словно смотрел на нее глазами моей матери и видел высокую накрашенную женщину, искавшую во мне опоры,— но в то же время смотрел и собственными глазами вслед удаляющейся белой юбке, мерцающая белизна которой была центром, средоточием моей жизни. Моя жена не толстая, но сложена крупно, у нее мягко покатые плечи и широкий таз, что придает ее походке веселящую четкость, впечатление простора в бедрах; а меня словно теплом окатывает, когда я на нее смотрю.

Женщины поцеловались. Они уже виделись однажды, в день нашего бракосочетания, хоть я тогда уговаривал мать, чтобы она не приезжала. Церемония состоялась через неделю после того, как был окончательно оформлен мой развод с Джоэн, в камере районного судьи, отца моего давнего приятеля. Здание было допотопное, с лифтами в проволочных клетках и длинными, выстланными коричневым линолеумом коридорами, куда выходил ряд дверей с матовыми стеклами, похожими на двери уборных. День был июньский, жаркий. Окна были по старинке раскрыты, и в комнату вливался шум с Ист-Ривер. Меблировка этого юридического святилища, включавшая деревянную скамью, на которой сидела моя мать, выглядела случайной и скудной на его старомодном просторе, словно этих неодушевленных пережитков далекой судейской эры коснулся тот же загадочный процесс вымирания, что наносит урон человечеству. Мать держала в руках маленький полотняный платочек и то складывала, то расправляла его на коленях, то вдруг, будто ужаленная, торопливо прижимала к шее. Я боялся, что ее присутствие покажется вопиюще неуместным на этой брачной церемонии, но мы там все были не очень-то на месте: и подросток-сын новобрачной, и супружеская чета с Парк-авеню (жена, сухопарая особа с бельмом на глазу, исполняла роль подружки Пегги), и веснушчатый малый, мой сослуживец, экс-олимпийский чемпион по лыжам и экс-поклонник Джоэн, приглашенный мной в шаферы за неимением лучшего кандидата, и папаша Пегги, краснощекий вдовец, директор универмага в Омахе, и, наконец, кадыкастый студент-теолог, мой племянник по бывшей жене, нагрянувший неожиданно вроде как бы делегатом от Джоэн и моих детей, которые находились в то время на даче родителей Джоэн, близ одного канадского озера. В столь причудливом сборище моя мать нимало не выделялась. Судья, славный старичок альбинос в полотняном костюме в полоску, был с ней очень любезен. Протянув к ней темные узловатые руки с хваткими пальцами рабочего, он заботливо усадил ее на скамью, словно подшил к делу объемистый документ. Она долго оглаживалась и отдувалась, частыми, короткими рывками выталкивая из груди воздух, точно отдыхающая собака. То, что она приехала вопреки моим уговорам — приехала на автобусе, которого в Филадельфии час пришлось ожидать,— показалось теперь героическим усилием преданной матери, и я был благодарен ей за это. О том, что она здесь, я помнил даже в кульминационный момент церемонии, краешком глаза видя, как порозовел твердый подбородок Пегги и опустились темные лучи ресниц, когда ее профиль склонился к вздрагивающему букету фиалок, приколотому на груди. Она где-то прочла, что невесте, уже побывавшей замужем, не положены белые цветы, и с утра звонила по всем цветочным магазинам Нью-Йорка, задавшись нелегкой целью раздобыть в июне фиалки. И я вдруг подумал о ней, о

моей невесте, как о женщине средних лет, несмотря на чистый девичий профиль,— подумал о том, что мы с ней стоим беззащитными новичками на середине широкого пути, у реки, чересчур полноводной для своих берегов. А в раскрытом окне, за плечами судьи, уже облаченного в мантию, выгнутая где-то далеко внизу река медленно катила флотилии крошечных суденышек, и Бруклин, прошитый подъемными кранами, мерцал миражем под высоким предвечерним небом; легкий ветерок залетал в окно и шевелил бумаги на официально бесстрастном дубовом столе. Вокруг спутанного электрического шнура носилась одинокая муха. Но вот прозвучали слова брачной присяги, и я как будто упал, рухнул наконец в твердую глубь чего-то, слишком долго мучившего меня своей незавершенностью. Я повернулся, выслушивая поздравления, принимая и возвращая поцелуи немногим, кто вместе со мною забрался на эту высоту, и меня неприятно поразил враждебно отчужденный взгляд моей матери и холод ее щеки в такой жаркий день.

■

А сейчас, целуя ее, я почувствовал, что лицо у нее горит, хотя было прохладно. Осень, всегда более ранняя вдали от побережья, уже давала о себе знать и запахом паданцев во фруктовом саду, и прежде всего лиловатым оттенком сгущавшихся сумерек, атмосферой угасания. Над лугом висела полоска тумана — там, где сочилась крохотная речушка, почти ручеек, полузадушенная осокой и водорослями. Летучая мышь, точно сгусток страдания, металась туда-сюда в перепончатой сини между верхушками деревьев. Наспех прикоснувшись к Пегги, мать словно для контраста положила мне одну руку на плечо, другую на локоть и долго не снимала.

— Очень устали? — спросила она. Подразумевалось, что у меня усталый вид.

— Нисколько,— сказал я.— Мы, как вихрь, промчались через мост и успели съесть по бифштексу в Нью-Джерси.

— Я вовсе не говорю, что у Пегги усталый вид,— торопливо вывернулась мать.— Пегги всегда — сама бодрость и свежесть.

Ее голос возникал словно где-то неглубоко — не в легких, а в горле или даже во рту — и, не связанный с основой ее существа, звучал слегка натужно, но все-таки певуче. Было что-то ироническое в этой певучести ее голоса и в манере держаться, отводя назад плечи, словно чтобы увеличить емкость легких — какая-то пародийная нарочитость, может быть рассчитанная на то, чтобы мы не догадались о том, как она себя чувствует на самом деле.

У Пегги сразу потемнело лицо, но она храбро заставила себя улыбнуться и сказала:

— Это только так кажется.

— Все равно смотреть приятно,— сказала мать.

Я взял Пегги под руку и хотел вести ее в дом, но она отстранилась, давая дорогу Ричарду, который в это время подошел сзади. Я про него совсем забыл. Он настоял на том, чтобы нести чемодан с платьями Пегги, самый тяжелый. Перехватив его левой рукой, он протянул правую моей матери.

— У вас завидная ферма, миссис Робинсон,— сказал он. Недлинные фразы ему удавалось произносить солидно-басовитым голосом.

— Спасибо на добром слове, дружок,— сказала мать.— Но ты ведь ее почти не видал. Я думала, твои родители сумеют добраться засветло и можно будет еще пойти погулять до вечера.

— А мы завтра с утра пойдем,— сказала Пегги.— Я давно об этом мечтаю.

— Я должен заняться косьбой,— сказал я, мысленно гадая, меня ли одного кольнуло неточно употребленное моей матерью слово «родители».

Мать сказала:

— Бедный Джой. Такой совестливый.

— Мне и то, что я видел, очень понравилось,— заверил ее Ричард голосом, снова соскользнувшим в мальчишеский дискант.— Мы проезжали разрушенную постройку, ее легко можно оборудовать под гараж на две машины.

— Это он о табачной сушилке,— пояснил я.— Где я собирался держать мячи и клюшки, когда мы из фермы сделаем поле для гольфа.— Это была старая семейная шутка, придуманная еще при жизни отца. Смысла ее я никогда хорошенько не понимал, но нарочно вспомнил ее сейчас, чтобы прикрыть наивность моего пасынка.

Мать внимательно всмотрелась в него, потом с деланным ужасом воскликнула:

— Да ведь там самые лучшие кусты ежевики!

Мы все засмеялись, благодарные ей за эту попытку хотя бы на миг разогнать хмурь, не покидавшую ее с тех пор, как она начала прихварывать. Ее ум приобрел смущающую силу, мрачную остроту, особенно гнетущую здесь, на воле — как будто попав на территорию ее фермы, мы были сразу ввергнуты в недра ее раздумий.

Все тем же медленным, может быть чуть подчеркнуто медленным, шагом мать повела нас к дому. В любой мой приезд домой, начиная с первых студенческих каникул почти двадцать лет назад, всегда наставала такая минута, в которой, как в фокусе, сходились все мои ощущения; так было и сейчас, стоило мне ступить на шершавое песчаниковое крыльцо черного хода под ликующе яростный лай собак, запертых в сарайчике по соседству с увечным кустом бирючины — этот куст когда-то прободал сорвавшийся с привязи бык, которого моя бабушка укротила потом с помощью фартука. В то лето наш луг арендовал под коровий выпас фермер-меннонит, и этот бык, большое животное ржавой масти, принадлежал к его стаду. Поломав расшатавшуюся в уголке за беседкой изгородь, он пронесся по двору фермы, боднул с размаху круглый маленький ярко-зеленый куст и стал перед ним как вкопанный, храпя и мотая головой, точно силясь унять назойливый гул в ушах. Мы все с криком забились в кухню и заперлись там, только бабушка ринулась спасать свой куст, который саженцем привезла из милого ее сердцу олинджерского сада; размахивая фартуком, она ругала быка той самой грозно шипящей скороговоркой, которой, бывало, осаживала навязчивых коммивояжеров, а тем временем подоспели батраки меннонита с веревками. Куст выжил, но тяжесть снега с каждой зимой разводила все шире уцелевшие половинки; так он и рос, на две стороны.

Мы вошли в кухню. Теплое темное от времени дерево стен пряталось в полумраке. Сколько я себя помню, у нас вечно недоставало лампочек или ввертывались слишком слабые. Мы были экономны в мелочах и расточительны в крупном. За минувшие годы все комнаты небольшого толстостенного дома причудливо изукрасились, пестро расцветились моими подарками. Сочельники, дни рождений, семейные торжества и Дни матери уставили подоконники и полки датской оловянной посудой, мексиканской керамикой и итальянским стеклом, которые я, большей частью наспех, в последнюю минуту, слал по почте из Кембриджа и Рима, Беркли и Нью-Йорка. Я вдруг ясно почувствовал, как дешево стоили в качестве заменителей моей любви и моего присутствия все эти подчас довольно дорогие дары,— как будто за хорошо знакомой дверью, где я думал встретить свою суровую юность, оказалась лишь радужная пена моего ничтожества. С каждым своим приездом я все острей сознавал, какая большая часть меня навсегда осталась здесь. В гостиной

повсюду висели и стояли мои фотографии: я в день получения диплома (первого, и второго, и третьего), я в день свадьбы (первой), я забавляюсь со своими детьми на солнечной лужайке, я деревянно таращу глаза с пожелтелой газетной вырезки, помещенной для сохранности в пластиковый футляр,— все это вперемежку с наградами и почетными грамотами, полученными за успехи в учении. Реликвий моей жизни было так много, что казалось, я давно умер и похоронен. А вот моего отца нигде не было видно, и от этого он казался живым, хотя и отсутствующим; он ненавидел сниматься, и в ежегоднике школы, где он учительствовал, тридцать лет подряд появлялась одна и та же не слишком лестная фотография. Я так и видел, как он увертывается от объектива, ворча: «Моей рожей только пленку портить». Мне чудилось: вот-вот зашаркают на крыльце его шаги, и рука с ненужной силой рванет дверь, как он это делал всегда, словно ожидая, что она окажется запертой. Я бы ничуть не удивился, если бы он вдруг вошел в гостиную, держа в руках свой обычный вечерний гостинец — запотевшую коробку с мороженым трех сортов, и, глянув на меня полулукаво-полугрустно, как всегда, повернулся бы к моей матери и сказал: «А мальчик неплохо выглядит», а потом бы повернулся к моей жене и сказал: «Ты, видно, знаешь, чем его кормить».

Но этого не произошло, нас оставалось четверо. И еще чье-то отсутствие можно было заметить на стене. Над диваном с подушками, облепленными собачьей шерстью, рядом с моим портретом двенадцать лет висел парный к нему портрет Джоэн, тоже снятый в Олтоне вскоре после нашей свадьбы, когда обоим нам было по двадцать с небольшим. Мать уговорилась с фотографом без нашего ведома, и мы были очень раздосадованы этим. Такой сентиментальности я от нее не ожидал. Я все еще смотрел на нее глазами ребенка, которому повседневная близость матери кажется неотъемлемой от его бытия. Но у нее страсть к вещественным напоминаниям обо мне возникла раньше, чем я понял, что уже оторвался от дома. Мы послушно влезли в машину и в самую жару покатили за десять миль в Олтон, чтобы не нарушить уговора. Джоэн, словно в знак пренебрежения к этой затее и в то же время в знак уверенности в своей молодой красоте, надела простое ситцевое платье, наряд, который подошел бы батрачке с фермы, принесшей ягоды на продажу: с блеклым узором из мелких голубых цветочков по желтому полю и большим квадратным вырезом, как бы невзначай выставлявшим напоказ ее точеную шею и плечи. Получив пробные снимки, мать выбрала для увеличения тот, на котором Джоэн, как цветок, поворачивающийся к солнцу, вся будто тревожно тянулась навстречу какому-то дальнему зову — бывали у нее такие минуты, и фотограф сумел подловить одну из них. Портрет был в три четверти роста, она стояла у кресла, опершись на сиденье невидным на снимке коленом и так крепко сжав выгнутую спинку руками, что тонкие косточки обрисовались под кожей. Руки у нее были красивее, чем у Пегги. Держалась она очень прямо, вытянув правую руку, нежную и округлую, на всю длину и повернув лицо в пол-оборота к свету, падавшему так, что только угадывалась недовольная гримаска на губах. Но напряженность позы и нерезкий фокус не могли скрыть стремительную грацию ее тела, природную грацию, слегка затушеванную сдержанностью манер, упрямой застенчивостью, которую порой вдруг начисто опровергала, перечеркивала ослепительная, совершенно симметричная улыбка. Фотография была с секретом. Джоэн снималась уже беременная. Семь месяцев спустя на свет появилась Энн, наша старшая дочь. Но, переплетаясь с этой давней тайной, за картиной, запечатленной здесь, передо мной вставали другие, бережно хранимые памятью картины: Джоэн сердито натягивает на себя желтое платье, мы катим в Олтон душным летним днем, и это так напоминает наши томительные приезды

на ферму в первое время: розовое облако пыли, встающее над дорогой за каждой машиной, мороженое, которое отец приносит с собой, навоевавшись за день с учениками, мою юношескую нежность, растерянно мечущуюся от матери к жене — а между ними уже ощутим глухой разлад. Очень характерно для их отношений, что фотография все-таки вышла не такой, как хотела мать. Много лет спустя она говорила Джоэн: «Я хотела иметь перед глазами твою улыбку».

На этом месте над диваном, не заполнив собой предательский прямоугольник, где обои сохранили свой цвет, висел теперь идиллический пейзажик, значительно уменьшенная репродукция с работы неизвестного художника, украшавшая мою детскую комнату, когда мы жили у дедушки с бабушкой в их городском доме. Я сразу же — нарочно, чтобы мать видела и почувствовала в этом упрек,— подошел и внимательно стал рассматривать репродукцию. Лиловая тень чего-то невидимого рассекала по диагонали трапециевидную стену высокого амбара, рядом над густой, неправдоподобно зеленой травой возвышалось безлиственное дерево неопределенной породы. А за ним, в глубине, меня встретило знакомое диковинное небо, состоявшее из горизонтальных полос разных оттенков,— когда-то оно мне представлялось мостками из цветных карандашей, по которым я будто хожу вниз головой. Между двух разноцветных борозд был воткнут в это небо крохотный черный угольничек, изображавший летящую птицу, и мне представлялось, что если бы просунуть пальцы сквозь стекло, можно выдернуть его, как морковку, за хвостик. Позже, когда мы перебрались на ферму, странную эту картинку, окно в какой-то сказочный сельский мир, повесили в комнате под крышей, где я жил подростком и где потом, после моего отъезда, поселился отец. Поднимаясь по лестнице с Ричардом, я со страхом думал, что вот сейчас войду, а отец спит на кровати, прямо под лампой, свет которой бьет ему в глаза, а на груди у него распластался журнал в скользкой глянцевитой обложке. Но кровать была пуста; зато, когда я укладывал Ричарда спать, я обнаружил, что мать не спрятала портрет Джоэн, а просто поменяла его местами с пейзажем. Джоэн теперь висела на моей стенке.

— Кто это, такая красивая? — спросил Ричард. Я было хотел ответить, но слова вдруг застряли у меня в глотке, как будто его незнание в лицо той, чье место заняла его мать, было чем-то драгоценным, что я обязан был сберечь. Я прижал к себе большую вихрастую, давно не стриженную голову — мне не хотелось, чтобы он заглянул мне в глаза, а когда наши взгляды все-таки встретились, я промямлил:

— В этом доме все слишком полно мной.

■

Я отвел Ричарда спать только после того, как мы поужинали и вволю наговорились. Мать, не зная, сытые мы приедем или голодные, приготовила настоящий пенсильванский ужин с традиционным меню: свиная колбаса, капуста с перцем (вспомнив мое давнее и уже забытое мною пристрастие, она сберегла для меня в виде лакомства очищенную кочерыжку, холодную на вид и обжигающую на вкус), яблочное пюре, сладкий пирог и декофеинированный кофе, не вредный для ее сердца. Пегги и Ричарда даже смутило все это золотисто-коричневое изобилие. Ричард вежливо отказался от второй порции пирога, чем немало меня удивил — в его годы я бы не остановился и на десятой, только бы дали. Мать хотела налить ему кофе, но Пегги сказала, что он кофе никогда не пьет.

— Никогда?

— Прошлым летом я ездил с папой в Адирондакские горы, так там мы пили, потому что сгущенное молоко было очень невкусное.

— Да, и домой ты вернулся больным,— сказала Пегги.

— Это кофе без кофеина,— сказала мать и налила ему полчашки. Кофейник в руке, привычная, уютная поза возле привычного, уютного обеденного стола — все это настраивало ее на разговор; у нас в семье, когда еще была семья, любили разговаривать за столом.— Я, кажется, начала пить кофе с трех лет,— сказала она.— Так и вижу, как я сижу на высоком стульчике — на том самом месте, где ты сейчас сидишь, Пегги,— а передо мной большая чашка черного кофе. Не знаю, о чем думала моя мать, но вообще в те времена никто особенно не разбирался, что можно, а чего нельзя, а мой отец молока не признавал. Он до самой своей смерти выпивал по десяти чашек кофе в день, черного-пречерного и такого горячего, что другой бы не вытерпел. Прямо с огня и сразу в рот. Он этой своей способностью очень гордился. Когда-то, Ричард, гордились такими вещами.

Ричард взялся за чашку рукой и, словно бы это привело его в непосредственное соприкосновение с моей матерью, смело попросил:

— Миссис Робинсон, расскажите мне про вашу ферму.

— Что ж тебе про нее рассказать? Ведь, наверно, ты уже слышал от Джоя,— она запнулась, чувствуя, что в разговоре с моим пасынком следовало бы называть меня как-то иначе, но не знала как,— ты уже слышал все, что тебе может быть интересно.— Она искоса глянула на меня и продолжала: — Впрочем, не знаю. Наверно, он не любит разговаривать о ферме. Она всегда наводила на него тоску.

— Ваш отец — вот тот, что пил такой горячий кофе не обжигаясь,— он что же, продал ее кому-то? Я никак не разберусь.

Мать сложила руки на столе и подалась вперед с озабоченным видом — поза, которую она неизменно принимала, желая успокоить дыхание.

— Мой отец,— сказала она,— был похож на моего сына: на него тоже ферма наводила тоску. Слишком много его заставляли на ней работать в молодости, и, когда ему было столько лет, сколько сейчас,— она пристально глядела на меня, все пытаясь подыскать мне название,— моему сыну, он ее продал и переехал со всей семьей в город, так что *он*,— она указала на меня,— вырос уже городским жителем.

— А чем ваш отец занимался в городе? — спросил Ричард.

— Вот в том-то и загвоздка. Ничем он там не занимался. У него не было никакой профессии, а для человека, не имеющего профессии, что же можно придумать лучше фермы? Он сидел себе в кресле и попивал кофе, пока все его деньги не ухнули во время биржевого краха.

— Мой папа говорит, теперь уже никогда больше не будет биржевых крахов.

— Что ж, дай бог. Хотя тут, как часто случается, беда была не без пользы. Отец вроде бы сделался пообходительней, а то при деньгах он уж чересчур был колючий.

— Ричард очень привязан к своему папе,— сказала Пегги и пригладила сыну волосы надо лбом.

Мне это замечание показалось довольно неуместным; дело в том, что она усмотрела в словах матери намек, которого на самом деле не было. Мать всегда любила своего отца, а «колючесть» в людях была для нее скорей достоинством, чем недостатком. Со стороны Пегги глупо было этого не почувствовать; и потом, признаюсь, меня раздражала ее неизменная манера заступаться в присутствии Ричарда за человека, с которым она развелась пять лет назад,— как раздражает любое движение души, выродившееся в условный рефлекс. Впрочем, она имела основания нервничать: у моей матери есть опасная склонность в общении с детьми не делать скидки на возраст. Помню, раз в этой самой кухне мой сын Чарли, которому тогда было два года, бегал вокруг стола,

размахивая складной линейкой, и нечаянно ударил мою мать. Она тут же, не раздумывая, вырвала у него линейку и пребольно вытянула его по спине. Так и вижу, как она держит в руках эту линейку — оранжевую, с клеймом олтонской скобяной лавки — и под рев малыша, укрывшегося в объятиях Джоэн, доказывает, что он с самого утра искал, чем бы ей досадить, «по глазам было видно». Подобно язычникам, приписывающим равнодушной вселенной враждебные умыслы, мать суеверно наделяла все существа одушевленного мира, вплоть до младенцев и собак, сложностью побуждений, едва ли возможной для них на самом деле,— и при этом, как все истинно верующие, умела находить вокруг себя подтверждения своей правоты.

— И хорошо, что привязан,— спокойно сказала она и, вздернув голову, уставилась на Пегги сквозь нижние половинки своих бифокальных очков.— А что тут, собственно, удивительного?

Я вздрогнул, чувствуя, что Пегги не оставит этого без ответа, но тут Ричард, у которого глаза блестели, как у завороженного — у лягушонка или оленя, который на самом деле прекрасный принц,— по счастью, вернул мою мать к продолжению ее рассказа.

— Как же вы опять купили ферму, если у вас не было денег?

— Мы продали дом,— сказала мать,— городской наш дом, где *он* родился. Уже после войны. Видишь ли, Ричард, сначала был кризис, и все разорились, кроме Бинга Кросби, а потом началась война, и тогда все нажились, даже школьные учителя, все, кроме тех, кого убили на фронте.

— А кто такой Бинг Кросби?

— Знаменитый исполнитель песенок. Тогда была в ходу такая шутка.

— Понятно,— сказал он и улыбнулся степенной улыбкой. Между передними зубами у него был широкий просвет, что чаще всего встречается у веснушчатых, но на его тонкой розовой коже, унаследованной от отца, веснушек не было.

— К концу войны нам с мужем удалось кое-что отложить — он себе находил работу в летние месяцы, а я, вообрази, кроила парашюты на фабрике, и тут как раз мы узнали, что наша ферма продается. Пошла я к одному старику, с которым всегда советовалась в затруднительных случаях. Даже насчет того, чтобы завести ребенка, спрашивала его совета, так как вообще считалось, что это для меня опасно. Он мне тогда сказал: «Тот мертвец, в ком кровь не течет». Я это поняла так, что в семье непременно должны быть дети, а иначе род прервется, вымрет. И я родила Джоя на удивление своим теткам, которые никак не могли в это поверить. Они думали, у меня что-то не в порядке. Вот когда я рассказала этому старику, как мне хочется купить ферму, он мне ответил: «Есть такая испанская поговорка: что по сердцу, то и по карману». И я купила.

Мы все помолчали, думая о цене этой покупки. Потом Ричард спросил:

— Вашему мужу нравилось хозяйничать на ферме?

Все во мне так громко закричало «нет!», что я сказал, желая заглушить этот крик:

— Он на ней не хозяйничал.

— Он на ней не хозяйничал,— повторила мать.— Это верно. Но он купил мне трактор, чтобы я могла косить траву. Он был насквозь горожанин, как и ты.

— Зачем тогда ферма, если на ней не хозяйничать? — спросил Ричард, следуя полученному от меня совету.

Я подумал, что теперь уже заглушить ничего не удастся, но мать, против ожидания, приняла вопрос благосклонно и еще больше вытя-

нула вперед голову над сложенными на столе руками, чтобы набрать в легкие побольше воздуху для ответа.

— А правда,— торопливо произнесла она,— наверно, в том все и дело, что никто не хозяйничает на этой ферме. Земля как люди, ей требуется отдых. Земля, она совсем как человек, только что никогда не умирает, просто устает очень сильно.

— Нельзя сказать, чтобы мы совсем уж не хозяйничали тут,— заговорил я, обращаясь к Ричарду, чтобы дать передышку натруженному голосу матери.— Иногда мы скирдуем сено и продаем его, как-то раз сдавали верхнее поле в аренду одному меннониту под посев кукурузы, разводим овощи, было время, даже торговали клубникой.

— Да,— подхватила мать, круто повернувшись к Пегги,— было время, этому молодому джентльмену, набитому гарвардской премудростью, и его утонченной бостонке жене приходилось по воскресеньям расставлять у шоссе козлы с широкой доской и продавать ягоды проезжающим!

Странно было, что вдруг Джоэн и какая-то прежняя часть меня самого вплелись в творимую матерью легенду о ферме.

— Нас это ничуть не смущало,— сказал я как бы для того, чтобы приблизить себя к живой действительности и к той жене, которая не помогала мне торговать клубникой.

— Вас это приводило в ярость,— решительно заявила мать.— Вы всегда боялись, что к вам никто и не подойдет.— И добавила, в объяснение Пегги: — Сам он клубники не ест, вот ему и не верилось, что могут найтись на нее охотники.

— Теперь он ест клубнику,— заметила Пегги.

Мать оглянулась на меня.

— Правда ешь?

— С мороженым,— сказал я.

— А кто был этот старик? — спросил Ричард.

Мать заморгала глазами.

— Какой старик?

— С которым вы советовались насчет всяких своих дел.

— А-а! Ну, эта история, пожалуй, не для твоих ушей. Как тебе кажется, Пегги?

— Я не знаю, о чем идет речь.

— Бидишь ли, Ричард, это один старый наш родственник, дядя Руп его звали. Говорят, он когда-то очень хорошо относился к моей матери. И даже, говорят, продолжал к ней так относиться, когда уж вроде это было и ни к чему. Во всяком случае, я всегда оставалась его любимицей, так что, может, и в самом деле что-то здесь кроется. Он единственный, кто меня считал даже хорошенькой.

— Это очень странно,— сказал Ричард.

Мать посмотрела на него испытующе, но блестящие глаза и написанная на лице неподдельная заинтересованность казались достаточно надежной гарантией. Она сказала:

— Я и сама так думала.

Пегги, замершая было в минуту опасности, перевела дух и сказала:

— Ричард, тебе уже час назад следовало быть в постели.

— Мне совсем не хочется спать,— ответил он.— Наверно, это от перемены климата. Может быть, высота имеет значение. На Эвересте, например, люди вообще почти лишаются сна.

Я спросил мать:

— Ты не выбросила мои старые сборники научно-фантастических рассказов? Ричард как раз начал увлекаться научной фантастикой.

— Это читаешь с таким приятным страхом,— сказал он.

— Все где было, там и есть,— ответила мне мать усталым голосом, в котором притаилась нотка непонятной досады.

Я подошел к окну, выходившему в сторону конюшни, которая сейчас тускло маячила на фоне ночного неба, загораживая звезды; под окном тянулись полки, где книги стояли и лежали вперемешку, и там, под романами Торна Смита и П. Дж. Вудхауза (когда-то они мне казались смешными, а сейчас одним видом своих истрепанных, старомодных обложек воскресили пыльную скуку тех бесконечных летних дней, когда я ждал получения водительских прав, открывавших мне путь к спасению от фермы) — о чудо! — были целехоньки все пухлые, жухлые томики серии, выпущенной в сороковых годах издательством «Даблдэй». Под разрушительным действием времени выцвели не только корешки, но и края переплетов, где их не прикрывала соседняя книга. С помощью этой убогой взятки я увел Ричарда наверх. «Не забудь вычистить зубы»,— крикнула Пегги вдогонку. Я подоткнул ему одеяло, подложил лишнюю подушку под голову и ушел, чувствуя на губах вкус зубной пасты от его поцелуя. Лампу я оставил включенной у изголовья — старую настольную лампу с вырезанным зубчиками бумажным абажуром, под которой, бывало, мирно спал мой отец, хотя свет бил ему прямо в глаза. Я ее нашел в углу, где она стояла без дела, обвитая паутиной.

Внизу женщины мыли посуду. Мне с особенной ясностью, благодаря только что виденному портрету, вспомнилось, как Джоэн систематически обижала мою мать своей чрезмерной готовностью помогать ей по хозяйству. Мать была невероятно чувствительна ко всему, что могло быть истолковано, как попытка ее вытеснить, может быть, оттого, что в свое время таким попыткам свирепо сопротивлялась ее мать, властвовавшая на кухне до самой смерти, а умерла она семидесяти девяти лет. Но я увидел, что командный пост у раковины захватила Пегги, а мать лишь покорно подносит ей грязную посуду и убирает вымытую. Это не была кажущаяся покорность; в окружавшей мать атмосфере — а к малейшим колебаниям в этой атмосфере я более чувствителен, чем к переменам погоды,— не было никаких признаков скрытой бури; и опять меня поразило, до чего слаба она стала. Она подавала Пегги тарелки осторожными, нащупывающими движениями тяжело больного человека. Когда с посудой было покончено, она, не торопясь, достала из буфета три бокала, бутылку хереса, единственную в доме, и целлофановый мешочек с соленым печеньем; после чего мы перешли в гостиную и возобновили разговор.

Разговор... Мое детство и отрочество прошли под разговор, никогда, казалось, не прекращавшийся. У нас в доме разговор был все — пища и любовь, Бог и Дьявол, исповедь, философия и гимнастика. И даже после того, как перестали звучать чеканно размеренные сентенции моего деда, которым особый вес и внушительность придавали частые глубокомысленные покашливания и воздевания к небу сухих, пергаментных рук; после того, как навсегда умолкла тягучая, иронически высокопарная речь отца,— голос матери, то возвышаясь, то понижаясь, теряясь во вздохах и вновь возникая, послушный усилию воли, порою тихий, почти неразличимый в гуле природы, а потом вдруг властно заявляющий о себе с неизвестно откуда взявшейся силой, этот голос, превозмогая все немощи, и расширение сердца, и эмфизему легких, сумел сохранить нерушимым сплошной звуковой поток, который омывал меня чуть не с начала жизни. Разговор в нашем доме вращался по замкнутой кривой, вбиравшей в себя и прошлое и настоящее, снова и снова приходя к одной точке и вновь от нее отправляясь, точно в поисках окончательного устойчивого равновесия. Мать смутили слова, час назад сказанные мной

об отце: «Он здесь никогда не хозяйничал», потому что их можно было понять так: ферма тяготила его и сократила ему жизнь. Для меня это был факт; для матери — тревожная догадка. И в стремлении оправдаться, обрести равновесие, она, обращаясь к Пегги, пустилась в пространное, замысловатое и дотошное описание финансовых и семейных обстоятельств, которые обусловили этот шаг. По ее рассказу, который я слышал много раз, и всегда с небольшими изменениями, выходило так, что олинджерский дом был слишком велик и ее матери стало не под силу с ним справляться. («Кстати, ты мне очень напоминаешь мою мать,— сказала она Пегги.— Она, правда, была не рыжая, но такая же энергичная, как ты, и такая же ловкая с посудой, и востроносая такая же. Унаследуй я материн нос, а не отцовскую грушу, я бы, может, не коротала теперь свой век выжившей из ума бобылкой»). Мой дедушка впал в меланхолию. Моего отца едва не свели раньше времени в могилу счета за отопление и за ремонт. Мне, ее сыну, грозила опасность вырасти «типичным олинджерским балбесом — надо знать этих людей, Пегги, чтобы представить себе, что это такое. Ты не поверишь, они там совершенно серьезно убеждены, что Олинджер — центр мироздания. Никуда не хотят ездить, ничему не хотят учиться, ничего не хотят делать, все бы только сидели и любовались друг на дружку. Я не захотела, чтобы мой единственный сын вырос олинджерцем, я хотела, чтобы он вырос *человеком*». Вот она и привезла меня сюда. А что касается моего отца, то «мы с мужем, Пегги, были люди простые, без особых фантазий, а уж если одному из нас по-настоящему хотелось чего-нибудь, другой всегда помогал ему это получить. У меня за всю жизнь было два... нет, три настоящих желания. Сперва мне хотелось иметь верховую лошадь, и отец мне ее подарил, но, когда мы переехали в город, пришлось с ней расстаться. А другие два настоящих желания были — иметь сына и иметь ферму; и оба они исполнились благодаря Джорджу».

Пегги спросила:

— А у него какие были желания?

Мать откинула голову набок, точно вслушиваясь в отдаленный крик непонятно какой птицы.

Вопрос ясно и четко сложился у Пегги в голове, и она постаралась передать эту ясность и четкость словами:

— Какое желание вы ему помогли осуществить? Он дал вам Джоя и ферму; а что вы ему дали? — Тон был самый вежливый, но из-под век, еще по городскому оттененных зеленой тушью, смотрели зловеще усталые глаза.

Сердце во мне упало; пальцы, сжимавшие холодную ножку бокала, налились жаром и словно распухли. Меня всегда страшили паузы в речи матери — долгие паузы, когда ее душа покидала глаза и язык и ныряла в безмолвие, в глухой мрак, где я был бы погребен нерожденным, если б она не сжалилась надо мной.

— Как что? — наконец произнесла она, широко разведя руками.— А свободу?

В этом ответе, этой отважной попытке оправдать свое супружество ожил весь былой ум матери, и я с испугом увидел, что Пегги смутилась. У нее упрямо отвердел подбородок, и я почувствовал ее внутренний протест против сложного сплетения натяжек и допущений, куда так гармонично вписалось слово «свобода» в качестве обозначения той тревожной смятенности, что постоянно томила моего отца; такой же протест вызвало бы у нее желание пригнать по ней платье с чужого плеча. Моя мать в мифах, творимых из собственной жизни, похожа была на математика, который, приняв за исходную точку некое строго ограниченное предположение, изощряется в таких кульбитах и экивоках мысли, в установлении таких парадоксальных зависимостей, что человеку со стороны, свобод-

ному от пут его логики, все это не может не показаться досужим умствованием. А для нее после смерти моего отца и после того, как я разошелся с Джоэн, никого не осталось «не со стороны» — никого, кроме меня, да еще обожающих ее собак.

Пегги резко спросила:

— Разве свобода — вещь, которую можно дать кому-то?

Ее явно злило, что мать изображает, как свой великодушный дар отцу, неудачу, которую потерпела, так и не сумев завладеть всем его существом. У Пегги тоже была своя мифология: женщина отдает мужчине себя, а мужчина взамен дает ей цель жизни — и мать сейчас больно задела непрочную основу, на которой эта мифология держалась.

Матери угодно было истолковать ее вопрос в ином, религиозном смысле.

— Я думаю, на самом деле свободу дает только бог,— сказала она.— Но человек властен отнять ее, и если он не отнимает, то это почти все равно что дать.

А потом ее речь плавно потекла дальше, как ручей, забурливший было у торчащей со дна коряги; воспоминания о покупке фермы перешли в воспоминания о самой ферме, о том, какой они ее вновь получили — все запущено, земля разъедена эрозией — и какой она была раньше, в девичьи годы матери, когда большое верхнее поле простиралось ячменным океаном, а на маленьком верхнем поле тянулись ровные грядки помидоров, а на треугольной делянке напротив луга, отливая золотом, зеленела кукуруза, а на дальнем клину, отливая серебром, зеленела люцерна, а огород с картошкой, и луком, и капустой, и штамбовым горохом пролег вдоль песчаного гребня за фруктовым садом, где груши и яблони опирались на костыли подпорок обвисшими от тяжести ветвями, и даже рощи таили изобилие — изобилие ягод, и орехов, и хвороста; а теперь вот земля отдыхает, поля заросли травой и ждут покоса. Тут, наконец, разговор обрел твердую почву: из-за покоса я и приехал, потому что матери уже не под силу было водить гракторе. А если не будут скошены трава и сорняки, ее оштрафуют. О нашем приезде мы с ней долго и осторожно сговаривались по телефону, стараясь расслышать друг друга в гуле междугородных переговоров со всего штата, пока, наконец, каждому не сделалось ясно, чего именно от него хочет другой; я должен был скосить траву, а она — поближе познакомиться с Пегги, моей женой, лучше узнать ее и, если удастся, полюбить.

Пегги спала. Под мерную речь матери мою широкобедрую, тяжеловекую жену сморил сон. Она лежала, забывшись в обветшалых объятиях нашего старого рыже-красного вольтеровского кресла, в котором когда-то любил восседать мой дед. Остроносые желтые туфли на высоких каблуках лежали рядом, словно свалились при внезапном толчке. Ступни с длинными пальцами, просвечивавшими сквозь дымчатый нейлон, свесились до полу, продолжая поворот длинных ног, коленями упиравшихся в один из подлокотников кресла. Из-под завернувшейся юбки выглядывал темный край чулка. Покрытые пушком и веснушками руки лежали на коленях крест-накрест, одна полураскрытой ладонью вверх, к лампе, так что видны были голубые жилки на внутренней стороне запястья; лицо, прильнувшее к рыже-красной обивке, было в тени, а длинные волосы, вытолкнув шпильки, неподвижно струились вдоль белой шеи и покорного изгиба спины. Кресло было переполнено ею, и я с гордостью посмотрел на мать, как будто слушая ее рассказы о ферме, я в то же время без слов демонстрировал ей свое достояние, то, что мне удалось урвать в этом мире. Но мать, ненадолго задержав взгляд на длинной женской фигуре, по-детски доверчиво свернувшейся во сне, вновь устремила его на меня, и в этом взгляде была обида. Боясь, как бы она не сказала что-нибудь унизительное для нас обоих, я нетерпеливо спросил:

— Почему бы нам не нанять человека на косьбу? Почему мы непременно должны косить сами?

— Это наша ферма.

— Это твоя ферма.

— Скоро она станет твоей.

— Пожалуйста, не говори так.

— Я вовсе не думала тебя огорчить. А ты это всерьез сказал насчет поля для гольфа?

— Конечно нет. На такое поле нужно ухлопать тысячи долларов, и кто вообще будет этим заниматься? Я живу в Нью-Йорке.

— А что, если тебе продать маленькое верхнее поле, нарезав его участками по пол-акра? Уж с этим бы мой дух как-нибудь примирился, а зато на вырученные деньги ты бы мог содержать все остальное. Тут недели не проходит, чтобы ко мне не нагрянул какой-нибудь покупатель. Чуют падаль стервятники.

— А сколько дают?

— То-то и есть что гроши. Две сотни за акр. Наверно, решили, что я уже вовсе из ума выжила. Один филадельфийский еврей предлагал двадцать пять тысяч, с тем чтобы дом и фруктовый сад остались за мной; это, пожалуй, было самое пристойное предложение. Думаю, я бы у него все сорок выторговала.

— Ты-то заплатила четыре.

Она пожала плечами.

— С тех пор прошло двадцать лет. За это время и людей стало больше и денег. Округ теперь не тот, что во времена твоего детства. Деньги возвращаются обратно. Да вот кстати — Шелкопф. У него теперь внуки, и он вроде бы не прочь купить наш луг.

— Весь целиком?

— А то как же. Он даже, представь себе, намекал, что этим окажет услугу тебе; мол, если у меня заведется кое-какой капитал, мне не нужно будет прибегать к помощи сына.

— Об этом, пожалуйста, не думай.

— Но-но! — Она повела в воздухе рукой — жест, перенятый ею у моего деда; когда-то в детстве это приводило мне на память загадочные строчки из «Рубайята» про перст, что чертит письмена, и чертит вновь и вновь.— Не спеши возражать. У тебя теперь две жены, а я одними только счетами за лечение разорить могу. Да вот еще док Грааф хочет, чтобы я легла в больницу.

— С чего это? По-моему, если не считать одышки, ты совсем...

— У меня случаются, как это доктора называют, «провалы». Последний раз это было на дальнем поле, я там гуляла с собаками — наверно, они меня и притащили домой; помню только, что я чуть не на четвереньках всползла наверх и давай глотать таблетки из всех коробочек, какие нашлись. Так целые сутки и пролежала без памяти — Флосси за это время успела всю раму изгрызть на том окне, под которым полки с книгами. Они ведь до сих пор туда лазят, все ждут, что Джордж вернется.

— Почему же ты не вызвала меня?

— Ты тогда только что уехал в свадебное путешествие. Словом, вот что, Джой. Бывали у нас с твоим отцом несогласия, но в одном мы с ним всегда сходились: умирать надо подешевле. Сейчас это не так просто. У докторов завелись всякие там аппараты, с помощью которых можно тянуть и тянуть, пока последний доллар не возьмешь из банка.

— Нельзя же все сводить только к деньгам.

— А ты к чему все сводишь? К постели?

Я покраснел, и она, сжалившись, шумно вздохнула и вернулась к начатому разговору:

— Скажи мне по совести, Джой, я тебе не в тягость?

— Нисколько. Те деньги, что я посылаю тебе,— самая меньшая из моих забот.

— Тем лучше. Только имей в виду, что отцовской пенсии мне почти достаточно. Так что могу в общем обойтись и без них. Я вовсе не желаю, чтобы в конце концов ты меня возненавидел из-за нескольких долларов.

— Можешь не беспокоиться. Все у меня благополучно — и с деньгами, и с постелью, и со всем прочим.

— А кстати, если уж на то пошло,— сколько тебе стоил развод?

— Мм... все вместе — адвокаты, самолеты — тысячи четыре, не меньше.

— Я думала, даже больше. А Джоэн?

— Была по обыкновению чутка и умеренна. В случае, если она в ближайшие два года снова выйдет замуж, мне придется платить немного.

— Ну, это случай маловероятный, с тремя-то малышами. И Джоэн не из пробивных — не чета твоей новой.

Боль или досада — я как-то разучился отличать одно от другого — заставили мой голос зазвенеть.

— Это уж от меня не зависит, мама.

Она, явно довольная, откинулась на спинку кресла, в котором сидела. Меня всегда коробило при взгляде на это кресло — плетеное из проволоки, оно предназначалось для сада, но по бедности было выкрашено синей краской и водворено в гостиной.

— А теперь скажи мне, только скажи прямо, не деликатничай. Ты хочешь, чтобы я продала?

— Ферму?

— Часть фермы. Поле или луг.

— Конечно нет.

— А почему?

Потому, прежде всего, что я знал, как она этого не хочет.

— Потому что в этом нет надобности.

— Тогда обещай, что ты мне скажешь, если надобность появится. Обещаешь?

— Ты сама догадаешься. Так будет лучше.

— Нет, не лучше. Я стала недогадливая.

Итак, ей нужна была видимость соглашения. Я сказал:

— Хорошо, обещаю.

Пегги зашевелилась, распрямляя затекшие ноги; одна ступня вытянулась и толкнула стоявшую на полу туфлю, одна рука машинально одернула юбку.

— У твоей молодой шея будет болеть,— сказала мать.

Пегги раскрыла глаза, последние слова матери дошли до ее слуха. Она растерянно заморгала, не узнавая ничего вокруг себя. Еще одурманенная сном, она казалась удивительно беззащитной и слабой. Я протянул ей руку и при этом повернулся к матери спиной. Борясь с дремотой, Пегги пыталась понять, что означает эта настойчиво, твердо и в то же время просительно протянутая рука, потом подняла на меня глаза и, должно быть, выражение моего лица помогло ей истолковать этот жест, как готовность прийти к ней на выручку в трудную минуту — видно было, что она делает над собой усилие.

— Вставайте, сударыня,— сказал я.— Отведу вас в постельку.

— Как глупо,— сказала она, подала мне руку, и я, слегка потянув, помог ей встать с кресла. Без каблуков она казалась рядом со мной совсем маленькой. Руки ее чуть великоваты, с розовыми на сгибах и у кончиков пальцами, и, когда я их представляю себе, не видя, мне всегда кажется, что они овальной формы. Помнится, на той вечеринке, где мы встретились, она впервые понравилась мне, впервые привлек-

ла мое внимание своей позой, неловкой и напряженной; ее руки праздно висели по бокам, повторяя изгиб бедер, точно ненужные в данную минуту инструменты — висели от самого плеча, и в этом отказе каким-то образом прикрыть себя спереди, хотя бы сигаретой в пальцах, чувствовалась готовность сдаться.

— Спокойной ночи, миссис Робинсон,— сказала она.— Извините, что я тут разоспалась.

— Ты поступила умнее нас,— ответила мать.— Спокойной ночи, Пегги. Если ночью озябнешь, в ящике бюро есть запасное одеяло.— Мне она не пожелала спокойной ночи, словно была уверена, что я вернусь.

Наверху, в спальне — прежней родительской спальне, где на стене висел мой портрет ребенком,— Пегги спросила:

— О чем вы разговаривали?

На портрете у меня были полуоткрытые губы, острый подбородок, прямой нос, приплюснутый и весь в веснушках. Глаза мои, мои глаза — я не мог от них оторваться, такие они были трогательно ясные, так проницательно и ласково смотрели. Их взгляд словно бы благословлял наш союз. Под портретом стоял ночной столик, а на нем голубая дорожка, лампа с плиссированным пластикатовым абажуром, местами расползшимся от прикосновения к горячей лампочке, и металлическая пепельница в виде слона. В запертом ящике я мысленно видел целые пачки писем, любительские снимки, мои школьные табели и аккуратно сохраняемые корешки чековых книжек. На полочке внизу пылилась тяжелая, как гроб, семейная Библия с золотым обрезом, в покоробленном кожаном переплете, доставшаяся отцу от деда, а деду от прадеда. Когда-то я написал свое имя в родословной на последней странице.

— О ферме,— сказал я, отвечая на вопрос Пегги.

— О чем же именно?

— Не продать ли нам часть земли.

— И что вы решили?

— Тут и решать было нечего. Ей не хочется продавать.

— А тебе хотелось бы?

— Да нет, пожалуй.

— Почему?

— Сам не знаю. Даже непонятно почему. У меня здесь вечно разыгрывалась сенная лихорадка.

— Я думала, ты скажешь — черная меланхолия.

— Это говорил мой отец.

Я услышал, что мать зовет меня снизу, из гостиной. Непривычная робкая нотка в ее голосе действовала сильнее, чем громкий окрик. Я надел снятую было рубашку и спустился вниз.

— Джой,— сказала мать.— Не снесешь ли ты собакам остатки колбасы, а заодно и воды хорошо бы налить в ведро. Не люблю никого затруднять, но если я пойду сама, они решат, что я хочу их вывести, а я что-то устала сегодня.

— Тебе нездоровится?

— Неможется, как сказал бы твой отец.

Я посмотрел на нее с беспокойством. Она стояла у самой кухонной двери, словно на пороге ложи. В кухне над плитой горела одинокая тусклая лампочка, и мне показалось, что лоб у матери какого-то жестяного оттенка; таким жестяным стало лицо моего деда в последние дни перед смертью. Ее густые волосы, где обильная проседь в черных прядях давала цвет, от которого словно жгло во рту, лохматой шапкой торчали во все стороны. С распущенными волосами она мне всегда казалась похожей на ведьму — еще с детских лет, когда я, бывало, смотрел, как она расчесывает их на заднем дворе нашего олинджерского дома, чтобы птицы могли подобрать для своих гнезд упавшие волоски; а когда она

причесывалась на ночь в родительской спальне, я, лежа в постели, видел, как из-под щетки летят голубые искры.

Я спросил:

— Может, дать тебе какие-нибудь таблетки?

Она слегка подалась вперед, и ее плечо, с которого спустилась ночная сорочка, странно забелело, попав в круг более яркого света.

— Таблеток у меня хоть отбавляй. И в холодильнике, и под подушкой...— Она переменила тон.— Тебе нечего беспокоиться, снеси только воды собакам и ступай, укладывай жену спать. Если ей ночью будет холодно, возьмешь старое индейское одеяло в третьем ящике папиного бюро. А я лягу, и все у меня пройдет.

— Тебе неудобно будет на диване.

— Я всегда здесь сплю. Я, кажется, ни одной ночи наверху не ночевала с тех пор, как... как его нет.

Я хотел улыбнуться, но только пожал плечами. Она отвернулась резко, как от внезапной боли. Мой отец умер в начале прошлого лета.

На дворе уже темнело. Босыми ногами я ощутил шершавый, теплый еще песчаник, потом обжигающий холод росы. Знакомая бирючина тянулась к луне своим раздвоенным телом. Где-то вдали то ли с грустью, то ли со сдержанным отвращением ухнула сова; еще дальше, на шоссе, раздраженно заскрежетал, переключая скорость, тягач; оба звука шли слева, с той стороны, где ажурная рощица — наша рощица — отделяла наши земли от придорожного участка, который когда-то был частью молочной фермы менонита, а теперь быстро застраивался новыми жилыми домами. В этой рощице мать всю зиму разбрасывала для птиц по камням и пенькам подсолнечные семечки. Из-за этого древесного заслона особенно грозно надвигался на нее внешний мир.

Собаки обрадовались мне. На чужих они обычно свирепо бросались, несколько раз искусали кого-то, однажды дело даже дошло до суда. Вероятно, мой запах показался им похожим на запах моей матери. А может быть, они учуяли во мне моего отца. Собак было три: щенок колли, которого мать взяла у Шелкопфов, собиравшихся его утопить, и два взрослых пса одного помета — помесь чао-чао с дворняжкой; они родились от дочери Митци, моей собаки — я хорошо помнил ее язык с черными пятнами, похожий на анютины глазки, и блестящую медно-рыжую шерстку на шее, пушистую, как одуванчик, и непропорционально маленькие чуткие уши, и изящно изогнутые задние лапы; эти лапы в один июльский день отхватило ножом косилки, на которой работал сын Шелкопфа, это было, когда я еще учился в колледже. Именно после этого случая — собаку тогда пришлось пристрелить — мать купила подержанный старенький трактор, сама выучилась водить его и выучила нас с отцом.

Фантастически безмолвно, как будто их радостный визг был так тонок, что человеческое ухо его не воспринимало, собаки терлись о мои ноги. Я поставил на землю миску с колбасой, один кусок отдельно бросил щенку на солому, взял пустое ведерко и, не забыв припереть за собой дверь сарайчика, пошел к колонке около дома и накачал в ведерко воды до краев, присоединив еще один звук к тем, что привычно нарушают деревенскую тишину. В теплом ночном воздухе визгливый скрип насоса разносился по всем окрестным фермам. Монотонную совиную жалобу заглушили причитания козодоя. Я отнес покачивающееся ведерко в сарайчик (свет метнулся и исчез; три собачьих носа сослепу вместе ткнулись в воду), вышел и, приглядевшись к луне, определил, что до полнолуния одна ночь, не больше. Потом постоял еще немного под открытым небом, явственно ощущая, как движется время, и почти с облегчением вернулся под крышу, в дом.

Проходя через кухню, я погасил там свет. В гостиной, где уже легла мать, было темно. Я пошел к ней, хотя мысль об ожидающей наверху

Пегги распирала мне череп. Я не видел памятных с детства предметов, но обостренным чувством угадывал их присутствие, как паломник, приблизившийся к святыне. Запах в комнате был не такой, как когда-то, пахло пылью. Я сел в бабушкину качалку, и она откачнулась под моей тяжестью, словно бабушка соскочила, уступая мне место. Мы помолчали.

— Мальчик, видно, умненький,— сказала наконец мать.

— Да, очень.

— Даже странно,— продолжала она.— Должно быть, не в мать пошел.

Удар обрушился на меня в темноте, словно мне накрыли подушкой голову и стало нечем дышать. Я как будто вернулся на несколько лет назад, к той минуте, когда в этой же комнате я трусливо предал Джоэн. И все-таки я оценил — не мог не оценить верное чутье матери. Я только промямлил в ответ:

— Тебе так кажется?

— Удивляешь ты меня,— сказала мать. Оттого что она лежала, ее голос звучал глуховато.

— Чем же?

— Тем, что тебе непременно нужна рядом глупая женщина, чтобы ты себя чувствовал уверенно.

— Ты же ровно ничего о ней не знаешь. И не хочешь узнать.

— Я знаю то, чего предпочла бы не знать. Смотрю вот на тебя и думаю: отец бы не поверил, что этот человек — его сын.

— А ты за отца не думай. Слушай, мама.— Я уже не говорил, а шипел, сипел; я вскочил на ноги, и качалка, запрокинувшись от толчка, качнулась обратно и ударила меня сзади по ногам.— Ты уже мне раз отравила семейную жизнь, и я не желаю, чтобы это повторилось. Будь повежливей с моей женой. Ей незачем было сюда приезжать. Она и не хотела, боялась. Ты сама позвала нас. Ну вот, мы здесь.

Она отозвалась коротким смешком — я успел позабыть эту ее привычку шумно втягивать воздух в знак веселого изумления.

— А я что? Я только сказала, что мальчик, видно, умом в отца.

— Не знаю. Я отца видел всего один раз.

Она вздохнула.

— Ты на меня не обижайся, Джой. Я просто вздорная старуха, которой давно уже и поговорить не с кем, кроме собак. Думала, вот хоть с сыном поговорю, да, видно, зря понадеялась.

Ее тактика самообвинения, хоть и хорошо знакомая мне, действовала по-прежнему безотказно; мой гнев растворился в этой мутной смеси шутовства и печали, и, чтобы еще через минуту не оказаться в сговоре с ней, я отступил.

— Я пойду, пора спать.

— Спокойной ночи, Джой.

— Приятных сновидений, как говорил дедушка.

— Приятных сновидений.

Я вышел из гостиной, где луна, как залезший в комнату вор, уже отбирала безделушки и разную серебряную мелочь, и ощупью стал подниматься по крутой и холодной деревенской лестнице. До меня донеслось мерное дыхание Ричарда. Я легонько провел пальцами по его голове. Вернемся в Нью-Йорк, надо будет сходить с ним в парикмахерскую. В спальне было темно, но мне эта темнота показалась обратной стороной особой, отчетливой видимости; мне показалось, будто кто-то глядит на меня, слепого, сквозь голубое стекло двух окон, выходящих на лунный луг. Точно неясный свет в глубине морской бухты, мерцал за крайним окном искаженный дефектом стекла красный огонек на телевизионной башне, лишь недавно в паутине стальных опор выросшей близ

автострады. Под легким нажимом издалека идущего света комната распалась на составные элементы: окна, камин, бюро, зеркало, кровать. Столбики кровати рисовались отчетливыми силуэтами, на верхушках которых, обретя третье измерение, вздулись деревянные ананасы, но само ложе тонуло в потемках — манящая пустота, бархатное озеро меж чуть белеющими прямоугольниками глубоких оконных ниш. Я нашарил стул и разделся около него.

— Где моя пижама?

В таинственной пустоте скрипнуло, и голос Пегги спросил:

— А зачем она тебе?

— Пожалуй, без нее холодно будет.

— Авось не замерзнем.

Когда я улегся, она спросила:

— Что случилось?

— Ничего особенного.

— Ты дрожишь, как щенок. Притворяешься?

Я нашел, и схватил, и крепко сжал у запястий ее руки, чтоб она не могла увернуться от того, что мне нужно было ей сказать; и, боком навалясь на нее, придвинув лицо к ее лицу так близко, что можно было почувствовать ее влажное дыхание и увидеть, как блестят белки ее широко раскрытых глаз, я сказал прямо туда, в нее:

— Мне тридцать пять лет, я прошел сквозь огонь и воду и медные трубы — так почему же эта старуха должна иметь такую власть надо мной? Это нелепо. Это стыдно.

— Она что-то говорила про меня?

— Нет.

— Говорила.

— Давай спать.

— Ты спать хочешь?

— Я думал, ты слишком устала.

Ответа не последовало. Бывают, слава богу, минуты, когда слова уже не нужны.

■

У моей жены широкие, очень широкие бедра и длинная талия; если на нее смотришь сверху, испытываешь ощущение простора, богатства, и оттого, что это богатство принадлежит тебе, хочется и самому всем телом раздаться вширь; когда вжимаешься в нее, перед тобой словно развертываются одна за другой живописные картины — то как будто с балкона, сквозь затейливую арабскую вязь чугунной решетки видишь даль, снежно-белую от лопающихся коробочек хлопка, то стройный ряд сонных сопок, уходящий в перспективу мазками сухой и горячей охры, то средневековый французский замок, чьи серые стены хитро прилепились к крутому зеленому склону, и каждый уступ повторен башенкой, то какой-то антарктический ландшафт, то, наконец, спуск в долину, где тихая речка притаилась среди виноградников, отбрасывающих на нее черные и лиловые тени, но никто никогда не пробовал тот виноград. А над всем, точно небо, высокое и холодное, царит — парит, господствует, пребывает — *пребывает* чувство, что здесь она, уверенная, спокойная, бдительно бодрствующая, и это чувство мне служит защитой от головокружения, в какую бы глубь ни предстояло сойти. С Джоэн я этого чувства никогда не испытывал. Меня всегда страшило, что я вот-вот задохнусь, когда я был с ней. Она казалась таким же, как я, опрометчивым беспомощным путником и так же блуждала в темных недрах, куда лишь при землетрясении мог вдруг ударить свет. В такой ненадежный путь можно было пускаться лишь после долгих сборов и двигаться ощупью, ползком, не зная, куда он тебя приведет. А с Пегги я скольжу,

я несусь, я лечу свободно, и это ощущение свободного полета, раз украдкой, мельком испытанное, стало для меня нужней воздуха, непреодолимей земного притяжения.

— Уснем?

— Здесь тишина какая-то громкая.

— В ящике бюро есть индейское одеяло. Достать?

— Боишься озябнуть?

— Если ты будешь совсем рядом — нет.

— Слушай, я поняла, почему мне вдруг пришел на ум щенок. Ты ведь кормил собак, и от тебя немножко попахивает псиной. Как от деревенского батрака. Мне нравится.

— Ты прелесть. Я тебя люблю — всю.

— Вот и люби меня. Люби всю.

— Если ты настаиваешь...— Я уже засыпал.

Мать мне пожелала приятных сновидений. И вот я снова, чуть не в десятый раз, увидел коротенький сон, который стал сниться мне в те времена, когда в мою голову впервые забрела мысль о разводе и новой женитьбе. Мне снилось, что я дома, на ферме. Стою у стены, увитой зеленой виноградной листвой с такими же зелеными гроздьями, и гляжу на окно спальни, точно мальчишка, который пришел в гости к товарищу, а постучать не решается. К окну подходит Пегги, но сетка от насекомых мешает мне разглядеть ее лицо. Ее широкая оранжевая ночная рубашка, моя любимая, слегка спустилась с плеч; она прижимает лицо к сетке, чтобы окликнуть меня, и я вижу, как чудесно она улыбается; ей так нравится здесь, так все с непривычки интересно, она в восторге от фермы и полна желания вознаградить меня своим лучезарным присутствием за беспросветное уныние тех дней и лет, которые я здесь провел. Она зовет меня; ее улыбка, светлая и счастливая, как бы вобрала и подытожила всю нашу историю, все страхи, все горести, всю беспощадную суровость; через нее, эту улыбку, находит себе путь прощение, идущее издалека,— и столько в ней радости! Никогда еще не было так радостно на ферме.

Я проснулся, и, как это часто бывает, действительность словно бы продолжала сон, только все соотношения оказались смещенными. Я был в спальне, а снизу доносился голос Пегги. Свет шел снаружи: лучи утреннего солнца, чуть притененные сеткой от насекомых, косо ложились на широкие подоконники. Кто-то незаметно укрыл меня индейским одеялом. Со стены улыбалось мое детское лицо, мягкий отложной воротничок, растушеванный по моде тогдашних фотографов, сливался с фоном портрета. Голоса внизу невнятно переплетались, временами их перебивал смех. Я нашел в пустом шкафу старый отцовский комбинезон. Он был мне велик, но я завернул рукава и подпоясался своим ремнем, так что все лишнее подобралось. В одном кармане я нащупал железный гвоздь, который отец для какой-то надобности согнул крючком.

После многих лет, как говорил мой отец, «первобытного существования» нам пришлось во время дедушкиной последней болезни одну из верхних комнат, где раньше стояла швейная машина, переоборудовать под ванную и уборную. Все предметы в ней почему-то казались недомерками, вода при спуске не обрушивалась бурным шквалом, как в городских квартирах, а томно журчала в унитазе. На единственном подоконнике, заменявшем шкафчик, среди армии материных флаконов с таблетками и разнообразнейших предметов гигиены, которые там успела понаставить Пегги, я нашел старую отцовскую бритву. Солидно, не понынешнему сработанная, она покрылась бирюзовым налетом медного окисла. Если отвинтить ручку, это было нечто вроде сандвича с лезвием вместо начинки. Я вставил новое лезвие, из своих, и побрился; бритва

драла кожу, и на подбородке я порезался до крови, в точности, как, бывало, отец. Порез и кровоточил, и жег, и болел по-настоящему, и мне вдруг представилось лицо отца, когда он, виновато улыбаясь, спускался к завтраку с засохшими на ушах клочьями мыльной пены, похожими на товарные ярлыки. Неумелое бритье было одним из мелких обрядов самобичевания, которыми отец пытался задобрить призрак нищеты; раньше я этого не понимал. Мне еще не случалось настолько влезть в его шкуру, хотя всякий раз, приезжая домой, я в первое утро просыпался с легким щемящим чувством неуверенности в том, кто же я — я или он.

Фотография чопорно элегантной Джоэн в комнате, где ночевал Ричард, при дневном свете оказалась чем-то таким же далеким, как и мой детский портрет: и десять и тридцать лет одинаково стерла живая реальность этого безоблачного утра. Внизу, в кухне, на исцарапанных собаками половицах, у самой двери, одиноким стеклянным глазом смотревшей из-под виноградной завесы в сторону луга, точно золотистый коврик, лежал ромб солнечного света, испятнанный чуть дрожащими тенями виноградных листьев. Такой же солнечный блик я видел здесь каждое утро и двадцать лет тому назад.

Пегги жарила оладьи. Мать и Ричард сидели у стола, мать пила кофе, мальчик ел корнфлекс с молоком. Что-то нарочитое в том, как мать держала кофейную чашку, заставило меня сосредоточить внимание только на ней — хотя Пегги, оглянувшись, скорчила мне веселую гримасу, а Ричард с увлечением продолжал говорить. Он рассказывал содержание научно-фантастической повести, которую вчера читал, пока не уснул. Пегги была с косичками. Свои длинные, каштановые зимой и рыжие летом волосы, которые у нее то лежат по плечам гривой, то громоздятся в виде пчелиного улья, то чинно стянуты узлом на макушке, как у школьной учительницы, то висят беспорядочными лохмами а-ля Бардо, она заплела в две тугие косички и перехватила резинками, чтобы не расплелись. Любопытно, что усмотрела в этой прическе моя мать — самонадеянность, или высокомерие, или бахвальство? Запах оладий стоял в кухне, как непринятый дар, а Ричард все рассказывал и рассказывал, словно бы самому себе.

— ...и больше на свете не осталось ни одного человека, кроме него, и вот он ползет через кучи теплого пепла, хочет до моря добраться.

Пегги спросила меня:

— Где ты откопал эти штаны, они на тебе мешком висят?

— Ты порезался,— сказала мать. Голос у нее был пасмурный, как небо перед дождем.

— Я брился папиной бритвой.

— Вот еще фантазия. Зачем?

Может быть, я вторгся куда не надо, осквернил какую-то святыню?

— Она там лежала такая одинокая, заброшенная,— сказал я.

Мать отвела глаза, и почудившаяся мне было угроза исчезла. Голос ее зазвучал гибче, естественней.

— Надо бы ее выкинуть, да мне все жалко — очень уж цвет красивый.

Я бесстрашно вышел на середину кухни.

— А что это за хорошенькая рабыня жарит оладьи?

— Она у тебя, оказывается, на все руки. Нашла пакет готовой смеси, про который я совсем забыла. А правда вкусно пахнет?

Ричард сказал:

— Мой папа умеет делать оладьи просто из муки с водой, тоненькие-претоненькие. И жарит их на костре.

— Видно, твой папа тоже на все руки,— сказала мать.

— Что это ты там рассказывал про горячий пепел? — спросил я Ричарда.

Пегги крикнула, заглушая очередной раскат шипенья на сковороде:

— Нашел себе подходящее чтение на ночь.

— Действие происходит после атомной войны,—стал объяснять Ричард,— или еще какой-то, там точно не сказано. В общем, на всей планете Земля уцелел только один этот человек, и вот он ползет по радиоактивной пустыне куда-то — потом выясняется, что к морю. Он слышит шум морских волн.

— А ты слышал, как ночью, часов около трех, лаяли собаки? — спросила меня мать.— Наверно, олень забрел в наши места. А может, это у шелкопфовской гончей вдруг началась течка.

— Разве это бывает вдруг? — спросила Пегги.

Я сказал:

— Нет, я вчера как заснул, так и проспал до самого утра. Ты же знаешь, мама, у меня сон крепкий. Как у всех подростков.

— А я теперь просыпаюсь от малейшего шороха,— сказала мать.— Вот хоть этой ночью — кровать у вас скрипнет, я уже и не сплю.

— Придется нам к ней приспособить сурдинку.

Пегги спросила:

— Так что же там потом было, Ричард, после того, как он пополз к морю?

— Извини, Ричард,— сказала мать.— Рассказывай дальше, мы слушаем.

— Он добрался до моря, лег в воду и стал ждать смерти, но теперь ему стало гораздо легче: он ведь знал, что если он умрет в море, клетки, из которых состоит его тело, не погибнут и из них сможет возникнуть новая жизнь, а тогда опять с самого начала пойдет эволюция.

— Я, пожалуй, согласна с твоей мамой,— сказала мать.— Нехорошо на ночь читать про такие ужасы.

— Так это же еще не конец,— воскликнул Ричард с интонацией, очень похожей на интонацию Пегги.— Самое-то главное последняя фраза, в ней вся соль. Он лежит и смотрит на небо — я забыл сказать, что была ночь,— и видит звезды, а расположение звезд совсем не такое, как теперь! Понимаете, пока читаешь, все время думаешь, что речь идет о будущем, а оказывается, это было много-много тысяч лет тому назад.

— Что-то я не совсем поняла про звезды,— сказала Пегги, раскладывая оладьи по тарелкам проворными движениями голых рук.

— И я тоже, Пегги,— сказала мать.— Я всегда считала, что звезды неподвижны.

— Мам, ну что ты какая бестолковая,— сказал Ричард.— Звезды все время меняют положение, только очень медленно, так что мы этого не замечаем. Когда-нибудь Арктур станет Северной звездой.

— Пожалуйста, не дерзи.

— Я и не думал дерзить.

— Вспоминаю эту повесть,— сказал я.— Там, в общем, идея такая, что все мы, и люди, и динозавры, и дубы, и букашки, произошли от этого последнего человека. Ричард, а с тобой не бывает, что ночью, когда ты уже начинаешь засыпать, тебе вдруг кажется, будто ты великан. Каждый палец у тебя как бревно.

— Бывает, и очень часто,— сказал он.— Жуткая вещь. Я даже где-то читал научное объяснение этому, не помню где. Кажется, в «Сайентифик Американ».

— Вот такое чувство было, наверно, у того человека, когда он лежал в воде и ждал смерти, как по-твоему?

— Может быть,— сказал Ричард, обеспокоенный этим вторжением

трезвой действительности в фантастический мир, только что принадлежавший ему одному.

— Хороший, наверно, был человек,— сказала мать,— раз он так заботился о своих потомках. Пегги, это очень вкусно, только я не должна есть так много мучного.

— Ешьте, ешьте побольше. Теста еще целая тонна.

— Ну, мне конец! — воскликнула мать, и я поспешил расхохотаться, а то она, кажется, в самом деле вообразила, что ее хитро и обдуманно убивают.

После завтрака мы с матерью отправились заводить трактор. Было около десяти часов. На ферме время обладает способностью неуловимо растягиваться и сжиматься. Бывало, в детстве, приду я домой, до одури натоптавшись на расставленных ногах между густо заросших грядок с клубникой, спина у меня вся взмокла, в глазах рябит от напряженья, с которым высматривал красные пятнышки в зелени листьев, четыре полных корзинки надеты на правой руке, да еще две таких же несу в левой, приду — и сразу к часам на каминной полке, а на часах (Наверно, остановились! Уж не умер ли дедушка? Я воображал, что часы, как в песенке, соединены с дедушкиным сердцем.) — на часах еще только половина десятого, день едва начался. Но в тот же самый день (и таких дней было много), на минутку присев на диван с журналом, чтоб быстрей переварить обед, наскоро состряпанный бабушкой, невзначай подниму глаза и увижу, что тень от сарая протянулась уже до почтового ящика, а у ящика стоит запыленный «шевроле» почтальона — каким-то образом успели надвинуться сумерки.

Сегодняшний день и все поля, ожидавшие этого дня, казалось, готовы были обрушиться на нас, как вал прибоя, стоит только разбудить спящий трактор. Мать в спешке прибавила шаг, но сразу же схватилась за грудь рукой — начала задыхаться. При дневном свете видно было, как все кругом удручающе заросло подорожником и лопухами.

Наш трактор, древний серенький «форд» с узким капотом, напоминающим морду мула, содержался раньше под тем самым нескладным навесом у конюшни, который мать в конце концов велела снести. Стоя там среди ошметков соломы на выщербленных бетонных плитах, он был укрыт от дождя, но не защищен от ветра, который в непогоду гнал под навес звонкие напоминания о разверзшихся хлябях небесных. Для меня, тогда еще подростка, этот уголок обладал необъяснимой притягательной силой — все зарубки и отметины на столбах и опорах словно жили своей жизнью; сколько раз, проводив взглядом мать, которая, обгоняя отца, бежала под дождем к дому, я прислушивался к тиканью остывающего мотора, точно это сердце друга билось рядом со мной.

Теперь трактор стоял в самой конюшне, куда не заглядывало солнце, и в воздухе пахло навозной пылью. Мать отыскала в яслях масленку и смазала ходовые части; масленка издавала полый фукающий звук, похожий на механическое сосанье. Я открыл капот и залил в бак горючее. Бензин тек из канистры бледно-лиловой струей, но в баке сложная алхимия светотени делала его золотистым. Мать уже не отваживалась выполнять сама эту требующую силы операцию. Но мотор завела она; неожиданно лихо подпрыгнула, встала одной ногой на подножку, ухватилась за истресканную резиновую баранку и взвалила свое грузное тело на железное седло. Сказать по правде, меня, как когда-то и моего отца, повергали в полную растерянность и панику такие утонченные загадки, как севший аккумулятор, чихающий мотор или засорившийся бензопровод. Но у матери было цепкое чутье технического профана; не прошло и минуты, как дряхлый мотор содрогнулся, ожил и так оглушительно затарахтел, что ласточки метнулись в синий прямоугольник неба, который теперь, когда навеса не стало, начинался прямо от двери.

Довольная, мать уступила мне место. Металл был теплым. Я попробовал ногами педали, поставил рычаг на первую скорость, включил сцепление и, уродливо переваливаясь с боку на бок, выехал из-под навеса. Мать крикнула вслед, и я потянул за рычаг, приподнимавший громоздкую косилку, чтобы она не билась о камни; слыша за спиной ее тряское громыханье, я повел трактор к газону.

Пегги и Ричард смотрели с крыльца на это представление одного актера — стареющего актера с полуседой головой и с дряблыми мускулами горожанина, пытающегося с увлечением сыграть юношескую роль. Они явно были поражены моими успехами; я помахал им рукой, хотел даже остановиться, но у меня еще не возник автоматизм в управлении машиной, и я побоялся застрять. Без напряжения таща за собой неуклюжую полусферу, я поднялся по травянистому склону, пересек пешеходную тропу, выехал на дорогу, миновал наш почтовый ящик и направился к верхнему полю. Большие колеса вращались настолько медленно, что, глянув вниз, можно было увидеть, как зубцы ободьев появляются один из-за другого, точно шлемы бойцов наступающей армии. Трактор не был для меня чем-то с детства привычным и потому все еще вызывал мое восхищение. Я дивился тому, как система передач превращает его рахитичный моторчик в неиссякаемый источник мощи, а эта мощь оборачивается готовностью делать добро, удовлетворять нужды с царственной снисходительностью и величием.

На поле я снова дернул рычаг и опустил косилку. Трактор, придавливая на кочках неровную землю, послушно шел туда, куда я его направлял, но в общем травоядный процесс увлекал его в сторону далеких озер Королевы Анны. Трава цеплялась за выступы металла вровень с моими ногами. Ухо быстро привыкло к шуршанию и скрипу, теперь это были просто оттенки тишины; косилка, волочась за трактором, оставляла ровный след, как будто позади разворачивался рулон нешироко полотна. Ласточки, преследуя взлетающих из-под колес насекомых, носились вокруг меня, как чайки вокруг корабля. Поле было обширное, но я вел трактор не торопясь (мать приучила меня отдавать предпочтение третьей скорости, тогда как отец обычно косил на четвертой, и трактор у него зловеще трясся и буксовал); это укрощало пространство и вселяло уверенность, что я благополучно достигну маячащей далеко впереди полосы кустов сумаха и айланта — границы большого поля — и так же благополучно вернусь. Мать, когда косила, двигалась по спирали — объезжала поле вдоль краев и потом продолжала описывать все меньшие и меньшие круги или, точней, квадраты, пока не оставался только маленький островок в самом центре, похожий по форме на песочные часы, которые затем распадались на два треугольничка и наконец вовсе исчезали. У меня была своя система: я начинал с того, что стремительным движением по прямой рассекал поле надвое, а затем постепенно обстругивал каждую половину, действуя то на одной, то на другой, развлекаясь сложными фланговыми маневрами вперемежку с выкашиванием крохотных участков. Мне образцом служила война, ей — любовь. Но в конце концов скошенное поле выглядело у обоих одинаково, только у нее чаще попадались огрехи — в тех местах, где она свернула в сторону, чтобы не повредить замеченное гнездо фазана, или намеренно пощадила очень уж красивый полевой цветок.

Мимо самых колес трактора проплывали златоцвет, цикорий, блошница, льнянка с цветочками, похожими на крохотных балерин, застывших в антраша. Целые россыпи цветов двигались справа навстречу каждому обороту моего колеса, точно небосвод, усыпанный прихотливыми созвездиями, а слева лежали уже подсыхающим кормом для скота. Мошкара, потревоженная мной, не летела вслед, а тучей кружилась на прежнем месте, продолжая свой неумолчный разговор. Прямо из-под

колес выскакивали кузнечики; бабочки взмывали прочь от своей рушащейся вселенной, а потом вились над полегшей травой трепетно, как прикосновения немой наложницы к трупу любовника-великана. Солнце взбиралось все выше. Волны горячего воздуха расходились точно сияние от раскаленного капота, и видно было, как под их напором клонятся травинки. У трактора были бока в мыле, а я, покачиваясь на железном сиденье, по форме напоминающем женские бедра, один среди природы, укрытый пылающим зноем не хуже, чем ночной тьмой, невесомый, взбудораженный своим разрушительным делом, чувствовал, как во мне нарастает возбуждение, и, думая о Пегги, не пытался с ним совладать. Моя жена — поле.

■

Разворачиваясь на краю поля, я увидел вдали движущееся розовое пятнышко — по дороге шла мать. Время близилось к полудню. Волосы у меня на темени стали жесткие и сухие, как сено. И вдруг я расчихался, громко, неудержимо; казалось, каждый кубический дюйм воздуха плотно забила невидимая цветочная пыльца; слезы застлали мне глаза, и я чуть было не задавил двух перепелов — они вспорхнули прямо из-под колес. Я не сразу заметил, что мать не одна: с нею были Пегги, и Ричард, и собаки, восторженно носившиеся взад и вперед. Я поравнялся с ними и выключил зажигание. Мать сказала:

— Бедный мальчик, это тебя с самого утра схватило?

— Что «это»?

— Да насморк твой.

— Нет, только когда я увидел вас.

— Когда увидел нас? — Она оглянулась на Пегги и сказала: — Он думает, это у него психосоматическое.

Пегги принесла мне лимонаду в стеклянной банке с проволочной ручкой, прикрепленной к ободку — в старину такие употребляли для консервирования. Я нарочно дотронулся до ее руки, когда брал лимонад, но ничто не дрогнуло в ее взгляде, настороженном, хоть и приветливом. На ней были белые шорты и желтая блуза-безрукавка, слегка потемневшая там, где проймы терлись о влажное тело. Когда я отнял банку ото рта, она машинально облизнула свою верхнюю губу с усиками пота, и мне почудилось в этом не только сочувствие, но и страх. Она оставила замечание матери без ответа и пристально всматривалась в меня, точно стараясь припомнить, где это мы встречались раньше.

Я спросил:

— Ну, что вы все утро делали? Обедать не пора еще?

Отозвалась мать.

— Ты всего только час, как выехал в поле,— сказала она.— Мы помыли посуду после завтрака, а теперь решили прогуляться по ферме, как вчера уговаривались, и собак вот тоже взяли. Хочешь с нами?

— Надо кончать покос.

— Ты уже много успел сегодня. Какую даешь скорость?

— Третью.

— А следишь, чтобы не разрушать птичьих гнезд?

— Пока мне ни разу не попадались.

— Я когда подходила, видела, как ты спугнул двух перепелов. За камни часто задеваешь?

— Только чиркнул об один — вон там, на повороте.

— А, тот, большой. Отец, бывало, как проедет, так краешка нет. Казалось бы, за это время он уже должен был совсем с землей сравняться.

Ричард сказал:

— Тракторы, они так медленно двигаются.

По лицу матери я понял, что она на что-то решилась. Она повернулась к Ричарду и сказала:

— Это потому, что они как люди, которые скоро должны умереть — ноги у них не на земле, а в земле.— Она старалась зацепить меня, как крючком, мыслью о ее близкой смерти.

У Ричарда сделалось растерянное выражение лица. Я рассердился на мать за то, что она смутила его.

— Хочешь сесть за руль?

Этот злополучный вопрос был задан мной не только со зла, в отместку матери. Я знаю, что я человек слабый, и мне всегда хочется, чтобы вокруг меня всем было ясно, что кому можно и чего нельзя,— это одно из проявлений моей слабости. Я не выношу, если надо мной висит что-то, не высказанное вслух. А моя мать, напротив, чувствует себя как рыба в воде в атмосфере недоговоренности, когда все только подразумевается и еще может быть повернуто по-другому.

Ричард ответил небрежным баском:

— Ничего не имею против.

— Ни в коем случае.

Не поторопись Пегги, мать, может быть, не сочла бы нужным прочно занять оборону.

— А что,— сказала она,— Сэмми Шелкопф был вдвое моложе Ричарда и вдесятеро глупее, когда стал водить трактор.

— Да, и оттяпал Митци задние лапы,— заметил я.

— Когда я путешествовал с папой, он мне давал править моторной лодкой на озере.

— Ни в коем случае.

— Ну, маме виднее, Ричард,— сказала моя мать мальчику. А потом обратилась ко мне, пробуя, держит ли крючок.— Может, пойдешь с нами прогуляться? Боюсь, не было бы у тебя солнечного удара.

— Нет, я буду косить до обеда.

Я буду косить, а мать поближе познакомится с Пегги; таков был наш негласный уговор. Пусть пообщаются втроем, без моего участия. Я чувствовал их смутную неприязнь друг к другу и боялся запутаться, оказавшись между ними; кроме того, я видел, как мать обиженно отвела от меня взгляд, а Пегги поджала губы,— вот, может быть, досада на меня объединит их. Они ушли, осторожно ступая по скошенной траве: Пегги боялась исколоть почти незащищенные босоножками ноги, а мать, наклонясь к земле, проверяла мою работу — нет ли где разрушенных гнезд, зарезанных птичек. Ричард, по примеру собак, стал носиться взад и вперед, гоняясь за бабочками-капустницами или ловя плавающие в воздухе пушинки. Я с гордостью отметил, что и мать и Пегги — рослые, крупные женщины. Право навязывать свою волю таким — почетное право, и от этого я казался себе еще важней и богаче, победно плывя вперед на тяжелых колесах, обращавших буйную поросль травы и цветов в унылые пласты скошенного сена.

Сделав пять или шесть заходов, я увидел, как из дальней рощи показалось несколько разноцветных пятнышек, двигавшихся в сторону дома по отлогому склону, у подножия которого торчали развалины табачной сушилки. Разрезвившиеся собаки, бегущий вприпрыжку мальчик, устало шагающие женщины; я наблюдал за ними, пока мой трактор медлительно разворачивался у границы поля, и мне чудилось, будто я за одну веревочку удерживаю их всех на месте.

Около полудня по небу, словно круги перед глазами, пошли полупрозрачные голубоватые облака. Поднявшийся ветерок быстро остудил и высушил с одной стороны мое потное тело. Скошенная трава из зеленой становилась грязновато-серой там, где набегала тень очередного проходящего облака, а над рощей небо было густого, но тусклого оттен-

ка, точно полоса обоев, открывающаяся, когда отодвинут долго простоявший на одном месте диван. Разделенные просветом шириной в двадцать тракторов, еще ждали моего натиска два каре нескошенной травы, но тут прибежал Ричард звать меня обедать.

В уголке маленького верхнего поля, за дорогой, росла высокая старая груша, формой напоминавшая беспорядочно бьющий фонтан. У нее было много ветвей засохших и мертвых, и всю свою плодоносную силу она направляла на те несколько, в которых еще сохранилась жизнь; груш было такое множество, что они падали, не успев в тесноте дозреть. Я поставил трактор в тень дерева, на траве, пропитанной соком гниющих, источенных червями плодов.

Мы с Ричардом вместе пошли к дому. Жесткая ткань отцовского комбинезона стесняла мой шаг, саднило ладони, потемневшие от многочасового сжиманья резиновой баранки, рябило в глазах — все это было приятно, давало ощущение сделанного дела, чего моя настоящая работа никогда мне не дает. Я спросил Ричарда:

— Ну как погуляли?

— Хорошо. Видели тетерева и еще дрозда, особенного какого-то. Твоя мама знает, как все называется.

— А ты зато знаешь имена всех американских футболистов.

— Так это же можно прочесть в газетах.

— Что верно, то верно. У матери водятся кой-какие книжки по природоведению, попроси у нее, если хочешь.

— Ладно.

— У меня почему-то картинки никогда не увязывались с тем, что я видел в жизни. Разрыв между идеалом и действительностью.

— Очень древняя философская проблема.

— Или просто картинки были дрянные.

— Я утром прочел еще одну повесть из того сборника. Про мути — это сокращенное «мутанты». Действие происходит после атомной войны...

— Как, опять?

— Нет, тут другое. Тут уже уцелело много людей, но радиация перепутала все гены, и вот дети стали рождаться со всякими ненормальностями. Большей частью это были просто уроды, но иногда получался усовершенствованный человек — ну, например, с четырьмя руками или еще что-нибудь. В пересказе выходит как-то глупо...

— Нет, почему же.

— Ну так вот, там говорится про мальчика, который родился с колоссальным КУС — коэффициентом умственных способностей. Когда ему было полтора года, он прочитал весь словарь, чтобы выучиться языку.

— А как насчет увязки слов с тем, что он видел в жизни?

Ричард принял мою шутку всерьез.

— Я еще не дочитал. Там же восемьдесят семь страниц.

Несколько минут мы молча шагали по пыльной дороге. Потом он сказал:

— У моего папы очень высокий КУС.

— А скажи, мама осталась довольна прогулкой?

— Кажется, да. Она мне не велела кидать камни, а твоя мама сказала: если я не в кого-нибудь живого кидаю, тогда можно.

— А твоя мама не ссорилась с моей мамой?

— Мм?

— Поладили они, как тебе кажется?

— Когда мы вернулись домой, твоя мама сказала моей маме, чтобы она вымыла ноги желтым мылом, а то у нее сделается крапивница.

— Это как будто непохоже на ссору.

— А я разве сказал, что похоже?

У нас еще оставалась минутка для разговора, пока мы шли по газону к кухонному крыльцу. Я сказал:

— Вечером я поищу свою старую бейсбольную биту, можно будет поиграть. Мальчишкой я посылал теннисный мяч в стену сарая и потом старался отбить, не дав ему удариться о землю. Каждый удар засчитывался за одно очко.

— Можно придумать очень много игр, чтобы играть одному, если не с кем.

— Мне всегда было не с кем. Ты, кажется, первый, с кем я тут могу поиграть.

— А Чарли?

— Своих детей я не считаю.

— Честно говоря,— сказал Ричард,— я бы охотней помог тебе косить.

— Об этом мы еще поговорим.

Мы поравнялись с водопроводной колонкой. Какое это чудо — вода! Ничто — ни насытившаяся похоть, ни вид земного простора — не вселяет в нас такого глубокого чувства успокоения, как утоленная жажда. Я напился из жестяной мерной кружки, которую мать как-то позабыла у колонки, а потом время освятило ее присутствие здесь в качестве неотъемлемой принадлежности. Ее градуированная стенка, прижимаясь к моим губам, становилась стеной пещеры, где под шелест моего дыхания плескалась холодная колодезная вода. Сквозь сомкнутые веки синь неба казалась красной; в эту минуту я бы счастлив был утонуть. Чувство благодарности стихиям вошло со мною в дом и распространилось на женщин, готовивших еду. У Пегги косички расплелись и волосы в беспорядке лежали на плечах. Ее только что вымытые босые ноги оставляли на полу мокрые следы. Сроднившись с нею в домашних хлопотах, мать казалась ее послушной, туповатой сестрой. Она расстилала на столе плетеные салфеточки под каждый прибор, а Пегги, проворно двигая голыми руками, укладывала на овальное синее блюдо ломтики сыра и болонской колбасы. Блюдо было из сервиза, который мать собрала, вещь за вещью, на Дамских вторниках, которые до войны регулярно устраивались в олинджерском кино. Хозяйство моей матери имело ту особенность, что вещи в нем были вечны; на моей памяти не разбилась ни одна тарелка. Я чувствовал, что она содрогается, слыша, как Пегги брякает тарелками и стаканами, ставя их на стол.

Мать заговорила, слегка откашлявшись:

— Когда я работала на парашютной фабрике, там была одна рыженькая, рядом со мной сидела, так она успевала скроить целых три, пока я управлялась с одним. В День вторжения нам сказали взяться за руки и прочесть молитву, и вот помню, держу я ее руку, и мне кажется, будто это у меня в руке птичка — такая сухонькая, горячая, а сердечко так и колотится. Не мудрено, что она с такой быстротой работала. Мне даже страшно стало.

Пегги засмеялась:

— А может, ей тоже было страшно, может, она боялась вас?

Мать пожала плечами и приподняла брови, в точности как дедушка, когда ему неожиданно противоречили.

— Пожалуй, она меня в самом деле побаивалась. Ей просто казалось невероятным, как это можно быть такой копушей. Помню, она мне потом признавалась, что первое время принимала меня за беженку. Как увидела меня, сразу решила, что я беженка из-за границы, и очень удивлялась, что я так хорошо говорю по-английски.

Теперь засмеялся Ричард, пожалуй, чересчур весело, и я на всякий случай поспешил вступить в разговор.

— А что с ней потом сталось?

— Сама не знаю,— сказала мать.— Наверно, ничего хорошего. Ей тогда шел девятнадцатый год, а у нее уже был ребенок — без мужа. С таким пульсом только беды и жди. Как он у нее бился — точно подшибленный скворец.

Что-то мне показалось странным в лице матери; я не сразу разобрал, что она усвоила себе привычку, заканчивая фразу, округлять глаза — привычку многих пенсильванских стариков. У дедушки этот ораторский эффект еще усиливался выпуклыми стеклами очков, которые он носил после снятия катаракты.

— Кушать подано,— сказала Пегги, разливая суп по тарелкам. Пар клубился вдоль ее руки и уходил в распущенные волосы. Она поставила кастрюлю обратно на плиту, и мы сели за стол. Суп был из курицы, с рисом.

Восседая на бывшем отцовском месте, я отеческим тоном спросил Пегги:

— Ну как, познакомилась немножко с фермой?

— Да, и мне она очень понравилась,— сказала Пегги, полуобернувшись, чтобы обращаться не только ко мне, но и к матери.— Я теперь знаю точно, до каких пор она тянется. Вчера вечером мне показалось будто ей конца нет, но при дневном свете видно, что она не такая уж большая.

— Не большая и не маленькая,— подхватила мать, будто торопясь подтвердить слова Пегги раньше, чем они отзвучат.— Как раз такая, как нужно. Человек не создан жить на площади меньше восьмидесяти акров.

— По статистике многие живут на меньшей,— сказал Ричард.

— Знаю,— ответила ему мать.— И всегда скорблю, когда думаю об этом. Даже непонятно, почему мне так посчастливилось в жизни. Я совсем не заслуживаю такого счастья.— Она помолчала, ожидая возражений.

— К две тысячи сотому году,— сказал Ричард,— на каждого человека будет приходиться около квадратного ярда земли, считая пустыни и горы.

— Знаю,— сказала мать, и я внутренне шарахнулся от фанатизма, который зазвенел в ее голосе.— Я вижу, как это надвигается. Это видно даже в Олтоне — там люди уже стараются стать поугловатей, чтобы легче было втиснуться в свой жалкий квадратный ярд. А ведь человеку положено быть круглым.

Ричард вставил:

— Я недавно читал один рассказ, так там люди имели форму конуса, а двери все были треугольные.

— Платон утверждает,— сказала моя мать мальчику,— что бог создал людей совершенно круглыми, о четырех руках, четырех ногах и двух головах, так что они не ходили, а катались и притом со страшной быстротой. И такие они тогда были сильные и счастливые, что бога зло взяло, вот он и разрезал каждого на две половинки, с небольшой только разницей, и теперь каждый старается найти свою половинку. Это и есть любовь.

— А в чем разница?— спросил Ричард.

Мать ответила:

— Разница маленькая, совсем пустячок.

— Вы имеете в виду пенис?

У нас дома я никогда не слышал в детстве этого слова — вместо него употреблялось, смешно вспомнить, несуществующее слово «пепик». Бывало, когда мы с отцом одеваемся поутру, а мать еще лежит в постели, она посмотрит и скажет: «До чего же большие пепики у моих муж-

чин». И чувствуя, что притворный страх, с которым она это говорила, не совсем притворный, я недоумевал — мой-то был меньше мизинца, а на отцовский я не смотрел.

Мать была шокирована вопросом Ричарда.

— Да,— сказала она.

— Есть разница и в психологии,— заметила сыну Пегги.

Но мать не любила, когда ее мысли развивали другие.

— Никогда не верила в это,— объявила она.— Я человек простой, верю только в то, что могу увидеть или ощутить.

— А бог?— спросил Ричард.

Мать от неожиданности дернулась вперед и, чтобы оправдать это движение, взяла с блюда еще ломтик колбасы.

— Бог?

— У нас был про это разговор еще когда мы сюда ехали. *Он* (это я) сказал, что вы верите в бога.

— А ты не веришь?

Ричард оглянулся на нас, Пегги и меня, в ожидании помощи, но помощь пришла со стороны самой матери. Она сказала:

— Я все время вижу и ощущаю бога.

Он поднял на нее глаза, снова заблестевшие, как у завороженного лягушонка.

— Если бы я жила не здесь, на ферме, где я его вижу и ощущаю, если бы я жила в Нью-Йорке, не знаю, верила бы я или нет. Вот потому-то и важно сохранить ферму, понимаешь? А то люди вовсе забывают, что на свете есть еще что-то кроме камня, стекла и метро.

— В Небраске ферм очень много,— сказал Ричард.

— Я живу не в Небраске.

— Мы много ферм проезжали, когда ехали по автостраде.

— Мне те фермы не нужны. Мне нужна *моя* ферма.

Усилием своего детского ума, таким, что даже губы у него плотно сжались, он понял, что дело тут не в упадке фермерского хозяйства вообще, а в чем-то глубоко личном. Он вернулся к своему первому вопросу, но поставил его несколько иначе.

— А как вы можете ее использовать?

Не спуская глаз с Ричарда, мать пальцем указала на меня.

— Он говорит, что поле для гольфа обошлось бы слишком дорого.

— Куда мы с папой ездили, там большие пространства невозделанной земли отведены под заповедник для птиц. Но там есть озеро.

— Ну что ж,— сказала мать.— Можно сказать, что здесь заповедник для людей.

Ричард приоткрыл рот, словно собирался засмеяться, но смеха не последовало.

— Такое место,— продолжала мать,— куда могут приехать люди, чтобы хоть час-другой побыть беженцами вроде меня, пообтесать свои углы, попытаться снова стать круглыми, как когда-то.

Я почувствовал, что не могу больше выносить эти сентиментальные бредни, гипнотизировавшие впечатлительного мальчика скрытой в них ноткой отчаяния.

— Мама,— сказал я.— Ты очень преувеличиваешь земельный кризис. Садись в самолет, сверху увидишь, сколько еще у нас земли. Она стоит дешево, пока ей применения не найдут.

— Тс-с,— отозвалась мать.— Мы с Ричардом задумали устроить тут заповедник для людей. Я буду сидеть под старой грушей и продавать билеты, а его мы назначим смотрителем, и он будет отбирать больных, на предмет истребления.

— Странный у вас заповедник,— сказала Пегги.— Похож на концентрационный лагерь.

— Пегги,— сказала мать, и блики света вдруг заиграли в ее увлажнившихся глазах.— Когда человек уже не годится на то, чтобы жить, кто-то должен ему сказать об этом. Нельзя полагаться на его собственную догадку, потому что это такая вещь, которую себе не скажешь сама.— И она встала и выбежала из кухни, хлопнув дверью; ее розовая кофта кричащим пятном мелькнула среди зелени за окном.

■

После обеда стала собираться гроза. У прозрачных облаков отросли плотные брюшки, и поднявшийся ветер гнал их куда-то вбок. Успев позабыть, какой захватывающий спектакль разыгрывают порой облака в нашей холмистой местности, я теперь с интересом наблюдал его со своей тракторной трибуны. Через весь призрачный материк над моей головой шла цепь просвеченных солнцем укреплений, словно бы возведенных по строгому стратегическому плану; и оттуда, чередуясь, протягивались к земле косые полосы света, тени и клубящегося пара; масштабы зрелища были величественны, как масштабы истории,— оттого, должно быть, все эти смены, разрывы и сцепления облаков разного сорта приводили на ум политические ситуации: небо, покрытое кучевыми — «барашками»,— было парламентом, где, тесня аристократию перистых, демагогом наступала темная грозовая туча.

Вспышка гнева или отчаяния матери оставила непроходящую тяжесть на сердце. После того как хлопнула дверь, Пегги спросила меня:

— Что-нибудь я не так сказала?

— Не знаю, может быть.

— Но что же именно?

— Да нет, ничего. Сказала то, что думала.

— А разве нельзя? По-моему, она просто нарочно все принимает на свой счет.

— Она иначе не умеет.

— Что бы я ни сказала, она бы нашла к чему придраться — не одно, так другое. Нельзя так давать волю своему дурному настроению, она пользуется им, как оружием.

— Станешь когда-нибудь такой старой и больной, рада будешь пользоваться любым оружием.

Ричард спросил:

— Можно, я пойду спрошу, чего она рассердилась?

— Иди, если хочешь.— Меня поразило и тронуло его желание. В его возрасте я часто выступал в роли домашнего миротворца; впрочем, эта роль сохранялась за мной вплоть до смерти отца.— Ей нравится рассказывать тебе про ферму.

— А мне нравится слушать. И вообще мне здесь нравится.— Он искоса глянул на Пегги, вскочил — и дверь хлопнула снова, на этот раз за ним.

Пегги, убирая со стола посуду, спросила:

— Что мне делать?

— Как это, не понимаю.

— Я тебя спрашиваю, что мне делать — сегодня, сейчас. Чтобы как-нибудь дотерпеть до конца этого веселенького визита.

— Делай что хочешь. Читай. Принимай солнечные ванны.

Очередная коалиция облаков распалась, и всю зелень, видную мне в стекле кухонной двери, залило солнцем — угол фруктового сада, лохматую траву у самых ступеней, свешивавшуюся сверху ветку орешника, блеклый куст гортензии, который уже давно отцвел.

— Не знаю, не знаю,— сказала Пегги, отбрасывая с лица волосы.— Все это слишком сложно для меня.

Я сказал:

— Не вижу ничего сложного. Немножко больше такта, и все.— Я сам не знал, отчего говорю так сердито.

В затянутом проволочной сеткой окне появилось лицо Ричарда.

— Мам, я иду полоть с миссис Робинсон. Она меня научит отличать сорняки. Мы на огород идем, который за фруктовым садом.

— Смотри, чтобы солнце не напекло тебе голову,— сказала Пегги.

В окне над головой Ричарда появилось лицо моей матери. Сетка стирала его черты и делала его похожим на лицо статуи, извлеченной со дна моря.

— Не обижайся на меня, Пегги,— крикнула она.— Ты была совершенно права насчет концлагеря. Это все моя тевтонская страсть к порядку. Составь посуду в раковину, я потом вымою.

Мы услышали их удаляющиеся шаги.

Пегги потянулась мимо меня за тарелкой. Я погладил ее грудь, совсем маленькую под натянувшейся от движения материей, и сказал:

— Вот мы и одни остались. Давай поиграем.

— От тебя сеном пахнет,— сказала она.— Мне захочется чихать.

Я почувствовал, как все ее тело враждебно напряглось. И я ушел от нее — косить под клубящимися облаками.

Косьба становилась все меньше похожей на идиллию по мере того, как двигалось время, двигавшееся, впрочем, очень медленно. Около трех, как мне показалось, я пошел напиться и увидел, что часы, тикающие в пустой кухне, показывают еще только десять минут третьего. За домом, где росла такая нежная травка, что косить ее не составляло труда, на разостланном индейском одеяле, лежала Пегги в бикини и словно бы дремала.

— Ты спишь?

— Нет.

— Хорошо тебе тут лежать?

— Так себе.

— А где моя мать с твоим сыном?

— Они собирались полоть.

— На огороде их не видно.

— Ну, еще куда-нибудь пошли.

— Ты что же, за все время ни разу не сходила их проведать?

— Я только полчаса, как вышла сюда. Мыла посуду, прибирала немножко. Во всех углах паутина. Она хоть когда-нибудь подметает в доме?

— Этими делами очень рьяно занималась ее мать, оттого, наверно, у нее самой нет к ним привычки.

— Всегда ты стараешься найти ей оправдание.

— Это вовсе не оправдание. Просто логическое объяснение, как сказал бы Ричард.

Моя жена лежала ничком, волосы у нее были закинуты с затылка наперед, и казалось, будто она стремглав падает откуда-то с высоты; теперь она перевернулась на спину, подставив живот солнцу, и заслонила глаза рукой, покрытой легким пушком от кисти до локтя.

Губы ее приоткрылись под горячим прикосновением солнечных лучей. Я сказал:

— Люблю тебя.

Она лежала, слегка разведя ноги в стороны, и кое-где видны были завитки рыжеватых волос. По ее светлому телу, наготы которого почти не скрывали две узкие полоски светло-лиловой в горошек ткани, вдруг пробежала дрожь, как у капризного ребенка, если до него неожиданно дотронуться. Я до нее не дотрагивался, не смел. Не сдвигая лежащей на глазах руки, она отозвалась:

— Что-то я здесь этого не чувствую. Слишком уж ты — как бы это сказать? — занят. Мне кажется, ты все время мысленно суетишься вокруг нас обеих, и от этого все идет еще хуже.

— А разве что-то шло плохо?

— Очень плохо, и ты с самого начала знал, что так будет.

— Ричард, по-моему, доволен.

— Она к нему подделывается, чтобы через него добраться до меня. А вообще у меня нет больше сигарет, и, кроме того, началось это самое.

— А тампекс у тебя есть?

— Тоже нет. Я не ждала так рано и не захватила.

— Может, у матери есть?

— Уж не такое она чудо природы, миленький мой.

Я покраснел — мне ведь просто вспомнилось, как лет десять назад, оказавшись в подобном затруднении, Джоэн всегда находила у матери все, что нужно. В приливе царственного великодушия, не вязавшегося с моим нелепым видом в отцовском комбинезоне, я в эту минуту готов был подарить Пегги ребенка, чтобы избавить ее от кровотечений.

— Скажу сейчас матери, что надо снарядить экспедицию за покупками. Наверно, и что-нибудь из еды не мешает купить.

— Мы, кажется, проезжали какую-то лавку примерно за милю до поворота сюда.

— Это компании Хертц. Заведующий там — менонит, и сигаретами не торгует. Сигареты можно достать не ближе, чем миль за пять по дороге к Олтону — у Поттигера в Галилее.

— В Галилее?

Повторив, она словно произнесла заклинание. Мир превратился в чашу, до краев наполненную светом. Я поднял глаза и замер: луг, трава возле дома и все, что росло между ними,— молодая акация, куст орешника, голубая ель, которая мне когда-то была по плечо,— все потонуло в сверкающей тишине, совершенной, зримой тишине, подобной коротенькой паузе в непрерывном течении жизни; каждый восковой листок и серебряная былинка были высвечены августовским неярким солнцем так бережно, что сердце у меня дрогнуло, как от удара. Потом, постепенно размывая волшебное видение, стали доходить до меня голоса птиц и насекомых — вечный аккомпанемент деревенской тишины.

Солнце спряталось. Пегги по-прежнему прикрывала глаза рукой. По дороге проехал почтальон на машине, за которой вилось облако розовой пыли. Я побежал к почтовому ящику, но там ничего не оказалось, кроме циркуляра почтового ведомства и письма для матери от д-ра И. А. Граафа. В дальнем конце фруктового сада показались мать с Ричардом, они шли из рощицы, которая отделяла нашу землю от пустошей, ожидавших застройки. Я пошел фруктовым садом наперерез, отдать матери почту и сговориться насчет покупок.

— А мы только что видели лисий помет,— объявил Ричард.— Он темный и не такой твердый, как у сурка.

— Лис опять много развелось,— сказала мать.— У нас так: то на лис урожай, то на фазанов, и сейчас как раз лисий период. Пять лет назад фазанов было столько, что они иногда подходили прямо к кухонному крыльцу.— Она покосилась в сторону дома и увидела лежащую Пегги.— Надеюсь, Сэмми Шелкопф не сидит на веранде с биноклем,— сказала она.

— Это я посоветовал ей принять солнечную ванну. Она перемыла всю посуду и вытерла в гостиной пыль.

— Чудесно,— сказала мать с усмешкой; мой резкий тон было заставил ее отшатнуться.— Чудесно. Я вообще за природу — чем ближе к ней, тем лучше.

— Нам нужно купить сигарет.

— Ты же как будто бросил курить.

— Я бросил. Это для Пегги.

— Скажи ей, что от табака желтеют зубы.

— А мама курит не затягиваясь,— сказал Ричард.— Папа над ней всегда смеется за это.

— Когда это он успевает над ней смеяться? — спросил я.

— А когда приезжает за мной и когда привозит меня обратно.

— Пегги еще кое-что требуется,— сказал я матери.— По женской части.

— А-а!

— Так что кому-нибудь нужно съездить за покупками. Ты еще ездишь на своей машине?

— Только при крайней надобности. Боюсь, после того случая в июне, как бы вдруг не потерять сознания за рулем. Я-то пусть, да ведь другие могут пострадать.

— Ладно, поеду сам. Что-нибудь из еды надо покупать?

— Наверно, надо. Сейчас взгляну, что есть в леднике, и посоветуюсь с Пегги.

Она назвала холодильник «ледником», и это сразу вернуло меня в мир Олинджера, детский мир, где каждая отлучка из дому была увлекательным событием.

— Так ты займись снаряжением экспедиции,— сказал я.— Могут принять участие все желающие. А я буду кончать покос, пока вы там собираетесь.

Мать приложила руку мне ко лбу, пробуя, нет ли жара.

— Не надо усердствовать сверх меры. Не забывай, ты ведь теперь горожанин.

— Он иногда, когда привозил меня обратно, оставался ночевать,— сообщил мне Ричард, польщенный в простоте души тем, что его слова не были пропущены мимо ушей.— И утром завтракал с нами.

Они пошли дальше, к дому. По дороге мать раз остановилась и, наклонясь, подняла валявшуюся в высокой траве мотыгу. Пегги встала им навстречу. Вероятно, то было мое воображение, но мне показалось, что она как-то бесстыдно качнула бедрами, как-то нахально отбросила лезшие в глаза волосы. Я видел ее первого мужа только раз: мы заезжали к нему в Нью-Хэвен за Ричардом по дороге из Труро, где прошел наш медовый месяц — две недели, из которых десять дней лил дождь. Полуразрушенные ступени, вырубленные в крутой скале над полоской пляжа, казались мне тогда лестницей Иакова, а отполированная прибоем галька — россыпью сказочных самоцветов; в дымке тумана тела наши становились зыбкими, неосязаемыми, но только не друг для друга, и когда Пегги засыпала рядом со мной под шорох дождя на крыше снятого нами домика с плетеными креслами и детективными романами военного времени и пепельницами из раковин морского гребешка, я был безрассудно счастлив — так счастлив, что мое сердце словно вырывалось за положенные человеку пределы блаженства и блуждало где-то на грани подступающей безнадежности, где всему неизбежно настает конец. Наш короткий срок уже истекал. Отец Ричарда — Пегги никогда не называла его по имени, а только по фамилии: Маккейб — был деканом в Йельском университете. Я приготовился его возненавидеть, но, к моему большому смущению, он мне понравился. Не выше Пегги ростом, румяный, застенчивый, с проглядывающей уже лысинкой, он казался типичным ученым, в котором робость уживается с апломбом. Мать когда-то мечтала, что я стану поэтом или на худой конец педагогом; я не оправдал ни одного из ее ожиданий. В Маккейбе я увидел то, чем мог бы стать сам. Физически он был как-то противоестественно молод. Теннис и бадминтон выработали у него пружини-

стую четкость движений. Хорошо очерченный рот с очень яркими губами напоминал вампира — я подумал, уж не сосет ли он кровь своих студентов. Натренированная улыбка легко появлялась на его лице. Как у Ричарда, у него были редко расставлены зубы, и это придавало ему что-то милое; глаза были без блеска, с поволокой; казалось, ему недолго по-детски расплакаться от огорчения. Профессиональная привычка к беседе сказалась при разговоре с нами в том особом, напряженном внимании, с которым он слушал, и, если Пегги вдруг нервно повышала голос, можно было заметить эту напряженность по тому, как шевелились его руки, высовываясь из манжет. С бывшей женой он держался просто и ласково, но был, видно, все время настороже.

После этой встречи мне настойчиво захотелось разобраться, кто же, собственно, от кого ушел. Раньше я понимал так, что это Пегги решила, Пегги настояла, Пегги захотела свободы и добилась ее; но какие-то искорки в круглых карих глазах декана Маккейба заставили меня усомниться на этот счет, и подчеркнутая горячность, с которой он мне пожал на прощание руку, еще усилила мои сомнения. Он словно очень многое спешил вместить в это короткое соприкосновение со мною, но я не знал что — жалость, готовность простить, стремление утвердить свое превосходство, чувство облегчения оттого, что я оказался таким безобидным, признательность, ненависть? Из ее рассказов я никогда не мог понять, что в нем было плохого. *Мы просто не подходили друг другу. Я это почувствовала первая, а у Маккейба хватило такта согласиться со мной.* Но все-таки что именно тебе в нем не нравилось? Он был злой? Путался с другими женщинами? *Нет, не то чтобы...* Как это не то чтобы? *Только когда я сама его до этого доводила.* А ты его доводила? *Поначалу ненамеренно, разумеется.* Она откинула со лба волосы. Так, может, он импотент? *Что за глупости. Скажешь тоже, Джой.* Ее протест казался преувеличенным, машинальным, идущим от выработавшейся привычки к самозащите. Не требовал же я от нее утверждения, что они вообще никогда не были близки. Или меня можно было так понять? Так чем же он тебе не угодил в конце концов? *Не знаю. Не могу объяснить. С ним я никогда не чувствовала себя до конца женщиной.* А со мной? *С тобой — да.* Но почему? *Ты со мной обращаешься как со своей собственностью, и это замечательно. Но мужчина не может быть таким по желанию. Просто вот ты такой.* А он нет? *Он был слишком занят собой, и оттого нерешителен. Я ему была в тягость. Он любил книги, любил мужское общество.* Потому он и не женился больше? Ей достаточно было сказать «да», но она сказала: *потому, а кроме того* — с довольной усмешкой — *ему кажется, что он все еще любит меня.*

Я косил, и в облаках, плывших надо мною, видел облака, которыми для меня был окутан этот развод. Небо из государства, окруженного цепью укреплений, и арены политической борьбы стало теперь местом, где шло вскрытие одного мертвого брака: то словно длинная рука легла во сне на чью-то исковерканную грудь; то темные дождевые облака сбились в кучу, точно адвокаты в пылу препирательств; а из пятиугольного голубого просвета мне вдруг явственно послышался резкий голос Пегги. Изо всех сил я гнал от себя мысль, еще подогретую матерью, что я дурак, что Маккейбу я был жалок и смешон. Если она спала с ним после того, как они разошлись, даже после официального развода, это может значить только одно: она старалась вернуть его, а он так и не захотел.

Загудел клаксон.

По дороге ехал старенький отцовский «шевроле», которым правила мать. Я остановил трактор прямо среди поля и отряхнул труху с сорочки. Рядом с матерью сидел Ричард. Я спросил:

— А Пегги где?

— Она решила не ехать. Неохота переодеваться.

— А ты ее ласково звала?

— Очень ласково — правда, Ричард? — Мать отодвинулась, уступая мне место за рулем.

— Она сказала, если мы можем без нее обойтись, она лучше побудет дома,— сказал Ричард.

Мне их объяснения не внушали доверия.

— Не слишком любезно. А ничего, что она тут останется одна?

— Господи боже мой,— сказала мать.— Мы всего-то четверть часа проездим. И собаки — надежная охрана. Я здесь уже семь лет днем всегда одна, а последний год и днем и ночью; и никто меня ни разу не тронул.

— Но...

— Хочешь сказать, что с меня взять нечего? — Она разошлась и уже не могла остановиться. Я хотел ее успокоить, но она не слушала.— Пожалуйста, оставайся с ней, а мы с Ричардом вдвоем съездим, не знаю только, что люди подумают, если я вдруг войду в магазин и спрошу тампекс. А впрочем, не все ли равно — в Галилее и так считают, что я не в своем уме. Но если хочешь знать, Пегги, по-моему, больше нас всех способна постоять за себя.

Я уселся рядом с ней и включил сцепление. Я не успел перестроиться после трактора, и старый «шевроле» неуклюже рванулся у меня сразу вперед. Как будто он был приучен отцом к бестолковой, оголтелой езде и эта привычка въелась в металл. Мы выехали проселком на узкую мощеную дорогу, а по ней добрались до главного шоссе штата, по которому ехали вчера после того, как свернули с автострады. За поворотом шоссе шло дальше на Олтон. Примерно через милю знакомая мне с детства неширокая асфальтовая лента развернулась в современное четырехрядное шоссе с разделительной полосой из серо-голубой щебенки. По сторонам стояли белые мачты с рефлекторами, пригнутыми над проезжей частью наподобие свода. Немного спустя шоссе врезалось в гору, которую старая дорога огибала. Мы промчались между гладко стесанных стен красноватой породы и поехали дальше совершенно неизвестным мне путем. Машина шла, будто не касаясь земли.

— Не пойму, где это мы едем,— сказал я.

— Сейчас мы на задах фермы Бенджи,— ответила мать. Бенджи Хофстеттер был наш родственник.— Штат заплатил ему немалые деньги,— добавила она с гордостью.

Угодья, по которым отец столько раз возил меня из школы и в школу, теперь остались в стороне, и если раньше наш паломничий путь разворачивался как свиток, в извечном порядке открывая глазу курчавые перелески, уютные прогалины, заклеенные плакатами стены, то теперь по обе стороны мелькал однообразный пейзаж пустырей — пожухлая трава и размокшая глина. Мать, в отличие от меня, это ничуть не смущало, и она оживленно объясняла мне, что по новой дороге до торгового центра в олтонском предместье не дальше, чем до Галилеи, которая прежде была на полпути.

По ее настоянию мы поехали в торговый центр. Когда я вылез из пыльного отцовского «шевроле», среди крикливого избытка товаров, звучащей отовсюду музыки, сюрреалистского засилья автомобилей, я почувствовал себя выходцем с того света. На этом месте в давние годы была городская свалка, в зарослях сорной травы ржавого цвета тлели одинокие зловонные костры. В магазине самообслуживания ничем не пахло, потому что каждая репка лежала аккуратно завернутая в целлофан, и в воздухе разлита была ровная, чуть кисловатая синтетическая прохлада. Я злился, видя, как жадно мать и Ричард шныряют по проходам с моими деньгами. Я хотел поскорее вернуться к Пегги, мне

было страшно: вдруг какой-то чудовищный зигзаг времени сделал ее старухой или вовсе смахнул в небытие и я останусь один в настоящем, один с этой зловещей тенью моей матери, этим голодным ребенком — моим двойником, этими акрами разноцветных суррогатов, всем этим омерзительным изобилием.

Мать и Ричард не торопились, у контрольных касс стояли длинные очереди, а когда все покупки наконец были снесены в машину, я решил, что Пегги с удовольствием выпила бы вечером джину с лимонадом. Винный магазин, принадлежавший штату, находился по другую сторону автомобильной стоянки. Белые линии отметок расползлись на обмякшем гудроне. Мать пошла с Ричардом в аптеку купить ему солнечные очки. Наша поездка нестерпимо затягивалась. Было уже ясно, что мы пробудем в отсутствии не меньше часу. Когда я гнал машину в обратный путь по широкой белой дороге, в которой не видел уже теперь ничего чудесного, мне все представлялась моя жена в страдальческих позах. Я думал о том, о чем предпочел бы накрепко забыть,— как она целых два года промучилась из-за моей нерешительности, терпя и обиды и унижения. Вспоминал то воскресное, озаренное бледным мартовским солнцем утро, когда мы встретились в парке после моего первого тягостного объяснения с Джоэн, происшедшего накануне. Ричард, виляя из стороны в сторону, разъезжал по аллее на велосипеде, который она подарила ему к рождеству; из экономии велосипед был куплен на вырост. Я рассказал ей, что обещал Джоэн выждать полгода, прежде чем принимать окончательное решение; и уговор был такой, что эти полгода мы с ней не должны видеться. Она слушала и кивала, все кивала головой, словно говоря, что согласна, что иначе и быть не может, что она понимает и ценит мою честность, и мое благородство по отношению к Джоэн, и мое душевное бескорыстие — и вдруг бухнулась мне в плечо головой, и выкрикнула прямо в ворс моего пальто: *Иди, Джой, иди!* — и шею мне обжег поток слез, стремительный, точно атака, и я понял, что вовсе она не умилена моей победой над любовью к ней, потому что она сама и была эта любовь, жила для себя только в моей любви и уже видела себя отвергнутой, покинутой, видела, как навсегда разлучает нас ускользающая вечность (серые аллеи, черные среди мартовской слякоти фигуры немногих прохожих, торопящихся в церковь, деревья, на которых уже набухают первые почки, нянюшки-негритянки в прозрачных ботиках),— а я ничего этого не видел и не знал. И дальше мне вспоминалось: вот она полусидит на постели, голая, облокотясь на подушку, ее плечи и стройная шея темным силуэтом выступают на фоне распущенных волос, сквозь которые просвечивает сияние городских огней за окном с голубоватыми стеклами; и вдруг раздается ее непривычно тоненький голос: *А ты меня не забудешь?* Когда это было? Тогда ли, когда я уехал якобы в Сент-Луис, а наутро проснулся в Нью-Йорке и увидел, что идет снег? На другой стороне улицы рос платан, доходивший до высоты ее окон, и каждый зародыш почки на его оголенных ветвях украшен был белым венчиком. Начав одеваться (синхронно с моим двойником в Сент-Луис, торопившимся, чтобы поспеть на девятичасовой самолет), я поставил на проигрыватель пластинку, которую подарил ей накануне, но любовь не дала нам времени послушать ее. Это был Бах в исполнении вокального джаза. *Во-де-о-у-у ла-ла ла-ла-ла.* Звенящая тарабарщина накладывалась на барочную партитуру, и словно бы в такт прихотливым ритмам этой музыки ветер гнал за окном мокрый снег, а Пегги заперлась в ванной, и слышно было, как там льется вода; в брюках и чистой белой сорочке, казалось, чуть липкой от духоты южного города, который на самом деле был далеко, я стоял босиком в центре мягкого боливийского ковра, не раз заменявшего нам постель,— стоял и, как зачарованный, не сводил глаз с окна; там, за подоконником, рябым от

насыпанных для воробьев крошек, сразу же начинался другой, близкий город; снег, и музыка Баха, и шум воды, льющейся в ванной пересекались в одной точке, и к этой точке пригвождено было мое сердце. Никогда еще я так остро не чувствовал, что счастлив, и никогда так ясно не сознавал всей хрупкости этого чувства, неверного, как бред. Наконец я собрался уходить, уже облачась в свой солидный костюм делового человека (мой беспорочный двойник летел в это время с юга на север),— и тут она неожиданно взмолилась: *Не приходи больше. Мне слишком тяжело каждый раз с тобой прощаться. Не сердись, я не виновата, я хотела быть тебе необременительной, приятной любовницей, но ничего у меня не выходит. Я слишком собственница. Ступай, вернись к Джоэн и постарайся не обижать ее. Не надо бы мне в тебя влюбляться, это все осложнило.* Но когда я впервые — и раньше, чем следовало,— сказал, что готов уйти от Джоэн к ней, она закричала: *Нет, нет! А твои дети? Мне никогда не искупить такой вины перед тобой!* Образы наплывали в моей памяти, болезненно искаженные, как отражения в воде. При встречах с Джоэн лицо у нее каменело в испуге, позднее переходившем в вызов, при расставанье оно, краснея, подергивалось от слез; когда мы снова оказывались вместе, я видел это лицо бледным и утомленным, и не раз, ложась со мною в постель, она принимала меня в свое тело, как принимают неотвратимый удар; вспоминая все это, я сам удивлялся, как я мог ее столько мучить, по какому праву заставил пройти через этот придуманный мною искус. А теперь она где-то там одна, беззащитная, может быть ставшая жертвой насилия — ведь у бога свои причуды, и его не смутит, что положенную ей долю страданий она уже вынесла.

Рядом испуганно вскрикнула мать. В мыслях спеша на помощь к Пегги, я превысил дозволенную скорость. Мать в машине всегда нервничала, точно молоденькая; странно было видеть, до чего дорога ей жизнь.

Выписав все петли очередной клеверной развязки — есть что-то театральное в их замысловатости,— мы съехали с широкого белого шоссе на старое, черное, потом тряслись несколько минут по мощеной дороге, наконец свернули на наш проселок — и тут я даже засмеялся от облегчения: Пегги, по-прежнему в бикини, полола огородные грядки.

От непривычки она делала много лишних движений, чересчур энергично ударяла мотыгой, и это еще подчеркивало ширину ее бедер, линию, плавно сбегавшую к щиколоткам, а потом, казалось терявшуюся в земле. Мы остановили машину под старой грушей, в тени немногих еще живых ветвей, на которые приходилось все бремя ее урожая. Мы вышли из машины. Голова у меня была тяжелая и болела.

— Что ты во мне нашел смешного? — спросила Пегги.

— Не обращай на него внимания, Пегги,— сказала мать.— Ты очень мила сейчас. Обычная мужская манера: заставляют женщин за себя работать, а потом еще смеются над ними.

Громче всех смеялся Ричард.

— Мам, ты как-то неподходяще одета,— сказал он.

Мать заметила:

— Смотри только не выдирай вместе с сорняками бобы, у них корни очень неглубоко сидят.

— Я стараюсь, чтобы у меня получалось так, как у вас,— сказала Пегги и грязной рукой откинула с лица волосы. Меня донельзя тронул вид ее босых ног с розовыми от лака ногтями, плоско стоявших на земле и до щиколоток облепленных грязью, как у ребенка или у цыганки; должно быть, проснувшееся во мне желание обдало ее волной, как может обдать волной тепла или запаха, потому что она вдруг беспокойно поежилась, и я понял, что словно выставил напоказ ее наготу, подчеркнул несообразность ее костюма.

— Что-то у меня голова болит,— сказал я, чтобы отвлечь внимание матери.— Не найдется ли в доме старой отцовской шляпы?

— Говорила я, что у тебя будет солнечный удар,— встревожилась мать.— Больше ты косить не будешь.

— Надо же кончить.

— Надо-то надо, но все хорошо в меру. Не коли мне глаза тем, что надо. Свалишься, так твоя жена скажет, я виновата.

— Солнце уже клонится к закату, мама. Пятый час.

— Пегги, правда ведь, не стоит ему сегодня продолжать? Вот так, бывало, его отец — заупрямится и не уйдет с поля, а потом его рвет всю ночь. Ни себе, ни другим не радость.

— На когда же откладывать? — сказал я.— Завтра ведь воскресенье.

— Ну и что ж, что воскресенье? — спросила Пегги, отмахиваясь от комаров.

— Мама никому не позволит работать в воскресенье,— ответил я.

— Так, так,— сказала мать.— Смейся над старухой и ее предрассудками.

Пегги спросила:

— Вы в самом деле считаете, что в воскресенье нельзя работать?

На этот раз я как будто выставил напоказ мать. Она сказала:

— В наших местах это не принято. Но, впрочем, заросшее травой поле глупой старухи подобно...

— Подобно чему? — спросил Ричард.

— Это из Библии,— сказала ему Пегги.

Мать продолжала:

— Словом, как хочешь, Джой. Но, мо-моему, ты уже довольно поработал. Остальное доделает Сэмми, или, если тебе уж так хочется кончить самому, можешь в будущую субботу приехать еще раз.

— Но это же глупо,— возразила Пегги, встревоженная такой перспективой.

Мать сердито обернулась к ней.

— Глупо или не глупо, а когда у моего сына такое лицо, значит, пора ему кончать работу.

— Какое это у меня лицо? — спросил я.

— Бледное, воспаленное.

— Уж что-нибудь одно — или воспаленное или бледное. Будет дождь; я хочу кончить хотя бы большое поле, пока он не полил. Не лишай меня возможности погордиться делом своих рук. Мне только нужна отцовская шляпа.

— Отец никогда не носил шляп. Как ты мог позабыть это?

— Дайте, я буду косить,— сказал Ричард.

— А что в самом деле,— сказала мать.— Пусть мальчуган пройдет ряд-другой. Ты ему покажи управление, а сам сядешь под грушей и будешь за ним присматривать.

— Ни в коем случае,— сказала Пегги.

— Ой, ну мам! Позволь! Я осторожно.

— Зачем ты его дразнишь,— сказал я матери.— Вот теперь он не успокоится.

— Я и не думала дразнить. Если я в пятьдесят лет могла выучиться, Ричард и подавно может. Ездить на велосипеде в нью-йоркской толчее куда мудренее.

Я возразил:

— Велосипед останавливается, как только ты захотел остановиться. А для трактора требуется целая система новых рефлексов.

— Ой, ну пожалуйста, пожалуйста.— Ричард весь трясся, как крышка на котле, в котором закипела вода; в его умоляющем взгляде, обращенном к Пегги, я уловил смесь робости и нетерпения, напомнившую мне его отца.

— Зря только расстроили мальчика,— сказала матери Пегги.— Об этом и речи быть не может.

Мать скривила рот в коротеньком смешке, всегда служившем ей самозащитой.

— Любой деревенский мальчишка его лет — уже давным-давно работник в доме.

— Он не деревенский мальчишка,— вставил я.

Мать охотно обратилась ко мне в попытке извернуться, задав совсем уж нелепый вопрос.

— Как же Ричард будет справляться с нашим семейным святилищем, если он даже трактор водить не умеет?

Но тут вмешалась Пегги:

— Ричарду ни с чем таким управляться не придется. Не рассчитывайте сделать из него второго Джоя.

Жестокость этого отпора была неожиданной и ненужной. Мать сразу сникла, видя, что хитрость не удалась, и сказала тихо:

— Милая Пегги, мне и одного Джоя довольно.

— Мне, пожалуй, тоже,— подхватил я.

Но ни та, ни другая не засмеялась, ни та, ни другая не взглянула на меня.

Ричард слушал, не понимая, что судьба его уже решена. Он стал дергать Пегги за нижнюю половину ее одеяния.

— Мам, ну я только поучусь немножко. Урок первый, Leçon Première.— Он подражал диктору телевизионного курса французского языка, который они слушали вместе еще до меня.

Она присела перед ним на корточки и обняла его своими длинными руками; бедра ее раскорячились, в углублении между грудями кожа была влажной.

— Ладно, можешь влезть на сиденье и подвигать рычагами — только при выключенном моторе. Но сперва помоги бабушке снести в дом продукты, которые вы купили.

— Вот это будет правильно,— сказала мать. Я затаил дыхание, чувствуя, как легко сделалось у меня внутри, лишь только распался затянувшийся было вокруг меня живой узел. Ричард сел в машину, и мать повела ее к дому. Я крикнул им вслед, чтобы поискали какую-нибудь шляпу. Пегги снова взялась за мотыгу. Я протянул руку и остановил ее.

— Прости,— сказала Пегги.— Она меня разозлила.

— Тут уж ничего не поделаешь. Ты очень хорошо вышла из положения.

— Я и сейчас не перестала злиться.

— Злись лучше на меня.

— На тебя я тоже злюсь.

— За что?

— От тебя никакой помощи. Ждешь, пока мы не сцепимся, а потом начинаешь нас мирить.

— Я держал твою сторону.

— Что-то я не заметила.

— Не мать же придумала, чтобы ему сесть на трактор, он сам стал проситься.

— А она подхватила. Идиотская затея.

Слово «идиотская» показалось мне лишним.

— Это ведь верно, что здесь все ребята работают на тракторе с малых лет.

— Идиотская затея.

— Ответь мне на один вопрос. Спала ты с Маккейбом после развода?

Пегги удивленно воззрилась на меня и перепачканной рукой откинула назад волосы, оставив на лбу грязный след.

— Почему ты вдруг об этом спрашиваешь?

— Ричард мне радостно сообщил, что папа иногда оставался у вас ночевать.

Когда Пегги не улыбается, левый уголок ее рта оттянут вниз, и это придает лицу брезгливое выражение.

— Опасаться мне было нечего. Я его знаю. И я считала, что так будет лучше для нас обоих.

— Еще бы.

Она пожала плечами в ответ на то, что прочитала в моих глазах.

— Простая бумажка не может сразу все обрубить.

— Это я знаю. Очень хорошо знаю. Ты забываешь, что у меня была полная возможность убедиться в этом.

— Вот и нечего на меня так смотреть.

— Я никак по-особенному на тебя не смотрю. Я просто смотрю и вижу, что ты очень красива, тебе даже и ни к чему такая красота, а мне всегда жаль, когда что-нибудь пропадает впустую.

— Что ж, можешь считать, что я не хотела пропадать впустую.

— Но ведь ты тогда и с другими мужчинами встречалась.

— Тогда — нет. Это ведь было вскоре после развода. Это очень давно было, Джой.

— Почему же Ричард так хорошо это помнит?

Она посмотрела вниз, туда, где рукоятка мотыги упиралась в праздно торчащее острие, и я так ясно увидел, что она лжет, как будто это было написано у нее на лбу грязным мазком, похожим на хвост кометы.

— Странное дело,— сказал я.— Почему-то мне все равно, если были другие, а вот если Маккейб, не все равно, хотя он мне даже понравился, этот твой Маккейб.

— Других ты не знаешь, и они для тебя просто не существуют,— сказала она и, спохватясь, что объяснение вышло не совсем ловким, добавила: — Для меня они тоже не существуют, теперь,— и потянулась поцеловать меня. Я не отстранился; ее губы на вкус были как горсть тепловатой земли. Она закинула руки мне на плечи, свои длинные, в светлых волосках руки, которыми она только что обнимала Ричарда, и шепнула чуть слышно: — Слушай, Джой. Это все было, когда я даже не была знакома с тобой, огорчаться из-за этого — все равно что огорчаться из-за чего-то, случившегося до твоего рождения. Разве ты не чувствуешь, что я люблю тебя?

Мне хотелось точности.

— Я чувствую, что ты женщина, которая любит, а я случайно оказываюсь с тобою в одной постели.

— Нет,— сказала она.— Тогда я была бы просто шлюхой, а на самом деле это ты, только ты делаешь меня женщиной, которая любит, потому что ты умеешь принимать любовь. Этому тебя научила мать, и это чудесно.

— Это дар слабых натур,— счел я нужным ответить.

По дороге шел Ричард со шляпой в руках. Шляпа была не отцовская, а материна — большой блин из плетеной соломы, подвязывавшийся ленточками под подбородком и для верности еще закреплявшийся бечевкой. Такие шляпы носят азиатские кули. И Ричард и Пегги расхохотались, когда я ее надел. Только этой детали недоставало моему шутовскому наряду. Мы с Ричардом пошли к недокошенному полю, лежавшему за дорогой, там я помог ему взгромоздиться на тракторное седло

и, не включая зажигания, стал показывать, как работают педали и различные рычаги управления. Под облачным небом он восседал на тракторе, как на троне — маленький король с ямочками на щеках,— и был, видимо, совершенно счастлив. После окончания урока он побежал к матери на огород. Мне видно было издали, как он ткнул ее в живот кулаком и завязалась шуточная схватка. На одиноком проводе, по которому шел в дом электрический ток, знаками препинания невидимой фразы чернели воробьи и дрозды. Я сел на трактор и снова начал косить. Цикорий и златоцвет свернули свои лепестки, словно сжались перед угрозой дождя. Луч предвечернего солнца, прорвав клубы облаков, отбросил на землю мою карикатурную тень с огромным шаром вместо головы. Под шляпой было темновато и уютно гудело. Я дал четвертую скорость и пустился с дождем наперегонки. Один раз левое колесо у меня попало в нору сурка, и от толчка я чуть не слетел с сиденья. Одинокий сарыч, неподвижно паря под облаками, следил, как я атакую две последние вражеские фаланги, два узких участка нескошенной травы. Но вот на плечо мне упала капля, другая стукнула в шляпу, точно кто-то ковырнул солому ногтем. От одной фаланги уже оставался только вытянутый треугольник, вторая приняла смутные очертания песочных часов. Я направил тарктор к самому острому углу треугольника, вернулся по гипотенузе и снова поехал обратно. Большая тяжелая капля шлепнулась на капот и сразу же испарилась. Еще одна. Ричард уже бежал по дороге к дому, но Пегги продолжала орудовать мотыгой. Дождь, возвестив о себе, колебался, медлил; я покончил с треугольником и принялся за песочные часы. Клочковатая дымно-сизая туча неслась за мной по небесным просторам в переливах жемчужных полос. И вот дождь, глубоко вздохнув напоследок, сорвался с высоты, сперва сдержанно, осторожно, словно из пульверизатора окропил землю, но тут же забарабанил во всю мочь, и сразу шляпа моя обвисла, комбинезон намок, беспомощно сникли закрытые чашечки цветов, трава заблестела, клонясь под хлесткими струями. Я повел оскользающийся трактор через перехват песочных часов, рассекая последний участок пополам, так что остались лишь два небольших треугольника. Разворачиваясь в последний раз, я с удивлением заметил за полем, на дороге, человеческую фигуру — Пегги стояла на ветру, под дождем и смотрела, как я докашиваю поле. В руках у нее все еще была мотыга, рыжие волосы прилипли к темени и прямыми прядями струились вдоль щек, а на отважно подставленном дождю лице с полузакрытыми веками, с чуть растянутыми, как для улыбки, губами застыла спокойная готовность, как на лицах умерших. Я с грохотом выехал на дорогу, в том месте, где почти у самого поля проходила глубокая колея, и закричал Пегги, что она сумасшедшая, но она даже не улыбнулась. Она просто пошла за трактором, как скованная рабыня за триумфальной колесницей, не поднимая глаз, осторожно переставляя сияющие босые ступни по сине-багровой глине и камням, которые дождь мгновенно успел отточить. Я был так взволнован ее преданным ожиданием, мыслью о ее теле, из-за меня исхлестанном дождем, что мечтал об одном — поскорее въехать под навес и, соскочив с трактора, схватить и повалить ее прямо на труху, на комья сухого навоза, чтоб они черными лепешками пристали к ее мокрой белой коже. Но навеса теперь не было, а когда я наконец загнал трактор в его узкое стойло, Пегги уже приближалась к дому, медленно пересекая зеленую лужайку, по которой когда-то бежала под дождем моя мать, обгоняя отца. День был окончен.

■

В доме пахло мокрыми волосами Пегги. Мать вишневыми поленьями растопила камин, и моя жена, уже не в бикини, а в комбинации, отделанной кружевом сверху и снизу, с голубым полотенцем на плечах,

сидела нога на ногу перед огнем и сушила волосы. Голову она опустила так низко, что казалось, пламя вот-вот всосется в концы свешивавшихся покрывалом волос, а пальцами вслепую массировала кожу на темени. Поленья потрескивали, распадаясь. Ричард читал книжку; одна нога у него была перекинута через ручку кресла и качалась, как маятник. Дождь шумно дышал за стенами, по-хозяйски окатывал стекла окна, выходящего на задний двор, живыми искорками сверкал в зыбкой зелени виноградной завесы над окнами, обращенными к лугу. В кухне мать расставляла тарелки на столе.

— Может, они не захотят ужинать так рано,— спросила она шепотом, когда я проходил через кухню к лестнице, ведущей наверх.

— Спроси их,— сказал я коротко. На огороде мать сумела одержать верх над Пегги, заставила ее обнаружить свои слабые стороны, и это вывело меня из терпения. Вовсе я не желал, чтобы она делала вид, будто мы с ней в заговоре против двух чужаков. Довольно с меня этих фокусов.

Но когда я уже поднимался по лестнице, до меня донеслись голоса: мать что-то спросила, а Пегги весело ответила ей; слов нельзя было разобрать, но я почувствовал себя лишним, и меня прохватил неприятный холодок. В спальне я снял с себя мокрую одежду, и голый сновал по комнате среди призраков, теснившихся со всех сторон. Вот эта стертая половица молча хранит свою тайну — на этом самом месте моя бабушка, попытавшись встать с постели, упала и умерла. Вот из этого окна по-прежнему видно лужайку, конюшню и дорогу, как и тогда, когда мой дедушка смотрел в него, поджидая «неторопыгу», как он называл почтальона. В ящиках соснового комода еще и сейчас хранятся оставшиеся после него пожитки и его дневники, тощие красные книжицы, где он год за годом делал записи о погоде, и почти ни о чем больше. В день рождения моей матери, чуть не стоившего жизни бабушке, его жене, он записал только: «Родился ребенок». С отцовского комбинезона, когда я развешивал его для просушки на двери ванной, капала мне на голые ляжки холодная вода. Джоэн все так же смотрела куда-то вверх, приоткрыв рот с застывшей на нижней губе блесткой влаги, вечно неся в себе зачатое дитя. Я не стал вытираться полотенцем — я люблю, когда тело просыхает, и не только из-за самого ощущения испаряющейся влаги; мне приятно думать о том, как она легко и свободно меняет свое материальное бытие, о сложной топографии стихий, позволяющей воде перетекать в воздух. Даже обыкновенная пыль, взлетая над старым диваном, кажется мне ангелом-хранителем этого дивана, а цветочная пыльца, от которой я неудержимо чихаю,— длящимся в воздухе существованием цветка. Сухой, большой, гладкий, под чуть косящим взглядом широко раскрытых глаз моего детского «я» на стене, я надел белье, спортивные брюки, скользкие на ощупь, вынул носки — Пегги аккуратно скатала каждую пару отдельно,— мокасины и чистую белую сорочку. В сорочку была вложена серая картонка, чтобы она не мялась, но казалось, будто наоборот, это картонка бережно завернута в сорочку.

Мать приветствовала меня возгласом:

— А вот и мой городской франт!

В торговом центре она купила стручкового гороху и теперь лущила его за кухонным столом. Вынутые из стручка горошины мелодично звякали, падая в дуршлаг. Я подсел к столу с другой стороны и стал помогать матери. Этим я как бы предлагал ей мировую. Она сидела, согнувшись над горохом, и поначалу словно не замечала меня. Покончив с кучкой, которую я себе отсыпал, я встал и потянулся достать еще. Тут только она подняла на меня глаза.

— Я тебя все хочу спросить — как там они все?

— Кто это «они все»?

— Дети твои, кто ж еще! Или ты уже забыл, что у тебя есть дети? Энн, Чарли, Марта.

Зеленые, точно восковые, пухлые шарики, сдавленные чуть ли не в кубики теснотой стручка, скатывались по моему большому пальцу и скоплялись на ладони горсточкой. Я со звоном бросил их в дуршлаг и осторожно ответил:

— Очень хорошо. Им нравится там, в Канаде, и они очень радовались, что едут.

— Хоть и без тебя?

— Как же я мог с ними поехать? Я, кажется, собирался жениться.

— Не надо так кричать. У меня много немощей, но я еще не глухая.

— Хорошо, не буду.

— Не знаю отчего,— продолжала мать,— но мне Чарли запомнился лучше девочек. Такой был энергичный маленький человечек.

— *Был?*

— Для меня — был. Вряд ли я его еще когда-нибудь увижу.

— Что за чепуха! Конечно, увидишь.

— Я думала, он будет фермером. Он прямо как создан для этого — коренастенький, ручонки сильные, цепкие.

— Да, ростом он не вышел, но зато крепыш.

— Я и говорю. Его как поднимешь — помню, кажется, это было, когда ты с ним первый раз сюда приезжал, я иду мимо, а он сидит в дедушкином кресле и словно замечтался о чем-то. Я подумала: «Ах ты мой колобочек!» А подняла, он весь выгнулся у меня на руках, да с такой силой — не понравилось ему.

Я засмеялся.

— Это было до или после того, как ты его ударила линейкой?

— Не я его, а он меня ударил. Но, кажется, это было до, хотя в тот же самый ваш приезд — а может, и нет, не скажу наверно. Только я очень хорошо помню, как он на меня тогда посмотрел — мол, с какой стати эта старушенция нарушает мой покой.

— Да, у него была такая странная привычка. Одна из теток Джоэн считала это признаком слабоумия, потому что нормальный ребенок не может так долго сидеть смирно.

— Он сидел смирно, потому что думал о чем-то своем, и, значит, у него было о чем думать. Он особенный был парнишка, я таких больше не видала.

Слово «парнишка» точно слетело с языка моего деда.

— А я?

Мать ответила не сразу.

— Нет, ты никогда не был задумчивым. Ты был чувствительным. С первого ясного августовского дня ты как начнешь чихать, так, бывало, не перестанешь до самых холодов. Чихаешь до того, что слезы из глаз, даже ресницы склеиваются, я просто не знала, что мне с тобой делать. Характером Чарли больше в Джоэн — та же отпугивающая замкнутость, то же немыслимое упорство.

— Упорства в ней было много. Но упорство скорей пассивное, она никогда первая не начинала.

Мать, почуяв опасность, рубанула ребром ладони воздух, как бы отсекая направление, в котором я пытался ее повернуть. Мне до смерти хотелось перевести разговор на себя.

— Ох, Чарли, Чарли,— сказала она.— Я все представляла себе, как он терпеливо ждет урожая, а когда придет пора уборки, все у него так и горит под руками, недаром они такие сильные и цепкие. В нем есть то, что моя мать называла *живинкой*. В ком этой живинки нет, как вот у моего отца ее не было, тот лучше с фермой не связывайся.

Он и постарался развязаться с ней, правильно сделал. Я ему этого всю жизнь простить не могла, а напрасно.

— Чарли беспокоит меня,— сказал я.— Ему, видно, все это тяжелее далось, чем девочкам.

— И девочкам тоже нелегко далось,— возразила мать,— только они это лучше сумели от тебя скрыть. Ты себе почему-то забрал в голову, что женщинам приятно страдать. Не знаю, откуда у тебя эта идея, не от меня, во всяком случае. Так вот, вовсе им это не приятно. Просто их меньше жалеют, чем мужчин, а почему — потому что женщина рожает детей, и когда она кричит от боли, то всем кажется, да и ей самой, пожалуй, тоже: зато будет ребенок, а раз ребенок, значит, это так и надо. А почему, собственно, так и надо, я не знаю.

— Мне кажется,— сказал я,— из всех троих на меня больше всего похожа Энн.

Ее лицо, лицо Энн, некрасивое, но прелестное своей ясностью, ее длинные прямые ноги, манера восторженно разевать рот на бегу — все вдруг точно ожило в моей памяти после долгого наркотического забытья, хотя я никогда ее не забывал, ни имени ее, ни дня рождения, ни того, что она вообще есть на свете. И Чарли тоже вдруг глянул на меня. Что это он делает — ест мороженое? В его темных мальчишьих вихрах каждый волосок серебрился как шелковинка (Энн дразнила его Мускусной Крысой). А серые глаза смотрели настороженно, и в складочках по углам глаз была недетская умудренность. но полные губы подрагивали, готовые улыбнуться на шутку, хотя, судя по выражению его лица, я то ли разбранил его, то ли огорошил чем-то неожиданным; он, мой сын, всегда склонен был верить в лучшее, воспринимать все неприятности — разбитые коленки, приставанья сестры, мои отъезды — как случайные нарушения налаженного порядка вещей. Он любил порядок, аккуратно складывал свои вещи и вообще обращался с ними не в пример бережней, чем Энн. А Марта, моя малышка,— эту я не столько мысленно видел, сколько ощущал тяжесть ее тела, когда я, бывало, выну ее, сонно виснущую у меня на руках, из новенькой голубой кроватки, и смятая ночная рубашонка, бумажная ткань которой кажется шелковой от близости к ее коже, завернется до пояса, открывая то, что под нею, светлое, как молодая луна. Я нес ее в ванную, подпирая плечом никнущую головку, сажал на горшочек, а сам, присев на край ванны рядом, чтобы она могла положить голову мне на колени, ждал, когда раздастся журчанье и потом негромкий всплеск.

— Бедная Марта,— сказал я.

— А что Марта — она, пожалуй, самая боевая из всех.

— Будет наливать в постель.

— Ничего подобного. Она умница. Они все трое умницы, прекрасные дети — верно, Пегги?

Моя жена вошла в кухню и подошла ко мне. Я поднял на нее глаза; снизу она казалась необыкновенно высокой, нос у нее был немножко крючком, сырые еще волосы висели более длинными прядями, чем обычно.

— Да, ребята славные,— ответила она матери.— Мне тоже очень грустно о них думать.

— И напрасно. Мы, напротив, разговариваем о них с большим удовольствием.

— Джой весь измотался из-за детей.— Мое слово «измотался» вышло у матери невыразительным, как будто она сознавала, что повторяет чужое.

Пегги продолжала:

— Вы меня простите, но я не понимаю, зачем было поднимать этот разговор. Джою нужно отдохнуть.

— Отдохнуть от мыслей о собственных детях?

— Хорошо, скажу яснее: пожалуйста, не затевайте разговора о детях, так как вы это делаете, чтобы задеть меня. А Джою это очень тяжело.

— Что за выдумки! Если я говорю о детях, Пегги, так лишь потому, что я вздорная старая грымза, и потому что теперь, когда я не могу их видеть, мне ведь только и остается, что говорить о них. А мне так нравилось быть бабушкой, для меня это было утешением, я даже не думала никогда, что способна на такое чувство, сама не знаю почему. А теперь мне только и остается, что говорить о них. Отец может поехать к ним, когда ему захочется, но я-то уж не надеюсь когда-нибудь еще их увидеть. Ни здесь, на бабушкиной ферме, ни в другом месте.

— Увидишь ты их, очень скоро увидишь,— поспешил я сказать, испугавшись, что она сейчас расплачется.— Я их к тебе привезу в начале осени, как только мы все окончательно вернемся в город.

— Твоя жена будет против,— возразила мать. Казалось, от застрявших в горле слез слова у нее выходят какими-то сдавленными. А в писании сказано: прилепись к жене твоей.

— Я и прилепился,— сказал я.— Но тем не менее я вполне уверен, что ты увидишь моих детей.

— У меня такой уверенности нет, и уж если на то пошло, Джой, я даже не уверена, что ты сам еще сюда приедешь.— Она повернулась к Пегги и добавила: — А за этот раз, Пегги, спасибо. И ты очень хорошо справилась с прополкой.

— Может быть, я ошибаюсь,— сказала Пегги. Ее наработавшиеся руки тяжело висели вдоль бедер, касаясь кружевной оторочки.— Но я хорошо знаю, как Джой грызет себя из-за детей, потому и не могу слышать о них спокойно.

Мать посмотрела на меня, потом на мою жену, потом опять на меня. Потом, вздохнув, уперлась ладонями в стол и встала так медленно, что, казалось, она постепенно вырастает над своим стулом. Вот так, при перемене позы, ей иногда случается найти неожиданные слова, которыми она сразу может снять, если захочет, гнетущую меня тяжесть.

— Что ж,— сказала она,— мои родители всю жизнь прожили вместе, хоть не были счастливы, но, сказать по правде, не так уж я им благодарна за это.

Она отвернулась к плите и занялась стряпней. Пегги предложила свою помощь, но мать сказала, что ей совестно взваливать всю работу на гостью. Что-то в ней показалось мне странным, когда она стояла у плиты — грузная, вся обмякшая, в лице никаких красок; я подумал, может быть, у нее что-то болит. Мне всегда было трудно представить себе, что родители могут испытывать боль, так же, как трудно вообразить жизнь в других мирах, за пределами нашего мира. Дождь сек, ласкал, обнимал дом, заставлял откликаться все его деревянные части, скорлупкой пускал его по волнам блестящей травы. Я стоял у окна и смотрел на ближнюю рощу. В той стороне, откуда вчера доносилось уханье совы, урчал гром. На клумбах запущенного цветничка побитые дождем флоксы роняли, как монетки, белые лепестки, а в траве, разросшейся вокруг блеклой мальвы, висели маленькие оранжевые штучки, похожие на бумажные фонарики; я с тех пор, как уехал из Пенсильвании, нигде таких цветов не встречал. На мой вопрос, как они называются, мать сказала: «Не знаю. У нас они назывались японскими фонариками, а во время войны стали говорить — китайские фонарики. Теперь, наверно, они опять японские». Это окно выходило на самую тихую сторону, где днем Пегги принимала солнечную ванну на мягкой травке, и на подоконнике раскинулся целый игрушечный город из коробок с корнфлексом, собачьими галетами и кормом для птиц; а городскими воротами служил керами-

ческий столовый судок, пятнадцать лет назад присланный мной в подарок из Кембриджа и ни разу не бывший в употреблении. Оттого что мне редко приходилось смотреть в это окно, оно приобретало волшебные свойства. По стеклу амебами ползли капли, сливались, и вновь разливались, и толчками стекали вниз, а на проволочной сетке от насекомых дождь выложил прихотливую мозаику из крохотных кусочков прозрачной смальты, похожую на недоконченный узор для вышивания или решаемый невидимым любителем кроссворд. Какое-то физически ощутимое просветление вдруг снизошло на меня и заставило отойти от окна. Я старался не попасться на глаза матери, потому что мое лицо, ничего не умеющее скрыть, опять бы выдало меня ей целиком. Обойдя сторонкой плиту, на которой что-то успокоительно квохтало, я пошел в гостиную в поисках остальных детей.

Пегги снова сидела, скрестив ноги, перед камином. Она оглянулась на меня влажными от жары глазами. Ричард захлопнул книгу и перестал качать ногой.

— Чудной конец,— сказал он.

— Это что, все тот рассказ про мальчика, у которого был гигантский КУС?

— Да. В три года он заново открыл всю геометрию, потом вообще всю математику открыл заново и, наконец, спросил кого-то, сколько нужно времени, чтобы линия, проведенная вверх, вернулась к своему началу снизу. Это из теории относительности, понимаешь?

— Неужели?

— Точно. Эйнштейн доказал кривизну пространства.

— Да, до этого своим умом дойти — дело нешуточное. Так что же случилось с тем мальчиком?

— Я же говорю, конец чудной. Он стал кретином. Просто сидел и не двигался с места, ни на что не смотрел, и на последней странице его мама радуется, что он научился держать вилку и класть ею пищу в рот.

— Как та линия, что вернулась снизу к своему началу.

— Это мне не пришло в голову.

— Брось, пожалуйста, эту книжку,— сказала Пегги из-под завесы просыхающих волос.— Такое чтение вредно отзывается на психике.

— Когда-то я то же самое говорила Джою,— крикнула из кухни мать.

— Однако психика у меня вполне здоровая! — крикнул я в ответ.

Пегги расхохоталась.

Ужин появился на столе раньше, чем можно было ожидать: горошек, отварной картофель, посыпанный зеленью петрушки, и консервированная ветчина, которую мать попросила меня нарезать. Нож оказался на удивление острым. Отец всегда держал в порядке ножи и всякий свой инструмент; вероятно, из него вышел бы добрый мастер, займись он каким-нибудь ремеслом, но, как и мне, ему предназначено было всю жизнь иметь дело с неосязаемыми ценностями. Когда я всех оделил ветчиной, мать спросила Ричарда, кем он хочет быть.

— Как это, я не совсем понимаю.

— Ну, когда вырастешь. Хотел бы ты жить в Нью-Йорке и заниматься тем, чем занимается Джой? Мне, правда, не очень-то ясно, что он делает, никак не добьюсь, чтобы он толком объяснил.

Я ей объяснял много раз. Я служу в фирме, которая разрабатывает для корпораций учебные программы по таким вопросам, как сокращение налоговых платежей, заокеанские капиталовложения, получение правительственных подрядов или автоматизация. Моя специальность — финансовая реклама, что шире можно определить как создание идеального образа корпорации в целях привлечения средств. Матери

хотелось, чтобы я стал поэтом, вроде Вордсворта. Она редко читала стихи, но у нее было четкое догматическое представление о важности поэзии. Вопреки настояниям отца, чтобы я шел в инженерный колледж, меня отправили в Гарвард, так как по числу вышедших из его стен поэтов, от Эмерсона до Элиота, Гарвард стоит среди американских университетов на первом месте. Бедный мой папа, он не знал, что в нашем мире, если взяться за дело с умом, скоро можно будет зарабатывать на изучении древних саг больше, чем зарабатывают рядовые инженеры. Сам не знаю, в какой момент своей жизни я отказался от притязаний на поэтическую карьеру — и отказался ли полностью. Во всяком случае, в моей женитьбе на Джоэн немалую роль сыграло то обстоятельство, что при первой нашей встрече, когда она выехала на велосипеде из осенних сумерек парковой аллеи, легкая, нездешняя, вся словно ушедшая в себя, она мне напомнила девушку из «Одинокого жнеца», а при ближайшем рассмотрении оказалась похожей на бледную Люси, чью кончину я бы мог достойно воспеть.

— Его отец принадлежит к академическому кругу,— сказала Пегги.

— Ты хочешь сказать — он ученый? — Не дожидаясь ответа, мать уверенно продолжала: — Склонность к науке у Ричарда есть. Меня в его годы тоже, бывало, от книги не оторвешь, но я читала много потому, что жизнь казалась мне слишком тяжелой — а тебе ведь так не кажется, Ричард?

— Не тяжелая она, а просто скучная,— сказал Ричард.

— Еще бы,— сказала мать,— когда живешь в городе, где воздух кондиционирован и все времена года похожи друг на дружку. Здесь, на ферме у меня каждую неделю новости, каждый день перемены. То в поле мелькнула новая мордочка, то птицы запели по-другому, и ничто не повторяется. Природа не знает повторений; такого вот августовского вечера еще никогда не было и никогда больше не будет.

Она себя заметно настраивала на печальный лад, и я, чтобы помешать этому, сказал не без озорства:

— А тебе хотелось бы, чтобы Ричард стал поэтом?

Она ответила:

— Нет, когда-то я мечтала о такой судьбе для другого мальчика, а я тоже не люблю повторяться. Мир с тех пор очень изменился. Так мало осталось профессий, которые бы что-то давали душе.

— Я бы, пожалуй, хотел стать селенографом,— сказал Ричард.

— Это что такое? — спросила мать, орудуя ножом и вилкой с настороженностью человека, подозревающего, что его разыгрывают.

— Лунный географ,— объяснил Ричард.— На луне понадобятся географы, чтобы составлять карты лунной поверхности.

— Ты бы мог специализироваться на теневой стороне,— сказал я.

— А там как раз и будет установлен мощный телескоп. Знаете почему?

— Почему? — спросила Пегги после паузы.

— Потому что на стороне, обращенной к нам, слишком сильно земное сияние. Земное сияние,— пояснил он моей матери,— это все равно что лунное сияние, только наоборот. Оно тоже голубое.

Мать ничего не сказала в ответ, но я всей своей словно иголками истыканной кожей чувствовал, что она помрачнела, как будто увидела в этом нашем отрыве от земли, ее земли, лично ей нанесенное оскорбление.

Я спросил:

— А не холодно там, на теневой стороне?

— Нет, нужно только зарыться поглубже. На глубине пятидесяти футов под лунной поверхностью удерживается ровная температура — около десяти градусов по Цельсию.

Мать явно принимала интерес Ричарда к лунным делам как личную измену. Она молча сгорбилась над своей тарелкой, тяжело и медленно дыша, крылья носа у нее побелели.

Пегги почувствовала, что что-то не так, и из вежливости спросила:

— Вам бы хотелось, чтобы Ричард стал фермером?

Мать подняла свою массивную голову. На лбу у нее были капельки пота.

— Для этого, пожалуй, нужно больше воображения, чем ему разрешается иметь.

Я горячо вступился:

— Ну, знаешь ли, его воображению никто преград не ставит. Он — первый в Америке юный сле... селе... селе-но-граф.— От негодования у меня даже язык стал заплетаться.

Пегги провела руками по волосам, плотно прижимая их к черепу.

— Не понимаю, что вы хотите сказать.

Она произнесла это мелодичным, волнующим, неестественным голосом — голосом манекенщицы. После развода с Маккейбом она время от времени обращалась к профессии манекенщицы, участвовала в выставках мод, но никогда не снималась для журналов. Фотографии слишком подчеркивали ширину ее бедер, а ее крупно вылепленное, как у боксера, лицо выходило асимметричным.

— Извини, Пегги, я вижу, какие ты над собой делаешь усилия, но их делаешь не только ты. И нечего тебе ревновать ко мне мальчика.

— Ревновать? Что за бред!

Мать повернулась ко мне и сказала, словно диктуя своему биографу:

— Она отняла у меня внучат, она сделала из моего сына какого-то кривляку с сединой в волосах, а теперь она не дает мне приласкать этого несчастного, замороченного мальчугана, который так нуждается в сердечной заботе.

— О нем достаточно заботятся,— сказала Пегги.

— О, я не сомневаюсь, что ты выполняешь все предписания доктора. Но я имею в виду нечто менее формальное.

— Я пять лет растила его без отца и неплохо вырастила.

— А почему вообще понадобилось, чтобы он рос без отца?

— Я бы вам объяснила, да вы ведь слушать не станете.

Мать пожала плечами.

— Чего только мне на моем веку не приходилось выслушивать.

Она уже успокоилась, мрачная тень исчезла с лица; я понял, что вспышка помогла ей разрядиться.

Но теперь я испугался за Пегги — вдруг она не рассчитает шага, споткнется и упадет. Спасение сейчас в ее быстроте, быстроте молодости; их ссора еще затянута сверху тонким ледком, и нужно, чтобы она сумела по нему проскользить.

— Что касается моих отношений с Джоем,— сказала Пегги,— то я первая женщина в его жизни, которая разрешает ему быть мужчиной.

Это был ее излюбленный мотив, найденное ею оправдание моему разводу.

— Быть может,— сказала мать,— мы по-разному понимаем слово «мужчина».

— Даже наверно так, если судить по тому, что вы сделали со своим мужем.

Снова мать повернулась ко мне и продиктовала дальше:

— Бедняжка Джоэн иногда поучала меня, как стирать белье, но она, по крайней мере, никогда не бралась быть судьей в моей супружеской жизни.

— Ты сама виновата, мама.

Я уже сердился, потому что я видел, что Пегги вдруг потеряла весь свой запал и сникла. Глаза ее заволоклись слезами, голова упала на руки, пальцы судорожно впились в виски, волосы свесились наперед, как тогда у огня.

Снова она была беззащитна; снова, как вчера, мать коснулась ее испытующим взглядом и тут же с обидой перевела глаза на меня.

— В чем это я сама виновата?

— Ты как будто ищешь совета, участия. Разговариваешь так, словно сознаешь, что совершила тяжелую ошибку. Рассказываешь, как ты выхолостила отца, а когда с тобой в простоте души соглашаются — ты недовольна.

— Что значит выхолостила? — спросил Ричард.

Он инстинктивно принял на себя мою миссию — шуткой или посторонним замечанием нарушать установившийся зловещий однообразный ритм.

— Сделала таким, как мул,— ответил я ему.

Мать засмеялась.

— А в нем и в самом деле что-то было от мула,— сказала она, и вся посветлела, распрямилась, как будто это зоологическое сравнение давало ключ к одной из нерешенных загадок ее жизни.

Пегги подняла к ней лицо, жалобное и кроткое в дымке слез.

— Как вам не стыдно смеяться?

— А тебе как не стыдно плакать? Я всего только спросила, почему ты не хочешь подпускать сына к моему трактору.

— Мама, да ведь он уже *сидел* на тракторе.

— Там четыре передние передачи,— начал Ричард,— и одна педаль включает сцепление, а другая приводит в движение косилку.

— Пегги,— сказала мать,— придется нам, видно, продолжить разговор о наших мужьях. Только не сейчас. Боюсь, мы испортим аппетит Ричарду.

— А вчерашнего пирога не осталось? — спросил Ричард.

— Тебе же он не понравился,— сказала мать.

Пегги, потянув носом, сказала:

— А вроде бы запахло чем-то вкусным.

И потянула носом еще сильней — комедиантка, довольная успехом, потому что мы все рассмеялись, глядя на нее с любовью. А может быть, любовь существовала только в моей фантазии: мне всегда трудно было себе представить, что кто-то может увидеть Пегги и не полюбить, это часто вносило путаницу в мои расчеты. Весьма возможно, что мне удалось бы, оставаясь мужем Джоэн, сохранить ее в качестве любовницы, пока не увянет ее красота. Но мое воображение терзала ревность; мир представлялся мне полным решительных мужчин, которым стоит увидеть ее длинные ноги, открытые выше колен завернувшейся юбкой, когда она выбирается из такси,— и она немедленно будет похищена.

Атмосфера в доме дала трещину. Снаружи дождь все выбивал свою ласковую дробь, и в ней слышалось приглашение дружно посидеть у камина, где еще дотлевали последние непорочные угольки, но расстояния, легшие между нами, не сокращались, в воздухе висела обида, неумолчным тоненьким звоном отдаваясь у меня в ушах. Тряска трактора прочно вошла в мою плоть, суставы словно заржавели в монотонном движении, и, пытаясь читать старый выдохшийся вудхаузовский роман, я ощущал что-то вроде морской болезни.

— Джой, огонь заглох. Может, спустишься в подвал за дровами?

Это были первые слова, которые мать произнесла после ужина. Она мыла посуду, а Пегги с Ричардом сидели в гостиной на ковре и играли в «тише едешь — дальше будешь». Они откопали в шкафу покоробленную доску, а недостающие фишки заменили монетами и пуговица-

ми. Стук костей, топот фишек по доске, выкрики и стоны игроков не столько мешали мне читать, сколько заглушали унылое дребезжание посуды на кухне, казавшееся мне долгой жалобой матери, которую я обязан выслушать. У меня отлегло от сердца, когда раздался ее голос.

Я успел позабыть наш подвал: жестянки с засохшей краской и со скипидаром, яблоки, консервные банки в коконах паутины, смутно пахнущая землей картошка в ящике, к которому мой отец, бывало, пристраивал поленницу дров, наколотых, но еще хранящих аромат зимнего леса, поблескивающая куча угля, приземистая печка с трубой, уходящей в сложный переплет алюминиевых труб под сводом подвала. Как-то мы с отцом целый день промучились здесь, заливая цементом сырой земляной пол. Я с удивлением обнаружил, что цементный настил цел и сейчас, не выбит и даже нигде не протекает,— как будто самый тот день навсегда остался здесь гладью подземного озера, кладезем сокровищ, сокрытым в недрах дома.

Я принес наверх охапку дров и подтопил камин. Мать пустила всех трех собак в комнаты, и теперь они лежали на диване продолговатой грудой сырого меха и спали. Когда я вывалил поленья на каминную решетку, на диване приоткрылся один круглый блестящий глаз и послышалось чье-то чиханье. Пегги не подняла головы; только крутой изгиб ее бедер четче обозначился в отсветах вспыхнувшего огня. Перед ужином она успела переодеться наверху, и вместо комбинации на ней теперь был пушистый свитер и брюки из дымчато-синей эластичной материи под грубую ткань рабочих комбинезонов. Я вытер руки, к которым пристали кусочки коры, и снова взялся за своего Вудхауза. Странная тишина вкралась в комнату. Шум дождя перешел в невнятное бормотание. Ричард что-то шепотом сказал Пегги, но я в это время перелистывал страницу и не расслышал слов.

В кухне мать разбила тарелку. Чтобы не оставалось сомнений в том, что это не случайность, она после короткой, недоуменной паузы разбила еще одну; грохот на этот раз был чуть приглушенный, как будто тарелка ударилась об пол ребром.

Груда меха на диване зашевелилась и распалась на трех отдельных собак. Самая большая, ощетинясь и навострив уши, вскочила на подоконник и громко залаяла на воображаемого злоумышленника. Щенок — самая маленькая — затрусил на кухню, низко помахивая светлым кончиком хвоста, то ли в испуге, то ли в восторге. Пошли за ним и мы. Мать стояла посреди кухни, обеими руками прижимая к груди третью тарелку, вернее, небольшое овальное синее блюдо; очевидно, она и его собиралась бросить на пол, но заколебалась и упустила момент. Блюдо было из того сервиза, который она собирала когда-то в олинджерском кино. Вещь за вещью, вторник за вторником, пока не началась война. Зажмурившись, она крикнула хриплым, надрывным голосом:

— О чем вы там шепчетесь?

На опустевшем столе одиноко стояла фарфоровая белая сахарница, присланная мною из Сан-Франциско в подарок к какому-то семейному празднику. Пегги крикнула:

— Это что, игра такая? — схватила сахарницу и с размаху грохнула ее на пол. Сахарница зазвенела, но не разбилась, сахар струйкой дыма взметнулся вверх, выписывая призрачный вензель, и она мирно покатилась к буфету, подскакивая на ручках.

— Кто шепчется? — спросил я мать.

— Вы все. Я слышала, как Ричард шептал.

— Он просто спросил у меня, почему вдруг стало так тихо,— сказала Пегги.

— А вот почему?

— Вы сами знаете почему,— сказала Пегги.— Вы всем портите настроение, мучаете сына.

— Сына? Сын меня мучает. Он сказал, что я убила его отца.

— Вовсе я этого не говорил,— сказал я.

Мать повернула ко мне лицо, показавшееся вдруг огромным,— так кажутся огромными скалы на берегу, когда волны прибоя, откатываясь, обнажают их запрокинутые, испещренные прожилками лица.

— Я устала от того, что все меня ненавидят,— сказала она.— Только этот мальчик еще и относится ко мне по-человечески, и я не хочу, чтобы он шептался обо мне.

— Никто тебя не ненавидит.

— Ну вот что,— сказала Пегги.— Я тоже устала от всего *этого*. — Она оглянулась по сторонам, было ясно, что весь наш дом кажется ей лабиринтом, из которого нет выхода.— И Ричарду незачем находиться дольше в такой нервной обстановке. Джой, ты нас отвезешь домой, или мы поедем одни, а ты можешь вернуться завтра. Вы меня простите, миссис Робинсон, но я вижу, что от меня здесь никакой помощи, и нам обеим будет легче, если я уеду.

— Уже ночь на дворе,— сказал я.

Она ответила:

— Хочешь, едем с нами, хочешь, оставайся, твое дело. Я пять лет прожила одна, и в отличие от некоторых мужчин не боюсь темноты.

— Браво,— сказал я.— Die Königin der Nacht *.

— Я иду укладываться, милый.— Пегги пошла к лестнице. Дверца, закрывавшая вход на лестницу, подалась не сразу, и она, расставив ноги, натужив спину, с силой рванула ее на себя.

— Неверно это, что от нее никакой помощи,— сказала мать тихим, кротким голосом. Истерики как не бывало.

— Пойду уговорю ее.— Ричард старался говорить басовито, но не выдержал и сорвался на мальчишеский альт.

— А что ты ей скажешь? — Я завидовал Ричарду, мне самому хотелось пойти ее уговаривать. Или точнее, мне хотелось быть таким, как он, и пойти ее уговаривать.

— Не знаю, придумаю что-нибудь.— Он улыбнулся, показывая просвет между передними зубами.— Мне всегда очень быстро удается ее успокоить.

Когда он уже поднимался по лестнице, мать крикнула ему вдогонку:

— Ты скажи, что я давно уже собиралась выкинуть эти старые синие тарелки.— И добавила, обращаясь ко мне: — Они мне никогда не нравились, только вот что достались даром. Чего не начудишь от жадности.

— А знаешь что,— сказал я.— Давай перебьем все мои фотографии, которые у тебя натыканы повсюду.

— Посмей только тронуть. Эти фотографии — мой сын. Помимо них у меня нет больше сына.

— Мама, ты говоришь совсем как на сцене.

С видом крайнего утомления, почти, впрочем, не притворного, так что она вправе была и посмеяться и принять это всерьез, я вытащил из-за холодильника совок и щетку и подмел с полу синие черепки и рассыпавшийся сахар. Щенок прибежал помогать и вертелся вокруг, хлопотливо тычась мне в руку мокрым носом. Когда я выпрямился, мать, кончившая тем временем перетирать посуду, мотнула головой, указывая на безгласный потолок, и сказала:

— Купидон в беседе с Венерой.

---

* Царица ночи *(нем.)*.

— Если бы Джоэн хоть раз в жизни сказала, что идет укладываться, мы бы, возможно, и сейчас еще были мужем и женой.

— Не знаю, почему ты считаешь, что с Джоэн это я виновата.

— В чем виновата — что мы поженились или что мы разошлись?

— И в том и в другом. В точности, как твой отец. Женщины устанавливают порядки, женщины рожают детей, все женщины. Он, бывало, говорит: не помню, чтобы я тебе делал предложение, просто ты все это устроила.

Содержимое совка соскользнуло вниз и шлепнулось в мусорное ведро — дешевое рыночное изделие с намалеванными на помятых стенках букетами красных роз, перевитых золотыми лентами. Отец его выудил когда-то из брошенного реквизита старой школьной постановки. И как многое из того хлама, что он спасал от свалки подобным образом, оно оказалось нелепо долговечным.

— Бедный Чарли,— сказал я.— Неужели и он когда-нибудь станет таким, как Ричард,— рассудительным маленьким мужем.

— Да, бедный Чарли. Как ты так мог, Джой?

— Я не мог иначе. Но все равно Чарли — мой сын, и он это знает.

Я стоял и смотрел в мусорное ведро, словно ждал, что груда черепков и обломков откроет мне, что же творится в душе оставленного мною сына; и поэтому я вздрогнул от неожиданности, когда мать, зайдя сзади, положила мне руку на затылок.

— Не слишком ли много печальных мыслей для такой небольшой головы?

На лестнице послышались шаги, и мы виновато отшатнулись друг от друга. Вошел в кухню Ричард и с торжеством объявил:

— Она остается.

— Чем же ты ее убедил? — спросил я.

— Сказал, что будет невежливо, если она уедет.

— Гениально. Мне бы никогда до этого не додуматься.

Мать спросила его:

— Что ты хочешь в награду?

Мальчик указал на меня:

— Он говорит, что у вас есть книжки про растения, где сказано, как что называется. Дайте мне, пожалуйста, почитать.

— Про растения. А про птиц не хочешь?

— Я думаю, лучше начать с растений.

— Вряд ли у меня что-нибудь есть, кроме разве одной старой затрепанной книжицы — «Полевые и лесные цветы» Скайлера Мэтьюза. Я ее купила, когда училась в педагогическом; помню, еще брала с собой в поле краски, чтобы раскрашивать иллюстрации в соответствии с натурой. Наверно, она и сейчас стоит на полке, где стояла, если только ее жучок не изъел.

— Я буду осторожен.

— Тебя какие же растения особенно интересуют?

— Особенно никакие не интересуют. Я просто начну сначала и буду читать подряд. Я быстро читаю. Прочту и тогда буду знать все растения, какие есть.

Мать улыбнулась и положила руку ему на темя.

— Боюсь, так у тебя ничего не выйдет,— сказала она.— Чтобы знать растение, надо его увидеть своими глазами, а в книжке много таких, которых ты никогда в жизни не встретишь. Разве только станешь ботаником. Или бродягой.

— Мы раз палатку ставили около озера, так там росла тьма-тьмущая чего-то красно-лилового.

— Не знаю, что бы это могло быть,— сказала мать.— Я никогда не

жила у воды. В наших местах только у репейника красно-лиловые цветы. Можно посмотреть в книжке, нет ли у него каких-нибудь родственников. Да, ведь там, кажется, есть указатель.

Они вдвоем пошли в гостиную. Я поднялся наверх. Ни в одной из спален Пегги не было. Я ее окликнул, и она ответила мне стуком из ванной комнаты. Через несколько минут она вышла, недовольная помехой.

— Фу, черт, как мне досадно,— сказал я.

— Из-за чего?

— Да из-за всей этой сцены.

— Не надо преувеличивать. По-моему, нам обеим было смешно, только мы не показывали виду.

Я усмехнулся.

— Не пойму, что у нее в мыслях.

— Совершенно ясно что. Ей на ферме нужен мужчина, а на тебя она уже не может рассчитывать и понимает это.

— Она и раньше не могла на меня рассчитывать. Я никогда не дорожил фермой.

— Неправда, ты и теперь ею дорожишь. Ты ею дорожишь так же, как мною. Тебе приятно, что она большая и ею можно похвалиться при случае.

Меня тронула эта скромность, это представление о себе, лишенное иллюзий и близкое к истине.

— Сама виновата,— сказал я.— Зачем ты такая, что тобой можно хвалиться?

— Дай мне, пожалуйста, пройти. Я иду вниз.

— Надеюсь, ты не собираешься больше ничего разбивать?

— Я собираюсь последовать твоему совету. Собираюсь быть такой, как я есть.

— Минутку, Пегги. Спасибо тебе, что ты не уехала.

— Я бы не оставила тебя здесь одного.

— Я бы уехал с тобой вместе.

— Я бы этого не допустила из-за твоей матери. Почему ты хоть раз не подумаешь о том, каково ей, вместо того чтобы в каждом ее жесте или слове искать угрозу.

— Если угрозу, то тебе.

Первый раз она взглянула мне прямо в глаза, в то же время подняв руку, чтобы отвести волосы со лба и пригладить.

— Откуда такая враждебность? — И сама себе ответила: — Ведь ты хотел, чтобы я уехала.

— Ой, нет, нет! Ради бога, не бросай меня одного,— комически взмолился я.

Пегги улыбнулась и сказала:

— Что в тебе неотразимо, Джой, это что ты все-таки немножко подонок.

Она прошла мимо меня, показывая, что разговор окончен, и свет верхней лампы над лестничной площадкой упал на ее кожу. Кожа у моей жены такая, что стоит о ней сказать особо: чуть малейшее недовольство, она белеет, в час любви становится шелковистой, на солнце мгновенно прихватывается загаром — будто в ней всегда идет бурная пляска атомов. Руки Пегги покрыты веснушками и пушком и от этого кажутся длиннее, а их движения приобретают пугливую, угловатую грацию; пятки желтые и загрубевшие от модных туфель; живот такой белый, что голубоватые вены на нем кажутся прожилками в мраморе. А если я где-нибудь замечаю легкую красноту, говорящую о возрасте и утомлении, мне хочется нагнуться и поцелуями снять тяжесть прожитых ею лет — прожитых словно бы только ради того, чтобы встретиться со мной. У ее кожи

тот теплый тон, который всегда казался мне тоном самой жизни, эта кожа как будто светится сама или же пропускает свет, разлитый под нею.

Когда она стала спускаться по лестнице, освещенной сверху, от надбровных дуг метнулась по ее лицу параболическая тень, а на оштукатуренной стене резко обрисовался ее профиль. Я пошел за нею вниз.

Мать и Ричард сидели среди собак на диване, склонясь над ветхой книжонкой с волнистыми страницами.

— Вьюнок,— говорила мать.— В наших местах его больше зовут березкой. Когда в поле заведется такая березка, фермеру одно горе. Потому что это первый знак, что земле пора отдохнуть.

— А тут написано convo... convolulus.

— Латинские названия всегда очень красивые.— Мать перевернула страницу и прочла: Phlox pilosa. Phlox divaricata. Phlox subulata. Флоксы еще иногда называют моховой гвоздичкой.

— Я часто думаю; а почему это не бывает зеленых цветов? Как те зеленые гвоздики, что вдевают в петлицу на день святого Патрика.

— Зеленые не выделялись бы среди листьев. Пчелы бы пролетали мимо, не заметив их. А цветы на то и существуют, чтобы приманивать пчел. Их яркая раскраска — все равно что красивые платья, которые носит твоя мама.

Только по ее последней фразе можно было догадаться, что наше возвращение не осталось незамеченным. Я опять принялся за Вудхауза, а Пегги стала собирать разбросанные фишки. В камине уютно тлели угли. Дождь теперь только моросил, неторопливо и негромко. Обе большие собаки запросились наружу. Мать и Ричард пошли запереть их в сарайчик, прихватив кастрюлю с их едой, а когда вернулись, покропленные дождиком, Пегги сказала мальчику, что ему пора спать. Она попросила меня уложить его. Я как раз дошел в книге до эпизода с покражей премированной свиньи, в самом деле смешного,— но послушно встал.

Когда-то Ричард стеснялся раздеваться при мне. Но это прошло, и теперь он, не раздумывая, стащил с себя тенниску с йельской эмблемой, сбросил стоптанные тапочки, которые носил на босу ногу, шорты, экономно перешитые Пегги из старых штанов цвета хаки, и эластичные трусы. Его упругие ягодицы были перламутрово бледны, зато остренькие плечи казались ореховыми от загара. Голый, он был похож на фавна, лишь по недоразумению очутившегося в этой комнате, оклеенной обоями, освещенной электрической лампой. Он мне показал царапины на ляжках и животе и объяснил, что исцарапался в кустах ежевики, куда полез с разрешения бабушки.

— Бабушки?

— Ну, твоей мамы. Она сказала, чтоб я ее так называл.

— Очень мило с ее стороны. Твоя пижама под подушкой.

— Зря я не захватил ту книжку про цветы, почитал бы на ночь.

— Не забудь вычистить зубы.

— Что ты — разве можно забыть эту священную обязанность! Мама в обморок упадет.

— Когда-нибудь будешь ей благодарен. У меня вот отвратительные зубы, и они мне всю жизнь досаждают.

— А ты их не чистил?

— Чистил — если вспоминал вовремя. Но главное, я слишком много ел пирогов с патокой.

Я снова повернулся к портрету Джоэн. Она там как будто ждала чего-то, устремив глаза вдаль, вытянув руку, ослепительно светлую на темном фоне; но едва ли какие-нибудь ее надежды могли сбыться в этом заброшенном старом фермерском доме.

— Послушай.— Ричард все еще не нашел для меня подходящего обращения.

— Что, дружок? — Я поймал себя на том, что подлизываюсь к нему.

— Зачем твоя мама разбила тарелки?

— Не знаю, наверно, решила, что они уже никуда не годятся.

— Нет, правда. Может, она рассердилась на мою маму, что та ходила в купальном костюме?

Ему одиннадцать лет. Я попробовал вспомнить, много ли я уже знал, когда мне было одиннадцать. Примерно в этом возрасте я раз вернулся домой с чьего-то рождения, где мы играли в мигалки, и мать — правда, не совсем всерьез — подняла такой шум, как будто я подвергся нападению, изнасилованию, как будто губы у меня были не в помаде, а в крови.

— Почему бы ей из-за этого сердиться? Она ведь сама сказала, что твоя мама как цветок, что же тут плохого.

— А знаешь — смешно: ее и в самом деле чуть не укусила пчела.

— Твою маму?

— Я ей сказал, чтобы она не делала никаких движений; пчела покружилась-покружилась и улетела, конечно.

— Ты своей маме надежный защитник.— Он слушал внимательно, не улавливая иронии. Я продолжал: — А *моя* мама, вероятно, разбила тарелки для того, чтобы напомнить нам о себе. Она боится, что мы о ней забудем В ее годы люди этого часто боятся.

— По-моему, она не такая уж старая.

— А по-моему, очень. Я ведь ее помню, когда она была как твоя мама.

— В каком смысле?

— В том смысле, что молодая. Мы тогда жили в другом доме, в городе, и ей, например, ничего не стоило вскочить на ходу в трамвай. А один раз мой игрушечный самолетик застрял в ветвях дерева, и она влезла на дерево, чтобы его снять. Она была хорошей спортсменкой. В колледже она играла в хоккейной команде.

— А моя мама совсем не спортсменка. Папа всегда отказывался играть с ней в теннис.

Я увидел: вот я лежу в кроватке, высокая молодая женщина подошла пожелать мне спокойной ночи; и когда она наклонилась поцеловать меня, ее рассыпавшиеся волосы соскользнули, пролились с плеча, точно развернулось крыло, окаймленное светом, и заслонило меня от мира. Вот что всплыло передо мной, когда я попытался вспомнить мать молодой и стройной. И было так, словно под высоким окном детской и сейчас тянется пустырь, где играют ребята постарше со всего квартала.

— Ну, давай чистить зубы,— сказал я Ричарду.

Я смотрел, как он ловко, проворно управляется с этим делом, и думал обо всех бесчисленных навыках, овладеть которыми нужно, чтобы стать взрослым. Он сплюнул в таз, с подкупающей тщательностью прополоскал рот, оглянулся, дохнув на меня мятой, скорчил рожу и львиным рыком завершил представление. Удивительно, как дети сами, своим безрассудством, а еще больше своей невинной животной прелестью вселяют в нас мужество, необходимое нам, чтобы их защищать. Голова Ричарда отражалась в оконном стекле, и казалось, из бормочущей мглы за окном заглядывает к нам волосатое чудище. Вся дождливая, темная, теплая ночь будто штурмовала нашу маленькую освещенную крепость. Под моей охраной Ричард торжественно помочился, чуть подавшись вперед, чтобы прицел был точнее, зорко следя из-под длинных ресниц, как свершается ритуал смешения влаг. Еще навык, которым нужно овладеть, подумал я, вспоминая, как когда-то я смастерил для Чарли маленькую скамеечку, чтобы он мог, как взрослый, становиться перед унитазом в уборной.

Я предложил почитать Ричарду вслух. Ему это явно показалось нелепым.

— Так гораздо же быстрей читать самому, глазами.

— Да, конечно. Я думал, тебе приятно будет. Наверно, я просто соскучился, оттого что мне некому читать вслух.

— Ладно. Можешь почитать мне. Хочешь, я спущусь вниз за книжкой про цветы?

— Боюсь, для чтения вслух она не очень подходит.

— Ну, возьмем сборник научной фантастики.

— Мама считает, что это вредно читать на ночь.

— У мамы все какие-то ненужные страхи.

— Знаешь что? Лучше я тебе что-нибудь расскажу.

— А ты умеешь?

— Раньше каждый вечер рассказывал. Но слушали меня,— я чуть было не сказал «мои дети»,— маленькие дети, так что извини, если тебе покажется, что ты уже перерос такие рассказы.

— Ничего. Я люблю все детское.

Интересно, подумал я, знает ли он, что «все детское» — это из Библии. Его мать иногда употребляла глагол «знать» в устарелом, как мне казалось, библейском смысле. *До девятнадцати лет я не знала мужчины. Конечно, Джой, женщина становится совсем другой, лучшей, после того как она узнала мужчину.* Меня смущало, что оба они такие нехристи, хоть и не отдают себе в этом отчета; я корил себя, что до сих пор не собрался выучить Ричарда молитве на сон грядущий, которой я когда-то учил своих детей. Я закрыл глаза, и, как одна звезда чувствует движение прочих в слепой бесконечности космоса, я почувствовал, что он сделал то же.

— Однажды лягушонок попал под дождь,— начал я.— Дождь,— я мысленно шарил вокруг себя в поисках образа,— дождь барабанил по его пупырчатой коже, как по крыше дома, и лягушонок радовался, что кожа у него непромокаемая.

— А промокаемой кожи не бывает.

Я открыл глаза, увидел, что его глаза широко раскрыты и смотрят на меня то ли чуть дерзко, то ли чуть боязливо (этот взгляд мне напомнил его отца), и усомнился: а закрывал ли он их в самом деле.

— Но он это особенно чувствовал,— сказал я.— Он ведь занимал в ней так мало места.

— То есть как это? Я не понимаю.

— В своем теле он был точно крошечный король в своем дворце. Отдаст приказ крепким лапкам — и, как из рогатки пущенный, перелетит с одного листа кувшинки на другой; отдаст приказ языку — и тот стрелой метнется в воздух и на лету поразит бедняжку муху.— «Бедняжка Джоэн», вспомнилось мне слышанное не раз за последние два дня.— Лягушонку казалось,— продолжал я,— что рот у него большой, как подъемные ворота, а глаза торчали на лбу, как дозорные башни, и не раз до него доходили слухи о бесценном сокровище, что будто бы запрятано, как в подземелье, глубоко-глубоко в кишках, куда ему никогда еще не доводилось спускаться.

— В кишках! — засмеялся Ричард.

Внизу послышались голоса матери и Пегги. Слов было не разобрать. Я заторопился досказать свою сказку.

— Вот дождь наконец перестал, но деревья уже облетели, и все кругом побурело и высохло. Стало тут лягушонку скучно, и надумал он отправиться на поиски этого сокровища, про которое от кого-то слышал, хоть толком не помнил от кого. Спустился он по винтовой лестнице, которая вела из его головы вниз...

Ричард опять засмеялся. Может, нужно надеть ему металлическую скобку на передние зубы, чтобы они сдвинулись теснее, подумал я, но тут же решил, что Пегги уж, верно, советовалась на этот счет с зубным врачом.

— ...съехал по трубе горла, пролез по перекладинам ребер, попал в мрачную сводчатую комнату, где гулко отдавался каждый его шаг...

— Похоже на доктора Зейса,— сказал Ричард.

— А я рассчитывал, что будет похоже на Данте. Ты слышал про Данте?

— Он кто — француз?

— Почти. Итак, лягушонок все спускался да спускался, из одного незнакомого помещения в другое; и чем ниже он спускался, тем меньше и меньше становился, и когда наконец он очутился там, где по его расчетам должно было находиться сокровище,— исчез совсем!

Видя, что я замолчал, Ричард еще шире раскрыл глаза; в резком свете стоявшей рядом лампы карие кольца радужных оболочек расслаивались, дробились на пятнышки, точки, радиально идущие волокнистые штрихи. Женские голоса снизу зазвучали громче; я напряженно вслушивался, не раздастся ли смех, но смеха не было слышно.

— Это уже конец? — спросил Ричард.— Он умер?

— С чего ты взял, что он умер? Просто он стал такой маленький, что сам себя не мог разглядеть. У него началась зимняя спячка.

— А-а, ну да, конечно. Ты же говорил, что деревья облетели.

— По-твоему, умереть — значит исчезнуть?

— Я не знаю.

— Правильно. Я тоже не знаю. Но так или иначе, прошло сколько-то времени, наступила весна, лягушонок пробудился, видит, кругом темно, и вот он пустился в обратный путь — вверх, вверх, вверх, пробежал все помещения, поднялся по винтовой лестнице, добежал до глаз, распахнул веки, выглянул — а небо-то голубое. Вот теперь конец.

— Распахнул веки — это ты хорошо придумал.

— Спасибо на добром слове. И что выслушал мою сказку, тоже спасибо.

— Ты мне когда-нибудь расскажешь еще?

— Вряд ли. Ты уже большой для сказок.

— А сколько теперь лет Чарли?

— Чарли?

— Твоему настоящему сыну.

— Ему семь. В октябре будет восемь.

— Не так мало. Я бы мог с ним играть.

— Ты думаешь? Ну что ж, надо будет это устроить. Он скоро вернется в Нью-Йорк.

— Да, я знаю.

Пегги ему сказала. Я угадывал Пегги за его вежливым интересом. Но в отличие от Пегги я еще не мог вообразить себе наших детей идиллически играющими вместе, как будто развод — это нечто вроде родства в третьем или четвертом колене.

— Теперь, может, сам почитаешь немножко? Какую тебе книжку принести, про цветы или научную фантастику?

— Да нет, на сегодня, пожалуй, хватит. Я лучше просто так полежу, послушаю, как дождь шумит. Прошлой ночью я слышал, как сова ухала.

— И я слышал. Давай я погашу лампу, но оставлю свет в ванной.

— Зачем, не надо. Я не боюсь темноты.

Я потянулся к выключателю лампы и, не прерывая движения, наклонился поцеловать Ричарда. У нас не было так заведено, но он ждал этого и с мальчишечьей резкостью мотнув головой — в темноте мне не

видно было, ко мне или от меня. Мои губы пришлись на складочку у самого краешка его рта.

— Спокойной ночи, лягушонок,— сказал я.

По мере того как я шел вниз, на свет, на крепнущий шум голосов, меня все сильней одолевал, обволакивал неуловимо знакомый сырой, влажный запах — казалось, вот-вот я узнаю в нем что-то забытое, но с детства дорогое, что долго дремало в камне, в дереве, в штукатурке, в воспоминаниях дома, а дождливый вечер нашел это там и разбудил. Но я ошибся: запах шел от непросохшего полотенца, брошенного на перила, и это был терпкий запах мокрых волос Пегги.

■

Моя мать и жена разговаривали; с половины девятого до десяти длился их разговор — то бурлил водоворотом внезапного спора, то, разом утихнув, спокойно тек дальше, стоило одной или другой выйти из комнаты за бокалом вина, или печеньем в вазочке, или стаканом разбавленного джина; то из длинных и душных туннелей настороженности выныривал на просторы мирных воспоминаний, а там вновь незаметно подбирался к опасной теснине; и хотя ради этого разговора мы в сущности и приехали, слушать его мне было нестерпимо трудно. Мать полулежала на диване, пестром от клочьев собачьей шерсти, а Пегги примостилась в вольтеровском кресле, где когда-то с епископской важностью восседал мой дед. Я сидел между ними в крашеном садовом кресле и читал Вудхауза. Время от времени ко мне обращались, требуя, чтобы я что-то подтвердил или опровергнул.

— Так это твое мнение, Джой, что я угнетала твоего отца? Ведь если не от тебя, то ей не от кого было услышать что-либо подобное.

— Джой, не ты ли сам мне говорил, что тебе до восемнадцати лет не позволяли встречаться с девушками?

— Джой, это правда, что Джоэн тебе изменяла, или это, так сказать, уже задним числом выдумано?

— Скажи же, что я права, Джой! Если ты промолчишь сейчас, значит, ты мне лгал раньше.

— Это ее обычный тон, Джой, или она только со мной не может разговаривать по-человечески?

Каждый такой метко заброшенный крючок больно впивался мне в мозг и вытягивал из меня то умиротворяющую реплику, то попытку самозащиты, то сердитое замечание; а в промежутках, за страницами книги, лежавшей у меня на коленях, где какие-то чудаки скакали среди зеленеющих полей, я видел, как клубится мутным туманом этот нескончаемый разговор и две неловких души слепо топчутся в нем, ища и не находя друг друга и все дальше и безнадежнее расходясь в погоне за призраками, которыми были мой отец и я сам. У Пегги была своя идея, сейчас, в устрашающей реальности этого поединка, превращенная ею из догадки в подробный обвинительный акт, прямое осуждение чужой жизни, доступной ей только через меня; идея эта заключалась в том, что моя мать недооценила и погубила моего отца, не стала для него тем, чем должна быть женщина для мужчины, навязала ему эту ферму, свою единственную настоящую страсть, подавив и во мне, своем сыне, мужское начало. Слушая ее голос, я думал об отце, об его неподатливом естестве, его смехотворном великодушии — самоотречение было для него таким же источником наслаждения, как для других мужчин чувственность,— и старался не вникать в ее слова, таким диссонансом врезались они в сложную простоту того, что было на самом деле. А мать в свою очередь строила фантастическую контрсистему, центром которой был я — единственное дитя, избранник слепой судьбы, поэт,

беззастенчиво отнятый у покорной, идеально бескорыстной жены, ввергнутый в грех прелюбодеяния и взявший на душу еще более тяжкий грех, осиротив своих детей. «Ты посмотри на него!» — гневно восклицала мать, и я поднимал голову, готовый дать каждой из них ту живую улику, которой она искала.

Возможно, обе были правы. Любое превратное представление до известной степени является истиной, поскольку оно существует в сознании хотя бы одного человека. Моя работа научила меня, что истина не есть нечто незыблемое, горная вершина, к которой отдельные утверждения приближаются, как полузамерзшие альпинисты, этап за этапом штурмующие гору. Скорей можно сказать, что истина непрестанно образуется из отвердевающих иллюзий. В Нью-Йорке я имею дело с людьми, чьи сегодняшние ошибки через год перенимаются всеми, как новый фасон обуви.

Я не хотел слушать ни мать, ни жену, мне было страшно. В их стремительном разрушении прошлого мне могло открыться, что я ошибался в своем отце и не знал самого себя. Их разговор представлялся мне столкновением двух темных масс, но если темнота матери обогревала, то темнота Пегги была холодная, плотная, металлическая. А ведь став моей женой, Пегги приняла на себя обязанность делить со мною мой долг, заботиться о моей матери, приноравливаться ко всем неожиданностям атмосферы, ее окружавшей. Даже дым сигареты Пегги врывался в эту атмосферу чем-то оскорбительным.

Щенок соскочил с дивана и улегся на коврике перед камином, прежде заменявшем в ванной циновку, но дрова в камине стреляли над самым его ухом, и он в конце концов перебрался в кухню, на привычное свое место под обеденным столом. Дров нужно было подбросить. Я снова спустился в погреб, где все еще витал для меня дух отца, и принес большую охапку поленьев. Огонь сразу разгорелся, и я подумал: наверно, его буйным взорам Пегги, гордо застывшая в вольтеровском кресле, представляется существующей лишь в одном повороте, как карточная фигура. Мать под вкрадчивое бормотание дождя продолжала разговор.

— Джой меня немало тревожил. В нем иногда появлялась неожиданная жестокость. Насекомых он не мучил, но со своими игрушками обращался как настоящий палач. Нам иногда слышно было, как он с ними разговаривает в детской, требует, чтобы они в чем-то признавались. Отец видел в этом влияние военной пропаганды. Может, он и был прав. Но мне казалось, что тут другое: мальчик остро чувствовал чужое страдание, и оно его непонятным образом притягивало. Когда мы переселились на ферму, ему подарили щенка, ту самую Митци. Он ее дразнил до того, что она завела моду прятаться от него в сточную трубу у курятника. Но она росла, и ей все трудней было поворачиваться в трубе, и вот однажды она забилась туда, а вылезть не может. Джой прибежал ко мне, на нем лица не было, помню, я даже подумала: что бы его ни ждало в жизни, страшней уже ничего не будет. Он весь был перепачкан землей — рыл ее руками, хотел откопать другой конец трубы. Но пока мы с ним поспели на место, Митци успела сообразить и выбраться задом. Собаки — они ведь на редкость смышленые животные. Лошадь никогда бы до этого не додумалась. Я знаю случаи, когда лошади погибали во время пожара на конюшне, хотя позади них были настежь раскрыты двери. Но так или иначе, во всей этой истории с Митци мне очень не понравилась одна вещь: хоть Джой тогда чуть не расцеловал собаку в благодарность за то, что она сумела себя выручить из беды, но потом, бывало, как на него найдет, он сейчас же тащит ее к этой трубе и притворяется, будто хочет ее туда опять засунуть. По-моему, это было очень неблагородно.

В ушах Пегги голос матери сливался с шумом дождя; в какой-то момент они пересеклись, и тут она клюнула носом раз, другой и заснула. Но уже в следующую минуту она встала с кресла, вся — воплощенное достоинство, и сказала:

— Простите меня, я, пожалуй, пойду спать.

— Правильно сделаешь, Пегги,— сказала мать.— Что ж, нашим разговором я довольна, хоть и не уверена, что ты меня полностью, до конца поняла.

— Вероятно, никого нельзя понять до конца,— сказала Пегги. После этого минутного сна лицо у нее сделалось какое-то странное, похожее на маску. Она улыбнулась мне одной стороной рта и сразу вышла из комнаты, не дав мне возможности уйти вместе с ней.

Когда шаги наверху затихли в ванной комнате, мать сказала:

— Тебе не кажется, что ты совершил ошибку?

— Ошибку? В чем?

— В том, что развелся с Джоэн и женился на Пегги?

Мне было приятно, что она назвала мою жену по имени и произнесла это имя тем же тоном, что имя Джоэн. Как будто говорила о двух дочерях.

— Да, да. Да.

— Что — да? — Она виновато улыбнулась, словно извиняясь, что нам не удалось сразу понять друг друга.

— Да, это было неправильно.

Она удивленно приподняла брови, может быть, из-за того, что я употребил другие слова. Вопрос и ответ получились словно из разных контекстов.

— Из-за детей?

— Даже если о детях сейчас не говорить. С Джоэн я не был особенно счастлив, но с ней моя жизнь шла так, как ей было положено идти. Оставив Джоэн, я вывихнул свою жизнь.

— И не только свою.

— Трудно жить, не затрагивая чужих жизней.

— Это самое я говорила себе, когда решила купить ферму.

Я сказал:

— Что это ошибка, мне стало ясно, когда еще не поздно было все изменить.— Мой голос звучал торопливо и чуть надсадно; это был как бы не мой голос, хоть он и возникал внутри меня.— Но дело зашло далеко, и тут уж, вероятно, сказалось во мне отцовское упрямство. Будь что будет, а назад не поверну.

— Скорей, отцовское любопытство.

— Тоже верно. Мне было интересно, как это получится.

— И как же получилось?

— Вообще чудесно. Но бывают минуты, когда я стою перед ней, как перед пропастью. Она иногда непроходимо глупа.

— Да, проницательностью она похвалиться не может.

— Не то, что мы.

— Не то, что Джоэн.

— Чем тебе так не нравилась Джоэн? Из-за тебя она и мне в конце концов перестала нравиться.

— Все твоя фантазия. Джоэн мне нравилась. Она умеет держаться. В ней есть, как раньше говорили, тон. Это редкое качество. Она напоминает папину сестру, мою золовку, а с той мне всегда бывало немножко не по себе. Когда я стояла или сидела с ней рядом, у меня бывало такое чувство, точно я где-то недомылась. Тебе самому Джоэн недостаточно нравилась, вот что.

— Верней сказать, я ее недостаточно знал.

— Да В известном смысле она всегда удерживала тебя на расстоянии.

— А теперь я ее люблю. Удивительно, до чего я ее люблю теперь, когда она в Канаде.

— С Джоэн у тебя еще оставалась надежда стать поэтом. Вот кого ты любишь — поэта, которым тебе теперь никогда не стать.

— Поэта. Это ты сама хотела быть поэтом.

— Нет. Я хотела быть фермером. А мой отец был фермером, но хотел быть оратором.

Я улыбнулся той легкости, с какой она, распростертая на постели, с трудом переводя дух, плела этот словесный узор.

— Да,— сказал я.— А вышло так, что теперь ты — оратор, а я — фермер.

Она переменила позу и негромко вскрикнула, как от мимолетной боли.

— Не шути, Джой. Как ты можешь шутить, приведя в дом мою смерть.

— О чем ты?

— О ней. Она лютая. Не пройдет и года, как она меня уморит.

— Ты это серьезно?

— А вот посмотришь. Я помню, как моя мать свела в могилу бабушку Хофстеттер, и пальцем к ней не притронувшись. Вчера, когда она так весело семенила по двору мне навстречу, я сразу поняла, что сейчас поцелую свою смерть.

— Мама, нельзя быть таким эгоцентриком. Она ведь тебя совсем не знает. И ей дела нет ни до тебя, ни до твоей фермы.

— Напрасно думаешь. Она из Небраски и знает цену хорошей земле. Тут в каждом акре лежат деньги, и ей хочется их получить. Видал бы ты, как она взыграла вчера, когда мы дошли до верхней дороги, за которой начинаются строительные участки.

Я засмеялся. Зная страсть Пегги к покупкам вприглядку, легко было представить себе эту сцену.

Мать продолжала:

— Пусть ты и зарабатываешь больше, чем зарабатывал твой отец, все равно, на двух женщин и этого не хватит. И не надейся, что они с Джоэн будут мирно хлебать из одной плошки. Твое приобретение тебе недешево обойдется, Джой. Все эти штучки-брючки и ночные рубашечки, в которых все видно, денег стоят.

— Ничего в ее рубашках не видно.

— Зато в глазах у нее видно все, и я вижу там гибель своего сына.

Быть может, страх матери перед приближением смерти внушил мне потребность тоже почувствовать боль, как отклик на ее боль, плату за нее, зеркальное ее отражение, но мне показалось, что мать права. *Гибель.* Мне приятно было сознавать себя павшим, придавленным, загнанным, потерявшимся, канувшим без возврата в глубины ошибки, которую мать тут же и назвала, словно включая мою беду в круг своей мифологии:

— Ты женился на пошлой женщине.

Я и с этим был согласен.

Мать пожала плечами и заговорила снова; казалось, она не со мной говорит, а тянет из клубка правды нитку, которая то и дело запутывается.

— Что ж, ведь и в Библии сказано, что мы расточаем достояние отцов наших. Можно только дивиться, что за шесть тысяч лет еще не все расточили.

— Она в самом деле глупа.

В разговоре с матерью я всегда отстаю, попадаю туда, откуда она уже отправилась дальше. Она улыбнулась, видя, как я выпрямился в кресле, по-ребячьи взволнованный запоздалым открытием очевидного.

— На редкость глупа,— упорствовал я.

— Ты это всегда знал.

— Нет. Я кинулся за ней очертя голову. Я не сомневался в том, что все именно так, как мне кажется. Трудно было представить себе, что такое красивое существо глупее меня. Вероятно, я думал, что она — собственное творение.

— Видишь, ты забыл бога.

У моей матери религиозность словно не связана с верой — характерная для нее особенность.

— Знаешь, мама,— начал я, стараясь подбирать слова так, чтобы они располагались вокруг больного места, затронутого ее обвинением,— что касается этого, у меня, кажется, никогда еще не было так ясно на душе. Вот, должно быть, одно из преимуществ зрелого возраста. Проблемы просто больше нет.— Вероятно, это должно было означать, что я признаю себя верующим.

С царственным нетерпением, которое, как и подвижность интонации, как-то умещалось в ее бессильной немощной плоти, мать отмахнулась и от Пегги и от бога.

— Так как же ферма?

— А что ферма? Существует и существует.

— А когда я умру — перестанет существовать?

Я поднялся, чувствуя себя обиженным: если уж толковать о грехах, я впал в грех ревности.

— Об этом, кажется, еще рано говорить.

Меня возмущало, что она так легко приняла мое вероломство по отношению к Пегги, всосала его в себя, как паразит, и уже ее мысли, все ее заветные помыслы не обо мне, а о ферме. В отместку я так же легко отнесся к разговору о ее смерти.

— Мне немного осталось, Джой!

Она сказала это тихим, изменившимся, полным значения голосом, подняв ко мне лицо, так что открылась белая, слабая шея; казалось, что-то тяжелое навалилось на нее спереди и не дает встать с дивана. У меня подкатило к горлу, будто я застиг родителей в момент совокупления. Хотелось убежать, но какая-то ниточка — вежливость отчужденности, детская привычка ждать, когда отпустят,— удерживала меня на месте, за двойным заслоном дождя и фотографий, между темнотой кухни и вспышками гаснущих в камине углей.

Мать метнула на меня быстрый взгляд. И мгновенно замкнувшись в себе, что не раз помогало ей сохранять между нами должную дистанцию поколений,— выпрямилась и сказала:

— Наверно, с непривычки устал после такого рабочего дня?

Я ответил:

— Спина ноет, но это даже приятно.

Она сказала:

— Веки у тебя припухли, как бывало во время цветения златоцвета. Я думала, живя у моря, ты от этого излечился.

Я сказал:

— Жаль, я так мало успел. Позволила бы ты, я бы завтра до отъезда мог скосить еще и маленькое поле.

Она спросила:

— А вы когда поедете?

— Часа в три-четыре, не позже. В понедельник мне с утра на работу, а Ричарду в школу.

Она вздохнула.

— Там видно будет. А теперь ступай: Пегги, наверно, заждалась.
— Хочешь, иди в ванную первая.
— Нет, ты иди.
— Приятных сновидений.
— Приятных сновидений.

На лестнице дождь звучал по-другому, а вверху, на площадке, казалось, будто он попался в ловушку и теперь барабанит по стеклу не снаружи, а внутри, и вдобавок роется в старых журналах на подоконнике, до которых никто не дотрагивался после смерти отца. Мерное дыхание Ричарда дало сбой, и я постоял у его двери, прислушиваясь, не проснулся ли он. Осторожно, нерешительно я вошел в нашу спальню. Тьма, окутанная дождем, казалась непроницаемой, только в зеркале над отцовским бюро мерцал белесоватый овальный облик. Боясь разбудить Пегги, я не стал искать свою пижаму, а полез под одеяло в нижнем белье. Мне показалось, что я провалился в гигантскую яму. Моей ноге пришлось описать широкую дугу, чтобы дотронуться до прохладного тела Пегги. Она лежала на спине. Окно с моей стороны было опущено не до низу, и узкая призма ночного воздуха усиливала шелест дождя, разворачивала его звуковой радугой. Холодные брызги секли мне лицо, руку, лежавшую на подушке, голую грудь. Я чихнул. Вся труха, вся цветочная пыльца, все, чего я наглотался за этот трудовой день, скопилось у меня под переносицей. Я чихнул еще раз.

— О господи,— сказала Пегги.

— Ты оставила открытым окно, от этого...— Я опять чихнул.— ...сквозняк. Можно, я закрою?

— Нет.

— Ладно. Убивай меня.— Я напрягся всем телом, готовясь чихнуть снова, но в эту минуту рука Пегги захлестнулась вокруг меня тугим объятием побеждающего в схватке борца; и эта мелочь, тяжесть ее руки у меня на груди мгновенно изменила мое самочувствие и вернула мне ясность ощущений.

— Какая чувствительность.— Тон был сухой.— Тебе бы вовсе не покидать материнской утробы.

— А что, там было очень уютно. Всегда ровная комнатная температура.— Она молчала, и я спросил: — Ты слушала наш разговор?

— Отсюда не много услышишь. Разбирали меня по косточкам?

— Как тебе не стыдно.

— Я знаю, вы считаете меня дурой. Ну и пусть. Я уже успокоилась.

— Тем лучше. Только держи меня так, не отпускай.

— Ноги у тебя как лед. О чем же вы все-таки говорили?

— Все больше о ферме. О том, можно ли косить в воскресенье. А ты как себя чувствуешь?

— Неважно. Соревнуюсь с дождем.

— Бедненькая моя. Ребенка тебе нужно.

— У меня уже один есть. Если считать Ричарда, даже двое.

— Может, все-таки позволишь закрыть окно? Мать и так пророчит, что я слягу.

— Закрывай. Буду задыхаться.

Чтобы закрыть окно, мне пришлось встать с постели. Оконная рама глухо стукнула, будто щелкнул взведенный в ночи курок; за холмом Шелкопфов вспыхнула молния, и, как не в меру разошедшийся шумный гость, загрохотал гром. Я снова лег, лицом к Пегги. Моя плоть откликнулась на шедшее от нее тепло. Она протянула ко мне руку.

— О господи,— сказала она опять.

— Не обращай внимания,— сказал я.— Природа — дура.

Она послушно отстранилась. Где-то внизу, в стороне от нас, захлопали двери, залаяли собаки.

■

Мне всегда страшно́, когда я вижу во сне своих детей. Первое время после того, как я ушел от них, они мне не снились. Если тогда вообще удавалось уснуть, то сон был похож на обморок, без сновидений. Потом, когда жизнь отдельно от Джоэн вошла в колею, и в ней даже сложился уже свой привычный порядок, они стали являться мне каждую ночь. Стоило закрыть глаза, как Энн или Марта уже поднимали ко мне свои бледные личики, прося развязать узел на шнурке, починить сломанную игрушку, объяснить трудную фразу, помочь в решении хитроумной головоломки. После моей женитьбы на Пегги это случалось реже. Сегодня я в первый раз за неделю увидел подобный сон. Я косил. Трактор на что-то наткнулся; под колесами глухо хрустнуло. Я затормозил и слез с трактора, опасаясь увидеть раздавленные фазаньи яйца. Но поле уже не было полем. Кругом тянулся какой-то странный пустырь, кочковатый, как болото, курящийся, как свалка. На земле лежало что-то, свернувшееся в комочек, покрытое засохшей пепельно-серой грязью. Тревога кольнула меня, к сердцу подступила непонятная жалость; я нагнулся, поднял комочек на руки и почувствовал, что он живой. Это было недоразвитое человеческое существо, горбатый гомункулус, пригнувший к груди голову, словно прячась от удара. Тоненький голосок сказал: «Это я». Сморщенная мордочка под слоем грязи показалась мне знакомой. Кто бы это мог быть? «Ты не узнаешь меня, папа? Это же я, Чарли». Я прижал его к груди и поклялся, что никогда больше с ним не расстанусь.

Голос матери окликнул меня по имени. Потом выплыло ее лицо, склоненное надо мной, увеличенное близостью. На ней было темно-зеленое платье, неподобранные волосы висели прядями.

Я спросил:

— Ты что, в церковь?

— Да вот, собираюсь,— сказала она.— Я плохо спала ночь.

Было уже утро. Чарли не лежал у меня на руках; Чарли, крепкий, здоровый мальчуган, резвился сейчас где-то в Канаде. Мои голые плечи торчали из-под одеяла, и я подумал: мать решит, что мы с Пегги после любовных ласк уснули голыми. Пегги нигде не было видно.

— Собаки ночью лаяли,— сказал я, готовый принять на веру то, чего не мог опровергнуть.

— Двери конюшни хлопают от ветра, вот собаки и беспокоятся. Ты со мной поедешь?

— В церковь?

— Отцу было бы приятно.

— А Пегги и Ричард?

— Ричард говорит, ему не в чем ехать.

— Который час?

— Без четверти девять. В этом месяце служба начинается в половине десятого.

Приход недавно разделили надвое, и священнику по воскресеньям приходилось служить дважды, в половине десятого и в одиннадцать, в двух разных церквах, расположенных довольно далеко друг от друга.

— Где Пегги?

— Надела свои штучки и пошла на солнышко. Не беспокойся, я ее не съела.

— Ты ее звала в церковь?

— Она сказала, если Ричард надумает, тогда и она поедет.

— А одна ты не хочешь ехать?

— Боюсь вести машину сама, и потом, разве тебе не любопытно повидать старых знакомых?

— Нет.

— Понимаешь, я за все лето, кажется, ни разу не была в церкви — как-то нехорошо получается.

— Ну ладно, тогда уходи, дай мне одеться.

— Тебе неохота? Больше я не буду затруднять тебя такими просьбами.

Я понял, что она ожидала отказа. Но мне самому захотелось поехать в церковь, взглянуть — только взглянуть — на других людей, ничем со мною не связанных, кроме того своеобразного долга вежливости, который мы все отдаем мирозданию, исповедуя христианскую веру. Вероятно, как и у моего отца, состоявшего церковным старостой, у меня была какая-то потребность внутренне собраться в незанятый делом час, проверить собственное существование зрелищем принаряженных по-воскресному, набожно склоняющих голову прихожан.

Народу в церкви было немного. На своем постоянном месте в первых рядах сидели все три брата Генри — владелец продовольственного магазина, агент компании по продаже тракторов и школьный учитель — со своими одинаковыми дебелыми женами, с еще остававшимися при них детьми (старшая дочь Тома Генри, Джессика, вышла замуж за летчика и переехала в Санта-Фе; сын Уиллиса Генри, Моррис, по настоянию жены-католички переменил религию) и даже со внуками в чистеньких комбинезончиках и накрахмаленных платьицах, которые вертелись во все стороны и любопытно таращили глаза. Следующие два ряда были пусты, а дальше сидела незнакомая мне пара, оба белокурые, оба с красными от загара шеями — они недавно открыли закусочную близ Галилеи, шепнула мне мать. Скамью через проход в том же ряду занимали старая миссис Рук в своей вечной черной шляпке с гроздьями металлических ягод и стройная пуэрториканка — соломенная вдова (шепнула мне мать), живущая в автоприцепе на участке старого Гуглера. Она сидела очень прямо, опустив серую вуалетку на смуглое лицо, окруженная целым выводком непоседливых ребятишек. Из мужчин, собиравших пожертвования, я не знал ни одного; они все принадлежали к новому для наших краев типу — младшие компаньоны деловых фирм в строгих однобортных летних костюмах, инженеры, зубные врачи или конторские служащие из тех, что живут за городом и каждый день ездят оттуда на работу. По счастью, кроме братьев Генри и старой Кэти Рук никто здесь не мог помнить меня юным скептиком, хмуро сидящим на церковной скамье между матерью и отцом. Над алтарем была в те времена фреска на сюжет Вознесения, написанная заезжим художником лет пятьдесят назад и порядком закоптившаяся от дыма погребальных свечей. Ветер слегка раздувал в полете Христовы одежды, в меру открывал глазу удивительно свободно висящие босые ступни. Теперь вместо фрески высился модернистский бронзовый крест на фоне алтарного занавеса ярко-красного цвета — дар Рассела Генри в память усопших родителей, шепнула мне мать. Хоть я уже много лет не слышал воскресной службы, все в ней было мне очень хорошо знакомо. Слова сами собой приходили на язык. Священник, аккуратненький, очень молодой, говорил чуть гнусавым голосом педанта, сопровождая свою речь заученными жестами; когда он взошел на кафедру, оказалось, что он очень маленького роста — издали это было незаметно.

Текст для проповеди он выбрал из Книги бытия и толковал его в округленных фразах, не чуждых некоторой учености; его лицо и руки, освещенные снизу, казались неестественно бледными.

И сказал господь бог: Нехорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. Запомните: Адам нуждался в «со-

ответственном помощнике». Древнееврейское слово «азер» не имеет родового окончания и означает «подспорье», «помощь», какую подмастерье оказывает мастеру или один работник другому. Итак, вопреки некоторым сентиментальным богословским учениям, мы, мужчины и женщины, были сотворены не для того, чтобы любить друг друга, но для того, чтобы трудиться вместе. Труд не есть кара за грехопадение. Когда мир был только что создан и ничем не омрачен, бог поселил Адама в саду Эдемском, чтобы он его «возделывал и хранил». Возделывал и хранил.

Следующий стих гласит: *Господь бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их; и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.* Две вещи удивляют нас тут. Во-первых, бог — наивно, казалось бы,— прежде Евы создал животных в качестве друзей и помощников Адаму! Во-вторых, первым делом Адама, первым *делом,* о котором нам рассказывает Библия, было дать этим животным имя! Но так ли уж это удивительно? Разве бессловесные твари земные не истинные друзья нам? Разве не светится это божье предназначение в глазах собаки, лошади, даже телки, которую ведут на убой? Разве человек, создавая цивилизацию, видел в животных только вьючный скот и пищу для себя, разве не служили ему образцом и вдохновением полет птиц, могущество льва? И так ли уж странно, что первым делом Адама было дать имя своим немым помощникам? Не похожа ли наша речь, язык наш, на труд земледельца, огораживание полей? Все мы здесь фермеры или сыновья и дочери фермеров, и все мы знаем: ничтожный червяк способствует проникновению воздуха в почву. Так и язык помогает разуму, духу проникнуть в сухую бесплотную материю.

— Я вовсе не сын фермера,— шепнул я матери.

— Тсс! Ты ведь и мой сын тоже.

— *И навел господь бог на человека крепкий сон; и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью; и создал господь бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку.* Вероятно, многим из вас известно, что когда впервые стали применять при операциях наркоз, на этот стих ссылались в спорах против тех, кто полагал, что анестезия противна христианскому учению. Но давайте присмотримся к трем другим обстоятельствам, упоминаемым в рассказе о сотворении Евы. Она была взята *от* Адама. Она была сотворена *после* Адама. И она была сотворена, когда Адам спал. Какие выводы мы сегодня из этого можем для себя сделать? Первое: не сводится ли женский вопрос к тому, что женщина взята *от* мужчины и таким образом представляет собою как бы подвид, часть целого, что она не равна мужчине. В словаре Вебстера читаем: ЖЕНЩИНА — взрослое лицо женского пола, в отличие от мужчины и ребенка. Такая формулировка невольно оставляет впечатление, что женщина есть нечто среднее между мужчиной и ребенком.

Братья Генри переглянулись, по передним скамьям пробежал вежливый смешок.

— Второе: женщина была создана *после* мужчины. Представим себе бога, как мастера, совершенствующегося от изделия к изделию. Мужчина сработан грубовато, хотя и взыскательно; женщина — плод более изощренного и искусного труда. Вспомним, что бог создал ее вскоре после того, как «образовал всех животных полевых и всех птиц небесных», и его рука, привычно двигаясь в том же ритме, творила формы гармонические и изящные. Ребро округло. Создание Евы обрекло Адама на раздвоение. Половиной своего существа он тянется к ней, вышедшей из него, как к себе самому, к нутряному, родному теплу, растворение в котором есть в то же время сотворение. Другая же половина стремится

вовне, к богу, к ровным просторам бесконечности. Он жаждет постичь тайну смерти, его ожидающей. Еве это не нужно. Она как бы неподвластна смерти. Само имя ее — *Хава* по-древнееврейски — означает «живущая». Материнством она конкретно решает задачу, которую мужчина пытается решить абстрактно. Однако мы, христиане, знаем: абстрактных решений тут нет, и нет никаких решений вне конкретной реальности Христа.

Он наклонился к светильнику на аналое, и его лицо с острыми чертами стало еще бледнее.

— И третье: женщина была создана, когда Адам спал. Оттого ее красота всегда хранит для мужчин призрачность сновидения. Каждый день, просыпаясь, мы дивимся, подобно Адаму, видя рядом своего двойника — нет, не двойника, ибо податливая нежность и кроткое долготерпение женщины противоположны природе мужчины. И стремясь к ней, мы свершаем акт веры.

И сказал человек: вот, это кость от кости моей и плоть от плоти моей; она будет называться женой, ибо взята от мужа своего. Слова, употребленные в оригинале Книги бытия, имеют родовое окончание. Мужчина — *иш* — называет женщину *иша,* тем самым как бы указывая, что она есть его ипостась. Необходимая ипостась. Карл Барт, крупнейший авторитет нашей дружественной соперницы, реформатской церкви, так говорит о женщине: «Все ее существование есть призыв, пусть не всегда услышанный, к доброте мужчины». Призыв к доброте мужчины. «Ибо доброта,— продолжает он,— его исконное свойство, составляющее часть его человеческого долга». *Исконное,* то есть присущее ему с самого начала, с той поры, как бог вдохнул в прах дыхание жизни и «стал человек душою живою».

Итак, если я верно толкую приведенные тексты, женщина была создана для помощи мужчине в его делах, которые в то же время суть дела божьи. Назвав ее именем, производным от собственного, Адам свершил акт веры. «Вот, это кость от кости моей и плоть от плоти моей». В этих словах как бы заключено признание, что его долг быть добрым. И в них же — установление нравственной связи с земным. Доброта отличается от праведности так же, как травы отличаются от звезд. И та и другая беспредельны. Но праведность невозможна без сознательного обращения к богу. А доброта не зависит от веры. Она заложена в самой природе мироздания, в каждой черточке каждого творения божьего. А теперь — помолимся.

Проходя в дверях мимо священника, я пожал его холодную, мягкую руку и сказал, что проповедь он произнес блестящую.

Мать, шедшая следом, тоже обратилась к нему ровным негромким голосом, каким обычно произносила что-нибудь, требующее оговорок.

— Так непривычно слушать *молодую* проповедь.

Уже сидя в машине, я спросил:

— Почему ты назвала его проповедь молодой?

— А, сама не знаю,— сказала она.— Надоели мужские разговоры о женщинах. Мне это просто неинтересно.

— У него, видно, недюжинные способности.

— Да уж, карьера ему обеспечена. В нашем приходе он долго не задержится. К сорока годам будет епископом — если только отучится шнырять глазами где не следует.

Я рассмеялся.

— А за ним это водится?

— Говорят. У нас теперь очень хорошенькие прихожанки поют в хоре.

Проповедь, видно, задела ее за живое; помолчав немного, она сказала:

— Нет, Джой, по-моему, когда мужчина начинает так рассуждать, это значит, что он причинил горе какой-то женщине и старается найти себе оправдание.

Меня удивил ее тон, сосредоточенный, глубоко личный. Способность матери эгоцентрически обособляться от меня показалась мне даже обидной. Я нарочно переменил тему.

— Генри знают о моем разводе?

Выйдя из церкви, мы немного постояли с ними под горячим бестеневым полуденным солнцем, заливавшим красноватую мостовую и плотно убитый грунт автомобильной стоянки. Они очень сердечно и ласково встретили меня, охотно отвечали на мои расспросы о Джессике, чьи стройные ноги и широко расставленные глаза заставляли меня когда-то ворочаться по ночам на моей узкой койке. Рассел, Уиллис и Том звали мою мать просто по имени — Мэри, и это разом перенесло и нас, и старинную маленькую церковь с выбитой на камне датой закладки и полуциркульным окошком над входом, в далекие времена, когда меня еще не было на свете. Они все учились с матерью в одной школе. Но я чувствовал, что разговор с ними утомляет мать.

— Еще бы не знали,— ответила она на мой вопрос.— Эта новость наделала шуму. Мы тут всегда в курсе твоих дел.

Голос матери звучал натянуто и словно возникал где-то неглубоко, в горле.

— И что же, верно, все были возмущены?

— Милый мой, теперь, чтобы возмутить нас, много нужно. Прошлой зимой мэр Олтона попал под суд за то, что, оказывается, получал проценты с веселых домов около ярмарочной площади.

Снова я рассмеялся; никто так не умеет рассмешить меня, как моя мать.

— Все-таки мне бы не хотелось становиться героем местных сплетен. Тебе ведь жить среди этих людей.

— Ах, Джой, ты, кажется, считаешь нас всех дураками. Эти люди видели Джоэн. Они прекрасно поняли, что она тебе не подходит.

— А она мне не подходит? — Я замер за рулем; мне показалось, будто что-то ощупью, неуверенно пробивается сквозь ровный серый свет.

В голосе матери зазвучали нетерпеливые нотки.

— Конечно, нет. Эта куда больше в твоем стиле. Хофстеттеры всегда выбирали себе женщин с норовом.

Это было слишком уж круто; слишком бесцеремонно расправлялась она с моей первой женой, моей нежной и глубокой, молчаливой и замкнутой Джоэн. Джоэн вросла в меня как иллюзия, с которой, даже когда она разрушена, больно расстаться.

— Что ж,— сказал я.— Не будем разочаровывать Хофстеттеров.

— Джой, ты же понимаешь, о чем я. Ты слишком податлив, это в тебе от отца. Ты совсем уже превратился в ягненочка в ту пору, когда я затеяла переезд сюда. Оттого я его и затеяла. Но, женившись на Джоэн, ты опять к этому вернулся. Джоэн — она как Олинджер. Все в ней так благопристойно. Так ми-ило.

Меня покоробило от ее насмешливой интонации.

— Тебе вредно столько разговаривать, мама. У тебя одышка.

— Если б только одышка.

— А что еще?

Я заметил, что паузы в ее речи какие-то странные, словно ей приходится собираться с силами после каждой фразы.

— Ничего, следи за дорогой. Я хочу сказать о твоей работе. Я никогда не могла простить Джоэн — как она могла тебе позволить тратить себя на ремесло проститутки.

— Джоэн никогда не настаивала, чтобы я занимался этой работой.

— Этого мало. Ее долг был настоять, чтобы ты ее бросил. Эти ее голубые очи ни разу не посмотрели на тебя живым человеческим взглядом.

— Неправда.— Но сердце у меня забилось чаще в приливе эгоистической радости, рожденной этим глухим поединком.

Мать вдруг вскрикнула. Это даже был не крик, а истошный визг — так визжит собака, которой отдавили передние лапы. Я в это время делал левый поворот с шоссе на проселок и не сразу оглянулся посмотреть, что случилось. Оглянувшись, я ее не узнал. Лицо у нее вздулось, особенно под глазами, словно что-то неудержимо распирало его изнутри, обеими руками она держалась за грудь и, зажмурясь, молча силилась справиться с собой. Черты лица утратили четкость и, казалось, все время менялись, как очертания облака. Между бровей выступила испарина.

— Что делать, мама?

— Поезжай дальше. Со мной это не первый раз.

— Ты так страшно кричала.

Она, видно, чуть было не закричала так снова, но после моих слов плотно сомкнула губы, так что из них вырвалось только короткое мычание; а лицо все наливалось и наливалось чудовищной непонятной полнотой, разгладившей все морщины на коже.

— Господи, мама!

Тут ее отпустило, она задышала частыми, прерывистыми толчками, не открывая глаз, раздвинув, как для поцелуя, губы. Я снял ногу с акселератора и затормозил. Она открыла глаза; взгляд был жесткий, лишенный всякого выражения.

— Не останавливай. Я хочу домой, на свою землю.

— Но какой же смысл? Тебе нужен врач.

Короткая усмешка тронула приоткрытые губы.

— Дома у меня есть таблетки.— Она помолчала, прислушиваясь, как бы прикидывая, есть ли у нее время для полушутливых оправданий.— Слишком много было треволнений за эти два дня. Я ведь привыкла жить тихо.

Я поехал дальше. Проплыло мимо взлохмаченное маленькое поле. Показалось большое, на котором я косил вчера. Когда мы поровнялись со старой грушей, мать снова вскрикнула; крик на этот раз был громкий, но протяжный, почти стон. Мне было приятно, что она дала себе волю, не пыталась больше сдерживаться, щадя мое неведение.

— Что это — сердце?

Она ответила:

— Нет, больше грудь и плечи. Когда дойдет до сердца, мне уже не придется рассказывать об этом.

Я пересек газон и остановил машину у кухонного крыльца. Залаяли собаки, но других признаков жизни не было заметно. Водопроводная колонка и увечный куст бирючины стояли как двое воришек, застигнутых на месте преступления.

— Ты сможешь идти?

— Идти смогу, а вот дверь не могу отворить.

Я понял это так, что она не знает, как действуют ручки в «ситроене», но, оглянувшись, увидел, что она сидит, даже не пытаясь шевельнуть рукой. Я обошел кругом и отворил дверь. Не встречая сопротивления, я взял ее под локоть и помог выйти из машины. Казалось, она твердо стоит на траве обеими ногами, но плечи ее были по-прежнему согнуты, и она не сразу решилась отойти от машины, в которой можно было найти опору.

— Надо вывести собак,— сказала она.

Собаки отчаянно лаяли; может быть, стоя рядом, мы показались им одним неведомым существом, в котором противоестественно слились хорошо знакомые запахи и очертания. Пока мы медленно обходили машину, щенок опрокинул пустое ведерко, а одна из больших собак прыгнула и вцепилась когтями в проволочную сетку, но сорвалась.

Дом казался пустым. Посуда, которую мы не успели убрать после завтрака, мокла в ополосках, серо-стальных от осевшей мыльной пены. Бесшумно шли электрические часы, поблескивали мои заморские подарки, озабоченно хмурились фотографии, без помех продолжая свой вечный разговор. Мы явились к ним, как призраки из другого мира, который с их миром никогда не пересекался.

— Пегги? Пегги! Ричард!

Ответа не было. Мать сказала:

— Пусти, Джой. Я пойду наверх и лягу. Спасибо, что свозил меня в церковь.

— А ты дойдешь сама?

— Если упаду на лестнице, ты услышишь.

И мы поступили так, как подсказывала нам старомодная взаимная деликатность и нежелание затруднять друг друга. Она стала подниматься по лестнице, а я стоял у нижней ступеньки, пока не услышал над головой шаркающие шаги.

Я окликнул:

— Ну как ты там?

Ответ прозвучал невнятно, что-то вроде: «Лучше некуда».

— Пойду поищу Пегги! — крикнул я и тут же встревожился: не примет ли она это как дезертирство с моей стороны. На самом же деле я хотел позвать Пегги на помощь. Мне вдруг стало ясно, что я сам не в состоянии эту помощь оказать. Я бежал по газону, и у меня сосало под ложечкой от знакомого с детства ощущения своей никчемности, незадачливости, словно жизнь — это шумный и яркий праздник, на который я не сумел попасть вовремя и теперь мечусь по темным улицам Олинджера и не могу разобрать, с какой стороны доносится уже затихающий праздничный гул.

Я не знал, куда кинуться на поиски. Повсюду торчали сорняки, все кругом притихло в злобной праздности воскресного дня. Не было больше сказочного зеленого приюта в стороне от проезжих дорог, была просто заброшенная ферма, двенадцать минут пути от Олтона, никем не охраняемый очаг запустения, приманка для бродяг, злоумышленников и сумасшедших. И где-то там жалким свидетелем насилия стоял мой сын — так значился Ричард в мысленной скорописи моих страхов,— и безоружность его неотрывного, блестящего взгляда вызывала у меня жалость более острую, чем смутно видевшееся мне изувеченное нагое тело жертвы, его матери и моей жены. Я добежал до почтового ящика, посмотрел на дорогу. В этом месте дорога делала двойной вираж до подъема в гору, к почтовому ящику Шелкопфа, и на всем протяжении виража ничего не было видно. Только висела красноватая пыль, след недавно проехавшей машины. Я повернулся и уже хотел бежать к большому полю, как вдруг сзади меня окликнули по имени.

— Джой!

Ко мне шел Ричард. Я его раньше не видел за поворотом дороги. Он надел купленные вчера солнечные очки, и без глаз его лицо стало бесцветным и невыразительным, уменьшенным, рот, казалось, кривила саркастическая гримаса. Он повернулся и крикнул куда-то в пространство:

— Они вернулись!

— Где мама?

— Собирает ягоды.

По дороге к развалинам табачной сушилки он рассказывал:

— Ехала мимо машина, и в ней много каких-то типов, так мы присели в кустах, чтобы нас не видно было с дороги.

Нависшие облака поредели, и под ногами у нас приплясывали мелкие полупрозрачные тени.

Пегги стояла в кустах ежевики, так что видны были только голые руки и плечи, и безмятежно рвала ягоды, выбирая самые сочные, самые крупные, поближе к стене с облупившейся штукатуркой. Точно грациозная самочка одной со мною породы мирно паслась в солнечной рощице. Подойдя ближе, я заметил, что на ней только лифчик от бикини, узкая полоска ткани в горошек, а дальше ее обтягивали синие эластиковые брюки, подделка под рабочий костюм; но это ничуть мне не портило впечатления от любимого тела, изгибавшегося среди колючих веток; напротив, в этом обличье кентавра она — моя горожанка жена, детище театральных фойе и автоматических лифтов,— казалась вполне естественной, и легко было поверить в ее готовность отдать себя ферме.

— Я, кажется, сделала глупость,— сказала она мне.— По дороге ехала машина, набитая какими-то подозрительными субъектами, и я нырнула в кусты, а это, по-моему, был ядовитый сумах.

— С такими блестящими листьями, по три на одном черенке?

Она оглянулась.

— Ох господи, да. Теперь у меня все тело покроется сыпью.

— Надо тебе опять вымыться желтым мылом. Но так или иначе — пойдем домой. У матери какой-то припадок.

— Не может быть, Джой! Что-нибудь серьезное?

— Не пойму сам. Может быть, ты лучше разберешься.

Ричард спросил:

— А ты позвонил, чтобы приехала скорая помощь?

Я ответил ему:

— Я не знаю, куда звонить. Понятия не имею, как тут вызывают скорую помощь.

Пегги сказала:

— Не разводите панику.

Но ее лицо, выглядывавшее из распущенных, растрепавшихся волос, ясно показывало, что она и сама испугана не меньше нас. Осторожно она высвободилась из кустов, высоко подняв дуршлаг, до половины наполненный ежевикой. Ричард, не дожидаясь, побежал вперед; я знал, какое у него сейчас ощущение под ложечкой. Где-то кончался праздник, и он боялся опоздать и боялся поспеть вовремя. Пегги шла со мной рядом; она не стала противиться, когда, зайдя за конюшню, где нас не видно было из окон дома, я дотронулся до ее влажного затылка и повел пальцы дальше вдоль спины, туда, где линия позвоночника, изгибаясь, уходила под брюками вниз. Длинный трепетный этот изгиб я читал, как живую повесть о скорби — так иногда художник-абстракционист, из царства отвлеченности возвращаясь к природе, пишет небо неправдоподобно красного цвета, цвета земли — и все же наш глаз узнает в нем небо.

■

Пегги сразу же поднялась наверх, побыла там некоторое время и, вернувшись, сказала, что мать чувствует слабость, но разговаривает спокойно и ласково. Она приняла таблетки и легла в постель; удушье уже не мучит ее, а вот боль в плече распространилась почти на весь левый бок. Они с Пегги решили, что я должен позвонить доктору Граа-

фу, хотя он, по всей вероятности, сейчас в церкви. Доктор был меннонитом. Пегги послала Ричарда отнести матери ягоды, а я подошел к телефону, который стоял на окне, обращенном к конюшне. В телефонной книжке было целых полстолбца Граафов, но доктор Грааф только один. Его номер не отвечал. Слушая звонки в трубке, я смотрел на конюшню, выглядевшую как-то зловеще обкарнанной без навеса, хоть он и не слишком ее украшал, и я вдруг увидел в ней образ моих родителей, раньше и теперь, после смерти отца. С той стороны, где когда-то был навес, открылась часть луга и большой куст сумаха, на котором часть листьев преждевременно покраснела, как будто яд просочился в каждый отдельный листок, — а телефон все звонил и звонил без ответа. Наверху засмеялся Ричард, потом голос матери мягко пробрался по краю еще не отзвучавшей шутки. Пегги отбросила со лба волосы и принялась за стряпню. В сарайчике залаяли собаки.

Я вышел на крыльцо, снял со вбитого в столб гвоздя два собачьих поводка, наращенных веревкой,— они там висели по соседству с жестяной кружкой, из которой мы пили воду. Я вошел в сарайчик и прицепил поводки к ошейникам собак, радостно запрыгавших вокруг меня. Щенку разрешалось бегать без поводка. Собаки, опустив нос и прижав уши, потащили меня через фруктовый сад. Они так рвались вперед, что ошейники то и дело впивались им в горло под встопорщившейся от удовольствия шерстью, и они давились и кашляли. Веревка, которую я намотал себе на руку, натягиваясь, больно терла мне кожу, и рука в этом месте горела. У шеренги подсолнухов собаки напали на чей-то след и с такой силой рванулись по этому следу, что я вынужден был припуститься бегом. Разлапую темную зелень клубники на огороде глушили разросшиеся лопухи, подорожник и молочай. Земля, вывороченная вчера мотыгой Пегги, посветлела и запеклась на солнце. Напрягая тугие мышцы, собаки тащили меня дальше, к большому полю, где трактор, разрыв норки всякой полевой твари, создал для них новый, приманчивый мир.

Вся схема моего вчерашнего движения по полю была аккуратно вычерчена уже подсыхающими рядками скошенной травы. А стерня снова пестрила головками цветов — тех, что не попали под нож косилки, и тех, что только сегодня родились на свет. Цветы — лучшая реклама, подумал я, и тут же мне пришло в голову, что можно использовать эту мысль в моей работе. Щенок спугнул бабочку; полетели уже две бабочки — она сама и ее тень.

Наши тени были по-полдневному коротки. В небе, точно приступы боли, набегали тусклые облака и сразу же таяли, разлезались бесформенными хлопьями, как смятое войско, как последние проблески угасающей жизни. Мне хотелось вернуться в дом, я боялся, что собаки увлекут меня к самым дальним границам фермы. Но когда мы миновали пригорок за большим полем, откуда в зимние дни виден серебряный шпиль олтонской судебной палаты, они остановились по первому окрику и покорно затрусили обратно, будто продолжая проложенный в ежедневных прогулках с моей матерью маршрут — вдоль живых изгородей сумаха и айланта, по нижнему краю большого поля, мимо развалин табачной сушилки, через дорогу и во двор дома. Еще несколько минут веселой возни и притворного сопротивления, и вся тройка была благополучно водворена в свой сарайчик. В лохматых штанишках задних собачьих лап запутались колючки репейника и какие-то зеленые семена, похожие на сточенные наконечники стрел. Глянув вниз, я увидел, что природа и меня использовала для своих целей: манжеты моих брюк тоже несли на себе семена.

Дома Ричард читал, Пегги наготовила сандвичей с колбасой и теперь разогревала грибной суп. Стол был накрыт на три прибора.

— Как она там?

Ответил Ричард:

— Сказала, что ягоды очень вкусные, а обедать она не хочет.

Я посмотрел на книгу, которую он читал; это был мой Вудхауз.

— А не рассердится она, если мы позовем доктора?

— Чего тут сердиться? И ведь она же сама сказала.

— Очень это на нее непохоже.

Пегги, внимательно следившая за молоком, которое лила в суп, оглянулась на мои слова; глаза у нее потемнели. Мне вспомнилось неожиданное замечание матери о мужчинах, которые ищут себе оправдания, причинив женщине горе.

— Иди, спроси сам,— сказала она.

Поднимаясь по лестнице, я почувствовал в кармане своего пиджака (я так и не переоделся после церкви) что-то жесткое и вытащил сложенную церковную программку. Такая привычка была у отца — сложить программу и сунуть ее в карман, вместо того чтобы выбросить после богослужения. Он вообще не любил ничего выбрасывать, по бессмысленной своей привязчивости, раздражавшей меня, когда я был мальчишкой. Дойдя до верхней площадки, я положил ненужную программу на кучу журналов, которые там дожидались своей участи.

— Мама?

Мать спала, высоко лежа на двух подушках, выпростав из-под одеяла голую руку. Сверху я увидел, что голова у нее совсем седая, а раскрытая ладонь, касавшаяся дуршлага с ежевикой,— Пегги все-таки набрала много зеленой,— сохраняла беспомощную детскую пухлость. Во сне резче обозначились складки, идущие от крыльев носа к углам рта, и на щеках, незаметные раньше, пролегли параллельно еще две морщины. Впервые я в ней увидел старуху. До сих пор она всегда была для меня лишь погрузневшим двойником быстроногой молодой матери, что когда-то, обгоняя отца, бежала под дождем от конюшни к дому. Мне казалось, что та, другая, и сейчас скрыта в ней, что она прячет ее от меня в наказание за мои проступки. Но, спящая, она ускользнула от моей цепкой, обидчивой памяти и, сама того не зная, переселилась в далекий край, в холодную арктику старости. Ее рука, удивительно гладкая и нежная на сгибе локтя, матово серебрилась в лучах солнца, которое лилось в окна, высекая золотые искры из привядших листьев герани на подоконниках. Я подумал о том, как мать заботливо поливает и «хранит» эту герань в комнате, давно уже переставшей служить ей спальней. Сколько же их здесь, кругом, на всем обширном пространстве фермы — следов ее оплодотворяющей землю заботы, которая уйдет в эту землю вместе с ней. Смерть вдруг показалась мне чем-то неглавным, изъяном, просмотренным при покупке фермы, мелким недочетом, увеличившимся с годами. Мать ровно, негромко всхрапывала во сне; рука ее бессознательно шевелилась на одеяле, и я убрал дуршлаг с ежевикой, чтобы ягоды не рассыпались от случайного толчка. Я склонялся над матерью, всматриваясь в ее неподвижное тело, как однажды на пляже всматривался в нелепый контур, оставшийся на песке, где я лежал, и мои дети палочкой обвели всю мою фигуру. Этот контур, не наполненный живой вибрацией плоти, показался мне тогда карикатурно малым.

Я прошел в нашу спальню и переоделся. Увидя меня опять в старом отцовском комбинезоне, Пегги спросила:

— Идешь косить?

— Нельзя, ты забыла? Сегодня воскресенье.

— Но мы все-таки уедем сегодня или нет?

— Не знаю, можно ли ее оставить.

— Почему ты не звонишь доктору?

— Боюсь.

— Что за ребячество!

На этот раз в трубке послышался женский голос — жена доктора Граафа. По тону можно было догадаться, что телефонный звонок оторвал ее от воскресного обеда. Слышно было, как она повторяет мои слова доктору, потом она передала мне ответ. Доктор сказал, что будет в половине третьего. А пока, если мать спит, пусть спит.

Мы сели обедать. Ричард спросил, когда мы поедем домой.

— Ты уже хочешь домой? А мне казалось, тебе нравится на ферме.

— Тут нечего делать.

— Моя мать очень огорчилась бы, если б услышала это.

— А она слышала. Я ей сказал, и она со мной согласилась. Она говорит, ей тут нравится, потому что она не любит что-нибудь делать.

— Уехать мы не можем, пока доктор не скажет, что с ней. А там, может быть, придется мне вас с мамой отправить домой, а самому здесь остаться.

Уже мое сердце раскрывалось, чтобы вобрать в себя ферму от края до края, до отдаленных закоулков, до межевых столбов; скоро наступит осень — сквозные деревья, чистое небо, густые россыпи звезд по ночам, астры повсюду, первый морозец.

Пегги сказала:

— Всего разумнее поселить в доме квалифицированную медсестру.

Я сказал:

— Может быть, Джоэн согласится. Ей нужна работа. А жалованье пошло бы в счет алиментов, которые я должен платить.

— Это что, острота?

— А ты представляешь себе, сколько стоит квалифицированная медсестра?

— Гораздо меньше, чем я,— это ты хочешь сказать?

— Во много раз меньше. Но все-таки порядочно.

Ричард сказал:

— Можно условиться, что мы каждый вечер будем звонить в определенный час и узнавать, здорова ли она.

— Еще лучше установить прямую телевизионную связь: повернул выключатель — и видишь, что тут и как.

— В некоторых детских больницах это уже делается, я где-то читал.

— Виноват. Опять я отстал от действительности.

Пегги сказала:

— Оставь Ричарда в покое. Можешь срывать свою злость на мне, а его не трогай.

— Вот те на! А я думал, что мы все — одно юридическое лицо. Ты, я, Ричард, декан Маккейб и еще тридцать или сорок особ мужского пола без особых примет.

Она потянулась через стол, чтобы дать мне пощечину, но я перехватил ее руку и выкрутил так, что ей пришлось сесть на место. Эта короткая стычка, отраженная в округлившихся глазах Ричарда, как ни странно, сработала на нее и против меня. Хоть на миг я как будто выплыл, меня сразу же залило, захлестнуло напором ее пустоты. Сжимая еще болевшую руку в другой руке, она отчеканила:

— Давай, Джой, раз и навсегда договоримся об одном. Я больше не желаю, чтобы ты мне тыкал в лицо Джоэн. Ты сам сделал выбор. Я тебя ни к чему не принуждала, я старалась быть честной и справедливой, но ты сам сделал выбор. Если можешь сказать мне что-нибудь разумное, говори, но не обращайся со мной, как с той собакой, которую

ты дразнил в детстве. Не заставляй меня снова и снова заглядывать в трубу. Если я должна чем-то поступиться ради того, чтобы твоей матери был обеспечен хороший уход,— охотно поступлюсь; но я не Джоэн, это с самого начала всем было ясно, и я об этом ничуть не жалею.

Мне сделалось совестно; ведь не ее вина, если она нечаянно заслонила вставшее передо мной на миг видение фермы — *уже моей* фермы под осенним небом, с теплым запахом прелого листа, с пустынной ширью полей, с ласковой бесконечностью паутины оголенных веток. Я сказал: «Ладно, не глупи. Ты прелесть». Но мое неуменье вместе с фермой видеть и ее почему-то показалось мне ее неуменьем, преградой, созданной ею; и тягостное ощущение этой преграды не покидало меня вплоть до половины третьего, когда в дом вошел доктор Грааф, неся с собой запахи антисептики и кислой капусты.

■

Проводив доктора, мы все поднялись в комнату матери. Пегги и Ричард остались у дверей, а я подошел поближе. Был уже четвертый час, я мысленно видел воскресный поток машин, густеющий на автостраде. Мать полулежала в постели, седая ее голова темнела на белизне подушки. Она словно бы осунулась, кожа на лице была как бумажная — так бывает у человека, только что проснувшегося после долгого сна, чуть заметная усмешка кривила губы.

— Что он сказал *вам?*

— Сказал, что, может быть, тебе стоит лечь в больницу.

— Надолго?

— Пока не уменьшится вероятность повторения таких приступов.

— А если она не уменьшится? Почему он не дает мне спокойно умереть здесь, где мое настоящее место? Здесь умерли мои родители, мой муж, и я тоже хочу умереть здесь. Больше мне ничего от этих стервятников-врачей не нужно. Я от своей земли никуда не пойду.

— Речь вовсе не идет о смерти, мама. Речь идет о твоем удобстве и о том, чтобы ты поскорей поправилась.

— Не притворяйся.

Она, не мигая, смотрела мне в глаза; взгляд ее, очень прямой, очень ясный, требовал только одного — правды. Но для меня, в мои тридцать пять, это была еще чуждая стихия. В уступку мне, а быть может, поддавшись старой привычке, она изменила тон.

— Душа у меня просится на покой. Так и рвется вон из тела.

Я подхватил ей в лад:

— Нехорошо думать только о себе, мама. Подумай о том, что станут говорить про меня. И так уж, судя по тому, как доктор Грааф со мною прощался, я думаю, он не слишком высокого мнения о моих сыновних чувствах.

— Ну, знаешь ли,— сказала она,— соседи всегда были о Хофстеттерах определенного мнения, так что теперь уж поздно беспокоиться на этот счет. Чудаки и злыдни — вот как о нас всегда говорили в округе. Отец твой — другое дело; он тут был пришлый, и они могли относиться к нему немножечко свысока, за это его любили; но нам с тобой, Джой, уже ничего не поможет.

— Во всяком случае, деньги пусть для тебя роли не играют.

Это должно было показать ей, что все будет так, как она хочет, и я даже благодарен ей за то, что она сама настаивает на том, чего я не решаюсь предложить.

Она сделала нетерпеливое движение рукой.

— Как же это можно, чтобы деньги не играли роли? Деньги всегда играют роль — верно, Пегги?

Пегги подошла ближе.

— Хотите, чтобы мы побыли здесь?

— Нет, Пегги, спасибо. Я хочу, чтобы вы уехали в Нью-Йорк, туда, где ваше настоящее место. Вы все трое исполнили свой долг, порадовали старуху, и не ваша вина, если радость уже слишком обременительна для ее сосудов.

Пегги сказала:

— Но вы же не можете остаться одна — беспомощная, в постели.

— Вовсе я не беспомощна. Полежу пока, а понадобится — встану. Шелкопфы всегда посматривают, идет ли у меня дым из трубы, и если увидят, что не идет, сейчас же явятся узнать, что случилось. Да и собаки в случае чего поднимут лай. Как это говорится в пословице? Сам стлал постель, сам и спи в ней.— Она похлопала по одеялу рукой.— Да уж, кто-кто, а я себе стлала постель сама.

Она засмеялась, и в коротком этом смешке мне послышалось тщеславие ее молодых лет, которое потом зачерствело и превратилось в гордыню.

Она повернулась к Ричарду.

— Приедешь ко мне еще, Ричард?

Он молча кивнул, завороженно глядя на нее блестящими карими глазами.

— Следующий раз постараюсь не ссорить тебя с матерью,— пообещала она.— Не хочу больше быть вредной старухой.

— Мы уедем позже, когда стемнеет,— сказал я, почти выкрикнул от напряжения. Каждой клеточкой своего существа я теперь стремился уехать отсюда, вырваться из ее болезни, из ее спиралью закручивающейся покорности.

Взмахом почти квадратной руки, короткопалой и натруженной, как у мужчины, она отвела мое предложение.

— Насчет покоса не беспокойся, Джой,— сказала она.— Сэмми выберет время и докончит. Главное ты сделал, остались пустяки. Он ведь очень добрый,— добавила она, повернувшись к Пегги.— Должно быть, оттого у меня всегда был соблазн навалить на него побольше работы.

— Он добрый,— повторила Пегги.

И вдруг она улыбнулась мне, улыбнулась от души, как тогда во сне или как при первом нашем знакомстве, в чужой большой квартире, где по стенам висели абстракционистские холсты, словно окна, за которыми происходит распад мира. Я себя вдруг почувствовал затерянным, ненужным, моя жизнь шла как будто не по тому руслу. Помню, она стояла и разговаривала с Джоэн; когда я подошел, они обе повернулись мне навстречу, Джоэн в голубом, Пегги в желтом, цвета спелой пшеницы. *Это мой муж*, сказала Джоэн, и Пегги по-мужски, энергично вонзила свою руку в мою и улыбнулась широко, во весь рот, как будто не веря.

— Хорошая у тебя улыбка, Пегги,— сказала мать.— Если тебя хватит на то, чтобы еще раз приехать, и если я доживу до этого, снимись и привези мне свою карточку.

Нью-Йорк, город, вечно сам в себе отраженный, живая память моей детской мечты об избавлении, звал меня, торопил меня в путь— на проселок, на шоссе, на автостраду. Я стыдился своего стремления и бессилен был его превозмочь. Мать снова повернулась ко мне; глаза ее помолодели от слез, в которых мелькала тень мольбы.

— Джой,— сказала она.— Когда будешь продавать мою ферму, смотри не продешеви. Возьми настоящую цену.

Начиналась выработка условий сделки; это требовало осмотрительности. Ответ нужно было дать привычным языком, которым мы только и могли разговаривать друг с другом — уклончивым и полушутливым, позволяющим с заговорщическим тактом умолчать о главном и словно бы не вносить никаких поправок в прошлое.

— Твою ферму? — переспросил я.— А мне всегда казалось, что это наша ферма.

ЛЮДВИК АШКЕНАЗИ

За ваш счет...

РАДИОПЬЕСА

Перевод с чешского В. КАМЕНСКОЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Покштефл, служащий.
Голос молодого Покштефла.
Пе́тушек.
Анна.
Мать.
Ганочка.
Телефонистка.

Прерывистый телефонный звонок — пан Покштефл слышит его во сне. Реальный звонок телефона. Покштефл берет трубку.

Телефонистка. Это 22-76-75, пан Ярослав Покштефл? Пан Покштефл, соединяю вас с Новым Йичином.

Покштефл *(сонно)*. Нет, барышня, я не заказывал никакого Нового Йичина!

Телефонистка. Минуточку...

Покштефл. Алло, барышня, вы меня слушаете?

Телефонистка. Да, пожалуйста...

Покштефл. Вы, кажется, сказали Новый Йичин?

Телефонистка. Проснитесь, пан. У вас разговор с Новым Йичином. Молния.

Покштефл. Кисонька, я хочу спать. У меня сегодня день рождения. То есть вчера. Не надо мне никакого Нового Йичина. Будьте любезны, кисонька...

Телефонистка. Пан, я для вас никакая не кисонька.

Покштефл. Ну так никакого Нового Йичина!

Телефонистка. Алло, Йичин? Соединяю.

Пожилая пани. Алло, это Ярослав Покштефл?

Покштефл. Возможно. Не знаю... Ну да, это я.

Пожилая пани. Ярынек, это ты?

Телефонистка. Говорите?

Пожилая пани. Ярынек, это тетя Анна.

Покштефл. Не может быть!

Пожилая пани. Ты понял, кто с тобой говорит?

Покштефл. Да, тетя. Извини, тетя, я немножко того... Мне вчера стукнуло сорок. Приходили мои школьные товарищи. Тетя, там около тебя никто не плачет?

Пожилая пани. Нет.

Покштефл. Около тебя плачет ребенок... Или это кошка мяукает? Извини, тетя, я совсем не то говорю...

Пожилая пани. Ярынек, пан Петушек умер. Ты меня слышишь?

Покштефл. Значит, это ты плачешь? Не плачь, тетя. Страшно же дорого плакать молнией из Йичина в Прагу.

Пожилая пани всхлипывает.

Покштефл. Тетя, я серьезно не знаю, что тебе сказать. Слово «соболезнование» такое идиотское. И все-таки мне надо сказать его?

Пожилая пани. Ты должен был хоть разок позвонить ему, Ярынек. Хоть разочек за все двадцать лет. Хоть разок. Это нехорошо с твоей стороны, Ярынек. Он тебя так любил!

Покштефл. Тетя, когда похороны?

Пожилая пани плачет.

Телефонистка. Говорите?

Покштефл. Тетя, когда похороны? Алло, барышня, нас разъединили. Барышня! Нас разъединили! *(Кладет трубку.)*

Придется снова вызывать Йичин. Придется ехать на похороны. Нет, не поеду. Где он, этот Новый Йичин? Есть у вас карта, пан Покштефл? Нету. Вам сегодня уже сорок, а у вас даже карты нет. А что у вас есть? Что у вас есть, пан Покштефл? У вас... два костюма, из них один вечерний, рубашки, носки, книги, лампа, пейзаж пана Эрзавого с лодочками. Да, еще носовой платок. И еще шляпа. Еще место в Государственном статистическом управлении. И тетя...

Придется снова звонить в этот Йичин. Но куда? Я даже не знаю, где она живет. И еще у меня болит голова, и мне уже сорок. И больше ничего. Но ведь умер Петушок. Сварю себе, пожалуй, яичко всмятку. Что у меня тут? Чай. Ладно, заварю чаю, вылью в него остатки вчерашнего рома и запью эту смерть трезвенника. Кто же тут у меня вчера был? Кандр... Ага, Гимл, ага, и Ржепка, ага, и Фрич... Был тут Фрич? Был. Школьные товарищи... А что мы пили? Я не рассказывал им про Петушка? Как я предлагал ему купить гроб? Наверно, рассказывал, ведь каждый старался выдать что-нибудь посмешнее. Посмешнее — это хорошо звучит. Ясно, рассказывал. Ну и посмеялись же мы, ребята! В конце концов, я никого на свете так не любил, как этого Петушка, хотя даже не был с ним знаком. И тетю Анну любил. Тетя была красивая, лакомый кусочек. А за что я ее возненавидел? Ага, за то, что она путалась с тем немцем. Это точно. Что она сказала мне тогда? Сказала: сядь, Ярынек. Я не сел. Хотя у меня страшно болели ноги, но я все-таки не сел. Тогда я еще был молодчина. Одному подлецу я дал по морде, нет двоим... Еще с одним не здоровался, но за друга своего Юлиана пошел бы в огонь. В огонь. Огонь — пепел. Огонь — пепел, огонь — пепел... Сорокалетие Ярослава Покштефла, скромного чешского труженика... Это звание подходит всякому... Что ж теперь делать? Позвоню-ка в Новый Йичин. Не позвоню в Новый Йичин. Сегодня воскресенье — будем лежать в постели. Будем наслаждаться отдыхом. Нам сорок лет, и мы одиноки. Попытаемся сделать хорошую мину при плохой игре.

Звонок.

Покштефл. Алло, тетя, когда похороны?

Голос *(очень похожий на голос Покштефла, но значительно моложе)*. Не знаю, Ярынек.

Покштефл. Простите, кто говорит?

Голос. Это я, Ярынек. Я — Ярынек.

Покштефл. Кто ты?

Голос. Да я же. Ты.

Покштефл. Выходит, я сам себе звоню?
Голос *(радостно)*. Ну да!
Покштефл. Сам себе?
Голос. Ну да.
Покштефл. А, иди ты! Не рассказывай сказки, не было у меня никогда такого голоса. Откуда же ты звонишь?
Голос *(в нем отражается колебание)*. Из автомата на Панкраце.
Покштефл. Рассказывай! Никогда у меня такого голоса не было.
Голос. Никто не знает своего голоса, Ярынек.
Покштефл. Так, значит, ты звонишь из автомата на Панкраце? Поклянись!
Голос. К чему эти формальности, Ярынек? Что ж, ты уже и себе не веришь?
Покштефл. Себе? Нет.
Голос. Чему же ты веришь, Ярынек? Веришь чему-нибудь?
Покштефл. Скажи, кто там плачет около тебя? Что там такое? Кошка? Или коляска с младенцем?
Голос. Тебе показалось, Ярынек.
Покштефл. И ты тоже мне кажешься?
Голос. Да. А ты — мне.
Покштефл. И каким я тебе кажусь?
Голос. Неумытым. Ты не умер, Ярынек?
Покштефл. С чего ты взял? Разве я мог бы тогда говорить с тобой по телефону? Мертвые по телефону не говорят.
Голос. Отчего же? Говорят.
Покштефл. Ты пугаешь меня, Ярынек. Ты все еще любишь пугать людей?
Голос. Иногда.
Покштефл. А то, что ты звонишь из автомата на Панкраце — честное слово?
Голос. Честное.
Покштефл. Из той самой будки, откуда мы звонили Петушку?
Голос. Да.
Покштефл. Из той самой, откуда мы звонили Ганке?
Голос. Да.
Покштефл. И у тебя выбит передний зуб?
Голос. Ага.
Покштефл. И стильный зачес, как у мечтательного итальянского поэта?
Голос. Да. Хотя итальянские поэты вовсе не мечтательны.
Покштефл. А что у нас в правом кармане?
Голос. Минуточку. Четыре кроны шестьдесят геллеров, сигареты, фото. И бумажка с телефоном пана Петушка.
Покштефл. Ох, поизмывались же мы над ним, правда? Номер 9-93-17? Я не ошибся?
Голос. Этого мы с тобой не могли забыть. Ну и досталось от нас бедняге Петушку!
Покштефл. А почему мы звонили именно ему? Поверишь, я не могу вспомнить...
Голос. Как-то раз мы закрыли глаза и наугад раскрыли телефонную книгу. И задумали, что это будет шестая фамилия сверху.
Покштефл. А не снизу? И вот представь, Ярынек: Петушок умер.
Голос. Потому я и звоню тебе.
Покштефл. Скажи, ты притворяешься моим голосом или... Кто ты? Прости. Я охотно верю тебе, мне это даже нравится. Представь, Ярынек, я не звонил Петушку с самого конца войны. Так на него

тогда разозлился... Выбросил яичко в окно. Говорят, он очень нас любил, этот Петушок. Тетя Анна говорит. Тебя, да и меня, наверно, тоже. Ярынек, ты еще там?

Голос. Да.

Покштефл. Знаешь, Ярынек, чего бы мне больше всего хотелось? Хоть разок еще? Услышать, как мы звонили Петушку. Ярынек, почему ты не отвечаешь? Будь так добр, напомни мне, как мы звонили Петушку. Это возможно?

Голос. Все возможно.

Покштефл. Увы, не все. Отнюдь не все. Сколько тебе сейчас, Ярынек? Семнадцать?

Голос. Почти.

Покштефл. А теперь повтори еще разок: ну как, все возможно?

Голос. Все возможно. Все возможно. Все возможно.

Покштефл. Ладно, мальчик, сделай это для меня. Напомни, как мы звонили Петушку.

Короткие удары старинных стоячих часов.

Голос. Добрый день.

Петушек. Добрый день. У телефона Петушек.

Голос. Петушок, а Петушок, скажите, пожалуйста, у вас есть курочка?

Девичий смех.

Петушек. Если вы считаете, что это чрезвычайно остроумно, пан гимназист, то уровень ваших умственных способностей весьма убог.

Голос *(в сторону)*. Не смейся, Ганочка, ты все портишь. *(В телефон.)* Она вам снесла вчера яичко, пан Петушок?

Девичий смех.

Петушек *(учтиво)*. Вы любите яички, пан гимназист?

Голос *(мрачно)*. Ненавижу.

Петушек. Тогда, пожалуйста, повесьте трубку. *(Кладет трубку.)*

Ганочка *(смеется)*. Ярынек, я просто плачу от смеха!

Покштефл. Еще разок, Ярынек! Прошу тебя, еще разок!

Телефонный звонок.

Петушек. У телефона Эдуард Петушек.

Голос. С вами говорят из похоронного бюро «Конкордия». Пан, вы заказывали у нас гроб.

Петушек. Это опять ты, паршивец?

Голос. Прошу вас не «тыкать», мы с вами вместе овец не пасли. Вы заказывали у нас гроб. Натяните саван и ожидайте лежа.

Петушек. И не надоело тебе, хулиган?

Голос. Конечно нет, Петушок. В школе такая скучища.

Петушек. Так тебе и надо, провались ты пропадом! Что же, ты теперь каждую пятницу будешь мне названивать — до самой смерти?

Голос. Ага. До самой смерти. Будь так добр, Петушок, покличь свою курочку. Она дома?

Петушек. Ушла в магазин. Ну? Дальше что?

Голос. Петушок, а Петушок, не найдется ли у тебя хорошенького яичка? Расписного?

Петушек. Это уже старо. У тебя не хватает фантазии. Придумай хоть раз что-нибудь поновей, безобразник.

Голос. Извини, Петушок, приходится прервать разговор. Пришла мама. Привет, Петушок. А по латыни у меня кол.

Петушек. Фу. С колами мне больше не звони. И не смей говорить: «Натяните саван». Я боюсь.

Голос. Это же здорово, Петушок! Бойся! Приветик.

Кто-то кладет трубку.

Покштефл. Не сказать, чтобы это было слишком остроумно!

Голос. Еще как остроумно!

Покштефл. Когда ты придумал насчет савана, в четвертом классе или в пятом?

Голос. В четвертом.

Покштефл. Для четвертого сойдет. Сорокалетнему служащему такое не придет в голову.

Голос. Зато в пятьдесят уже снова придет.

Покштефл. Не утешай, паршивец.

Голос. Тебе хоть что-нибудь подарили на день рождения? Я всегда получал подарки.

Покштефл. И я получил. Флягу. И нож для разрезания бумаги. А что подаришь ты?

Голос. А чего бы ты хотел?

Покштефл. Что-нибудь твое. Из кармана. Или твой голос.

Голос. Он с тобой всегда. В человеке живы все его голоса. Рассказать тебе о голосах?

Покштефл. Расскажи мне о голосах, Ярынек. Ко дню рождения.

Голос. У человека есть весенний голос и летний голос.

Покштефл. Да.

Голос. Есть осенний голос и два зимних голоса — теплый и холодный. У него есть главный голос и второстепенный.

Покштефл. Какой ты образованный, Ярынек...

Голос. И еще голос, которого он боится, потому что...

Покштефл. Об этом не говори...

Голос. И разбитый голос, и воскресший, и надтреснутый голос, и окрепший, и замороженный... У женщины есть собственный мужской голос, а у мужчины — собственный женский. И еще есть каркающий голос палача и лживый — девки. А под всем этим агукает младенец. Агу, агу...

Покштефл. Под всем этим агукает младенец. Ярынек, ты мне привиделся ко дню рождения.

Голос. И еще голоса тех, кого ты обидел, и тех, кого любил.

Покштефл. Все это так, это так, Ярынек. Ярынек, сегодня мне стукнуло сорок, и мы зверски повеселились. Собственно, ведь мы единственные животные, празднующие день рождения. Хотя имеем для этого меньше всего оснований.

Голос. Мы не животные, уверяю тебя.

Покштефл. Животные. Я знаю лучше, мне уже сорок. И ты, дружище, ты, семнадцатилетний, можешь мне в этом поверить. Ведь ты мог бы быть моим сыном.

Голос. Ты путаешь. Я твой отец.

Покштефл. Ярынек, я уже говорил тебе, что умер Петушок?

Голос. Говорил.

Покштефл. И что он женился на тете Анне? Представь, Петушок женился на тете Анне. Ты знаешь, почему он на ней женился? Меня тогда тут не было... И как они умудрились познакомиться? Когда-нибудь я расскажу тебе, что со мной было за все эти двадцать лет. А ты не мог бы мне рассказать, почему Петушок женился на моей тете Анне, на этой немецкой девке? Ярынек, ведь говорят, телефонные разговоры остаются в проводах... навсегда... они остались, правда?

Голос. Почти все.

Покштефл. Найди их, Ярынек! Найди мне телефонные разговоры, которые свели тетю и Петушка! И еще — Ганочку... Найдешь ее?

Голос. Раз у тебя день рождения и раз умер Петушок... Придется найти.

Покштефл. Если сможешь. Ведь в тридцать девятом, во время мобилизации, на проводах такое творилось!

Голос. Не бойся, все возможно.

Покштефл. А начать можно с того... ну хотя бы... как будто идет дождь.

Голос. Почему?

Покштефл. Потому что тогда шел дождь.

Голос. Так с дождя и начнем.

Бой старинных часов. Звук дождя. Резкий телефонный звонок.

Вилли. Алло, Анна, это я, Вилли.

Анна *(сонно)*. Откуда ты звонишь, Вилли?

Вилли. Из какого-то автомата.

Анна. Ты не должен был звонить, Вилли. Не должен! Ты совсем обо мне не думаешь, Вилли!

Вилли. Но прости, Анна, я ведь только о тебе и думаю.

Анна. Если бы ты обо мне думал, то не стал бы меня будить. Я во сне все забываю... А теперь мне снова засыпать одной.

Вилли. Прости, Анна, я только хотел услышать твой голос. Всего хорошего, Анна.

Анна. Теперь ты уже не должен прерывать разговор, Вилли. Вот видишь, какой ты, совсем обо мне не думаешь! Теперь уж не прерывай. Объясни, Вилли, почему объявили мобилизацию?

Вилли. Grüss Gott *, Анна?

Анна. Вилли, почему объявили мобилизацию?

Вилли. Не знаю. Какое ты сегодня взяла одеяло? Голубое или розовое?

Анна. Вилли, иди ко мне, я зацелую тебя до смерти, и тебе не придется ехать на войну. Что тебе до того, что в Чехословакии мобилизация. Ты-то немец!

Вилли. Мне безразлично, кто я.

Анна. Иди ко мне, Вилли, раз уж ты все равно меня разбудил. Приходи — красиво умрешь.

Вилли молчит.

Анна. И пакет с едой оставил на столе. И соль. Вилли, вернись за солью. Глупый ты. Не надо было меня будить.

Вилли вздыхает. С обеих сторон вешают трубки.

Покштефл. Вилли... Мы его знали? Постой, Вилли... Кто он? Теперь даже не вспомнишь, как он выглядел. Он приходил к нам?

Голос. Приходил.

Покштефл. Ну да, с тетей Анной. Так, значит, это был тот ее гестаповец? Господи, Ярынек, как он выглядел? Я не могу вспомнить.

Голос. Никак.

Покштефл. Точно. Теперь припоминаю. Именно никак... А знаешь, я уже даже не могу вспомнить, как выглядела наша мама. Ты мог бы показать мне маму?

Голос. Все возможно.

Покштефл. Как она выглядела?

Голос. Как всякая порядочная женщина.

Покштефл. А еще как?

* Как поживаешь? *(нем.)*

Голос. Словно рушились все ее надежды.

Покштефл. У нашей мамы всегда была влажная подушка. Это от пота или от слез?

Голос. От пота, Ярынек. Но нам казалось, что она плачет.

Покштефл. Мне хотелось бы представить ее себе, ну хотя бы как она играет на рояле.

Бой старинных часов. Звуки наигрываемой одним пальцем мелодии Чайковского.

Покштефл. Это правда играет мама!

Голос. Может, показать тебе, как она говорит по телефону?

Звонок.

Мать. Нет, Ганочка, Ярынека нету дома.

Гана. Нету?

Мать. Нету, Ганочка.

Гана. А когда он придет?

Мать. Не знаю. Он тебе сам позвонит.

Гана. Но у нас сняли телефон, пани Покштефлова. Передайте, пожалуйста, Ярынеку, что...

Мать. Что передать?

Гана. Я вам не помешала, пани Покштефлова?

Мать. Я как раз собиралась включить пылесос. Но ты не помешала.

Гана. А, вы заняты пылесосом, пани Покштефлова!

Мать. Я не занята пылесосом. Я разговариваю по телефону

Гана. Вы расстроены чем-нибудь, пани Покштефлова?

Мать. У меня нет причин для веселья.

Гана. А мне, наоборот, очень весело, пани Покштефлова. И тоже без причины.

Мать. Ганочка, уж лучше я вам все выскажу прямо. Такой у меня характер, немало я в жизни натерпелась от своей откровенности... Будьте так добры, Ганочка, не звоните к нам больше. У Ярынека выпускные экзамены, а ведь вы не хотите испортить ему жизнь!

Гана. Этого я меньше всего хочу, пани Покштефлова. Я бы звонила только по четвергам и вторникам... Или даже только по вторникам... Как вы скажете, пани Покштефлова, по вторникам или по четвергам? Раз у нас больше нет телефона и Ярынек не может мне позвонить. Пани Покштефлова...

Кто-то кладет трубку.

Покштефл. Ярынек, она правда положила трубку?

Голос. Положила.

Покштефл. Наша мама?

Голос. Да, наша мама.

Покштефл. Этого ты не должен был мне показывать. Ты не мог бы сделать так, чтобы мама не положила трубку?

Голос. Так не делают, Ярынек.

Покштефл. Нет, делают, делают. Можешь мне поверить, ведь мне вчера исполнилось сорок. Так делают.

Голос. Но я так не делаю.

Покштефл. Ярынек, для меня ты должен сделать так, будто она не положила трубку. Так должно быть. Ведь это наша мама. Она нас любила. А мы любили Ганочку, и мама это знала. А может, она не знала?

Голос. Животное... Возлюби ближнего, яко себя самого. Животное... Возлюби ближнего, яко себя самого.

Покштефл. Но, Ярынек, это же здесь ни при чем. Какая-то помеха в телефоне... Как все произошло? Мама положила трубку. Тетя

Анна развлекалась с Вилли под розовым одеялом. Или они уже больше не развлекались? А потом мы позвонили пану Петушку.

Звонок.

Петушек. У телефона Петушек.

Голос. Привет, Петушок, как делишки? У тебя там случайно нет курочки?

Петушек. Парень, тебе что, делать нечего? Прошу тебя, парень, займись чем-нибудь.

Голос. Петушок, у тебя сегодня роскошный гребешок? Розовенький?

Петушек *(мрачно)*. Ну и что?

Голос. А курочка дома? Куда она пошла? Вы знаете, Петушок, кто с вами говорит? Похоронное бюро главного города Праги. Вы заказывали у нас гроб?

Петушек. Ну и что?

Голос. А то, что он уже готов. Натяните завтра саван и ожидайте лежа. Вы хотели бы обыкновенные свечи или, может, пожелаете литые?

Петушек. Одну с рождественской елочки. Зеленую, пожалуйста.

Голос. Таковые на нашем складе имеются. А как прикажете насчет яичка? Положить его тоже в гроб?

Петушек. Пора бы уж тебе чем-нибудь заняться! Звонила тебе та девчонка, из-за которой ты в прошлую пятницу был так расстроен?

Голос. Наплевала она на меня.

Петушек. Так жди ее звонка и не занимай попусту телефон. Ни шагу от телефона, послушайся моего совета. *(Вешает трубку.)*

Покштефл. Ярынек, я жду этого звонка до сих пор.

Голос. Гм.

Бой старинных часов. Резкий звонок.

Гана. Алло! Алло!

Мать. Покштефлова.

Гана. Это я, Гана.

Мать. Ганочка, вы неблагоразумны. Ярынека все равно опять нет дома.

Гана. Пани Покштефлова, я благоразумна. Очень прошу вас, не кладите трубку. Можете меня не слушать, только не кладите... Не затрудняйте себя, пани Покштефлова, не слушайте... Я буду говорить вам, ну хоть стишок какой-нибудь... Я вам все потом объясню.

Вставай, дочурка, поздний час.
Король на пир уж кличет нас...
Я недолго голову ломала,
Мигом все загадки разгадала...

Дальше забыла. Расскажу другое... Какое-нибудь длинное... *(Смеется.)* Сейчас мне надо чуточку посмеяться, пани Покштефлова. *(Смеется.)*

Мать. Ганочка, я вас не понимаю, что с вами?

Гана. Я струсила в будке, пани Покштефлова, так вдруг струсила! Прямо за сердце схватило. Иногда я ужасно боюсь. Они тут стоят, двое. Вроде бы солдаты. Хотя, может, это и не солдаты. Но очень страшные. Я буду понарошке смеяться, как будто вы пошутили, чтобы они видели... *(Смеется.)* Ярынека нету дома, пани Покштефлова? Я знаю, у него скоро экзамены. А я, понимаете, пани Покштефлова, накинула свое прошлогоднее пальтишко, оно без желтой звезды, и решила сбегать позвонить... Вот и трушу теперь в будке. Так, счастливой пасхи, пани Покштефлова. И передайте Ярынеку, что у меня для него есть расписное яичко и на нем — сплошь зонтики.

Черные зонтики. Если бы вы еще минутку не вешали трубку, это было бы очень любезно с вашей стороны, пани Покштефлова.

Звуки рояля — Чайковский.

Покштефл. Нет, Ярынек, наша мама не могла положить трубку.

Голос. И все-таки она ее положила. Она всегда клала трубку... Каждый раз. По-разному, то так, то этак... А может, и так и этак. Каждый делает это и так и этак. Или только так.

Покштефл. Знаю, человек или кладет трубку... или просто не берет — пускай себе звонит. Но каково ей было, нашей маме, когда она это делала?

Голос. То она волновалась перед тем, как это сделать, то после... И тут же притворялась, будто звонила кому-то по поводу потерянного рецепта. Ты помнишь ее замечательную сладкую булку?

Покштефл. Наша мама пекла отличные булки.

Голос. Роскошные.

Покштефл. И рулет, правда? И зразы! Вот видишь... А мне сказала, что Ганочка уехала в Брно. В чем она была, когда так перепугалась в этой телефонной будке?

Голос. В бежевом пальто.

Покштефл. Ярынек, ты не можешь подарить мне на рождение этот бежевый пыльник? Ты ведь еще ничего мне не подарил. Собственно, мне никто ничего не дарил. Подари хоть ты... Я бы хотел, чтобы этот бежевый пыльник висел в моем шкафу. Вот видишь... А мне мама сказала, что Ганочка уехала в Брно... Скажи, как умерла наша мама?

Голос. У телефона.

Покштефл. Как, положила трубку и умерла?

Голос. Всегда положит трубку один, а умирает другой...

Покштефл. Если можешь, Ярынек, пускай мама еще подождет умирать. Пускай она еще немножко поговорит.

Бой старинных часов.

Мать. Да. Покштефлова.

Покштефл. Кто ей теперь звонит?

Анна. Это ты, Марта?

Покштефл. Тетя Анна?

Мать. Что тебе нужно?

Анна. Ничего полюбезнее ты не могла сказать?

Мать. А что я должна тебе сказать?

Анна. Что-нибудь пасхальное, сегодня же канун пасхи.

Мать. Grüss Gott, или как там у вас?

Анна. Скажи хоть, за что ты меня ненавидишь? Потому что у меня ноги красивее твоих?

Мать. Ну и носишься же ты со своими ногами! Всю жизнь только и слышу, что они у тебя красивее.

Анна. Марта, я, собственно, звоню Ярынеку. Можешь позвать его к телефону?

Мать. Что тебе от него надо?

Анна. Разреши, Марта.

Мать. Ярынек, подойди к телефону, тебя зовет тетя Анна.

Голос. Привет, тетя.

Анна. Ярынек, у тебя бас, как у настоящего мужчины. Ты подаешь надежды, уж своей тетке можешь в этом поверить. С таким голосом ты добьешься по телефону чего угодно. Скажи, ты уже из тех гнусных мужчин, которые бреются? В таком случае, у Вилли есть для тебя чудесный бритвенный прибор.

Голос. Привет, Вилли, что поделываешь?
Вилли. Хожу в сыщиках, Ярынек. Ты не сердишься?
Голос. А это не идиотское занятие? Вилли, очень тебя прошу, не дари мне этого прибора. Ладно?
Вилли. Всего тебе наилучшего, Ярынек. И не ходи больше в свой ученический кружок. И еще не верь женщинам.
Анна. Ярынек, ты не пошел бы со мной и с Вилли в бар? Пойдем, Ярынек! Потанцуем свинг. У тебя такие красивые, стройные ноги! Ты все еще так соблазнительно валяешься на своем диване?
Голос. Тетя, мне надо заниматься.
Анна. Занимайся на здоровье. Только раньше позови к телефону маму. Марта, ты не хочешь хорошего кофе?
Мать. Нет.
Анна. От меня нет?
Мать. Этого никто не говорил.
Анна. Так наберись смелости и скажи прямо.
Мать. Нет у меня смелости.
Анна. Марта, но это же просто грубо. Это так грубо, сестра, что у меня дрожат колени. Ужасно грубо! *(После паузы.)* Марта, ты не продашь мне голубое стеклышко, что осталось от мамы? Ведь оно и мое немножко. А, Мартинка? Ты ведь знаешь, что значат для меня побрякушки!
Мать. Нет, не продам.
Анна. Кстати, Марта, я на днях встретила эту вашу евреечку. Позвала ее на пирожки. Она их съела целых восемь штук. Нет, девять... Бедняжка...
Мать. Вилли не было дома?
Анна. Отчего же? Был. Она говорила, что ты много возишься с пылесосом. Все такая же чистюля? Я купила у нее бежевое пальтишко. Не новое, но славненькое. Вилли она страшно понравилась. Сказал, что у Ярынека отличный вкус.
Мать. Можешь передать, что я благодарю его...
Анна. Но она правда очень ему понравилась. Вилли, ты не влюбился? Ты ведь так быстро влюбляешься...

Слышится смех, потом кто-то кладет трубку.

Покштефл. Видишь, Ярынек, я поеду в Новый Йичин, а там у тети Анны может оказаться этот бежевый пыльник. Думаешь, он еще цел?
Голос. У нее теперь только зимнее, черное.
Покштефл. Говорит, Ганочка съела восемь пирожков... А наша мама положила трубку. Знаешь, Ярынек, я, кажется, перестаю ее любить. Прошу тебя, люби ее хоть ты.
Голос. Я ее люблю.
Покштефл. И слава богу. Бедняга мама. Она нас так любила. Или не любила? Так, значит, Вилли угощал Ганочку пирожками, а наша мама даже не стала ее слушать и положила трубку. Вилли служил в гестапо, не так ли? Скажи, как он выглядел, этот Вилли?
Голос. Никак.
Покштефл. Ага, уже вспоминаю.

Звонок.

Гана. Позовите, пожалуйста, пани Анну.
Вилли. А кто ее спрашивает?
Гана. Это Гана Швейцерова. Позовите, пожалуйста, пани Анну. Мы договорились с ней о встрече.
Вилли. Как ей передать, кто звонит?

Г а н а. Гана Швейцерова.
В и л л и. Ах, это ты, с глазищами?
Г а н а. Простите, с какими глазищами?
В и л л и. Позвони в другой раз. Я через час уезжаю в Париж, и мы укладываем чемодан. А тебе не хотелось бы попасть в Париж?
Г а н а. Мне все равно.
В и л л и. Ну так и ты скоро куда-нибудь поедешь. Все куда-нибудь едут. А теперь иди спать, уже поздно. И не болтайся много по улицам. Ты не болтаешься по улицам? Спрячься в закуток. Я правильно сказал «в закуток»?
Г а н а. Да, правильно.
В и л л и. А у тебя все такие же глазищи?
Г а н а. Кажется, еще да. Счастливого пути.
В и л л и. Тебе ничего не нужно?
Г а н а. Нет.
В и л л и. Правда ничего? Что у тебя там? Кошка? Что там мяукает? А? Ты где? Ты еще там?

Кто-то кладет трубку.

П о к ш т е ф л. Что тогда на ней было, Ярынек?
Г о л о с. Ничего.
П о к ш т е ф л. Ты шутник, Ярынек. Не будет же Ганка голая звонить из автомата.

Слышен вздох.

П о к ш т е ф л. Прошу тебя, Ярынек, раз она мне не дозвонилась, не мог бы ты теперь позвать мне ее к телефону? Так и быть, пыльник я от тебя не потребую, но к телефону ты бы мог ее позвать. Ведь у меня день рождения. Позови ее к телефону.
Г а н а. Я уже говорю с тобой.
П о к ш т е ф л. Как это, без звонка? Почему же не было звонка?
Г а н а. А что должно звонить?
П о к ш т е ф л. Телефон, конечно!
Г а н а. Раньше звонят, а потом разговаривают? Я уже забыла.
П о к ш т е ф л. Ганочка, я так рад, что говорю с тобой. Что ты сейчас делаешь?
Г а н а. Что делаю? Больше ты ничего не хочешь знать?
П о к ш т е ф л. Ну да. Что делаешь? Наверно, заплетаешь косички? Или прикрываешь глаза и говоришь: милый, милый...
Г а н а. Все слова я забыла, Ярынек. Осталось только одно. Каждому одно. Только одно. Одно. Его собственное.
П о к ш т е ф л. И у тебя есть такое слово?
Г а н а. Да. Это слово *(напевно)* — тик-так, тик-так... Это и есть мое слово: тик-так, тик-так...
П о к ш т е ф л. Так, так, так...
Г о л о с. Что?
П о к ш т е ф л. Ради бога, обожди, обожди минутку...
Г о л о с. Так что же все-таки?
П о к ш т е ф л. Что?
Г о л о с. Что дальше?
П о к ш т е ф л. Дальше то, что было.
М а т ь. Анна, это ты?
А н н а. Это еще вопрос.
М а т ь. Анна, Ярынека взяли.
А н н а. Я это уже от кого-то слыхала.
М а т ь. Анна, ты ведь знаешь, он всегда был больше в тебя, чем в меня...

Анна. В чем же, скажи на милость?

Мать. Хотя бы в том, что он такой романтик и непрактичный. Анна, ты... Твой Вилли все-таки в гестапо...

Анна. Да, но он в Париже, дорогая.

Мать. Сестричка, так пусть он позвонит из Парижа.

Анна. Не будь такой наивной, Марта. Извини, я на минутку отлучусь — у меня пригорит мясо.

Мать. Да оставь ты его, пускай горит. Алло, алло!

Анна долго не отвечает.

Мать. Ну как, уже подлила воды в свое мясо? В свои окорока? Подлила уже в свое мясо? Ты меня слышишь, Анна? Уже подлила?

Анна. Слышу.

Мать. Так ты ничего не сделаешь? Не вешай трубку. Прошу тебя, не вешай...

Анна. Марта, что я могу сделать? Подумай сама.

Мать. Погоди. Я должна сесть. Мне плохо. Анна, хочешь большой бриллиант, голубой... который остался от мамы? Ну, скажи же что-нибудь...

Анна. Хочу.

Мать. Ты сказала это как последняя девка. Иди, а то у тебя пригорит мясо. Иди, девка.

Телефонистка. Ich verbinde mit Paris...*

Мать. Анна, сейчас же приди сюда, слышишь?

Телефонистка. Ich verbinde mit Paris...

Мать. Я жду тебя.

Телефонистка. Ich verbinde mit Paris...

Покштефл. Какое невезение. Вмешалась междугородная...

Голос. В тот день мама умерла. Через полчаса, на том самом стульчике возле телефона...

Покштефл. Она нас так любила... У тебя не найдется на проводе еще чего-нибудь маминого?

Мать. Мой сын... мой супруг... моя скалка для теста... моя мечта... к сожалению, его нет дома... к сожалению, нет дома... нет, что вы, я не могу... нет, нет, это невозможно, что это вам померещилось... что это вам померещилось... если можно, в другой раз, в другой раз... рада буду вас видеть... рада буду вас видеть... позвоните в четверг... позвоните в четверг...

Затем длительное время короткие сигналы.

Голос. Занято... Занято. Больше ничего нет.

Покштефл. Нет? Как жаль. Ярынек, а ведь Анну прервал разговор с Парижем. Кто ей звонил? Вилли?

Голос. Он.

Покштефл. Найди мне этот разговор, пожалуйста. Я бы хотел знать, может, тетя Анна меня хоть чуточку, хоть чуточку... понимаешь?

Телефонистка. Ich verbinde mit Paris...

Вилли. Алло, Анна. Это я, Вилли. Анна, ты одна?

Анна. У меня гости.

Вилли. Кто у тебя?

Анна. Гости.

Вилли. Анна, у меня тут для тебя чудесная вещица. Золотое яичко, с одной стороны — зажигалка, с другой — пульверизатор. Я отсюда побрызгаю тебе грудь духами, хочешь?

Анна. Вилли, Вилли, ты там вконец сопьешься.

Вилли. Анна, я совсем с ума схожу, для меня Париж не существует.

* Соединяю с Парижем *(нем.)*.

Анна. Вижу. Раньше бы ты никогда не сказал насчет этих духов, Вилли. *(Кому-то за спиной.)* Да отстань ты, не лезь хоть минутку своими лапами!

Вилли. Что ты сказала, Анна?

Анна. Ничего.

Вилли. Есть для тебя хорошие новости. Меня переводят в этот самый... в Терезин, или как его там... Ты довольна, Анна?

Анна. Вилли, ты не пьян?

Вилли. Немножко.

Анна. Что ты пьешь, Вилли?

Вилли. Божоле. Да, Анна, какой у тебя размер бюстгальтера?

Чужой мужской голос. Тридцать семь.

Вилли. Не мешайте, пожалуйста, тут разговор государственного значения.

Покштефл. Чудесный междугородный разговор, Ярынек! Даже международный.

Вилли. Анна, надеюсь, к тебе больше не ходит та девчонка, ну та, с глазищами... Или еще ходит?

Анна. Вилли, ты думаешь не обо мне. Ты думаешь о ней. Я тебя знаю. Я для тебя — только размер бюстгальтера. И не стыдно тебе, Вилли! Вместо того, чтобы сказать мне что-нибудь хорошенькое, милое...

Вилли. Ну прошу тебя, Анна...

Анна. Вилли, когда приедешь, я расскажу тебе что-то очень важное про Ярынека. Знаешь, Марта меня сегодня ужасно оскорбила. Вилли, ты слышишь меня? Алло, ты меня слышишь?

Вилли. Слышу.

Покштефл. А где в это время были мы?

Голос. Мы были далеко. За колючей проволокой.

Покштефл. За проволокой. И Петушку никто не звонил. А он так ждал всегда пятницы... Дежурил у телефона... Дежурил, Ярынек?

Голос. Дежурил.

Покштефл. И ему было тоскливо?

Голос. Очень.

Покштефл. А Ганочка? Она ведь тоже могла позвонить ему. Помнишь, Ярынек, как мы однажды звонили Петушку из автомата и Ганочка смеялась до слез.

Голос. Да, уж она-то наплакалась.

Покштефл. Ганочка. Это была...

Голос. Это была славная девчонка, правда? Что скажешь о ней теперь, в свои сорок лет?

Покштефл. Даже не девчонка... Или все-таки... Нет, мой мальчик, это была любовь.

Голос. И тогда мы этого не знали?

Покштефл. Знали, Ярынек. Не мог бы ты позвать мне ее еще на минутку, раз у меня день рождения...

Гана. Я уже у телефона.

Покштефл. Ганочка, скажи, пожалуйста, еще тик-так.

Гана. Тик-так.

Покштефл. Спасибо! Ганочка, а того Вилли ты уже больше никогда не встречала? Того, что угощал тебя пирожками, помнишь? Того симпатичного немца...

Гана. Встречала.

Покштефл. Где ты его встречала?

Гана. Около транспорта. Около транспорта.

Покштефл. Он сказал тебе что-нибудь?

Гана. Улыбнулся.

Покштефл. Тебе?
Гана. Rück-zug, schnell, eins, zwei... marsch, marsch... тик-так... Rück-schub, los, los... marsch, marsch... тик-так... тик-так... gas, gas... бум, бум... ach ja *, тик-так.
Покштефл. Значит, Вилли тебе улыбнулся?
Гана. А я сказала: пан Вилли, когда вам в другой раз захочется повеселиться, позвоните такому Петушку и скажите: «Петушок, а Петушок, где ваша курочка?» И будете ужасно, ужасно смеяться.
Покштефл. И он позвонил?
Гана. Не знаю, не знаю... Вилли, Вилли, Вилли, мой милый, позвони Петушку, мой милый...
Покштефл. Он позвонил?

Бой старинных часов. Резкий телефониый звонок.

Петушек. У телефона Эдуард Петушек.
Вилли. Петушок, bon soir **.
Петушек. Простите, кто говорит?
Вилли. Один пьяный немец, только не вешайте, пожалуйста, трубку. Вы христианин, Петушок?
Петушек. Извините, что вам угодно?
Вилли. Знаешь какую-нибудь молитву?
Петушек. Не понимаю, что вам угодно?
Вилли. Как вы думаете, что человеку может быть угодно ночью?
Петушек. В такой поздний час уже ничего.
Вилли. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. А ведь и правда ночь. Вы не могли бы сказать мне что-нибудь в утешение или... в шутку? Не сердитесь. Вы все-таки сердитесь, а?
Петушек. Прошу вас, что вам от меня угодно?
Вилли. Который час?
Петушек. Без трех минут четыре.
Вилли. Так вот: через какие-то минуты я застрелюсь. Куда лучше всего стрелять?
Петушек. В рот, уважаемый пан.
Вилли. Петушок, ты ужасно лаконичен. Нас, христиан, на свете так много, и все мы до того лаконичны...
Петушек. Что? Алло! Я вас совсем не слышу.
Вилли. Говорю, много нас, христиан, на свете. Петушок, я по-честному через две минуты застрелюсь. Я тебе сейчас назову номер, а ты позвони по нему и скажи, мол, Вилли велел кланяться и уже отбыл в мир иной. Или просто застрелился — так будет лучше. Ты меня слышишь?
Петушек. Да.
Вилли. У тебя есть под рукой карандаш? Ты слышишь?
Петушек. Да.
Вилли. Петушок, теперь я кусаю себе пальцы. Страшно кусаю. Но ведь немецкий воин не может кусать себе пальцы... Или может?
Петушек. Прошу вас, дайте мне спать.
Вилли. Пиши — 93-16-41. Ты христианин?
Петушек. Принадлежу к чешско-братской церкви.
Вилли. Так вы, чешский брат, говорите, что лучше всего стрелять в рот?
Петушек. Там кто-нибудь плачет за вашей спиной? У вас там ребенок?

---

* Назад, быстро, раз, два... марш, марш... назад, живо, живо... марш, марш... газ, газ.. ах да *(нем.)*.
** Добрый вечер *(франц.)*.

Вилли. Ребенок? Ах да, да. Пойди сюда, крошка. Не сердись, крошка. Ты больше не должна бояться, крошка, сейчас дяденька сделает пиф-паф. А потом будет тихо. Дяденька не будет тебе мешать. Петушок, передавай привет всему христианству. И той пани, что подойдет к телефону. Скажи ей хотя бы, что Вилли застрелился из-за несчастной любви. Что жмет ей руку и целует. Петушок, 93-16-41! И иди спать. Постой! Дружище, ты не должен спать. Позвони. Который час?

Петушек. Четыре.

Вилли. Ровно!

Петушек. Ровно четыре.

Вилли. Позвони!

Звуки выстрела.

Покштефл. Выходит, Вилли застрелился в нашей будке? В рот?

Голос. Да.

Покштефл. Ярынек, там никто не плачет за твоей спиной?

Голос. Это Ганочка.

Гана. Ярынек, не сердись на меня, я должна чуточку поплакать.

Покштефл. Зачем тебе плакать, если Вилли застрелился?

Гана. Я плачу, когда мне хочется поплакать.

Покштефл. Не реви, скажи: тик-так, тик-так. Будешь моими часами, хочешь?

Гана. Да, карманными.

Покштефл. Хорошо, карманными.

Гана. Спасибо. Вынимай меня почаще. Чтобы не опоздать.

Голос. Но во всем, кроме этого, Ганочка осталась со мной. Понимаешь, Ярынек?

Покштефл. Понимаю, Ярынек. Да. Да. Нет! Покажи еще, как тетя Анна отыскала нашего Петушка. Или, кажется, наоборот?

Телефонный звонок.

Петушек. Извините, это 93-16-41?

Анна. Да. Кто говорит?

Петушек. Мое имя вам ничего не скажет.

Анна. Очевидно. Но все-таки, кто говорит? Пан, сейчас четыре часа ночи. Что вы себе позволяете?

Петушек. Простите, я должен сообщить вам, что Вилли застрелился.

Анна *(медленно)*. Нет, этого вы мне не должны были сообщать...

Петушек. К сожалению, должен.

Анна. Вилли, это ты, да? Это ты, пьяный бродяга?

Петушек. Нет, прошу прощения, Вилли мертв. Он сам мне это сказал.

Анна. Так нельзя, пан... Я понимаю, вы больше не боитесь немцев, но так нельзя...

Петушек. И еще он велел передать, что сделал это из-за несчастной любви, уважаемая барышня или пани.

Анна. Прошу вас, пан, кто бы вы ни были, не кладите трубку. Если в вас есть хоть капля человечности, не кладите.

Петушек. Увы, я не знаю, что еще вам сказать. А когда не знаешь, что сказать, остается только положить трубку... Хотя я, например, не знаю, что сказать, а все еще говорю с вами... Это хорошо?

Анна. Вы не могли бы прийти ко мне?

Петушек. Нет, извините, не могу.

Анна. Но ради бога, не кладите трубку. Когда он это сделал?

Петушек. Только что.

Анна. Где?

Петушек. В телефонной будке.
Анна. В какой именно?
Петушек. Не знаю.
Анна. Кто же вы? Где вы находитесь?
Петушек. Дома.
Анна. Боже, вы не придете. Я знаю, не придете.
Петушек. Где вы живете?
Анна. Только не кладите трубку. Вы ведь не придете! Антонинска, 8. Анна Новакова. Не кладите трубку, я боюсь. Ужасно боюсь. Всего боюсь, мертвых и живых. Всех. Ах, боже, вы не придете! Вы не можете прийти!

Кто-то кладет трубку.

Покштефл. И он пошел, Ярынек?
Голос. Пошел.
Покштефл. Значит, Петушок и тетя Анна. Именно Петушок и именно тетя Анна. Именно я, именно мы.
Голос. Совпадения бывают не там, где мы их ищем. Совпадения бывают не там, где они ожидаются. Не там, не там, не там...
Покштефл. Ярынек!
Голос. Мне пора.
Покштефл. Прошу тебя, не уходи!
Голос. А Петушку мы больше никогда не звонили? Почему, Ярынек?
Покштефл. Это уже не было бы шуткой. И потом, я на него обозлился. Петушок и тетя Анна...
Голос. Помнишь, как мы позвонили ему в последний раз?
Покштефл. Помню. Это было в первые дни после войны, в мае, да? И на мне еще была полосатая куртка. И все номера телефонов выскочили у меня из головы, только один остался. Только один — Петушка, номер из бесшабашного четвертого класса... Я набрал его. Над будкой автомата поднималось бледное солнце, и Петушок был моей надеждой. Моей жизнью. Моим человеком. Моим...
Петушек. Алло. У телефона Петушек.
Покштефл *(с трудом овладевая голосом)*. Привет, Петушок! Вы заказывали у нас гроб. С инкрустациями.
Петушек. И что? Что же? *(Глубоко взволнован.)* Паршивец!
Покштефл. Петушок, а Петушок, у тебя там нет курочки?
Петушек. Ты жив? Ах, паршивец, это же замечательно! Ну, дальше!
Покштефл. Какой вы изволите иметь сегодня гребешок? Розовенький? Вы сегодня прокукарекали точно в положенное время?
Петушек *(восторженно)*. В положенное, в положенное! Ах ты, безобразник! Да говори же, говори...
Покштефл. Снесла вам уже курочка яичко?
Петушек. Приходите за ним, пан безобразник, да поживей. Бегом, пан безобразник, Антонинска, 8.
Голос. И мы помчались за этим яичком. И еще — чтобы познакомиться с единственным человеком, который у нас остался.
Покштефл. Вот это был бег!
Голос. Да! Мы бежали туда оба. А ушел оттуда уже ты один.
Покштефл. Встретить нас вышел пан, такой самый обыкновенный пан, самый обычный человек, при всей своей порядочности, весьма потрепанный и довольно розовый. Улыбался. И сказал: «Так это ты, ты, безобразник, это же великолепно! Рад, что познакомился с вами». Я сказал: «И я также».
Голос. И провел нас в комнату. А там на старой, но солидной тахте сидела наша тетя Анна в халатике с голубыми павлинами, и к

этому модному халатику удивительно шел голубой перстень. Это был перстень нашей мамы.

Покштефл. Тетя Анна звалась теперь урожденная Новакова, по мужу Петушекова. Она сказала: «Ярынек, дорогой мой мальчик, вот так совпадение!» И принесла на тарелочке белое яичко. Тогда я взял это яичко и выбросил в окно. Помнишь, Ярынек?

Голос. Да, Ярынек.

Покштефл. А Петушку даже не подал на прощание руки.

Голос. Да, Ярынек.

Покштефл. Голубой перстень так и ухмылялся.

Голос. Да, Ярынек.

Покштефл. А яичко разбилось.

Голос. Нет, Ярынек. Оно покатилось и покатилось по улице, его надо непременно догнать! Я рад, что поговорил с тобой.

Покштефл. Уже уходишь? Скажи еще что-нибудь.

Голос. Кто это там плачет за твоей спиной? Там коляска с ребенком? Или кошка?

Покштефл. Спасибо. Спасибо тебе, Ярынек. Раз уж ты обязательно должен уйти, не мог бы ты оставить мне свой голос?

Голос. Он с тобой всегда. В человеке живы все его голоса. Сказать тебе еще раз о голосах? У человека есть весенний голос и летний голос.

Покштефл. Да.

Голос. Есть осенний голос и два зимних голоса — теплый и холодный. Есть главный голос и второстепенный. И еще голос, которого он боится, потому что...

Покштефл. Об этом не говори.

Голос. И разбитый голос, и воскресший, и окрепший, и замороженный.

Покштефл. Да.

Голос. У женщины есть собственный мужской голос, а у мужчины — собственный женский.

Покштефл. Ярынек, ты сделал мне чудесный подарок ко дню рождения.

Голос. И еще есть каркающий голос палача и лживый — девки. А под всем этим агукает младенец.

Покштефл. Ярынек, я тебя не узнаю. Ты только пригрезился мне ко дню рождения, да?

Голос. И еще голоса тех, кого ты обидел, и тех, кого любил.

Молчание.

Покштефл. Ярынек, ты еще там, Ярынек? Ярынек, а как же Ганочка...

Гана. Тик-так, тик-так...

Покштефл. Ярынек...

Голос. Тик-так, тик-так... *(Исчезает.)*

Покштефл. Ярынек, ты там? Ярынек?

Молчание.

Ярынек! Погоди еще! Ганочка! Ты там? *(Вешает трубку.)* А вот я возьму и наберу собственный номер, на моем номере ты должен быть!

Короткие гудки.

Занято? Но мне необходимо с тобой говорить. *(Кладет трубку и снова набирает номер.)*

Опять короткие гудки.

Ничего. *(Кладет трубку.)* Что ж, человек и самому себе позвонить не может?

Звонит телефон.

Алло, Ярынек?

Телефонистка. У вас прервали разговор—вызывает Новый Йичин.

Покштефл. Ага, это ты, тетя? Тетя, когда похороны?

Пожилая пани. Похороны завтра в двенадцать, в крематории, Ярынек.

Покштефл. В каком крематории, в Освенциме?

Пожилая пани. Ах, Ярынек, что ты говоришь! В Новом Йичине!

Покштефл. Значит, в двенадцать?

Пожилая пани. Ты меня, наверно, испугаешься. Я ужасно выгляжу. Черное мне вообще не идет.

Покштефл. Тетя, извини, у тебя нет бежевого пальто? Ну, такого бежевого пыльника? Знаешь, о чем я говорю? Наверняка знаешь. Алло, тетя? Знаешь, о каком пыльнике я говорю?

Телефонистка. Окончили? Разговор был за ваш счет, пан.

Покштефл. Простите, не понимаю.

Телефонистка. За ваш счет, пан.

Кто-то резко кладет трубку.

РОБЕРТО ОБРЕГОН МОРАЛЕС

СТРОКИ ДРЕВНЕЙ ЛЕГЕНДЫ

Перевод с испанского и вступление
ПАВЛА ГРУШКО

Эта древняя как мир легенда — прекраснейшая из человеческих легенд. Любовь — ее имя. На стольких языках складывалась она — а все еще не досказана история двух сердец в их весеннем противостоянии.

Характерным для творчества молодого гватемальского поэта Роберто Обрегона Моралеса является то, что в его стихах незримо присутствует голос древнего народа, ведущего свое начало от индейцев майя-киче, задолго до завоевания Центральной Америки воспевавших окружающий мир в изумительных по сжатости и красоте образах. Прост и первороден материал, из которого слажены стихи Обрегона Моралеса: это земля, глина, листва, вода (во всех своих обличиях: вода — роса, дождь, ливень, вода-поток, вода-зеркало, вода-время), звезды, камень (его шероховатость, вес, форма) — весомая вещность мира, помогающая поэту овеществлять любое из движений человеческой души. Читая стихи Обрегона Моралеса, слышишь неповторимый голос маримбы, чьи деревянные клавиши вобрали в себя напевы птиц, шум листвы, эхо гор — глуховато-гулкую влажную мелодию гватемальских столетий.

Стихи эти — отнюдь не стилизация под народную поэзию, не стремление писать модернистские миниатюры, а зоркость, избавляющая от многословия, помогающая обойтись горсткой слов, чудесно открывающих горизонты. Не умозрительность, а поэтический склад мышления позволяет Обрегону Моралесу находить кратчайший путь к поэтической истине.

«Строки древней легенды» не хочется называть стихами о любви: настоящей поэзии всегда тесно в канцелярских рамках жанровых рубрик. Это не столько стихи о любви, сколько Любовь, помогающая увидеть истинные обличия жизни. Не потому ли Роберто Обрегон Моралес избегает слова «любовь» и прочей традиционной «любовной» терминологии. Любовь к одному человеку — нечто бо́льшее, чем любовь к одному человеку. Это любовь ко всему миру — в нем живет любимая. Любовь к родине — все, что будет с ней, будет и с любимой.

Роберто Обрегону Моралесу 26 лет. Он — автор нескольких поэтических сборников. На вопрос «какое место занимает...» я бы ответил: свое.

То, что ожило вдруг во мне, похоже
на тень ягуара —

на черный пожар, ужатый
до маленькой искры.

Не пытайся спастись:
взлетев по стеблю прыжка,
он упьется твоим смятеньем.

Твое лицо так цельно слито
со сладкой мякотью моей печали.

Осколком света вправлено
в весомый камешек моих касаний...

В глубинах моего безмолвья —
тень дремлющего рта.

Тонка, хрупка
и почти прозрачна

сахарная эмаль,
раздвигающая твои губы.

В них вошло мое сердце,
зализывая свои раны.

Знаешь, я просто-напросто тень,
впитавшая сырость дверных проемов.

Ветка, зазеленевшая мыслями,
увлажненными дуновением времени.

Рассеянный резчик древесных плодов,
омертвленных до завязи в глыбе янтарной.

Ключник, который открыл твои двери
и, зажмурив глаза, растворился в тебе.

Похить меня —
в моем обыкновенье обитать
внутри костра.

Похить меня в любой из этих дней —
меня и все, чем я владею:
мои слова, их множественность,
мой облик песнопевца-колдуна
и свитки, испещренные
дремотными виденьями воды,
реторты, колбы и змеевики,
где кровь моя пульсирует,
похить мою живую мысль —
трепещущий во мраке огонек.

Иначе как ты сможешь,
Охáраде,
отвергнуть темноту?

Я весь, до последней капли,
стекаю в кончики пальцев.

В слепом забытьи крадусь
по коже твоей пшеничной,

осязая дыханьем стену
пористого безмолвья.

Если б сердце мое
поместилось в капле воды...

Подойти к тебе, спящей,
и каплей этой упасть

на влажный листок
твоего языка.

В тот момент,
когда ты, наконец, засыпаешь,
тень моя свертывается
в твоем сне —

как гремучая змейка,
гремящая своими гремками
свою гремучую песенку.

Ведь правда, иногда
в миг пробужденья
ты вновь хотела бы укрыться
под куполом моих ладоней?

Застыть, не шевелиться, не дышать
и превратиться
в прозрачный след прошедшей ночи?

Спелый луч рассветного
солнца...

И снова ты приоткрыла
губы,

словно их искусала
вечность.

Сказать по правде, дождь
не нашептал мне, где ты.
Сегодня в толпе я окликнул
четырех тебя.

Взглядам своим я позволил
наземь упасть, чтобы взрослые
не коснулись моей печали.

Вернувшись домой, я почувствовал,
как безглазо тону в одиночестве.

Я весь как на ладони:
бесцеремонно маюсь и вздыхаю.
Не слежу за собой —
непочтительный к нашей тайне.

Каждый может ко мне подойти,
заглянуть в меня, как в колодец,
увидеть смутный отсвет
наших теней.

Куда исчезли все эти красивости:
Луна, Гроздья Звезд,
Ветер, обнажающий
шелест листвы?

Не знаю, как друзья без них обойдутся.
Но сейчас меня не волнует
ни Роса, ни все эти, связанные с любовью
наряды,—
вся эта Литературная Фурнитура.

Тону в твоих ладонях и спрашиваю,
почему весною земля
пахнет женщиной?

Что ты делаешь там — в себе? (Убежала
по коврам петляющего коридора.)

Что ты делаешь там — внутри? (Поспешно
собрала и уложила все свои вещи.)

Затворила дверь. (Я остался во мгле,
за дверьми, один-одинешенек...)

Похоже, что я — из камня,
как очень древняя статуя,
поваленная ураганом.

Неподвижный — я ощущаю свой вес,
свой монолитный каменный профиль.

И похоже, что это не я, а ты
дышишь.
Что если кто-то из нас и умер —
это я.

Мои пальцы — трезвые дегустаторы
мудрости, растворенной в предметах,—

бродят в лиственной тишине
наступающего рассвета

в поисках мест, где ты до сих пор
не уснула.

Твои шаги очищаются
в ливне.

Они становятся словом
ливня —

текучим прозрачным наречьем
воды.

...Ремешком сандалии на твоей щиколотке.
Мягким дерном, если идешь босая.

А раз твое тело ищет мое —
водою, чтобы облечь твои формы.

Ты просишь забыть о моей истории,
о мифах, текущих по жилам моим.

Как же тогда я вернусь в мой дом?
Как щекою коснусь каобовых чащ,
из которых срублены его стены?

Хватит ли мужества распознать
пришельца, унесшего наши зерна?
Сломавшего наши ограды?
Завалившего мусором наши колодцы?

И тогда — что осталось бы в твоих руках
от меня?

Свинцовые горы, реки, поля и площади,
люди-карлики на унылых улицах —

этой ночью я думаю о своей родине.
Должно быть, лицо мое кричит об этом.

Повернувшись на бок, я вдруг встречаю
два влажных опечаленных бочажка...

Почему сегодня твои слова
непроницаемы,
моя желанная, почему?

И взгляды твои
неподатливы
касаньям моей души?
И руки твои погасли?

Словно бы ты на миг умерла,
а когда воскресла,
это была не ты?

Я бросил ключ
в уснувшую заводь.

Печально всматриваюсь
в круги на воде.

Как ты медленно падаешь
на дно моего сердца!

Внезапно на ум приходят
живые сполохи слов.

Чудесно-точные, они могли бы
тебя удержать, убедить.

Горше всего, что это случается
в одно из твоих отсутствий.

В особенности сейчас,
когда ты ушла навсегда.

Тонкий сеяный дождь
вымыл листья,
вылизал ветку...

Буква О ее имени,
обжигая мои зрачки,
вращаясь, как обруч,
поднимается по спирали.

Откуда?
С каких пор?

А последние строки —

те, что пульсируют
во всем моем теле

и летают порознь
в моей душе,—
это последнее из того, что осталось.

Единственное, чего я не напишу.

МАКС ФОН ДЕР ГРЮН

Светлячки и пламя

РОМАН

Перевод с немецкого
Е. ГРИГОРЬЕВА и Н. БУНИНА

Кругом незнакомые лица. Я едва узнал помещение. В кабинетах большие окна, коридоры покрыты ковровыми дорожками. Куда ни посмотришь, все перестроено и модернизировано. В сопровождении посыльного, одетого в полосатый костюм с галстуком, я прошел через большой зал машинописного бюро и поднялся на второй этаж в приемную, где стояли стулья и кресла с красной обивкой, стальными ножками и подлокотниками и где мой провожатый любезно предложил мне заполнить карточку.

Я быстро заполнил голубой листок, где, впрочем, не спрашивалось о цели визита. Посыльный передал листок секретарше, та прочла, положила в зеленую папку и, приветливо улыбаясь, предложила мне присесть: возможно, придется немного обождать.

Через большое окно, по которому карабкались зеленые вьюнки, виднелся сквер. Роскошный газон, выкрашенные в красный цвет скамейки, как бы спрятанные в нишах кустов, декоративные растения и цветущие японские вишни, оранжевые песчаные дорожки, которые подметал старичок инвалид. Чертовски чисто — ни клочка бумаги. Отгородившаяся от внешнего мира и живущая сама по себе тишина. Да и тут, в приемной, машинка секретарши шумела не больше, чем мой дорожный будильник на тумбочке у кровати.

Конечно, здесь можно работать радостно, к чему-то стремиться — короче, быть человеком, а не человекоподобным существом, которое среди пыли и грохота с яростным рычанием бурит и взрывает чрево Земли. Здесь не шахта, здесь ты действительно человек, здесь не носят спецовок.

— Господин Кайзер просит вас,— сказала секретарша.

Она даже не употребила слово «директор». Вот как здесь идут в ногу со временем. С тех пор как я пробыл здесь три года в учениках, мечтая когда-нибудь стать доверенным лицом фирмы, изменилась не только внешняя обстановка, но и тон обращения.

Значит, господин Кайзер стал директором. Я сразу увидел, что он

Окончание. Начало в № 3.

не узнал меня, хотя прежде мне часто приходилось иметь с ним дело. Он не вспомнил меня и после того, как я сказал, что был здесь учеником,— сколько же времени пролетело?

— К делу, господин Форман.— Директор взглянул на ручные часы.

О боже! Ко всему прочему, тебя здесь величают «господином». До чего ж приятно, что ты не просто безымянная рабсила номер такой-то, а «господин Форман». Я изложил хорошо упитанному господину Кайзеру все, что у меня было на сердце: что шахта закрывается, что я не подыскал пока другой работы и зашел сюда узнать, потому что когда-то начинал здесь учеником. Пожалуй, мне легко было бы освоиться.

Меня даже пригласили сесть — не то, что у нас на шахте, где в кабинете управляющего положено стоять. Плотная фигура господина Кайзера за большим письменным столом стала почему-то увеличиваться в объеме.

Господи, неужели я сказал что-нибудь не так?

— Как вы себе это представляете, господин Форман? — тихо спросил он.

Нет, я не сказал ничего такого, директор был по-прежнему исключительно любезен.

— Я думал, может быть...

— Как вы сказали, когда вы ушли из нашей фирмы?

— В сорок третьем, господин директор.

— В армию, не так ли?

— Да, добровольно. К сожалению.

— Почему к сожалению? Сейчас уже незачем стыдиться того, что вы добровольцем защищали свое отечество,— рявкнул он.

— Я и не стыжусь,— пробормотал я, видя по его лицу, как уплывают мои шансы.

— Ну, вот и хорошо. В сорок третьем, значит. Так. А теперь шестьдесят второй.

— Так точно,— поддакнул я.

— Почему же, вернувшись из плена... ведь вы были в плену? Да? Так я и думал. У русских?

— Нет, у янки.

— Ну, вам здорово повезло. Я был у русских. Но все это дело прошлое. Теперь русские наши клиенты. Странно устроен мир. Так что я хотел сказать? Ах да. Почему вы сразу не вернулись к нам? Мы брали всех, кто прежде работал в фирме. Разве вам отказали?

— Нет-нет, господин директор, так уж получилось. Времена были трудные, а я остался один. Родители погибли в сорок четвертом при бомбежке. На шахте давали большой паек, топливо.

— Ясно.

— Не раз собирался зайти к вам и справиться, не примут ли меня обратно. Все годы думал об этом. Но, знаете, как бывает,— получил квартиру от шахты и застрял.

— Ясно.

— Ну, а теперь вот шахту закрывают, я и подумал...

— Ясно.— Господин Кайзер поднялся.— Я пока не вижу, что для вас можно сделать. Поинтересуйтесь в отделе по найму. Весьма сожалею.

Я тоже встал.

— Впрочем, подождите, я дам вам записку. Пройдите туда, они наверняка что-нибудь вам подберут. Шоферские права у вас есть? Нет? Жаль, нам как раз нужны шоферы. Есть также должности на складе. Не помню, какое там жалованье, кажется, две шестьдесят в час. Все это вы узнаете в отделе найма на первом этаже.

— Господин директор,— пролепетал я, чувствуя себя все ничтожнее,— я думал, что здесь, в конторе...

Он добродушно рассмеялся, вышел из-за стола и взял меня за плечи:

— Дорогой мой, вы же сами понимаете, что это невозможно. С сорок третьего до шестьдесят второго — сейчас другие времена.

— Да, конечно. Понимаю.

— Вы, безусловно, найдете работу на нашем предприятии, у нас достаточно вакантных мест, где вы сможете зарабатывать не хуже, чем на шахте. Для нас дело чести помочь вам, раз вы были здесь в учениках.

— Я только подумал...— пробормотал я.

— Понятно, понятно.

Вошла секретарша.

— Господин Бауэр, представитель фирмы «Лигу» ждет в приемной.

— Пригласите! — пробасил директор.

— Благодарю вас,— сказал я.— Извините, что отнял у вас время.

— Ничего, ничего, мой дорогой. Ко мне вход свободен. Спуститесь этажом ниже, там вам дадут работу.

Мне показалось, что он рассмеялся мне вслед, когда я вышел из кабинета. Никакого господина Бауэра из фирмы «Лигу» в приемной не было, впрочем, от волнения я мог и не заметить его.

Дома все было без перемен. Ингеборг, как обычно, нет, кровати не застелены, на кухне немытая посуда, всюду пыль. Я постоял на кухне у окна, глядя в садик. Среди молодой рассады пробивалась трава. Придется сегодня же прополоть. На будущий год засею половину участка травой, возиться с огородом некому: Ингеборг на фабрике, а мне в свободное время приходится мыть посуду, готовить обед и стирать. Правда, при двух заработках мы можем позволить себе роскошь — покупать консервы. Разогреть их — минутное дело. Стараемся по возможности не утруждать себя домашним хозяйством.

Этой машине я никогда не доверял. Холодный и скользкий, как рыба, струг скользит взад и вперед вдоль забоя, и втулка, на которой вращается треугольный зуб, поблескивает под лучами наших ламп. Струг всегда подкарауливает нас, хотя его удается обуздать, заковать в цепи, но горе, если он вырвется: тогда на его пути слышатся крики боли и ужаса.

Мы ненавидим эту машину. Мы награждаем ее плевками, ругаем на чем свет стоит и проклинаем от страха. Это повторяется каждый день перед началом работы. Но какое великолепное зрелище — струг во всем своем могуществе! И какая пытка иметь с ним дело. Он не дает ни секунды на размышление и с издевкой скрипит цепями: давай... давай... давай...

Это не машина, это чудовище. К чему оно здесь? Для чего?

Вдоль двухсотпятидесятиметрового забоя шипят двадцать пять оросителей, сбивая водяным дождем облака угольной пыли. И все-таки пыль окутывает нас, когда вырубленный уголь сыплется на ленту конвейера.

Для чего еще этот струг? Непонятно.

Его установили, когда уже было известно, что шахту закроют. Израсходовали пятьдесят тысяч марок только на установку. Сама же машина, как говорят, стоит полтора миллиона. Все расходы полностью взяла на себя фирма, которая изготовила струг и захотела испытать его у нас. Если машину удастся применить и для добычи других полезных ископаемых, кроме угля, то ее в различных вариантах можно будет экспортировать в Южную Африку. Куда, куда? Осуждайте сколько вам

угодно расовую политику, но только чтобы это не отражалось на торговле. Ведь торговля — наше чудо, а без чуда мы не можем существовать.

Расплачиваемся за это в конечном счете мы, рабочие, и притом своей кровью. Кто сказал, что время кровавых пошлин прошло? Нет, оно не кончилось в 1945 году. Теперь их взымают с нас, как с подопытных кроликов экспортной экономики, которая больше всего боится отстать от времени.

Прошло четыре недели с тех пор, как установили струг, а на его счету уже двадцать пять раненых, причем семеро из них покалечены на всю жизнь. Ровно месяц назад объявили о предстоящем закрытии шахты, и тех, кто не нашел пока работы в другом месте, перевели в забои, где, словно в предчувствии смертельной агонии, устроили последний бессмысленный аврал.

Управляется струг при помощи цепей. Я мечусь по забою, дергая или придерживая эти проклятые цепи изо всех сил, чтобы струг работал «по инструкции». Сквозь пыль вижу товарищей, которые ставят крепления и дробят отбойными молотками слишком большие глыбы.

Ох, эта пыль!

Она забивает горло, катышки прилипают к нёбу, одолевает тошнота. Но надо терпеть, струг движется... я за ним.

Главное — делать все по инструкции. От этого зависят добыча и безопасность, жизнь и здоровье. Хочется пить. Фриц Ленерц подменит меня в конце забоя. Во фляжке еще остался кофе. Черт! Осторожней! Направляющие цепи. На них держится не только струг, но и наша жизнь.

Еще двадцать метров. Тогда можно будет попить. Там Фриц и фляжка с кофе. Попью и отдохну.

Зачем такая гонка, господи, зачем? Шахту все равно закроют. Зачем напоследок это живодерство?

Слава богу. Конец забоя. Выключаю струг.

— Отдыхай! Мой черед,— кричит Фриц.

Бросаюсь к фляжке, в ней меньше половины. Проклятье! Какой подлец высосал кофе? Ведь до конца смены еще три часа. Опрокинув в себя остаток, облизываю горлышко пустой фляги.

Фриц хватает цепи: струг переключается на движение в обратном направлении. Пробный запуск. Порядок.

Пока струг, вгрызаясь в уголь, пройдет весь забой туда и обратно, у меня выкраивается полчаса перерыва. Пот струится по лицу. Рубаха прилипла к телу. Кожа зудит. Это от пыли. Хотя пот и выполаскивает ее, она снова и снова забивает поры. Сколько же это раз за смену?

Эх, нет нынче Пилата, чтобы он воскликнул: «Взгляните! Се человек!» Мы живем в век гуманности. Но каждое столетие считалось веком гуманности. Мы работаем, не разгибая спины, и стреляем. Стреляли-то во все времена, но никогда еще так не вкалывали. Наш век безлик, и мы сами безлики. Вместо одухотворенных лиц у нас рожи или просто белые пятна. Мы надрываемся без сердца и без радости, ибо в наше время есть все. Нет только Пилата. Он умер.

Мои размышления прервал сильный толчок конвейера. Треск. Скрежет железа по железу. Струг остановился. Таращу глаза в темноту. Что там случилось? Не все ли равно, у меня еще полчаса отдыха. Крики в забое. Пыль улеглась. Что же там такое?

Кто-то, пыхтя, пробегает мимо.

— Юрген! Давай за носилками! Быстрей!

— Что случилось?

— Фриц!

— Что с Фрицем?

— Носилки, идиот! Носилки! Понял?

Я побежал вслед за человеком. Сто метров, двести. Когда же конец этому проклятому забою?

Наконец мы нашли носилки.

— Фрицу ногу перебило. Колено вдребезги,— сообщил мне, задыхаясь, шахтер.

— Как же это?

Мчимся обратно. Хрипим. Обливаемся потом. Страшно за Фрица.

Вот и он! Стонет. Двое шахтеров накладывают ему на ногу шину. Фриц жалобно стонет и плачет, как ребенок.

— Какой толк от вашей шины? — орет кто-то.

— Там же все размозжило!

— Заткнись! — рявкнул я на него.— Взяли! Осторожней, сволочи, осторожней!

Раздался какой-то животный стон. Слава богу, Фриц потерял сознание.

Не успели четверо шахтеров уйти с носилками к подъемнику, как штейгер с двумя слесарями занялся ремонтом струга. Через полчаса все было в порядке.

— Теперь уж Фриц наверху,— говорю я.

— Внимание! Подать воздух,— рычит штейгер.

И вот с шипением пошел воздух, из опрыскивателей брызнул душ, загремели цепи, загрохотал конвейер, струг врубился в угольную стену.

— Давай! Хватит прохлаждаться! За работу.

Проклятая горячка. Только и слышишь: «Давай, давай!» В плену нам говорили «Let's go!» *,— но тогда мы были *пленными*. А сейчас, ей-богу, не лучше. Кому какое дело до ноги. Эка невидаль — разбито колено!.. Всего лишь небольшая заминка в точно запланированном процессе добычи.

Подумать только: Фриц! Ведь на его месте мог оказаться и я. Инвалид в тридцать с небольшим лет. Слава богу, что не я. Не я! Пока что не везет другим.

Что за дьявольщина! Со стругом творится что-то неладное. Одна цепь висит свободно, другая натянута до предела. Только бы пронесло.

— Ах ты скотина! — орет штейгер. Он бежит вместе со мной вслед за стругом.

Вот оно! Опять.

Над головой что-то просвистело, ударившись о стену. Визг, дикий вскрик! Всего секунду, даже долю секунды. Потом странный звук — будто собака разгрызла кость.

Что такое?

— Юрген! Юрген!

Кто так дико орет?

Может, вышибло водяной вентиль? Я весь мокрый, с лица капает. Прямо на руки. Что это за вода? Какая-то сладковатая, липкая, густая, теплая.

Откуда взялась эта вода?

— Юрген! Юрген! — надрывается чей-то голос.

— Остановите конвейер! Остановите конвейер! Эй, сволочи, остановите же!

Что это... там... катится... голова! Голова! Наверно, у меня галлюцинации... Или я спятил. Но там... действительно... катится... голова... И я мгновенно все понял.

Сорвавшаяся цепь струга, просвистев надо мною, срезала голову

* Пошел! *(англ.)*.

штейгеру, который шел в двух метрах позади. Она скатилась на конвейер, а то, что мне показалось водой, было кровью. Фонтан крови обезглавленного штейгера хлестал мне в лицо.

— Да остановите конвейер! Ради всех святых, остановите конвейер! Там же голова! Голова! — несся истошный крик.

Но никто не остановил конвейера. Все оцепенели от ужаса. А голова перекатывалась и перекатывалась по длинному конвейеру, и ее уносило все дальше. Она попадет в одну из вагонеток, а на поверхности кто-нибудь выловит ее на сортировочной ленте или в чанах углемойки.

Кто-то из шахтеров, осветив меня лампой, вдруг дико захохотал. На его безумный смех сбежались все, кто был в забое.

— Смотрите, кровопийца! — трясся он от смеха, показывая на меня.

— Кровопийца! — гулко отозвалось эхо в забое.

Все уставились на меня. В глазах застыл ужас. Все притихли. Я стою на металлической балке, а вокруг меня двадцать товарищей. Они уже не таращатся на меня и не хохочут. Смех застрял у них в горле, едва они увидели обезглавленного штейгера. И когда верзила Эгон еще раз тихо произнес, что я кровопийца, в ответ раздался угрожающий ропот. Набрав полные пригоршни угольной пыли, я стал стирать кровь с лица, с груди, с плеч, попробовал даже отчистить брюки.

Все молчали, стараясь не глядеть на штейгера.

— Надо унести его,— сказал я.— Пусть кто-нибудь позвонит наверх.

— Наверх? — переспросил Эгон.

— Позвони лучше господу богу,— послышался голос из темноты.

— Не могу,— ответил я.— Не знаю номера телефона.— И я заорал в эти лица, в эти выпученные от страха глаза: — Не знаю номера его телефона! Не знаю! Не знаю!

Никто не произнес ни слова. Всех била дрожь.

Наконец двое шахтеров притащили волокушу. Мы уложили на нее штейгера, и, так как у нас не было одеял, я взял свою куртку и прикрыл то место, где должна была быть голова. Мы уселись вокруг этого катафалка. Чувство ужаса сменилось растерянностью. Что теперь делать?

— Пошли наверх,— предложил я.

— Бросать работу? — возразил пожилой Бруно Голлер.— Кто же нам разрешит?

— Идиот! — вскричал я.— Что ты здесь потерял? Хочешь, чтобы еще кто-то подох? Через час может настать твой черед.

— Юрген прав,— заговорили наперебой шахтеры.

— Нас за это уволят,— продолжал скулить Бруно.

— Ну и пусть! — огрызнулся я.— Тебе еще не прислали извещения? Осталось две недели. Что это тебе даст? Не будьте дураками! Ради чего пострадало столько людей за последнее время? Ради кого? Зачем?

— Ты прав, Юрген,— поддержал меня один из шахтеров.

— Да, но...— начал было Бруно.

— Пошли,— оборвал я.— Хватит болтать.

Четверо потащили волокушу. Остальные молча двинулись за ними.

У выхода в квершланг нас встретил обер-штейгер. Он слышал о несчастье и, не изменяя своей обычной спокойной манере, сказал:

— Сегодня просто не везет: сначала Ленерц, теперь этот.— Но когда мы в хмуром молчании прошли мимо, обер-штейгер крикнул вслед:— Куда же вы все? Хватит четверых. Остальные приступайте к работе.

Он не отставал от нас, грозил, ругался, упрашивал.

Наконец у долговязого Эмиля лопнуло терпение:

— Заткнись ты, жирный боров, а не то сбросим тебя в ствол.

— Я запрещаю...

— Тебе уже нечего здесь запрещать, через две недели и тебя выкинут,— со злостью выпалил ему Эмиль.

— Он-то не ушибется,— заметил кто-то.— Начальству платят за вынужденный простой, пока не устроится. А вот нашему брату даже пособия по безработице не дадут, если не согласишься на первую попавшуюся работу, которую подсунет биржа труда.

Спустившись до пятого горизонта, мы поехали к подъемнику. Штейгер посредине, словно павший король. Его никто не любил, потому что он был беспощадным погонщиком. Но сейчас мы жалели его жену и детей. Меня бросало в дрожь при мысли, что на его месте мог оказаться я.

Пришлось долго ждать у подъемника. Наконец мы увидели солнце. На поверхности нас встретил инспектор. Он недоверчиво оглядел нас, когда мы высыпали из клети, как крысы из ловушки, и прошли мимо него, не здороваясь.

— Сейчас же спускайтесь обратно,— приказал он, побагровев.

Я обернулся и спокойно ответил:

— На вашем месте я бы поискал голову. Как раз одной не хватает.

— Все вы уволены! — заорал он.

Тут уж мы расхохотались. Мы надрывались от смеха. Это была разрядка. Ведь его слова звучали как анекдот, сущий анекдот.

Мы сдали штейгера в мертвецкую. На шахту уже прибыла комиссия из горного управления и собиралась спуститься под землю.

Взяв в раздевалке сигареты, мы вышли на воздух и закурили, усевшись на скамейках у цветочной клумбы, разбитой перед слесарной мастерской. В конторе был переполох. Но нас это не трогало. Мы свое дело сделали; оторванная голова поставила точку в конце той главы нашей жизни, к которой, написав ее, мы уже потеряли всякий интерес.

— Юрген правильно сделал,— произнес Эмиль.— Оставаться внизу было незачем.

— Конечно, Юрген прав,— подтвердили остальные.

— Нам бы и не разрешили продолжать работу в этом забое,— сказал я.

— А Фриц-то собирался через две недели устроиться шофером в Дортмунде на пивном заводе.

— Да, теперь у него вместо ноги — култышка,— вздохнул Эмиль.— Наверно, врачи уже ампутировали ее. Проклятая машина.

— Не было никакого смысла запускать ее,— вставил я.

— Смотря для кого,— прошепелявил Эмиль.

— Разве что в слаборазвитых странах,— сказал я.

— А завтра выходить на работу? — робко спросил Бруно Голлер.

— Дело твое,— ответил я.— Лично я с утра займусь поисками другого места.

— Но ведь документы еще не выданы,— простонал Бруно.

— Да плюнь ты на эти чертовы бумажки, главное — получить работу! — воскликнул я.

— А вдруг они не дадут нам жалованья,— снова заскулил Бруно.— Мы ведь нарушили контракт. За это могут оштрафовать.

— Пусть вычтут за три смены и подавятся. Мне свои кости дороже. А потом, есть же суд, разбирающий трудовые конфликты, есть профсоюз. Даром, что ли, платим членские взносы?

Вернувшись в раздевалку, мы приняли душ. Поначалу думали, что перекроют воду, но обошлось.

Потом разъехались по домам.

В моем садике за ночь распустились тюльпаны.

Ингеборг поехала с матерью в Дортмунд в зоопарк. Сказала, что взяла трехдневный отпуск без сохранения содержания. Зачем — не пояснила, а я не стал спрашивать. С тех пор как она поступила на работу, мы почти не разговариваем. Отдыхаем от разговоров.

Несмотря на вечерний час, на улице светло и тепло. Рядом сидит Рози и без умолку болтает. От нечего делать. Лучше уж убралась бы. Так хочется послушать передачу из Чили.

Эта девушка интересуется всем, кроме футбола. Хоть бы испарилась, так нет же — сидит и чешет язык. Сняла туфли и устроилась в кресле, как дома. Будто не понимает, что я хочу послушать репортаж о футбольном матче. Я всегда рад ей, но, по правде говоря, она частенько является в самое неподходящее время. Уж не решила ли она, что может вечно торчать тут, поскольку помогала мне по хозяйству, когда Ингеборг отсиживалась в Дортмунде?

Наконец Рози добирается до политики. Только этого еще не хватало. Она рассуждает о политике, когда вся страна переживает игру в Чили. Ну и ну!

— Ты состоял в гитлерюгенде? — следует вопрос.

— Да.

— А почему ты вступил? Ведь это было не обязательно, многие же не вступали.

— А что еще оставалось молодежи? В те времена часто приходилось поступать вопреки желанию, а потом удивляться тому, что сделал.

— Не понимаю,— сказала она, подумав.— Либо чего-то хочешь, либо не хочешь.

Господи, лучше бы помолчала. Футбол куда интересней, чем ее глупая болтовня о прошлом. Есть вещи, о которых не стоит вспоминать.

— И тебе нравилось там?

— Забыл уже. Вероятно.

— И руку вскидывал?

Когда же она успокоится? Все сейчас у радиоприемников, а ее интересует, вскидывал ли я руку. Надо стереть в памяти то время. Что-то в этом роде я уже слышал. Стереть? Ах да. «Мы сотрем ваши города с лица земли». Хайль, хайль, хайль!

— Черт возьми! — заорал я.— Да, я тоже вскидывал руку, не мог же я вскидывать задницу, это было бы слишком утомительно. Ты удовлетворена? А теперь оставь меня в покое.

Она умолкла, а я прилип к приемнику, словно хотел помочь репортеру, но голоса все не было. Однако мой интерес к матчу вдруг ослаб. Я внимательно пригляделся к девушке. С чего бы она заговорила об этом именно сегодня? Игра почему-то перестала занимать меня.

Да будь они прокляты, и я выбрасывал руку, орал «хайль». Я даже записался в вермахт добровольцем, потому что стыдился сидеть в тылу, тогда как другие уже были на фронте, собирали ордена. Но этого она не понимает и никогда не поймет. Прошлое можно понять, если сам пережил его. Но как объяснить это Рози?

— Дядя Юрген,— повторила она.— Скажи, тебе нравилось там?

— Должно быть. Иначе бы не вступил.

— Но почему же ты теперь ругаешь прошлое? — вскричала она, соскочив с кресла.

Я пропустил, кто и как забил гол. О том, что гол был забит, свидетельствовали рев толпы и захлебывающийся голос радиокомментатора.

— У меня есть пластинка с записью речи Гитлера в Шпортпаласте,— сказала Рози.— Там стоял такой же рев.

— Да заткнись же ты наконец! Из-за тебя прозевал гол.

— Дядя Юрген! Неужели это так важно? Завтра все прочтешь в газете.

Не понимаю, как можно в ее возрасте не любить футбол?

— Все-таки ответь мне, почему ты сейчас против того, что было? Мне это очень нужно знать,— продолжала она свой допрос.

— Потому, что кое-чему научился — в армии, в плену и позже,— сказал я, убедившись, что дослушать репортаж не удастся.

— А тогда все были «за»?

— Не то чтобы «за», но все способствовали. Вынуждены были способствовать, если не...

— Но многие не согласились, предпочли эмигрировать.

— Да, но целый народ не может эмигрировать,— сказал я раздраженно.— А теперь оставь меня, пожалуйста, в покое.

— А судьи тоже способствовали? — Снова устроившись в кресле, Рози болтала ногами.

— Послушай, девочка. С судьями я не имел никакого дела, твой отец тоже, хоть он и сидел за колючей проволокой. Такой маленький человек, как я,— а тогда я был еще школьником и учеником в конторе — не мог в конце концов знать, что творилось за кулисами. Но полагаю, что если все способствовали, то судьи — тоже.

— Знаешь, наш учитель рассказывал недавно — постой, как это он выразился? А, вспомнила: «Недовольство привело Адольфа к власти, но юристы помогли ему остаться у руля. Закон санкционировал его государство». Это верно?

— Спроси учителя. Ему лучше знать. Только странно, что он так открыто высказывается. Не боится последствий, что ли?

— Каких последствий? — удивилась Рози.— Ведь он же прав!

— Прав или не прав — мне до этого нет дела. Спроси кого-нибудь из тех, кто тогда носил судейские мантии. Их предостаточно вокруг, и не только на улице, а в судах и кое-где еще.

— Значит, получается, что у каждого рыльце в пуху?

— Возможно. В то время были даже священники, которые подписывались «Хайль Гитлер!».

Она хотела выключить радио, но в эту секунду забили второй гол. Я вскочил с воплем:

— Г-о-о-о-л!

— Ведешь себя как глупый мальчишка! — выкрикнула она.— Какой-то дурацкий гол приводит тебя в восторг. Ты, вероятно, с таким же восторгом орал «хайль». Не удивительно, что тот усатый делал с вами все что хотел. Вы были обыкновенным стадом.

— Тебе этого не понять, Рози. Как-нибудь позже объясню все.

— Когда? — Она поднялась и глядела на меня в упор.— Ты уже год назад обещал, что объяснишь позже. Теперь опять откладываешь? Сколько же еще можно тянуть? Боюсь, что, когда я стану достаточно взрослой, чтобы понять, ты окажешься слишком стар, чтобы объяснить.— Проводишь меня? — спросила она, надев пальто.

— Да, только подожди, выпью пива.

Тут мне почему-то вспомнилось, как я где-то орал, что мы пропьем нашу демократию.

Около пивной я остановился.

— Подумай, пожалуйста, о том,— сказала Рози,— что я достаточно взрослая и хочу все узнать от тебя, потому что ты сам все видел и делал. Я не хочу узнавать это из газет. Те, которые там пишут, жили в эмиграции, либо еще не родились, либо воевали в Сопротивлении.

— Ладно,— сказал я.— Объясню.

— А как на новой работе? — вдруг спросила она.

— Так себе. Работа как работа, с той разницей, что у меня есть теперь солнце и дождь. А в остальном все по-прежнему.

— Тебе не хватает честолюбия.

Она зашагала по улице, а я вошел в пивную.

У стойки я увидел долговязого Эмиля.

— Был у Ленерца в больнице? — спросил он.

— Да, раза три.

— Он все еще не свыкся со своей судьбой,— вздохнул он.— Бедняга. Надо же, чтоб именно его зацепила эта проклятая машина.

— А кого бы следовало зацепить? — спросил я.

— Ну, конечно, того, кто распорядился установить ее,— буркнул Эмиль.

— А ты слушал репортаж? — спросил я. И как это Эмиль может говорить о Фрице, когда только что вся Германия сходила с ума.

— Какой репортаж?

— Ты что, с луны свалился? Да ведь мы играли с Чили!

— Вот как? И что, наши выиграли?

— Ну и чудак! Все переживают, а он преспокойно сидит и лакает пиво.

— Знаешь, мне пришлось сменить работу. На заводе в Унне что-то не того. Представляешь себе, они проверяют, кто сколько сидит в сортире. Если дольше десяти минут, вычитают из зарплаты. Со мной у них это дело не прошло. Не на таковского напали.

— Да,— машинально ответил я, думая все еще о матче. Кажется, те четверо в углу разговаривают о футболе.

— Сейчас я устроился на строительство дороги,— продолжал Эмиль.— Рурская автострада.

Те четверо и в самом деле беседуют о футболе, я слышу обрывки фраз.

— Три марки в час, для начала неплохо,— сказал Эмиль.— А сколько ты получаешь на заводе?

— Я? Кажется, две семьдесят.

Четверка в углу громит команду Чили.

— Не так уж плохо, детей у тебя нет, жена тоже работает. Куда ты только деваешь столько денег?

— Выплачиваю долги по рассрочкам!

Я залпом осушил кружку. Четверо в углу заспорили.

— Долги, у тебя? Да кто тебе поверит. При двух-то работающих?

— Нет, я оклеиваю стены пятидесятимарковыми купюрами.

— Брось трепаться! Ну, а как работа?

— Сойдет. Но бывает лучше.

— На шахте было не так уж плохо, верно, Юрген?

— Конечно. Каждый день горячий душ, волосы лезут. Но сама работенка была ничего.

— Нас утром возят в автобусе,— сказал Эмиль.— Забирают прямо у дома, а вечером доставляют обратно. Все удовольствие три марки в неделю. Недорого.

За столом в углу поднялся такой гвалт, что я сам себя уже не слышал. Пожалуй, зайду еще к Веронике, подумал я, посмотрю, что там делается. Интересно, Рози уже пришла? Надо было бы проводить ее. Но нельзя же в конце концов ораторствовать о политике, когда идет футбольный матч.

— Ну, пока, Эмиль, я пошел.

— Уже? Подожди, я угощаю. Эти в углу сейчас вцепятся друг другу в волосы. Потеха!

У Вероники горел свет. Она сидела в кресле и вязала.

— Вот это сюрприз,— удивилась она.— Уж не заблудился ли?

— Требуется разрядка.

— Воображаю, как ты носился по комнате.

Знала бы она, какие вопросы задает ее дочь во время футбольных матчей. Почему я, видите ли, вскидывал руку.

— Карл уже спит?

— Только что лег. Представь себе, он тоже слушал репортаж, а когда зрители орали, вскакивал, поднимал правую руку и говорил: «Встань, Вероника. Выступает фюрер».

— Ну, а как он вообще?

— Вполне спокоен. Рисует мало. Плетку с тех пор так и не пришлось использовать. Зато хожу теперь в городскую библиотеку, таскаю ему книги с картинками. Сидит и разглядывает.

— Какие книги?

— Любые. Главное, чтобы с картинками.

— А где Рози? Спит?

— Нет, пошла в кино. На последний сеанс.

— Ты просматриваешь ее школьные задания? У меня создалось впечатление, что она запустила учебу.

— Что ты, наоборот. Она так старается. Целые дни сидит над книгами... Когда приезжает Ингеборг?

— Обещала во вторник.

Поболтав еще с полчаса, я ушел. Решил побродить по улицам, настроение было какое-то дурацкое. Во всех трактирах сегодня пьянствовали, еще бы — мы выиграли. Не войну, но хоть футбольный матч. Выиграли! — пело все во мне. Хотелось горланить и плясать прямо на улице.

Неожиданно я увидел перед собой Рози, запыхавшуюся, взлохмаченную.

— Дядя Юрген? — испуганно воскликнула она, пытаясь прошмыгнуть мимо.

— Ты откуда? — спросил я.— Ты же собиралась на последний сеанс.

— Где я была, тебя не касается, ясно?

— Полегче, девочка! В конце концов спрашивать не запрещается.

Я проводил ее домой. Всю дорогу мы молчали. Пожелав мне доброй ночи, она спросила:

— Почему ты вскидывал руку, дядя Юрген?

— Не знаю,— ответил я и побрел дальше.

Едва Ингеборг устроилась на фабрику, как стала проявлять самостоятельность: не советуясь со мной, она покупает все, что ей вздумается, и ставит меня перед свершившимся фактом.

А ведь если разобраться, то в ее заработок входит и мой труд — тот самый дополнительный, который возложен теперь на меня: мытье посуды, уборка, приготовление пищи. Да, да, частью своего заработка она обязана моей домашней работе. Когда мы поженились — с тех пор прошло восемь лет,— у нас почти ничего не было. Мы рассчитывали на годы вперед: сколько получим денег, сколько уйдет на жизнь, сколько останется,— и все-таки, черт возьми, были довольны.

Теперь же все переменилось, в том числе и работа. Теперь есть солнце, свежий воздух и никаких ночных смен. Но старому горняку, вроде меня, не так просто привыкнуть к более легкой профессии. Почему-то все жду гудка, чтобы скорее пойти домой.

На товарном складе я освоился довольно быстро: ни с работой, ни с коллегами никаких затруднений у меня не возникло. По обращению и манере разговора грузчики от шахтеров ничем не отличались. Зато начальство...

Под землей мы с непосредственным начальником действовали сообща, тянули одну лямку. Как и мы, он был таким же грязным, пропотевшим и изнуренным, да и ругался так же.

Тут по-другому: от рабочего начальник отличается чистым костюмом и галстуком; на самом производстве его редко встретишь, если уж он и заглянет, то мимоходом и вечно с какой-нибудь бумажкой в руке — наблюдает за выполнением графика.

Прослышав, что на складе собираются установить магнитный кран, вся наша бригада — тридцать душ — забеспокоилась. Кран заменит двадцать грузчиков — значит, оставят десять. Разумеется, каждому хотелось остаться: во-первых, потому, что работу нашу тяжелой не назовешь, а во-вторых, она не поддается строгому учету. Да и вообще, какой уж там тяжелый физический труд возле подъемного крана.

Наш старшой — симпатичный лысый дядя — любил поворчать, но был справедливым. Он был бы еще симпатичней, не рази от него с самого утра пивом. Я поинтересовался, кто из нас останется.

— Не тужи о яйцах, когда курица их еще не снесла,— ответил он.— Придет время, узнаешь.

— Что мы тогда будем делать?

— Как, брат, все сложится, пока и в дирекции не знают.

Мы сидели на июньском солнышке возле штабеля рельсов и завтракали. Здесь мало кто приносил с собой фляжку с кофе. Обычно посылали мальчишку-ученика в буфет за пивом или газировкой. Но каждый день это себе не позволишь — накладно.

Сосед справа подтолкнул меня локтем.

— Завтра шахтеры голосуют, бастовать или нет,— сказал он с набитым ртом.— Но тебе на это уже начхать. Верно?

— Никакой забастовки не будет,— сказал я.

— А я думаю, будет,— заметил старшой.— Пока шахтовладельцы не распродадут несбытый уголь.

— Нет,— возразил я.— Уже сколько раз дело до этого доходило. А чем кончалось? Компромиссом. Просто надо пошуметь, чтобы общественность узнала о том, что шахтер будет получать на пять пфеннигов больше, а торговцы успели сориентироваться. Все рассчитано.

— Вот, вот,— согласился сосед.— Как только речь заходит о том, чтобы прибавить рабочему самую малость, поднимают крик. А другие прикарманивают миллионы, и никто ни гу-гу.

— Ну, положим, дадут эту десятипроцентную надбавку,— сказал я.— А что она значит? Даже вместе с ней не выйдет и трех марок в час.

— Трех марок не выйдет? — переспросил старшой.— Да, тут почешешься: меньше трех марок!

— Не в этом суть! — вмешался в разговор молодой студент, учившийся на инженера и проходивший у нас практику.— Все это не так уж плохо, если мы еще можем бастовать и высказываться как угодно. Вспомните тех, что за Эльбой. У нас хоть есть свобода.

От изумления кое-кто даже перестал жевать. Все уставились на студента словно он говорил по-китайски. Пожилые рабочие рассмеялись.

— Эх ты, цыпленок,— пробурчал старшой.— Говоришь о свободе, будто на нее можно что купить... Да понимаешь ли ты, сколько здесь закорючек? Скажем, если государство не укладывается в бюджет, оно повышает налоги или там почтовые, железнодорожные, телефонные тарифы, всего не перечесть. А если моя жена не укладывается в наш

домашний бюджет, то нам приходится экономить, я уже не могу себе позволить две бутылки пива и две пачки сигарет в день. А если мы собрались в отпуск, значит, должны еще от чего-то отказаться. Понял? Это тоже свобода. Одна для толстого кошелька, другая для тощего.

— Чепуха, господин Майнке! — воскликнул, краснея, молодой человек.— Ведь государство — это и мы с вами, а не только двадцать министров.

— Да ну? Перед выборами мы действительно государство; когда надо покорно идти на убой — государство; и когда дела надо за наш счет выправлять — мы тоже государство! Потребительская кооперация принадлежит профсоюзам, мы — члены профсоюза, значит, кооперация принадлежит нам. Ты это хотел сказать, детка? А шахтер под землей не зарабатывает даже трех марок в час, но зато он — государство. И в этом государстве для всех прогресс и свобода, и все мы счастливы оттого, что нам разрешают подрать глотку и побастовать... Эх ты, сопляк!

Наш старшой никогда еще не произносил таких длинных речей. Я был поражен, мне просто нравился наш ворчливый, немногословный старик. Правда, зря он взялся наставлять студента — все равно тот ни черта не понял.

— Разве с вами можно разговаривать о серьезных вещах? — обиделся будущий инженер.— Вы думаете только о своем кошельке и ни о чем больше.

— Погоди, вот женишься, обзаведешься детьми, тогда и посмотрим, как ты заговоришь.

Вечером, возвращаясь домой, я вдруг почувствовал какую-то непривычную подавленность. Может быть, от голода: днем я съел всего два бутерброда, а в столовую не пошел — еда мне там не нравилась. Увидев на улицах поселка людей, стоявших группами и перешептывавшихся, я испугался. Многие смотрели мне вслед, я чувствовал их взгляды.

В дверях дома меня встретила заплаканная Ингеборг.

Я прислонил велосипед к стене.

— Ингеборг, что случилось?

— Карл,— вымолвила она.— Карл Боровски...

— Что с ним? Опять припадок?

— Он повесился,— прошептала Ингеборг и заплакала навзрыд. Меня словно ударили обухом по голове. Не говоря ни слова, я сел на велосипед и помчался к Веронике.

У старого кирпичного домика собралась толпа. Дверь была распахнута.

— Господин Форман,— обратилась ко мне какая-то женщина,— как это ужасно!

— Да,— сказал я,— да.

Вероника сидела в кресле. Когда я вошел, она лишь устало повернула голову, а Рози, ходившая из угла в угол, подбежала ко мне и заплакала.

Карл лежал в соседней комнате на раздвинутом столе. Рот у него был заклеен пластырем.

Врач уже собирался уходить.

— Да, господин Форман, кто бы мог подумать? — вздохнул он.— Все наши усилия оказались напрасными.

— Вероятно, в больнице этого бы не допустили,— процедил я сквозь зубы.

— Рано или поздно это случилось бы,— возразил врач.— А что касается больницы, то поверьте моему опыту — там не лучше. К тому

же, по теперешним законам, он не был опасен для окружающих, а прежние законы уже не действуют.

— Неужели разница между ними так велика? — спросил я.

Врач с сожалением посмотрел на меня и присел за кухонный стол выписать свидетельство о смерти.

— Полиция уже была, этого не избежишь, таков порядок,— с тяжелым вздохом сказал врач, вставая. Как бы извиняясь, он развел руками и вышел из кухни.

Мне хотелось ему возразить, но я тупо смотрел в пол. Врач еще раз вернулся и с горькой улыбкой произнес:

— Люди вроде него считаются прокаженными в любом обществе, в любом.

— Неправда,— сказал я.— Ведь он хотел только жить, работать и ухаживать за своим садиком, больше ничего.

Но врача уже не было на кухне. Он прошел к умершему — вероятно, что-то забыл там — и, снова вернувшись на кухню, обратился к Веронике:

— В больнице ему, конечно, не дали бы разрисовывать столько бумаги, а его молитвы и проклятья никто не стал бы слушать. Там строгий порядок. Без дисциплины никак нельзя. Ему не разрешили бы делить мир, назначать министров и сажать самолеты на лугу за лесом. Мы не знаем, что происходило в его затемненном сознании. Не исключено, что это,— он покрутил обрывком веревки,— всего лишь последнее звено цепочки... Кто знает? Как врач, я должен, к сожалению, сказать, что мы ничего не знаем...

Врач ушел не прощаясь.

— Закрой дверь, Юрген,— сказала Вероника.— Не могу я больше видеть этих людей на улице... Что теперь будет с пенсией Карла?—вдруг спросила она.— Мне ее оставят?

— Ну, конечно. Его смерть не лишает тебя пенсии. Только будут платить чуть меньше, и все. Так что не беспокойся.

— Я беспокоюсь за Рози,— сказала она.

— Не надо, мамочка,— подала голос дочь.— Это же смешно: получать пособие за отца, который мне вовсе не отец.

— Рози! — прикрикнула Вероника.

— Не волнуйся, мамочка, это не моя вина.— Обратившись ко мне, Рози спросила: — Дядя Юрген, его похоронят по всем правилам?

— Почему бы нет?

— Я думала, самоубийц закапывают у кладбищенской стены без пасторского благословения.

— Так было когда-то. С тех пор церковь стала милосерднее.

Вероника поставила на электроплитку ведро воды.

— Надо его обмыть,— сказала она глухо.

— Разве он недостаточно чист? — вспыхнула Рози.

— Замолчи, бесстыдница.

Рози вышла в сад. Я увидел, как она села на красную скамейку возле грядки с фасолью.

— Как же это случилось? — спросил я Веронику.

Она будто сразу постарела, на глазах.

— Просто не знаю. Он сидел за столом, как обычно, и рисовал. Я еще сказала ему: «Карл, я схожу в лавку». Он посмотрел на меня и говорит: «Принеси мне крюк от мясника». Я испугалась. «Что,— говорю,— принести? Крюк от мясника? Их же не продают. На что он тебе?» — «Не продают? — И смотрит так недоверчиво.— А я вчера видел их много-много на длинной балке, в большом зале, на окнах там еще решетки». «Карл,— говорю,— это тебе приснилось». «Да,— говорит

он,— наверно, приснилось. Но сейчас время для таких крюков, самое время».

Вероника присела за кухонный стол и вытерла глаза. Но слез уже не было.

— Потом я ушла. В лавке у меня на душе вдруг стало так тревожно, что не передать. Знаешь, так бывает, когда ночью идешь одна через лес. Я бросила все и побежала домой. Карл сидел за столом и рисовал. «Принесла крюк?» — спрашивает. Я говорю: «Нет, нигде не продают». А он опять: «Но мне обязательно нужен крюк, в третьем зале есть свободное место». «В каком зале?» — спрашиваю. «В третьем,— повторяет он.— Ты же знаешь, в восьмом блоке». «Да,— говорю,— знаю,— чтобы успокоить его. Что он имел в виду? Но в ту минуту, Юрген, я по-настоящему испугалась. Мне бы остаться, а я опять пошла в лавку. Надо было еще зайти к сапожнику, потом купить Рози тетрадей, а Карлу бумаги. Пока ходила туда-сюда, забыла о страхе. Примерно через час, а то и больше вернулась домой. Вижу, Карла за столом нет. Тут у меня сердце оборвалось. Позвала — ни звука. Заглянула в спальню — никого. В подвал, на чердак — ни души. Поискала в саду — нет. И вот, перед тем, как снова войти в дом, посмотрела вверх, на окно уборной... и... там был Карл... Он показывал мне язык...

— Не надо, мамочка, не надо! — воскликнула Рози, входя на кухню.— Он умер. Не рассказывай подробностей. Не надо!— Рози разрыдалась.

— Вечером зайду,— сказал я.— А то поесть еще не успел.

— Ты поможешь уладить формальности, Юрген? — спросила Вероника.

— Не беспокойся, все сделаю.

Толпа на улице поредела. Я медленно крутил педали и думал об изречении, которое часто повторял Карл: «Каждому свое». Бедняга, несколько лет он делил земной шар, кричал и стонал в припадках, бредил, молился, преклонив колена на острых поленьях в углу комнаты. Молодой и отчаянный парень, он написал некогда на вагонетке мелом «Гитлер — грязная свинья!», получил от государства «свое» и нес его, не жалуясь, все эти долгие годы. Когда его избавили от колючей проволоки и побоев и привезли домой, он нашел там дочь. Не жизнь, а черт знает что.

Жизнь продолжается, и каждый получает «свое». Директор фирмы ведь сказал мне, что прошлого теперь уже не стыдятся; в конце концов, мы живем при новом порядке, который требует, чтобы прошлое было приведено в порядок. Он сказал еще, что во всем мире нас опять уважают. Мы торгуем с Россией и с Южной Африкой и не препятствуем извергам, превратившим таких, как Карл Боровски, в калек, загорать под солнцем Испании и Южной Америки или заниматься коммерцией на Ближнем Востоке. Так ли уж прав директор, утверждая, что нас снова уважают в мире? Не вернее ли сказать, что мы просто нужны миру, а это совсем другое дело.

По нашей улице из дома в дом сновали женщины и почему-то смеялись. Ингеборг выбежала мне навстречу. Она тоже смеялась.

— Юрген, представляешь, фрау Поммер родила мальчика! Даже не верится — четыре кило, и все прошло замечательно!

Вот это здорово! Маленькая, хрупкая женщина, которая в последние дни еле передвигалась, произвела на свет такого крепыша. Четыре кило. Эх, будь это мой сын, я напился бы на радостях до бесчувствия.

— Дай чего-нибудь поесть, умираю с голода.

— Сейчас. Как у Боровски?

— Как там может быть? Вероника боится за пенсию.

— Это понятно. Не отберут?

— Конечно нет.

— Идти работать ей уже поздно. А вот Рози надо бросать школу, пора ей подумать и о заработке.

— Может быть,— ответил я.

Суп был хорош, хоть и приготовлен из концентратов, которые Ингеборг каждый день покупала в магазине самообслуживания по дороге с работы.

— Надо позаботиться о формальностях,— сказал я.

— Возьмешь выходной?

— Нет, управлюсь завтра, с утра.

— А когда похороны? — Ингеборг вдруг вскочила и всплеснула руками: — Боже, у меня ведь нет черных чулок! Придется завтра же купить в Унне.

Заупокойная проповедь меня не проняла, хотя молодой пастор, присланный в нашу общину полгода назад, умеет хорошо говорить. Дождь лил не переставая, и он стоял под зонтиком. Его слова долетали до ушей, но не проникали в сознание.

Правой рукой я поддерживал Веронику, левой — Рози. Они не плакали. Я смотрел на пару за могилой, не спускавшую глаз с пастора. Это были десятник Поленц и женщина, которая у него жила.

Чего ради они сюда пришли?

Тут я услышал, как пастор произнес:

— Повсюду вина и повсюду грех. Познáет свою вину и тот, кто своим доносом обрек умершего на десять лет мучений. Но милосердие божие бесконечно. Тому, кто раскаялся, бог дарует милость и прощение.

Я вспомнил, что год назад слышал подобные слова от другого пастора. Впрочем, что тут удивительного: мудрость всегда говорит одним языком.

Несмотря на дождь, за гробом шла большая процессия. Странно, ведь Карл в последние годы почти не появлялся на улице. И вот даже никогда не встречавшиеся с ним люди сочувствовали его судьбе. В их представлении он был отшельником, искавшим истину, человеком, который страдал, продолжал страдать и дорого заплатил за свое страдание, хотя ему положили кругленькую пенсию. Карл перерос пределы квартала, став символом того времени, которое нам, взрослым, было вечным укором, а молодежи не говорило ни о чем.

Мне вдруг вспомнился странный рассказ Вероники... Карл выглядывал из окна уборной и показывал язык...

Я вздрогнул.

Мне почудилось или нет: десятник Поленц стоял, высунув язык. Что за чертовщина? У меня галлюцинации, определенно галлюцинации.

Вместо того чтобы поддерживать обеих женщин, я вдруг сам повис на них: вид десятника с отвисшей челюстью привел меня в ужас.

Я вижу сквозь дождь его острый желтоватый язык. Десятник хрипит, мешая проповеди. И все слышат это.

Он стоит в прорезиненном плаще, с непокрытой головой, под проливным дождем, волосы прилипли ко лбу, вода стекает за шиворот.

Нет, он действительно высунул язык. Теперь это заметили и другие, кто-то хихикнул. До чего же у него длинный язык, как у повешенного...

Рози вынимает из кармана пальто носовой платок и сморкается. Она не плачет, нет, я хорошо вижу, что она посмеивается, прикрыв рот платком.

Господи, что здесь происходит? Ингеборг тоже смеется, прижав к губам платок, причем смеется до слез. Кто ее не знает, может подумать, что она плачет. Господи, рехнулись они все, что ли? Ведь хоронят Карла! Неужели его смерть не стоит слез? Однако участники траурной церемонии в самом деле хихикали и посмеивались украдкой, ибо у десятника Поленца, которого здесь вряд ли кто знал, язык совсем вывалился изо рта. Поленц застонал.

Вероника подходит к куче мокрой земли, берет лопату и трижды бросает на гроб комки красно-коричневой грязи; потом втыкает лопату в землю, хочет отойти и, подняв глаза, вдруг видит перед собой десятника. Пошатнувшись, она вскрикивает. Кричит!

Тут десятник валится головой вниз, прямо на гроб. От глухого грохота все вздрагивают. Вероника падает в обморок. И вместо приглушенного смеха и хихиканья раздается многоголосый вопль ужаса. Ад разверзся.

Дождь хлещет.

Десятник лежит на гробу, дрыгает ногами и орет. В могилу никто не хочет спускаться, боясь испачкать костюм.

— Как это случилось? — спрашивает меня пастор.

— Не знаю, господин пастор, может, он потерял сознание.

— Да нет. Он же кричит. Это крепкий мужчина.

Пастор, могильщик и я спрыгиваем в могилу, чтобы вытащить десятника.

— Осторожней,— предупреждает могильщик,— стенки могут обвалиться, все размокло. Вот проклятье! И это называется июнь!

Поленц был без сознания. Выглянув из могилы, я увидел, как четверо мужчин понесли Веронику к подрулившей машине.

— В могиле не ругаются,— осадил могильщика пастор.

— Осторожно! Обвалится земля! — кричит могильщик.

Мы поднимаем Поленца. В это время у края могилы появляется женщина, с которой я встречался в полночь. Приоткрыв рот, она судорожно сжимает обеими руками зонт. Пастор вылезает из могилы и тащит Поленца за руки, а мы с могильщиком подпихиваем его снизу. Наконец все наверху. А дождь хлещет не переставая.

— Отойдите от края! — рявкает могильщик на Ирену.— Земля размокла, может каждую секунду обвалиться. Знаете,— обращается он ко мне,— жена все время топит. Вот так июнь! Без печки в комнате не усидишь. Вот так июнь. Осторожней! Сказано же вам отойти, черт возьми! — набрасывается он снова на Ирену.

— Боже, что у вас с таларом *, господин пастор! — охает пожилая женщина.

— Ничего,— отвечает он,— есть еще один.

— А ты на кого похож! — качает головой Ингеборг, оглядывая меня с ног до головы.

— Ступай домой, Ингеборг, у тебя полные туфли воды.

Подъехала машина скорой помощи, санитары занялись Поленцем.

— Кто бы мог подумать,— обратился ко мне пастор.— Что с ним произошло? Вы его знаете? — Пастор прищурил глаза.

— Да, немного. Он десятник в одной строительной фирме в Дортмунде.

Громко разговаривая и жестикулируя, люди стали расходиться. Некоторые посмеивались.

---

* Талар — облачение лютеранского пастора.

— Да, я хотел еще спросить,— продолжал пастор,— десятник знал усопшего?

— Нет.

— Почему же он пришел на похороны? — Пастор остановился и пристально посмотрел мне в лицо.

— Сам удивляюсь,— ответил я.

— Наверно, он все-таки знал умершего.

Мы двинулись дальше.

— Возможно,— согласился я,— но маловероятно. Иначе мне было бы известно об этом.

— У меня такое чувство,— пастор снова остановился,— будто этого человека — как его зовут? Поленц? — будто этого человека я уже где-то видел.

Когда мы подошли к моему дому, я предложил пастору:

— Может, выпьем рюмочку-другую шнапса? Говорят, чудесно действует.

— Кажется, вспомнил, где я встречал десятника. Да, точно... До свидания,— сказал пастор и удалился.

— Не похороны, а настоящий театр! — повторяла Ингеборг, озабоченно курсируя из кухни в гостиную и обратно.— Что мне делать с костюмом, он совершенно испорчен, хоть выбрасывай. Ведь это твой свадебный костюм.

— Да вычистишь как-нибудь.

— Ничего уже с ним не сделаешь, пропал!

— Пастор перепачкался еще больше,— заметил я.

— Но ему-то не придется покупать талар, спишут за счет накладных расходов. А тут, полюбуйся-ка, на каждом колене по дырке!

— Надо будет позаботиться о Рози и Веронике.

— Ты в своем уме? Сначала согрейся хорошенько, а то придется о бюллетене заботиться. Вот выпей кофе. Ты не смеешь сейчас болеть, в субботу нам привезут стиральную машину, первый взнос четыреста марок... А эта дура баба какова — тоже чуть не свалилась! Точно коза ошалелая, могильщик ей сто раз говорил, чтобы отошла от края. Она не с этим пришла, что упал в яму? Может, жена его?

— Нет.

— Чего ж она там стояла и пялилась?

— Все там стояли и пялились,— ответил я.

Кофе был крепкий, сладкий и очень горячий. Мне стало легче.

— Нет, ты погляди на костюм. Свинство! Тебе непременно надо было туда лезть, будто без тебя обойтись не могли. А для чего пастор и могильщик? Собственно говоря, Вероника должна была бы заплатить за костюм.

— Ну при чем тут Вероника, Ингеборг?

— При том! Меня просто бесит. Почему ты ее всегда защищаешь? Меня — так никогда!

— Раз ты злишься, значит, не права.

— Правда глаза колет! Ты уже этого не замечаешь, но Боровски всегда у тебя на первом месте, а уж потом я...

— Это твоя фантазия.

— Не понимаю: зависишь ты, что ли, от этих баб?

— Позаботиться о них — мой долг.

— Ну и отправляйся к ним! — закричала она.

Схватив на кухне тарелку, Ингеборг трахнула ее об пол у моих ног. Осколки разлетелись по всей комнате. Потом выбежала на улицу, хлопнув дверью.

Я переоделся и ушел. Было около восьми вечера. Со стороны Дортмунда надвигалась черная туча... Опять будет ливень. Вот так июнь — верно говорил могильщик.

Рози сидела за столом и готовила уроки.

— Где мать? — спросил я.

— В больнице,— ответила Рози, не поднимая головы.

— Час от часу не легче! Что-нибудь стряслось?

— Врач сказал, нервный шок. Придется полежать недели две-три.

— Ну и денек! — вздохнул я.

— Как это ты еще решился прийти! — процедила Рози, складывая в портфель тетради и книги.

— Не язви, ты же видела, как я перепачкался.

— Ах! Такой хороший костюм!

— Перестань! — оборвал я ее и тихо спросил: — Ты знаешь этого человека?..

— Который высовывал язык? Господи, как я смеялась! Хорошо, что шел дождь и у меня был большой носовой платок. Даже тряслась от смеха... Нет, его я не знаю.

— Он никогда не бывал у вас?

— Нет, а почему это тебя интересует?

— Страшный человек.

— Значит, ты его знаешь?

— Да, это десятник Поленц...

— Поленц? А, это ты с его женой прогуливался по ночам?

— Ага.

— Та самая женщина, которая...

— Да, она.

— Странно. Почему же он явился на похороны папы?

— Я тоже хотел бы это знать.

— Во всяком случае, не из любви к тебе. И к тому же он пришел без шляпы.— Она рассмеялась.

— Конечно, он пришел не ради меня,— сказал я.

— Навести маму.

— Завтра после работы заеду!

— И потом... Не приходи, пожалуйста, ко мне, пока нет мамы. А то пойдут разговоры.

— Как хочешь.

— В поселке любят чесать языки.

— Одной тебе будет трудновато. Приходи к нам ужинать, если надумаешь.

— Спасибо. Не надумаю. Твоя супруга слишком часто ошибается, подсчитывая плату за стол. В кафе дешевле.

— Дело твое.

— Вот именно,— сказала Рози, открывая мне дверь.

Едва я вернулся домой и включил радио, чтобы послушать репортаж о велогонке «Тур де Франс», как раздался нерешительный звонок.

— Кто бы это? — удивилась жена.— Неужто Рози? Сиди, я открою.

— Не беспокойся.— Я поднялся и пошел к двери.

— Скажи этой бесстыднице, чтобы шла спать! — крикнула вдогонку Ингеборг.— И вообще ей работать пора, а не висеть на шее у матери, уже достаточно взрослая.

Открыв дверь, я обомлел. Передо мной стояла та женщина, с которой я встречался по ночам.

— Он просил вас зайти к нему завтра в больницу,— тихо произнесла она.

— Хорошо.

— Он лежит в двести четвертой палате на втором этаже.

— Хорошо.

— Ему нужно срочно вас видеть.

— Хорошо.

— Не забудьте: срочно.

— Хорошо.

— Спокойной ночи.

Она ушла, растворившись во тьме. Дождь лил как из ведра.

— Кто это? — спросила Ингеборг.

— Жена того человека, который свалился в могилу.

— Что-о?

— Да. Просила, чтобы я завтра навестил ее мужа. Он срочно хочет меня видеть.

— Что им от тебя нужно?

— А кто их знает. Понятия не имею. Лучше не спрашивай.

Ингеборг замолчала, но я все время чувствовал на себе ее взгляд. Она долго не могла заснуть. Мне тоже не спалось.

Войдя в палату, я сначала не узнал Поленца. За ночь лицо его осунулось, резко выступили скулы. Он еле слышно подозвал меня и попросил сесть поближе, сказав, что ему надо многое мне сообщить.

— Мы не одни,— с трудом выдавил он,— я вынужден говорить тихо.

В палате было еще семь человек — молодых и пожилых. Один прыгал с загипсованной ногой от кровати к кровати. В углу попискивал транзистор.

— Я экзекутор, я избивал плеткой,— произнес вдруг Поленц после нескольких ничего не значащих фраз.

— Не понимаю.

— Я же говорю: стегал людей на «козле».

— На каком «козле»?

— На «козле» для порки. Я по службе был экзекутором.

Постепенно я начал понимать. Я еще ничего не знал, но уже догадывался.

— В двенадцатом блоке. Политзаключенные.

— А где? — Я, наконец, понял.

— Где? Ах, это было так давно. Старая история, понимаете, очень старая. Над воротами...

— Я знаю, что там было написано.

— Он рассказывал обо мне?

— Он никогда не говорил о том времени.

— Но он же знал, что я живу по соседству. Года три назад мы повстречались на улице. Он плелся по тротуару, ни на кого не глядя, а я ехал мимо на велосипеде. Я сразу узнал его. И он, не поворачивая головы, сказал: «Полли, считай громче. Еще громче». Так они меня звали в лагере — Полли. Вот тут я понял, что он меня узнал.

Стены палаты не рухнули, оконная рама не покачнулась, все осталось на своих местах. Парень с загипсованной ногой стучал ею в такт танцевальной музыке. С улицы доносились звонки трамваев. Так вот почему Карл хотел, чтобы на лугу за лесом приземлились самолеты. Вот почему!

— Вы не здешний? — Неожиданно для себя я перешел снова на «вы».

— Нет, из Оппельна.

— А женщина, которая у вас живет?

— Тоже оттуда. Она приехала два года назад из Восточной Германии.

— Вы были знакомы с ней раньше? — продолжал я допытываться.

— Нет. Мы живем вместе. Она мне нужна. Я ей тоже. Впрочем, она знает все. Почти все.

— Почти? — Я взглянул на него, мне показалось, что он отвечает слишком медленно.

— Ее мужу дали двадцать лет. Он сидит в Бауцене.

Парень с загипсованной ногой подцепил костылем стул и задвинул его между кроватей. Началось сражение в карты.

— Ну, а что дальше? Зачем вы меня звали и для чего вы все это рассказываете?

— Не знаю. Вот вчера, когда меня привезли, знал.

— Если вы думаете, что я передам все фрау Боровски, то ошибаетесь. Это вы должны сделать сами.

— Ничего не нужно ей передавать, и так неприятностей хватает. Я жалею уже, что рассказал. Затмение какое-то нашло. К чему копаться в прошлом, настоящее от этого не станет лучше, оно и без того тяжело... Людей такие признания тоже не сделают лучше... ни их... ни закон... ни государство... ни... да что там... Все пакость.

— Фрау Боровски,— сказал я,— лежит в этой же больнице. У нее нервный шок.

Парень с загипсованной ногой блефовал. Оба лежачих размышляли, на чем бы его подловить. Конечно, у него было преимущество: он сидел выше и мог заглядывать в карты партнеров...

— И охотно вы это делали, тогда?..

— Охотно? — Его глазки забегали по сторонам.— Сейчас уже не помню, это было так давно. Тогда делали много такого, что в то время считалось нормальным, а сейчас — нет. Не возьмись я за это, взялись бы другие, а меня бы самого разложили на «козле». Каждый боялся, каждый, даже начальник лагеря. А он так больше всех — боялся даже попросить, чтобы его перевели по службе. Вот как было. Нельзя к этому подходить с сегодняшней меркой. Чтобы понять, нужна мерка вчерашняя.

Я подумал: с какой «меркой» делал Карл — сначала надписи на вагонетках, а потом это самое, с веревкой?

— Ничем не могу вам помочь,— сказал я.

— Мне и не нужна ваша помощь.— Он высокомерно посмотрел на меня.— Смешно даже подумать, чтобы я стал просить вас о помощи, именно вас.

— Тогда я пошел,— сказал я, поднимаясь.

— А хорош был вчера ливень, правда?

— Да,— кивнул я,— хорош.

По радио передавали «Час немецкого шлагера». Владелец транзистора прибавил звук.

— Пойду к фрау Боровски,— сказал я.

Он уставился в окно, хотя там ничего нельзя было разглядеть. Дождь лил ручьями.

Вот так июнь!

Я медленно направился к двери.

Ингеборг не спрашивала о больнице, и я не стал ничего рассказывать. Она даже не поинтересовалась, о чем я беседовал с пастором, которого встретил случайно на улице. Он приветливо поздоровался и спро-

сил, как поживает мой костюм. Его талар при стирке расползся на куски.

Я рассказал пастору о том, что́ узнал в больнице.

— Десятник, однако,— добавил я,— не хочет идти в полицию с повинной.

— Господин Форман,— задумчиво произнес пастор,— а зачем он туда пойдет? Вы думаете, ему хочется сесть в тюрьму? Вы бы на его месте пошли в полицию? Сначала надо найти тех, кто отправил Карла Боровски в лагерь. Я имею в виду прокурора и судью.

— Ни прокурора, ни судьи он в глаза не видел,— заметил я.

— Ах, вот как, значит... Что творилось, что творилось, даже не верится! Все равно, может быть, еще найдут доносчика.

— Теперь? Через двадцать лет?

— Возможно,— сказал он и пошел дальше, погруженный в свои мысли. Через несколько шагов он обернулся и помахал мне рукой.

Ингеборг, напевая, освобождала в кухне возле раковины место для стиральной машины. Она тут же впрягла меня в работу, заставив передвигать мебель.

Она принялась кружить меня по кухне. Я вспомнил о книге, которая уже три недели лежит в шкафу, а почитать все некогда.

— Ах, да,— сказала Ингеборг, запыхавшись,— чуть не забыла. Заходила Рози, нужно подать какое-то заявление, а она в этом не разбирается.

— Зайдет еще.

— Да сходи уж, она просила.

— Неохота, пусть сама приходит.

Ингеборг удивленно посмотрела на меня, напевая ту самую мелодию, которую я слышал сегодня, выходя из больничной палаты.

— Чтобы не смел подходить к стиральной машине! — Она шутливо погрозила мне.— Все буду делать сама.

— Слушаюсь! — Я привлек ее к себе и закружил.

— То-то. А когда расплатимся, я куплю гладильный пресс. И прощай «дни стирки» и «дни глажки»! Боже, наконец-то будем жить по-человечески!

Она села у окна и, сложив руки на коленях, стала смотреть на улицу. Убежден, что в эту минуту она была счастлива.

Однако Ингеборг сказала «я куплю». Раньше, когда она не зарабатывала, говорила «мы купим». Почему-то мне вдруг вспомнилась песня, которую мы пели в гитлерюгенде: «С нами шагает новое время!» Да, настали новые времена. Правда, выглядело это несколько иначе, чем в песне, но все равно времена были новые.

Главное, что времена эти наконец настали.

Ночью я почти не спал. Надвинувшийся с востока дождь барабанил в окна. Он не прекратился и утром, когда я уезжал на работу. Вот так июнь!

В перерыв мне пришли в голову странные мысли. Вообще последнее время я стал больше размышлять. Прежде я жил сегодняшним днем, хорошо ли, плохо ли — делал свое дело, ходил, когда приглашали, на выборы. Выбирал в бундестаг, в ландтаг, в муниципальные органы, в производственный совет, в правление кассы. Правда, мне редко приходилось видеть на трибуне кандидатов, которым я отдавал голос.

От этого тупеешь. Часто хочется опустить руки — большинство почему-то голосует не за ту партию, за которую голосовал ты.

Странные все-таки существа люди. Много лет назад один человек, не коммунист, будучи в здравом уме и твердой памяти, писал на вагонетках мелом, что Гитлер — грязная свинья. А сейчас в начальных школах и гимназиях некоторые учителя утверждают, что историческая

картина искажена, ибо, во-первых, Адольф любил свою овчарку так, как можно любить только человека; во-вторых, баловал Еву Браун; в-третьих, не пил, не курил, был вегетарианцем и жил по-спартански. Вот это характер!

Нет, что мы все-таки за люди...

Другой человек добровольно пошел в экзекуторы, будучи убежден, что, не возьми он плетку, на его место у «козла» встал бы кто-нибудь еще. Эти «кто-нибудь еще» всегда находятся... Или вот женщина, родившая ребенка от француза в то время, когда ее муж лежал на «козле» и экзекутор считал до двадцати пяти. Этой женщине я пришел на помощь, когда на нее напали трое мужчин, которые сами побывали в неволе. Случай или судьба, что тогда ночью в лесу я нашел на промерзшей земле камень. Один из троих больше не встал, а я теперь возмущаюсь десятником, который не хочет явиться с повинной в полицию. Может быть, Поленц тоже действовал в порядке самообороны? Если бы он не стал пороть плеткой, выпороли бы, наверно, его самого... И есть еще девушка, любопытная, немного взбалмошная и завороженная словечком «оргия», девушка, которая по любому поводу спрашивает меня, почему я вскидывал руку...

Потом — женщина, которая живет у экзекутора. Ее мужа на двадцать лет посадили в Бауцен, три года он уже отсидел. От нее я ждал расплаты за уголь... И, наконец, моя собственная жена, которая меняется с каждым днем и пытается вдолбить мне, что «жить» — значит не отставать от людей... Да, как же это мы пели? «С нами шагает новое время...» Ну, вот и дождались его, только не знаем, останется оно или опять сгинет...

Старшой хлопнул меня по плечу. Бутылка из-под газировки упала и разбилась, а я очнулся от бесплодных раздумий.

— Юрген! — вскричал он.— Вот это кран!

— Хорош,— согласился я.— Раз — и пять тонн на-гора. Отличная штука.

— А вы все ругаете инженеров,— вставил студент-практикант.— Смотрите, что они построили. Специально для вас, чтоб вам было легче.

— Чудеса, а не кран! — продолжал восторгаться старшой, влюбленно озирая высокую башню.

Вдруг меня стукнуло: надо искать другую работу! Какой-то голос твердил: здесь я не останусь. Может, пойду на стройку или на завод в Мендене. Только прочь отсюда.

Завыла сирена. Я вскочил и помчался к заводоуправлению.

— Эй, Форман! — закричал вдогонку старшой.— Куда ты? Перерыв кончился.

— Увольняться! — крикнул я.

— Ты что, спятил?

— Да!

В конторе я вспомнил о стиральной машине, первом взносе и прочих рассрочках.

— Извините,— сказал я девушке, спросившей, что мне угодно.— Ошибся дверью.

— Бывает,— засмеялась она.— Туалет в следующем коридоре.

На обратном пути я встретил старшого. Он шел мне навстречу.

— Ты что, действительно?..

— Да ну, пошутил.

— А я уж подумал. У тебя был такой вид, что... Не дури. Не хотелось бы терять такого надежного рабочего... Не доволен заработком?

— А кто им доволен?

— В пятницу поговорю с директором. Чтоб прибавил тебе двадцать пфеннигов в час. Ты этого заслуживаешь.

Двадцать пфеннигов? Я прикинул: в день на марку шестьдесят больше; значит, в обед смогу брать бутылку пива, ходить в столовую и заказывать что-нибудь сверх общей жратвы. Но, честно говоря, здешняя работа и обстановка мне не нравились. Здесь все по-другому. Да, в шахте была и пыль, и опасность, и пот, и ругань. Но там товарищество ценилось дороже всего. После смены под горячим душем мы сбрасывали с себя шкуру шахтерского Адама и шли домой как бы заново рожденными. А здесь мы умываем после работы только лицо и руки и выходим из заводских ворот такими же, какими вошли в них утром. Понимаю, что это глупо, но бывали дни, когда меня тянуло назад, под землю, хоть я и знал, что там мы были всего-навсего табельные номера и пешки. Люди с положением могли когда и как угодно передвигать их или снимать с доски.

Вероника и десятник находились еще в больнице, оба в одном крыле, хотя и принадлежали к двум разным мирам. После дождливого июля, сменившего июньский потоп, наступил август. Вероника лежала этажом выше десятника, окна у обоих выходили на юг. Два мира. Два этажа. И тут свой порядок. Я больше не навещал ни ее, ни его. Десятник меня не звал, а идти самому не было ни малейшего желания.

Зато к Фрицу Ленерцу я ходил каждую пятницу после работы, прихватывая с собой бутылку пива и две пачки сигарет. Хоть он и говорил всякий раз, что не нужно, я видел, что в душе он был рад. Его не слишком баловали — жена Фрица была известной скупердяйкой. Пока я час-другой сидел у его кровати, он строил планы на будущее. Что ни пятница — новый план, один другого поразительнее.

Фриц был уверен, что найдет работу: устраиваются же люди без ноги, на костылях или протезах.

— Конечно,— отвечал я ему,— каждый человек нужен.

В последнее время он мечтал о должности швейцара или ночного сторожа при какой-нибудь конторе, где нечего красть.

— Только бы подобрали мне хороший протез,— повторял он.— Куплю себе мопед, теперь есть такие приспособления, что можно ездить с несгибающейся ногой. Даже разрешено полицией...

Что уж я мог ему на это ответить? Только поддакивал:

— Конечно, Фриц, конечно.

А что еще можно было сказать? Не объяснять же ему, что любое предприятие возьмет скорее итальянца, испанца, грека или турка, чем калеку-немца, который спутает им все экономические расчеты. Ведь инвалиду тоже пришлось бы платить полную ставку. Фриц хороший парень, зачем его расстраивать. Газеты, которые я приносил, он прочитывал от корки до корки.

— Рано или поздно что-нибудь найду,— говорил он.

Однажды на улице я встретил Рози, она возвращалась из Дортмунда. Ее сопровождал какой-то молодой человек, и они о чем-то спорили. Минут пять я незаметно следовал за ними, потом нагнал и окликнул Рози. Оба испуганно оглянулись. Молодой человек быстро распрощался и свернул в первый же переулок.

— Со школой покончено, дядя Юрген,— сообщила она.— Я так рада. Послушаешь моих сверстников, сколько они уже зарабатывают, так прямо кажешься себе человеком второго сорта. На следующей неделе экзамены, сдам и — конец.

— Куда же думаешь устраиваться?

— Уже договорилась в одном месте — страховая контора в Дортмунде.

— Сколько?

— Для начала двести восемьдесят.

— Не густо, но ничего.

— Мне хватит. По крайней мере на наряды. Все-таки маме облегчение. Если еще год или два покормит меня, тряпками я обеспечена. А потом,— добавила она многозначительно,— в будущем году хочу поехать в отпуск, вот тогда мне понадобится куча денег.

— На юг Франции? — спросил я.

— Как ты хорошо меня знаешь! Именно туда.

— К чему это, Рози? Зачем ты гонишься за прошлым? Оставь его в покое. Ничего это тебе не даст. Я-то думал, что ты умеешь трезво рассуждать.

— Именно поэтому я и хочу познакомиться с прошлым. Рассуди сам: можем ли мы жить без прошлого?

— Лучше бы его никогда не было,— вздохнул я.

— Ты имеешь в виду историю в лесу?

— И ее тоже.

Мы на мгновение посмотрели друг другу в глаза. Она поняла, что я имел в виду прошлое в целом. Мы замолчали.

— Мама знает его адрес,— произнесла Рози, когда мы подошли к окраине поселка.— Ангулем не так уж велик. Далековато, правда, но к тому времени я наберу денег. Адресный стол там, наверно, есть, а по-французски как-нибудь объяснюсь. Учила все-таки.

— Не сомневаюсь.

За последний месяц девушка явно повзрослела: ни свитера в обтяжку, ни краски на ресницах. Она превратилась в юную даму.

— Будем надеяться,— тихо сказал я,— что Франция тебя не разочарует.

Рози промолчала. А может, не расслышала? Как раз проезжал грузовик.

— Перестань, дядя Юрген,— сказала она наконец.— Я понимаю, что он уже не тот молодой красавец, которого знала мама, и что у него, наверно, куча детей и неряха жена, и натощак он пьет аперитив. Я же не связываю с ним никаких надежд.

— Ты меня неправильно поняла, Рози, я хотел сказать — пусть он продолжает жить в твоем воображении. Оставь все как есть, зачем разрушать то, что ты придумала?

Она молча взяла меня под руку, и мы зашагали по поселку.

Вот и выборы в ландтаг. Из-за них мы с Ингеборг крепко повздорили. Собравшись воскресным утром на голосование, мы, как всегда в таких случаях, часа два искали пригласительные открытки. Жена обвиняла меня в неаккуратности, а я — ее.

Наконец открытки нашлись в банке из-под кофе.

— Итак, поддержим старика Конрада,— сказала Ингеборг, открывая дверь.

— При чем тут Конрад? Не понимаю. Какое отношение он имеет к выборам в ландтаг? Сегодня голосуют не за него.

— Но за его партию,— возразила жена.

— Кто тебе рассказал эту чепуху?

— Ах, вот что? Если мой выбор не совпадает с твоим, значит, это чепуха?

— Ты просто ограниченная женщина! — вырвалось у меня.

— А ты идиот!

Я вздрогнул. Она еще никогда меня так не обзывала. Нет, это не Ингеборг, это все фабрика. Чем дольше она там работает, тем вульгарнее становятся ее выражения. Иногда мне кажется, что многие женщины идут работать, только чтобы вырваться из четырех стен. Иначе и не объяснишь, почему так поступают те, у которых мужья получают по восемьсот-девятьсот марок в месяц.

— Ты будешь голосовать так, как я! — заявил я беспрекословно.

— Подумаешь, какая важная персона нашлась! — рассмеялась Ингеборг.— Прошли времена, когда ты мог приказывать. Уплыли раз и навсегда.

— Неужели ты не в состоянии разумно рассуждать? — тихо спросил я.

— Вот именно я и рассуждаю разумно. С тех пор, как пошла работать. Только теперь у меня открылись глаза. Господи, что за жалкую жизнь я вела раньше!

Бывали минуты, когда я ненавидел ее и готов был избить. Тогда я спрашивал себя: люблю ли я еще Ингеборг? Нет, прежней любви уже нет и в помине. Раньше каждый день казался праздником. А теперь будни.

— Ты не будешь голосовать за этих католиков! — крикнул я.

— Перестань, наконец! — раздраженно ответила она.— У тебя нет собственного мнения, ты говоришь с чужих слов. Вбили вам в голову эту оппозицию, вот вы и дерете глотку... Я хочу, чтобы нам и дальше жилось хорошо, понимаешь? Чтобы я могла покупать, что мне вздумается, чтобы мне никто не указывал, что я могу и должна покупать. Хочу, чтобы все оставалось так, как сейчас, потому что нам хорошо живется. А до тебя это еще не дошло.

— Кто тебе только рассказывает такие сказки?

— Эти сказки рассказывают на фабрике умные люди, у которых побольше мозгов, чем у нас с тобой, и которые смотрят дальше завтрашнего дня. На фабрике все так говорят.

На этом разговор наш окончился.

Вечером в пивной я поделился с соседом у стойки своими неприятностями. Он, не раздумывая, посоветовал:

— Всыпь ей как следует. Бабы иначе не понимают. Если сейчас стерпишь, то через год вообще дома не пикнешь.

В следующие дни я много работал в саду. И вечерами, и по утрам, когда ходил в дневную смену, что, правда, случалось редко. Во мне вдруг пробудилась любовь к этому клочку земли. После сильных дождей сорняки росли быстро и буйно, но садовая работа доставляла мне удовольствие. Я мог подолгу стоять и любоваться шпорником, пурпурными мальвами, пестрым львиным зевом и роскошным ковром «хрустальной травки». Пьянея от аромата и красок, я погружался в размышления.

О нашей семейной жизни, о работе, о том, что было и что будет, о заработке, о прошлом десятника, о Веронике и ее французе. Потом мысли перескакивали к Рози, и я с облегчением думал о том, что жизнь у нее более или менее налаживается. Но всякий раз я возвращался к отправной точке: моей собственной семейной жизни.

Да, теперь мы работали оба, и домашние дела стали для нас обузой, потому что мы брались за них уже усталыми. Не оставалось времени даже прилечь на часок и подремать. Мы делали все машинально,

не сговариваясь, словно следуя некоему плану, и хотя он как-то осуществлялся, мы не были счастливы. Вот уже полгода как мы оба работаем, но разве мы стали богаче? У нас появилось больше необходимых вещей, мы лучше питаемся и выпиваем ежедневно две-три бутылки пива. Да, можем себе это позволить. В доме теперь больше комфорта, но и больше долгов по рассрочкам. Подводить баланс избегаем — страшно. Делаем вид, что все в порядке. Надеемся, что как-нибудь обойдется, даже если в один прекрасный день нагрянет судебный исполнитель — а он непременно нагрянет! Что ж, теперь это не позор. Среди моих новых коллег есть такие, которые даже похваляются тем, что судебный исполнитель бегает к ним с утра до вечера. Правда, долги от этого не уменьшаются. Мы больше не едим маргарина, на стол подается только сливочное масло, мясо почти каждый день. Я здорово поправился, даже начал расти живот. Ингеборг потешается надо мной. Конечно, мы многое выиграли и, если не считать долгов, живем хорошо. Но зато лишились свободного времени. Нам уже не хватает его друг для друга, для товарища, для соседа. Некогда жить. Барабанный ритм с утра до ночи подгоняет нас.

Нет, я солгал бы, сказав, что счастлив или доволен тем, как все сложилось за последние полгода. Если меня спросят, чего же я хочу, я не смогу ответить. Ясного представления о будущем у меня нет. Я не хочу расстаться с тем, что нами завоевано, однако знаю, что это скажется роковым образом на нашем будущем. Вернуться к прежней жизни? Когда считал каждую марку, прикидывал — выпить еще пива, выкурить еще сигарету или нет? Этого я тоже не хочу. Значит, пусть все остается, как сейчас? Не знаю.

Может, стоит разок стукнуть кулаком по столу или влепить Ингеборг затрещину, чтобы образумилась? Но что это даст? Удерет к матери в Дортмунд и распишет меня таким извергом, что хуже нет. Работу она найдет и в Дортмунде. А мне что же — начинать все заново, после восьми-то лет семейной жизни? С ума сойти. Лучше уж тянуть лямку дальше. Рано или поздно всему приходит конец. Недавно, во время очередного воскресного наезда тещи, я слышал, как она втолковывала Ингеборг:

— Ты не обязана давать деньги на хозяйство, для этого есть муж. Твой заработок принадлежит тебе одной, таков закон, и то, что ты приобретаешь на свои деньги, принадлежит только тебе, его это не касается.

А я еще считал тещу разумной женщиной! Уж не перепадает ли ей из заработка моей жены? Кто знает.

На территории нашей бывшей шахты строят какой-то крупный завод. В последнюю субботу июля я поехал посмотреть, что там делается. Говорили, что в эту субботу взорвут обе стометровые трубы и что для этого прибыла специальная полицейская часть из Дюссельдорфа.

Когда я приехал, труб уже не было. Два огромных пальца, словно поднятых в присяге, больше не вздымались к небу. Опоздал. Не было уже и нашей раздевалки с душевой. Стальной каркас шахтного подъемника еще стоял, но четыре больших колеса уже демонтировали. На месте бывшего склада, где хранился крепежный лес, выросли здания цехов. Строительные работы не прекращались и в субботу. Да, должно быть, здесь неплохо зарабатывают. Господи, как тут все изменилось!

Неожиданно я увидел ее. Держа за руки двух мило одетых девочек, она смотрела, как работает экскаватор. Я незаметно подошел к ней сзади.

— До чего же здесь все переменилось, просто не верится,— сказал я.

— Еще не так переменится,— ответила она, не оборачиваясь.

Значит, она давно приметила меня.

Девочки робко оглянулись на меня и, встретив мой взгляд, тут же уткнулись лицом в юбку матери.

— Он уже вернулся домой? — спросил я, зная, что он еще в больнице.

— Нет, пока лежит.

— И долго ему еще лежать?

— Спросите у него сами. Он стал разговорчивым после тех похорон.

Я хотел дать девочкам по монетке на мороженое, но женщина сказала, что они уже ели мороженое.

— Он сказал мне,— начал я,— что вы знали... ну... вы меня понимаете...

— Ну и что? Что вы, собственно, от меня хотите? — Обернувшись, она посмотрела на меня в упор. Девочки не сводили с нее глаз.— Пойдемте, дети, пора домой,— сказала она.

Я последовал за ними, хотя видел, что ей этого не хочется.

Дорогой я спросил, за что посадили ее мужа.

Я едва поспевал за ней. Она не сбавляла шага до самой площади у ворот бывшей шахты, где тогда перевернули полицейскую машину. Стройные ноги. Опрятно и просто одета. Девочки то и дело порывались отбежать, она ловила их за руку и строго выговаривала. По площади мы пошли рядом.

В газетах писали, что шахту затопят. Вместе с механизмами и прочим оборудованием. Миллионные ценности останутся под землей, ибо расходы по демонтированию и подъему их на поверхность превысили бы выручку от продажи материалов. Локомотивы, электрооборудование, рельсы, вагонетки и многое другое так и останутся внизу.

Господи, если бы нам разрешили поднять все это самим, какие были бы деньги! Шахтовладельцы, конечно, сразу в сторону — зачем им все вытаскивать, да еще за свой счет, когда правительство платит компенсацию. Оно даже оплатило закладку нового шахтного ствола. Денежки налогоплательщиков приказали долго жить. Сначала правительство заплатило за сооружение нового шахтного ствола, теперь оно платит за его затопление. Ну и логика! Шахта умирает, наша шахта.

На углу мы остановились у витрины фотоателье. В стекле отражались наши лица.

— Может, зайдете на чашку кофе? — предложила она.

— Спасибо, с удовольствием.

В кухне было не прибрано, но в конце концов еще утро, и к тому же суббота. Дети остались поиграть на улице перед окнами. Она поставила на плиту воду и намолола кофе.

— Он тоже избивал,— сказала она.

Я понял, что она говорила о своем муже.

— Никто об этом не знал. После сорок пятого он стал ответственным работником. Понимаете? В Дессау. Жилось нам хорошо. Летом ездили на черноморское побережье, зимой в Татры. Была собственная машина. Понимаете?

— Понимаю,— сказал я, отпивая кофе.

— Ничего-то вы не понимаете. В Татрах его опознал один. Когда мы вернулись домой, у дверей нас встретила народная полиция.

— Да, завистники всюду есть,— сказал я.

— Тут дело не в зависти.

— Но ведь ваш муж был большой шишкой!

— Какое это имеет значение? Там можно попасть за решетку и с крупного поста, там с ними не нянчатся. Не то, что здесь, на Западе, где им даже пенсию дают.

— Если человека уличат в преступлении, никакой пенсии он не получит,— сказал я раздраженно.

— Да ну? Вы что же, не читаете газет? И не слушаете передачи «Дейчландзендера»*?

— Этого еще не хватало! Слушать лживую пропаганду!

— Бросьте, никакая она не лживая. Так, иногда чуть преувеличивают, и все,— возразила она, подливая мне кофе.

— Вам тоже угрожала опасность?

— Мне? Нет. У меня были средства. Я тут же подала на развод, как только узнала, за что его арестовали.

— Так чего же вы перебрались сюда?

— Не знаю...

Она подсела ко мне и, положив руки на стол, устремила взгляд в окно.

— Мне еще повезло. Я сбежала незадолго до того, как они построили стену. Вначале здесь были кое-какие трудности: фамилия мужа ведь упоминалась и в западногерманских газетах, тут он тоже числился в списке разыскиваемых. Ну, а кроме того, я коммунистка...

— Бывшая,— заметил я.

Она с удивлением посмотрела на меня.

— Нет, не бывшая.

— Ну, это уже чепуха! — воскликнул я.

— Почему? Разве это преступление? Разве я не могу думать так, как считаю правильным? У вас тут у всех на глазах шоры...

— Еще бы,— усмехнулся я,— золотой Запад! Но вас, кажется, тоже не миновало его влияние...

Она отбросила со лба волосы и снова уставилась в окно. Она вдруг сразу как-то постарела, от носа к уголкам рта пролегли резкие морщины.

— Если б вы здесь поменьше болтали, то давно бы услышали, как крошится золото Запада.— Она рассмеялась.— Что вы знаете о тамошней жизни? Ровным счетом ничего. Вы боитесь узнать правду. В газетах она далеко не вся. Вы продаете значки, вопите: «Откройте границу!»—и выбрасываете на свалку вагонами огурцы. Вы орете: «Это позорная стена!» — и перепахиваете поля салата. Вы утверждаете, что «зона — сплошной концлагерь», и хотите, чтобы все присоединились к вашему мнению. Вы ораторствуете против стены, а потом едете на ярмарку в Лейпциг и продаете колючую проволоку. Стена приводит вас в бешенство, вы произносите сентиментальные речи — и печатаете книги людей, защищающих эту стену. Даже если к вам подступают с ножом к горлу, вы все болтаете, болтаете и болтаете.

— Рабочий не лезет в политику и занимается своим делом,— сказал я.— Для него главное — прокормить себя и семью. Работать надо всюду — и там и здесь.

Я был немного сердит на женщину: хотел узнать о ее жизни, а она устроила мне политдоклад.

— Мне просто смешно вас слушать,— продолжала она.— Когда я еще находилась в лагере для беженцев в Массене, у меня было одно желание: побыстрее выбраться оттуда! И я выбралась — скорее, чем ожидала. Меня вытащил Поленц, потому что знал, что мой муж сидит в Бауцене по делу, к которому и он причастен. Как и где он услышал обо мне, не знаю, он никогда об этом не рассказывал. Однажды утром

* Радиостанция ГДР.

он появился у барака и спросил какого-то мальчика, где живет фрау Полицик. Войдя в комнату, он скомандовал: «Быстро собирайте свои монатки и поедем ко мне. Я вдовец, будете вести у меня хозяйство». Ничего себе манера знакомиться, подумала я. Ну, а за то, что он уже через месяц начал меня бить, я его не виню — это сидело в нем, так его тогда воспитали. Правда, муж мой отучился драться. Он всегда носил перчатки, даже летом.

— Может быть, теперь его самого избивают в Бауцене,— вставил я и тут же пожалел о сказанном, увидев, как вздрогнула Ирена.

— Когда я вышла из лагеря,— продолжала вспоминать она,— мне вскоре захотелось обратно. Не потому, что Поленц был жесток со мной, нет, он бывал добрым и заботился о детях. Дело в том, что не могу я здесь ужиться. Многие здесь рассуждают о тамошней жизни так, будто живут не в Германии, а на каком-нибудь тропическом острове. Видеть это больно. Вы знаете, в лавках я все время встречаю людей, которые жалеют меня — не из-за Поленца, а потому, что я приехала оттуда. Еще кофе?

Я выпил залпом четвертую чашку и собрался уходить — ее слова начинали действовать на нервы.

— Вы только посмотрите на этих женщин в поселке,— продолжала Ирена.— Они часами стоят на улице и болтают. Я чувствую на себе их взгляды, вижу, как они шушукаются, когда я прохожу мимо,— не о том, что я живу у Поленца,— и тут всякое можно предположить, а о том, что я прилично одета, что смеюсь. По их мнению, это мне не дозволено, я всегда должна ходить в траурном платье и со скорбью на лице.

— Но это же чепуха! В каком поселке люди не заглядывают друг другу в кастрюли?

— Там на это нет времени...

— Так и сидели бы там, черт подери!— закричал я, вскочив со стула.— Зачем приехали, если здесь вам все не по нраву?

Я ушел, хлопнув дверью.

Управляющий уставился на меня сквозь удивительно толстые стекла очков. В таких очках люди выглядят зловеще. Голова его двигалась взад и вперед, как у черепахи во время еды. Вот она спряталась между двух стопок скоросшивателей на письменном столе. Стопки были придавлены образцами деталей и причудливыми отливками.

Когда я вошел, девушки-машинистки окинули меня быстрым взглядом и вернулись к прерванным занятиям. Нерешительно подойдя к столу, я осмотрелся. Черт возьми, неужто на этом предприятии нельзя поговорить с человеком наедине? Всегда посторонние кругом.

— Так вы хотите в отпуск? — спросил меня управляющий с таким удивлением, словно я попросил у него тысячу марок аванса.— А вас внесли в список отпускников?

— Нет, конечно. Я здесь всего три месяца.

— Вот как! — воскликнул он.— Тогда вам отпуск не положен.

— Но у меня есть право на отпуск. Я перешел сюда с шахты, а там я в этом году еще не брал отпуска.

Машинистки поглядывали на меня и хихикали. Я начал злиться.

— Говорите, перешли с шахты? Хорошо. Но вы должны были своевременно подать заявление об отпуске.— Управляющий уткнулся в бумаги, давая понять, что аудиенция окончена.

— На шахте я просил отпуск с пятнадцатого августа.

— Дорогой мой, нас здесь шахта не интересует.— Он поднялся.

— Но меня интересует мой отпуск! — Я невольно повысил голос.

Теперь уже все повернулись в мою сторону. Я готов был провалиться сквозь землю, потому что стоял у всех на виду, и это приводило меня в бешенство. Блеснув толстыми стеклами очков, управляющий опустил голову и полистал бумаги.

— Что вам еще угодно? — спросил он.

От ярости у меня тряслись руки. Просто свинство, как здесь обращаются с людьми. А я-то думал, что на этом предприятии почувствую себя наконец человеком, здесь ведь не исчезаешь на восемь часов под землю! Видно, ошибся. На шахте мы были контрольными номерками, а тут номерами по списку в алфавитном порядке. Вот и вся разница.

Ни слова не говоря, я вышел. Вдогонку мне раздался громкий смех. Перепрыгивая через три ступеньки, я поднялся этажом выше и вбежал в приемную. За бесшумной машинкой восседала черноволосая секретарша, прической напоминавшая Фару Диба.

— Будьте добры, доложите обо мне господину директору! — выпалил я.

— По какому вопросу?

— Насчет отпуска.

— Вас включили в список отпускников?

— Включили, но не здесь.

— Сожалею, но в таком случае господин директор вас не примет.

— Что это значит? — с раздражением спросил я.

— Успокойтесь, пожалуйста. Отпуск предоставляется только по списку. Кто не подал заявления, сам виноват. Господин директор не делает исключений, никому...

— Но я...

— У вас умер кто-нибудь из родных?

— Нет.

— Свадьба? Крестины?

— Нет.

— Тогда придется подождать.

— До каких пор?

— Пока не пройдет отпускной сезон, не раньше середины октября. Насколько мне известно, список составлен до конца октября.

— На что мне отпуск в ноябре?

Не отвечая, она принялась печатать дальше, словно меня и не было.

— Что за безобразие, черт возьми! — заорал я и ударил кулаком по круглому столику, предназначавшемуся для посетителей.— Есть тут какая-нибудь справедливость? Или надо сперва нацепить галстук, чтобы с тобой прилично обращались? Я требую лишь то, что мне положено, и больше ничего, ровным счетом ничего.

— Не орите! — вскричала секретарша.

Обитая клеенкой дверь отворилась, и в приемную вышел директор. Удивленно подняв брови, он смотрел то на меня, то на девушку. Секретарша открыла было рот, но он остановил ее и обратился ко мне.

— В чем дело?

Заикаясь и дрожа от ярости, я объяснил ему.

— Весьма сожалею,— сказал он,— тут я ничем не могу помочь. Расписание отпусков всегда составляется в феврале. Кто не записался своевременно, должен ждать. Этим списком предприятие руководствуется в летние месяцы. В конце концов, не могут же все идти в отпуск летом.

— Но на шахте я подал заявление об отпуске с пятнадцатого августа, и мое право на него, как объяснили нам, когда закрывали шахту, сохраняется и на другом предприятии.

— Право — да, но не срок.

— Ну и порядочки! — воскликнул я.

Он взглянул на меня с холодной улыбкой и исчез в своем кабинете.

Я медленно пошел вниз по лестнице, размышляя, что бы еще предпринять. Внизу мне повстречался наш старшой.

— Эй, ты что здесь делаешь в рабочее время? — удивился он.

— Прогуливаюсь.

— А ну, мигом на место, сукин сын! — заорал он.

До чего ж хочется съездить ему по багровой морде. Да как это он, сам рабочий, смеет орать на другого рабочего!

— Поцелуй меня в зад! — огрызнулся я и прошел мимо него в помещение производственного совета. Там я в четвертый раз рассказал о своем деле.

— Да, не повезло тебе,— ответил дежурный член совета.— Менять работу в середине года невыгодно, с отпуском получается морока. Н-да, ничего не поделаешь, придется тебе подождать. Как раз по вопросу отпусков у нас заключено специальное соглашение с администрацией. Пока оно в силе, мы обязаны его придерживаться.

— Ждать! Ждать! Будьте вы прокляты! — взорвался я.— Какое мне дело до ваших специальных соглашений. Мне положен отпуск — дайте его! Поменьше пьянствуйте с начальством, тогда не будет специальных соглашений. В конце концов вы должны отстаивать наши интересы. Вы для нас, а не наоборот.

— Но не для твоего дурацкого отпуска! — Член совета вскочил на ноги.— А ну, марш отсюда! Зайдешь, когда научишься себя вести. Здесь тебе не шахта!

На мгновение я даже лишился дара речи.

— Слушай, ты, холуй,— тихо сказал я,— на шахте мы такого просто удавили бы.

Через час старшой вернулся на склад и встал рядом со мной, наблюдая за работой крана. Я был занят смазкой. Он хлопнул меня по плечу, я поднял глаза. Он был очень бледен.

— Послушай,— произнес он.— Должен тебе сказать, что так со мной еще никто не разговаривал. Если еще раз позволишь себе такое, я пожалуюсь, и ты вылетишь с работы...

— Отойди,— спокойно сказал я,— мешаешь.

Пожилой рабочий, с которым я поделился в обеденный перерыв своей незадачей в пятый раз, сказал, что тут ничего не поделаешь, я бьюсь головой о стену. Надо спросить в профсоюзе, посоветовал он, может, там помогут.

— В профсоюзе? — переспросил я.— Спасибо, дружище, это мысль.

После работы я отыскал правление профсоюза. Там уже собирались уходить, надевали шляпы, запирали ящики письменных столов. Председатель все же принял меня. Правда, сделал он это неохотно и все время поглядывал на часы, пока я — в шестой раз — излагал свое дело. Моя речь от раза к разу становилась все длиннее, поначалу я укладывался в несколько секунд, а теперь уже понадобилось четыре минуты.

— Жена не больна? — спросил он.

— Жена? Нет.— Его вопрос удивил меня.

— Может, дети больны?

— У меня их нет.

— Как нет?

— Да так.— Я начал злиться.

— Может, у самого что-нибудь не в порядке?— продолжал он выспрашивать.

— Совершенно здоров,— ответил я.

— Н-да, хотел бы тебе помочь, дорогой мой, но не могу. Мы не вправе вмешиваться во внутренние дела предприятия, если только ты не подашь жалобу в суд, который занимается разбором трудовых конфликтов. Сам понимаешь, нельзя же требовать: вынь да положь тебе отпуск. Ничего не получится. В конце концов должен быть порядок, иначе до чего же мы докатимся. Но ты все-таки оставь свой членский билет. Посмотрю, что можно сделать. Я знаю председателя вашего производственного совета, поговорю с ним. Но обещать ничего не обещаю.

Я протянул ему билет. Он хотел было положить его в стол, но, всмотревшись, вдруг удивился.

— Да ведь ты состоишь не у нас, а в профсоюзе горняков! — воскликнул он, перелистав билет.

— Ну и что? — Я тоже удивился.— Разве это преступление? Три месяца назад я сменил работу. Нашу шахту задраили, ты же знаешь.

— Знаю, только надо было тебе оформиться к нам.

— Так сделай это сейчас.

— Легко сказать. Ну, как я могу теперь за тебя хлопотать?

— А что особенного? — спросил я.— По-моему, любой профсоюз есть профсоюз.

— Ты всерьез или прикидываешься? Это же два разных профсоюза.

— Почему? — Я в самом деле не понимал его.—По-моему, что один профсоюз, что другой, какая разница.

— Тебе давно надо было переоформиться. Ты продолжал платить взносы в профсоюз горняков, хотя работал в металлургии и должен был платить взносы в профсоюз металлистов...

— Подумаешь. Ведь все идет в один котел.

Я начал свирепеть. Что за чушь он городит?

— В том-то и дело, что не в один,— ответил он.

— Но почему же? И то профсоюз, и это профсоюз.

— Господи, ты что, в самом деле, или дурака валяешь? Ладно, проваливай, у меня еще сегодня заседание. Посмотрю, что можно сделать. Но ничего не обещаю.

Я навестил Фрица Ленерца.

— Хорошо заживает, Юрген, я доволен. Врач тоже... Слушай, а у вас на предприятии не требуется вахтер с протезом?

— И не думай, в этом поганом заведении даже отпуска не получишь.

Я рассказал — в седьмой раз — об истории с отпуском.

— Фриц, а ты знал, что между профсоюзами есть разница?

— Ну, ясно, когда речь идет о деньгах.

— Но ведь это неправильно! — воскликнул я.

— Почем я знаю, что правильно, а что нет.

— А я-то полагал, что мы все входим в Объединение западногерманских профсоюзов.

— Мы? Нет. Мы относимся к отраслевым профсоюзам,— рассмеялся он.

— Но это одно и то же.

— Нет, не одно и то же.

— Не понимаю.— Теперь я сердился уже на Фрица.

— Я и сам не понимаю, но тебе, Юрген, не стоит ломать над этим голову.

— Но я хочу разобраться. Как же тогда с меня брали взносы, раз моего предприятия уже нет.

В коридоре я спросил у сестры, как себя чувствует господин Поленц.

— Поленц? Его вчера выписали.

— Уже? — поразился я.

Сестра удивленно посмотрела на меня.

А, может, Веронику выписали?

— Что вам еще угодно? — спросила, улыбаясь, сестра.

Черт, почему сегодня каждый спрашивает, что мне еще угодно?

От долгов по рассрочкам никуда не денешься. Я обязан помнить о них и платить в срок. Иногда эти рассрочки мне даже снятся. Я нанизываю их подряд, большие и малые, на перлоновый шнурок в виде гирлянды и связываю концы шнурка. Но как только хочу надеть этот венок на шею, начинаю задыхаться и со стоном просыпаюсь. Ингеборг лежит рядом и спокойно спит. Проснувшись, я битый час сижу в постели и спрашиваю себя: почему она может так спокойно спать? И почему я не могу?

У меня появилось такое отвращение к работе, какого я не знал еще никогда, даже на шахте. Надо отдохнуть, устал вконец. При виде заводских ворот меня тошнит. Когда я прохожу через них, мне кажется, я слышу запах прогорклого масла. Этого запаха я не выношу. На днях я сказал Ингеборг, что чувствую себя неважно, хоть и не болен. Она посоветовала взять бюллетень, но тут же передумала: «Лучше не стоит. Ты ведь теперь не в шахтерском страховом обществе, а больничная касса платит меньше. Нет, сейчас нельзя брать бюллетень. Потерпи. В будущем году мы рассчитаемся со всем и отдохнем».

В нашей семье где-то завелся червяк, подумал я. В этом году мы не можем съездить даже в Зауэрланд, который почти рядом. Прежде я работал один, но мы ездили в Шварцвальд, в Альгёй, в Куксхафен. А теперь все это недостижимо.

К концу сентября Юргену Форману стало ясно, что дальше его жизнь так продолжаться не может — слишком она хаотична и бесцельна: по ночам ему снились не только неоплаченные счета, он видел огромные пространства без растительности, без людей, погруженные в безмолвие. Пустыня и посреди нее — он.

Как и в былое время, он ходил по утрам на работу, а вечером возвращался домой; на заводе разговаривал с товарищами, вечерами — с женой, знакомыми и соседями — все, как в прежние годы, но вдруг все изменилось; Форману казалось, что изменился даже цвет солнца. Порой он пытался растолковать это жене. Но она не понимала его, только пожимала плечами и в лучшем случае советовала: «Работай и не морочь себе голову».

Значит, по ее мнению, он «морочит себе голову». Ладно. Иногда он пытался объяснить ей, что дело вовсе не в вещах, которые они уже купили, еще не купили или хотят купить... не в вещах в обычном смысле слова. Но когда она возвращалась вечером с фабрики, ей было не до таких тонкостей.

Форман однажды рассказал об этом старшому. Тот послушал, покивал головой.

— Может, тебя заела тоска? — Они сидели у будки за литейным цехом и пили газировку — в виде исключения.— Брось ты эти дурацкие мысли,— сказал старшой,— они ни к чему не приведут. У каждого бывает такой заскок, потом проходит; мне это знакомо. Да и женат ты вроде не так давно, а?

— Да не так давно.

Однажды Форман заговорил об этом с Вероникой. Но и она, которой он годами поверял все, не поняла его; Вероника пыталась объяснить его недовольство все возрастающей отчужденностью Ингеборг.

— Вам нужны дети, Юрген, дети,— решила она,— тогда все наладится.

Форман смиренно вздохнул.

— Прежде легко было завести ребенка,— сказал он,— а теперь? У нее в голове только одно: купить или не купить, вот у соседей есть, а у нас нет. Ну, как я могу спать с такой женой, которая больше ни о чем не думает?

— Тебе надо с ней не только спать,— прикрикнула Вероника,— но и детей вырастить. Может, ей лучше бросить работу? Сейчас это, конечно, трудно сделать, она уже вошла во вкус — независимая женщина, что ни говори. Ладно, оставь ее в покое, пусть перебесится.

— Поговори как-нибудь с ней, пожалуйста.

— Нет, Юрген, я не могу это сделать за тебя, ты — мужчина. Я только все испорчу, она просто высмеет меня. Ведь она ревнует тебя ко мне, хотя я ей почти в матери гожусь.

— До чего же все это тяжело,— вздохнул Форман.— Особенно разговоры.

Ушел он подавленный.

Вечера становились длиннее. Отпуск Форману все же дали. Но он отказался, пошел к заведующему кадрами и подал заявление об уходе с 15 октября.

— Что за причина?— удивленно спросил тот.— Не нравится у нас? Не довольны заработком?

— Увольняюсь, и точка,— ответил Форман.— Запишите с пятнадцатого.

Он по очереди оглядел девушек — сотрудниц отдела, но увидел вместо лиц маски.

— Чудак,— проговорил заведующий, когда Юрген вышел.

Девушки хихикнули.

— Да ты спятил,— буркнул старшой, узнав, что Юрген уволился.— За три месяца до рождества? Думаешь, на новом месте тебе дадут рождественское пособие? Держи карман шире.— Посопев, он спросил:— Куда же устраиваешься?

— Пока не знаю,— ответил Юрген.

— Что-о? Увольняешься, не подыскав работы? Ты что, сдурел, браток? Отказываться в наше время от верного дела! Да у тебя, наверно, винтики разболтались!

— Иди ты!— огрызнулся Юрген.— В конце концов мои винтики. Пусть лучше разболтаются, чем проржавеют.

Десятник Виктор Поленц вернулся домой «под мухой». Сильно пьян он не был, но пивом от него разило. Тяжело плюхнувшись на стул, он начал брюзжать по поводу обеда. Потом выругал детей, которые расшумелись в кухне, и, наконец, затеял с Ирено спор из-за нитки, прилипшей к краю тарелки. Ирена сначала молча наблюдала за ним, потом стала огрызаться, парируя все его вздорные обвинения. Поленц был поражен — прежде она терпеливо сносила все: и его колкости, и нападки, и дурное настроение.

— Можешь возвращаться в лагерь, ты мне больше не нужна,— тихо заметил он, прервав словоизвержение Ирены.— Я буду жить один.

С бельем в руках она обернулась и замерла, раскрыв рот. Девочки вскочили с пола и спрятались за мать, как ягнята в предчувствии опасности.

— Так когда же мне убираться?— спросила она.

— Когда?— машинально повторил Поленц, углубившись в газету.— По мне, хоть сейчас. А хочешь, так завтра.

Лучше завтра, подумал он. Утром она сварит мне еще разок кофе.

— Хорошо,— сказала она.

— Я же не изверг, чтобы выгонять тебя на ночь глядя. Да и соседям будет меньше пищи для болтовни.

— Значит, завтра,— повторила она.

— Да!— закричал он.— Завтра!

— А почему так, ни с того ни с сего? — спросила она, обнимая за шею плачущих девочек.

— Почему, почему... Неужто на все нужна причина? Ты мне опротивела, любой человек когда-нибудь надоедает. Вот так!— Он провел ребром ладони по горлу.

— Почему это я тебе вдруг надоела? Разве я не терпела все твои выходки? Ты меня ругал, бил, издевался, ты...

Он расхохотался. Девочки забились за кухонный шкаф и хныкали:

— Мама, мама, мама...

— Она «терпела»!— вскричал Поленц.— Мой хлеб, мои деньги, мою квартиру, мою постель и мою доброту — вот что ты терпела, больше ничего...

— И твои кулаки!

— Заткнись, чертова потаскуха, а то заработаешь на прощанье! — заорал он, зверея.

Сосед постучал в стену.

— Катитесь вы!..— Поленц трахнул кулаком по стене. Скомкав газету, он стал топтать ее ногами.

Ирена стояла, оцепенев. Она порывалась что-то сказать, но не могла выговорить ни слова. Потом кинулась в спальню, сняла со шкафа два чемодана и прибежала назад в кухню. Поставив чемоданы на пол у плиты, она принялась кидать в них все подряд — платья, простыни, детское белье, не успевшее высохнуть после стирки. Девочки вышли из своего убежища и прижались к матери.

Заложив руки за спину, Поленц вышагивал по кухне. Время от времени он искоса посматривал на чемоданы, словно желая проверить, не прихвачено ли что-нибудь из его добра. Потом остановился, прислушался к шуму на улице и подошел к окну.

— Дождь,— глухо сказал он.

С улицы донесся детский плач. Поленц принялся ругать родителей, бросивших ребенка без присмотра.

— Дождь пошел сильнее,— сказал он.

Внезапно обернувшись и посмотрев на чемоданы, он сорвал с сушилки ремень и замахнулся на Ирену. Парализованная страхом, она замерла.

И в ту секунду, когда ремень уже взвился над Иреной, она показала Поленцу язык. Она высовывала его все больше и больше, пока не закашлялась.

У Поленца расширились глаза. Отступив на несколько шагов, он выронил ремень и разинул рот.

— Не надо!— закричал он.— Нет! Ради бога, не надо!

Поленц рванул дверь. Ирена, стоя между чемоданами, продолжала показывать язык. Поленц выскочил на улицу и бросился бежать.

— Не-ет! Не надо! Не на-а-а-а-до!— ревел он что есть мочи.

Вскоре его крик затих вдали.

В доме семнадцать по Хойграбен наступила тишина.

Вернувшись часов в десять вечера, с всклокоченными волосами, без пиджака, Поленц нашел входную дверь распахнутой. Комнаты были пусты.

Бормоча себе под нос, он огляделся. Потом бросился ничком на кушетку и заплакал.

Юрген Форман полагал, что на строительстве, кроме работы и денег, он найдет и удовлетворение. Новое место и заработок он получил на большом стройучастке между Унной и Дортмундом, где расширяли Рурскую автостраду. Но и здесь дни тянулись такие же серые и вялые, как прежде. Правда, порой однообразие работы нарушалось. Например, в дождь, когда все сбегались в бараки и час-другой болтали о чем угодно или спорили о политике. Если погода не улучшалась, всех развозили по домам на автобусах фирмы.

Юрген увидел новые лица, услышал новые голоса, узнал новые взгляды на работу и деньги, хотя, в сущности говоря, и лица и взгляды были те же. И все-таки он чувствовал себя лучше, чем на металлургическом заводе, работа здесь напоминала шахтерскую. Но внутреннего облегчения не наступало. Утром Форман нехотя садился в автобус и ехал на стройучасток, вечером — не столько усталый, сколько подавленный — возвращался в свои четыре стены. Он с удовольствием недельки три-четыре вообще ничего бы не делал, а только гулял бы по окрестностям, как человек, которому нечего терять.

Воркотня жены пробуждала его вечерами от грез. Ингеборг изо дня в день неустанно напоминала ему, за что придется платить в ближайшем и более отдаленном будущем.

Она уже три недели подряд обедала в фабричной столовой. Он прихватывал на работу бутерброды и термос. Каждый день Ингеборг ругала жратву в столовке, хотя другие женщины были очень довольны; Юрген же ругался потому, что не получал в обед горячего. Еще она ругалась потому, что в квартире холод: Юрген теперь возвращался позднее жены, и топить было некому. Он орал на нее, говоря, что она сама стремилась к такой жизни.

В редкие часы покоя Юрген честно признавался себе, что прорехи в семейном бюджете, возникшие из-за его беспечности и неуравновешенности, покрываются благодаря заработку жены. «Ну и что такого,— думал он,— прежде все лежало на мне, считали каждый пфенниг, который я приносил домой, а теперь, когда в семье зарабатывают двое, дырки уж как-нибудь будут заткнуты. А кто их заткнет — не все ли равно».

Быстро это сообразив, Ингеборг не упускала случая подчеркнуть свою роль. Ее монологи, подкрепленные цифрами, Юрген выслушивал за редкими совместными завтраками либо за еще более редкими ужинами. Каждое утро она намазывала свою роль ему на хлеб, доказывая, что семена достатка могут взойти только благодаря ее заработку. Она не заговаривала ни о рассрочках, ни о долгах, ни о гирлянде, которую Юрген сплетал во сне. Она говорила только о заработанных ею деньгах да о новых приобретениях, рисуя розовые картины будущего.

Форман работал на стройке не слишком старательно, но и не спустя рукава. Как и все, он бросал в перерыв инструмент и, как все, возвращался в барак за десять минут до конца рабочего дня. Как все, он выпивал ежедневно свою бутылку пива и вместе с другими ругал то, что было ему более или менее не по душе.

На стройке он встретился с Бруно Голлером, своим бывшим товарищем по шахте. Голлеру стукнуло уже пятьдесят шесть. Ему поручили

следить за исправностью мелких механизмов, топить и прибирать в бараках, доставлять пиво, сигареты, хлеб и сосиски; остальное время старик сидел в будке прораба и, посасывая трубку, читал газету или играл у всех на нервах. ,

— Сейчас я живу прилично,— рассказывал он Форману.— Так хорошо мне на шахте никогда не было. А я еще не хотел с нее уходить, помнишь? Конечно, когда проработаешь тридцать с лишним лет на одном месте, то побаиваешься перемен. Но все сошло благополучно. Особенно если учесть мой возраст. Кто бы еще меня взял, предприятиям нужна только молодежь. Да и силикоз у меня. Просто чудо, что нашел здесь местечко.

— А какая у тебя пенсия? — поинтересовался Юрген.

— Пока, до шестидесяти пяти лет, триста пятьдесят марок. Маловато. Не проживешь.

— Да, не густо. Но ведь тебе не обзаводиться хозяйством, как молодым. Можно все проедать.

— Как бы не так. Старуха целый год пилит меня — захотелось ей стиральную машину. Настоялась, говорит, над корытом, поясницу ломит.

— Понятно,— кивнул Юрген.

— Да, но это стоит две тысячи, а я не Крез.

— Покупай в рассрочку.

— Нет уж, хватит. Один раз связался, потом ночей не спал. Больше я на это не клюну.

Форман обслуживал электрическую бетономешалку. Работала она тихо, только мотор подвывал, как ветер в камине. Во всяком случае, думать не мешала. Всем, кто интересовался, Форман отвечал, что работенка ничего, только от цемента щекочет в носу и в глотке. Платили здесь больше, чем на заводе, а на заводе он получал в последнее время больше, чем на шахте. У него создалось впечатление, что чем легче работа, тем выше заработок.

Вероника и Рози были рады, что он так быстро нашел новую работу. Рози даже высказала предположение, что Юрген, пожалуй, теперь надолго обоснуется на стройке.

— И не мечтай,— ответил он.— Я ищу такую работу, где с утра до вечера можно разгуливать в белом халате.

Неделю назад Виктор Поленц явился в лагерь Массен и направился к дому, где когда-то жила Ирена. Кого бы он ни спрашивал об Ирене Полицик, все в ответ только пожимали плечами. Поленц бродил по лагерю, заглядывал в окна. Ирены не было.

Во двор въехал зеленый «фольксваген» и, развернувшись, остановился возле школы. Молодой парень помог вылезти одноногому инвалиду. Опираясь на костыли, тот неуверенно двинулся к зданию. Поленц вспомнил: после демонстрации у шахты он бежал вместе с ним и Форманом через железнодорожное полотно к угольным складам.

Он окликнул инвалида. Фриц Ленерц повернул голову и тотчас узнал человека, который тогда первым поднял панику и побежал. Сморщившись, как от зубной боли, Ленерц сказал своему спутнику:

— Недурственное начало. Первым, кого я здесь вижу, оказался этот негодяй.

Поленц направился ему навстречу.

— Быстро тебя залатали! — радостно воскликнул десятник.—Уже из больницы? Черт подери, и уже нашел работу?

— Чего тебе надо? Проваливай! — отрезал Ленерц.

— Я ищу тут одну женщину и не могу найти.

— Зайди в контору и спроси.

Ленерц запрыгал на костылях к дверям школы.

— Возьмут ли еще меня? — говорил он племяннику.— Сторож — сторожем, да одна нога все-таки не две.

— Все будет в порядке, дядя Фриц, они ведь тебе написали такое любезное письмо.

Поленц собрался было следовать за ними, но тут на площади показалась Ирена с девочками.

— Да вот же они! — воскликнул Поленц.

Он радостно поспешил навстречу троице. Ирена узнала его, лишь когда он остановился перед ней, тяжело дыша.

— Ирена! — осклабился он, протягивая руку.

Меньше всего она ожидала увидеть радостную физиономию Поленца и от изумления онемела. Девочки вскрикнули и бросились прочь.

— На помощь! Спасите! — закричала Ирена, придя в себя.

Распахнулись окна, из дверей высыпали любопытные, подбежали игравшие во дворе дети. Услышав крики о помощи, Ленерц обернулся и понял, в чем дело.

— Беги к ней,— прохрипел он племяннику.— Быстрее! Эта свинья что-то замышляет.

— Но, дядюшка...

— Беги, малыш! Эта сволочь весной сорвала нам демонстрацию.

Ленерц заковылял вслед за племянником. Костылями он пользовался еще неумело.

— Бейте его! — кричал Ленерц на ходу.— Бейте эту сволочь!

Собралась толпа. Еще бы — чрезвычайное происшествие, нарушено привычно-спокойное течение жизни. Вокруг Поленца и Ирены сомкнулось кольцо.

— Расступись! — орал Ленерц.— Дайте пройти!

Люди расступились, пропустив человека на костылях. В кругу оказались четверо: десятник, Ирена и Ленерц с племянником.

— Я хочу, чтобы она вернулась домой! — обратился Поленц к собравшимся, указывая на Ирену.

— Он бил меня и выгонял ночью из дома! — в отчаянии крикнула Ирена.— Он вышвырнул меня с детьми в дождь на улицу!

— Это неправда! Она сама сбежала!

— Нет, правда! Он был капо в концлагере, этот изверг!

Ленерц взмахнул костылем и ударил десятника, но попал не по голове, а в плечо. Оба упали.

— Я хочу, чтобы она вернулась! — кричал десятник.

Несколько человек помогли Ленерцу встать, подали ему костыли. Десятник, продолжавший барахтаться в луже, решил в последний раз попытать счастья.

— Она вовсе не беженка! — завизжал он.— Ее подослали из восточной зоны, я точно знаю!

Толпа сомкнулась теснее, все молча смотрели на Ирену.

— Ложь! — воскликнула Ирена.

— Этот негодяй предал нас во время демонстрации,— поддержал Ирену Ленерц.— Он всех натравливал друг на друга!

Кольцо сжалось еще теснее. В адрес Поленца послышались угрозы.

— Она восточная агентка! — орал десятник.— У нее куча денег, я сам видел. Она отнимает у вас пособие, разыгрывая из себя беженку.

— Не слушайте этого гада! — вмешался Ленерц.— Он сорвал демонстрацию и подговаривал нас бить полицейских.

Десятник поднялся. Дико озираясь, он вдруг шагнул к Ирене, и не успели люди опомниться, как он ударил ее по лицу. Ленерц опять

взмахнул костылем, но попал в бросившегося на помощь Ирене племянника. Толпа, не разобравшись, кто прав, кто виноват, навалилась на них. Женщину и Ленерца вытащили из круга, и все с яростью обрушились на десятника. Поленц визжал и отбивался, пытаясь вырваться.

Из близлежащей казармы бундесвера подоспело несколько солдат. Проложив себе путь в центр круга, они отбросили разъяренных людей и вытащили Поленца.

— Что вы делаете! — кричал унтер-офицер.— Вы же убьете его!

— Он был капо в концлагере! — крикнул кто-то.

— В гитлеровском концлагере!

— Это правда? — спросил унтер.

Поленц не мог выговорить ни слова. Он хрипло дышал, сплевывая кровь. В груди у него свистело.

От здания школы подбежал пожилой мужчина.

— Я позвонил в полицию, сейчас приедут! — сообщил он.

Затормозив на полной скорости, перед толпой остановился полицейский автомобиль. Полицейские опросили собравшихся и, составив протокол, забрали Поленца.

О случае в лагере для беженцев Юрген Форман узнал в понедельник на работе. Все вокруг говорили о полицейской облаве в Гамбурге. Разгорелся спор, и в связи с гамбургскими событиями зашла речь об аресте в лагере Массен.

— Он был тоже десятником,— сказал Форман своему десятнику.

— Не все же десятники были нацистами,— послышался голос.

— Тот, кого взяли в Массене, не нацист, он был капо в концлагере.

— Да, но у нацистов,— заметил Форман.

— А кого арестовали в Гамбурге? — спросил Бруно Голлер.— Тоже нацистов?

— Нет,— пояснил прораб,— просто неподходящих.

— Неподходящих? — удивился Голлер.— Это что, такая партия?

— Нет,— сказал прораб,— если б такая была, ее бы давно запретили.

По утрам стало заметно холоднее. Начали поговаривать о прекращении работ до весны. Форман предусмотрительно подмешивал в бетон антифриз. Чувствительные к морозу строительные детали днем и ночью обогревали коксовыми печками. Это было необходимо. Фирма обязалась выполнить подряд в срок.

Прораб и инженеры каждый день повторяли, что фирма обанкротится, если сроки не будут выдержаны. Но рабочих это не тревожило — с ними ведь сроки не согласовывали. Они работали более или менее в темпе, добросовестно и, как всегда, до хрипоты спорили о футболе.

Но с понедельника говорили только о событиях в Гамбурге. Все распалились настолько, что бросили инструмент и наскакивали друг на друга, как петухи, словно речь шла об их близких родственниках. Юрген сказал, что знал одного человека, которого в свое время арестовали прямо на работе.

— Теперь он умер. Повесился.

— А что он натворил? — поинтересовался прораб.

— Ничего особенного. Сказал вслух, что Гитлер — грязная свинья.

— Ах, вот оно что,— сказал прораб.— Это произошло тогда... Ну, тогда вытворяли все.

— А сейчас? — крикнул кто-то.— Чего только не позволяют себе некоторые!

Этот возглас взбудоражил всех. Переругались даже друзья. Послышались возгласы «Нацисты!» в адрес тех, кто одобрял аресты в Гамбур-

ге, а те, в свою очередь, кричали: «Коммунисты!» Прорабу с трудом удалось заставить людей разойтись.

Получив в пятницу жалованье, Форман поехал с несколькими товарищами в Унну. Они попросили шофера автобуса не развозить их по домам, а доставить в пивную у нового рынка. Окружив стойку и согревшись шнапсом, они завели разговор о политике, заработках и надвигающейся зиме. На картонных подставках для рюмок подсчитывали, какое дадут пособие по безработице, хватит ли на жизнь и останется ли на субботнюю выпивку.

Бруно Голлер радовался зиме, как ребенок.

— Наконец-то можно будет отдохнуть,— говорил он,— вытянуть ноги и погреть зад у печки.

Десятки лет ему не удавалось это сделать: на шахте было все одно — что лето, что зима.

— Хорошо строителям — каждый год дополнительный отпуск,— продолжал Бруно.— Зимы-то не миновать. Была бы только похолоднее, да снегу побольше. Тогда и дома посидишь и внука на санках покатаешь. Ну что я теряю? Пенсия есть да еще пособие по безработице. Нам со старухой хватит.

— Да, если уж заново родиться, то сразу пенсионером,— вздохнул Эмиль.

— Утром спишь,— продолжал Голлер.— Не надо думать о будильнике, выскакивать из постели, натыкаться спросонья на шкаф. Господи, не жизнь, а малина. Не спеша, с толком читаешь газету, спокойно пьешь кофе. Прямо как генеральный директор. Братцы! Впереди холодная зима! Вот счастливое-то время.

— А уголь? — спросил Форман.

— Да, это, конечно, вопрос особый. Всю жизнь я не заботился об угле и дровах. Понадобится — скажешь шоферу и готово, с доставкой на дом. А теперь все — кончилось, будь оно проклято. Теперь раскошеливайся, сто сорок марок за тонну, прошу покорно! А прежде — шесть марок за доставку, и точка. Жена стонет: кошелек на глазах тощает.

— У каждой медали две стороны,— изрек Форман.

Голлер опрокинул шестую рюмку «Вахольдера» и проворчал, что покупают же уголь по спекулятивным ценам и не мрут с голоду.

— Спекулятивные цены! Слыхал? А горы угля лежат нераспроданными!

— Ну, до этого мы своим воробьиным умишком не допрем,— сказал Форман.— Это не по нашей части.

— Отчего же? — возразил Эмиль, собираясь заказать еще пива.

— Оттого, что рабочие для такой коммерции слишком честны, да не слишком умны,— заметил кто-то.

В семь вечера стали расходиться. Многие спешили к телевизору. Сегодня обещали веселую передачу.

Форман постоял еще немного и залпом осушил два стакана пива. Но в одиночку пить уже не хотелось. В пивной должна быть компания, иначе нет никакого удовольствия.

Через полчаса он ушел...

Сначала он намеревался сразу пойти домой, но передумал и завернул к Веронике.

Нажал кнопку звонка и не отнимал руки, пока ему не открыли.

На пороге стояла Рози. Прежде чем он успел раскрыть рот, девушка сказала:

— Только что от нас ушла твоя жена.

— Тебе померещилось,— выдохнул он и, отстранив девушку, вошел в гостиную.

— Чего это вы сегодня разыскиваете друг друга? — рассмеялась Вероника.

Форман опустился в кресло.

— Мы удивились, когда она вдруг пришла,— продолжала Вероника.— Ведь уже несколько месяцев не заходила к нам. В чем мы перед ней провинились — не знаю.

— А потом?

— Потом выпила чашку кофе, вернее, потребовала ее, и сказала, что так она и думала: тебя здесь нет.

— А дальше?

— Дальше села смотреть телевизор и хохотала до упаду.

— А потом?

— А потом, а потом, а потом... Господи, с ума сойдешь от этих «потом». Потом ушла домой. Разве ты ее не встретил по дороге?

— Нет, не встретил.

— Значит, она пошла по Гайергассе,— предположила Вероника.

— Возможно.— Форман поднялся, собираясь уходить.

— Погоди, дядя Юрген,— остановила его Рози.— Присядь, мне надо с тобой посоветоваться. Это очень важно. Я хочу знать твое мнение. Только начистоту!

— Что-нибудь стряслось? — Форман переводил взгляд с матери на дочь.

— Одна моя подружка по работе снимает в Дортмунде большую комнату всего за сто марок. В комнате есть ниша с кухонным очагом. Ну, и зовет меня к себе. Во-первых, ей это выгоднее — будет платить половину. Во-вторых, она говорит, что устала от одиночества, хочет, чтобы кто-нибудь был рядом, иначе скоро задохнется в четырех стенах. А выходить по вечерам одной, говорит, небезопасно.

— Ну и что?

— Мама против. Я сказала, что буду приезжать домой в пятницу и оставаться до понедельника. Ведь каждую неделю буду дома... Почти каждую. Но она и слушать не хочет. Вот подсчитай сам. Плата за квартиру пятьдесят марок, а столько же я трачу на проездные билеты да еще кое-что на еду. Но зато экономия времени. Сам знаешь, каково вставать чуть свет, а с работы нестись на вокзал, ждать поезда, пока не отмерзнут ноги... Ужас... Вечно ездить туда-сюда, держать в голове расписание, бояться, что опоздаешь. Поезда уже теперь ходят с опозданием, а что будет в январе и феврале? Даже подумать страшно. Лучшие часы проходят в поездах, на вокзалах, в дикой спешке...

— Да,— согласился Форман.— Я за то, чтобы ты перебралась в Дортмунд. Это ты хорошо придумала. Каждый день делать два конца убийственно. Вот если бы ты поселилась одна, я бы еще сомневался. А так — нет. Сколько лет подруге?

— Двадцать два.

— Юрген! — взмолилась Вероника.— И ты заодно с ней? Хочешь, чтобы я осталась в пустом доме? Конечно, вы очень рассудительны. Но поймите же вы, что семья на рассудке не строится! А я-то что буду делать? Карла больше нет. Может, я стала лишней? Или нужна только, чтобы стирать ей белье?

— Могла бы сдать верхние комнаты,— посоветовал Форман.

— Да ты в своем уме? Только этого мне недоставало.

— А что, мам, это идея. Дом не опустеет, рядом с тобой будут люди. Честное слово, это выход из положения. А я могу ночевать у тебя в спальне, когда буду приезжать.

— Нет,— возразила Вероника.— Из этого ничего не выйдет. Кто знает, что за людей пустишь в дом.

— Жильцов ты сама выберешь,— сказал Форман.

— Конечно, мама. Кто тебе понравится, того и пустишь. Сдай с пансионом. Днем жилец на работе, зато по вечерам не придется сидеть одной. А в конце месяца извольте денежки.

— У меня есть кое-кто на примете,— сказал Форман.

— Кто? — в один голос произнесли мать и дочь.

Рози вскочила и хлопнула себя по лбу.

— Знаю, дядя Юрген, знаю! — вскричала она.— Та женщина! Да? Ну, с которой ты ходил на полуночные свидания!

— Да,— подтвердил Форман.— Она и две ее дочки.

— Нет! Ни за что! — воскликнула Вероника и забегала по комнате из угла в угол.— И не уговаривайте. Двое детей в доме и эта женщина? Нет уж. С детьми одно беспокойство, я хочу тишины.

— А ты все-таки попробуй,— сказал Форман.— Не упрямься. Не будет же Рози вечно держаться за твою юбку. Садись, хватит бегать.— Юрген обнял ее и ласково потрепал по плечу.— Ну, соглашайся!

— Нет, нет и нет! Не смеет она уехать, раз я не хочу! В конце концов есть еще закон, дающий мне право, ведь есть такой закон!

— Успокойся, Вероника. Неужели ты думаешь удержать Рози с помощью закона?

— Мама, дядя Юрген прав.— Рози подошла к матери и с нежностью в голосе добавила: — Я тогда не поеду в Ангулем. Обещаю тебе.

— Правда, детка? Даешь слово? — Веронику словно подменили.

— Даю,— ответила Рози.— Ну зачем мне это?

— Вот именно, девочка, совершенно незачем,— рассмеялась Вероника.— Я ведь с самого начала тебе это твержу.

Форман собрался домой. Подойдя к двери, он обернулся:

— Я поговорю на днях с фрау Полицик. Она наверняка мечтает выбраться из лагеря. Думаю, что они снимут обе комнаты.

— Но только после Нового года! — крикнула ему вдогонку Вероника.— Надо же убрать, переставить мебель...

Рози помахала ему рукой.

В обоих окнах гостиной еще горел свет. Форман осторожно повернул ключ, снял пальто и ботинки и, тихо ступая, вошел в комнату. Ингеборг в ночной рубашке сидела на диване и слушала радио. Она бросила на мужа быстрый взгляд и подобралась, как кошка перед прыжком.

— Где ты шлялся? — прошипела она.— Опять деньги транжирил?

— Я был у Вероники.

— Врешь! — Она топнула ногой и повысила голос. — Врешь! Я тоже была там.

— Знаю. Я пришел сразу после тебя. А теперь оставь меня в покое. Уже поздно. Я устал, как собака.

В начале декабря на стройке был последний рабочий день. Фирма объявила всех уволенными. Из-за морозов и снега работы прекратились.

В полдень все собрали инструмент и двухчасовой выпивкой в рабочем бараке отметили конец сезона, в котором, несмотря на дождливое лето, заработали хорошо. Поднимали тосты в честь зимы.

Выпили еще по бутылке за наступающий Новый год и за то, чтобы опять собраться всем вместе.

— Должны же в конце концов достроить Рурскую автостраду,— сказал Эмиль.

— Ну вот и началась большая спячка! — воскликнул Голлер.

Все разошлись. Форман отправился пешком в лагерь для беженцев.

В Массене он спросил какого-то мальчугана, где найти фрау Полицик. Мальчик проводил его и получил за труды марку.

Она жила на втором этаже. Форман постучал раз, другой. Никто не ответил. Тогда он тихо толкнул дверь, она отворилась. Посреди комнаты на стуле стояло пластмассовое корыто, Ирена стирала белье. Несмотря на приоткрытое окно, в комнате было дымно. Обе девочки сидели на полу у печи, листая какую-то книгу.

— Добрый день,— поздоровался Форман.

Все трое испуганно воззрились на него.

— Ах,— вымолвила Ирена, и белье выпало у нее из рук.

— Я должен вам кое-что сообщить,— сказал Форман.

Ирена вытерла передником свободный стул.

— Насчет Поленца? — испуганно спросила она, покосившись на девочек.

— Нет. С этим все кончено.

— К сожалению, только начинается,— возразила Ирена.— Меня уже дважды вызывали в полицию. Придется, видно, еще не раз ходить туда, так мне сказали. А что я могу сообщить им нового?

Форман рассказал ей о квартире Вероники.

— Вы видели эту женщину и ее дочь. На похоронах.

— Ах, это они? — вздохнула Ирена.— Да, с того дня все и началось.— Она вытерла руки.

— Началось? — удивился Форман.— А я полагал, что тогда все кончилось.

— Нет. Именно началось, и по-настоящему.

— Ну, так как же с квартирой?

— Спасибо, комнаты я сниму. Отсюда надо выбраться. Сначала мне казалось, что теперь мне будет здесь хорошо, но я ошиблась. Когда я жила у Поленца, мне было тошно и от соседей и от всего вокруг. Я все равно сбежала бы, даже если бы он меня и не выгнал. А сейчас я сыта здешней обстановкой и обитателями, сыта по горло. К тому же у нас только одна комната: и живем, и стираем, и спим, и готовим уроки — все в ней. Вот видите, ничем я не довольна.

— Понятно... Ну что ж, значит, квартиру вы берете. О деньгах сами договоритесь с хозяйкой.

— Хорошо, только спросите ее, может, она согласится полдня присматривать за детьми, тогда я смогла бы работать. А то из-за пособия все на тебя косятся.

— Чепуха.

— Нет, не чепуха. Недавно в лавке я слышала, как две женщины говорили, будто мы живем за счет налогов, которые платят их мужья. Сама себе уже начинаешь казаться чуть ли не преступницей оттого, что тебя содержит государство.

— Не думал я, что вы такая чувствительная. Намыкались вроде бы достаточно.

— Знаете, чем больше мотаешься, особенно через границы, тем чувствительнее становишься,— сказала она.— Хуже всего, когда к тебе лезут с жалостью. Можно прийти в отчаяние, поверьте мне.

— Думаю, что Вероника согласится присматривать за вашими детьми. Время у нее есть. Дочь ее будет жить в Дортмунде, нашла там комнату.

— Спасибо, что вспомнили обо мне,— сказала Ирена, провожая Формана вниз.— Я знала, что вы заглянете.

— Это все из-за угля,— пошутил он.— Вы ведь были должны за него. Теперь мы квиты.

Она рассмеялась и словно сразу помолодела.

— Ах, господин Форман, мы всегда были квиты.

Вечером он рассказал Веронике о разговоре с Иреной.

— Не обижай ее,— попросил он,— и подумай насчет детей. Нелегко так мыкаться женщине, а о детях и говорить нечего. Надо помочь им войти в колею. А то детишки совсем запуганы.

— Уж не влюблен ли ты в эту женщину? — спросила Вероника.

— Еще чего скажешь? Я уже вышел из того возраста. Теперь у меня другие заботы.

— Да, кстати, Рози нашла тебе работу. Какой-то чистенький завод, неподалеку от «Вестфаленхалле». Она сама тебе расскажет. Там работает жених ее подруги, платят прилично, принимают и без квалификации — новички проходят обучение на месте. Да, еще она сказала, что на этой работе можно носить белый халат. Не понимаю, что она имеет в виду.

— Чего там не понимать. Работают в белых халатах, и все. Что ж, неплохо, тогда я перебьюсь зиму.

— А я думала, тебе хотелось отдохнуть на пособии,— сказала она.

— Передумал. Ничего в этом хорошего нет. Так говорят, когда работа осточертела. А сидеть и ничего не делать — надоест. Тоска замучает. Ведь работаешь не только ради денег. Недовольство бывает от того, что работа не дает удовлетворения, когда трудишься по необходимости, а не в охотку. Наверно, можно обойтись и без работы, если есть чем заполнить жизнь. Но у меня такого ничего нет, и я не знаю, чем я могу ее заполнить.

— Ну и чего бы тебе хотелось?

— Не знаю. На душе беспокойно, оттого что я уже не ломаю себе голову перед сном, как раньше. Ни одной мысли в котелке. Даже не ворочаюсь, лежу, как мешок. И вокруг все пусто. Вот почему мне обязательно надо работать. Я не выдержал бы целую зиму без работы... Есть такое слово, только я не помню его...

— Что за слово? — удивленно спросила она.

— Понимаешь... как оно называется — ну, то самое, что заполняет человека... Мне бы легче стало, ей-богу, если бы я знал это словцо. Не могу вспомнить, будь оно проклято!

— Слушай, а может, твоя жена тоже страдает от этого? Потому она и пошла работать? Может, и у нее на душе муторно, как у тебя? Мне кажется, что она не находит себе места. Что-то у вас не ладится. Сами вы этого не понимаете, но она чувствует, что так продолжаться не может. Только не знает, что делать. Ей надо помочь, а ты махнул на нее рукой, пусть, мол, сама выкарабкивается, как знает. Может быть, вам надо завести ребенка, чтобы ваша жизнь стала полнее. Наверно, это и есть твое «проклятое словцо». У вас, Юрген, слишком много времени. Поверь мне, я так рада, что у меня есть Рози. И она тоже имеет право жить и радоваться, верно?

— Конечно, надо завести ребенка. Но как сказать Ингеборг?

— А ей не надо об этом говорить,— улыбнулась Вероника.

Форман, подхватив Веронику, закружился с ней по комнате.

— Вот увидишь,— сказал он, смеясь,— скоро у меня будет сын, скоро у меня будет сын!

И, продолжая пританцовывать, он выбежал на улицу.

Итак, у меня новая работа. Физически самая легкая из всего, что я делал. Но станет ли моя жизнь легче? Не знаю.

Вжжик... вжжик... вжжик...

Прежде всего я обратил внимание на человека, работающего напротив,— итальянца с кудрявой черной шевелюрой. Он часто, вернее, непре-

рывно смеялся — то глядя на кого-нибудь, то про себя. Но не смех его привлек мое внимание, а манера высовывать язык. Как только у итальянца было какое-нибудь затруднение, он тут же высовывал язык. Господи, что за язык! В жизни таких не видал.

Он мог достать им кончик носа. Все утро, насколько позволяла работа, я наблюдал за итальянцем и установил: если кончик языка высунут налево, это означает смущение, если направо—радость.

Перед концом смены я впервые улыбнулся ему, широко, как и он. Итальянец сказал: «Si, si» *, высунул кончик языка направо и заразительно рассмеялся.

Я посмеивался над ним. Над его удивительным языком, необычайно красным, очень тонким, с желтоватым налетом посредине, вероятно, от курения. Как я узнал, итальянец выкуривает от тридцати до сорока сигарет в день, но не за работой, хотя курить в цехе не запрещено. Наверно, он чудесный парень, раз умеет так заразительно, по-детски смеяться. Сколько ему на вид? Лет двадцать пять? Возможно, хотя определять возраст у этих смуглых брюнетов — дело нелегкое.

Вжжик... вжжик... вжжик!..

У, черт! Осторожнее!

Слева мне подают пластмассовую пластину. Я обслуживаю маленькую дрель, почти игрушечную; в заранее размеченных местах пластины сверлю пятнадцать отверстий диаметром в три миллиметра. Если дрель и сверло в порядке, все идет как по маслу.

Вжжик — и готово.

Следующее отверстие: вжжик — и готово.

Пластина, пятнадцать раз «вжжик», напротив — симпатичная улыбка итальянца, его «si, si», мелькающий кончик языка: налево — смущение, направо — радость. А может, наоборот?

Черт, надо быть внимательней! Но итальянец отвлекает меня. Лучше бы сидеть рядом с ним, а не напротив. Другие на это уже не обращают внимания, привыкли. Вскоре привык и я.

Поначалу я опасался, что мои огрубевшие руки не справятся с такой филигранной работой, но через несколько часов дело пошло. Захотел — и удалось. А как же иначе? Рабочий все сумеет, если захочет. На рынке спроса и предложения особенно носом не покрутишь. Лопай, что дают. Правила игры не тобой придуманы. Твое дело получше смотреть, как управиться, вот и все.

Вжжик... вжжик... вжжик...

Я был так рад вновь почувствовать силу собственной воли. Ощущение это опьяняло меня. Я должен был справиться с новым делом — и справился. Всю свою жизнь, кроме недолгого ученичества в конторе, мне приходилось только долбить, ворочать и поднимать тяжести. И вот я держу эту игрушечную дрель. Она почти исчезает в моей лапе.

Иногда я боюсь раздавить пластину, а прежде мы боялись, как бы нас самих не раздавило обвалом.

Надо во что бы то ни стало удержаться здесь. Платят прилично, сижу в белом халате. Он повелевает моей волей, воля — руками, а от рук зависит заработок. Счастье! Самое настоящее. Я был так доволен собой, что мог бы горланить об этом с утра до вечера. Многие боятся перехода от привычного, грубого и тяжелого труда к легкому, в белом халате. Но мне этот прыжок удался — я это понял после того, как совершил его.

Со страхом вошел я неделю назад в этот цех, где мне предстояло пройти испытание. Все вокруг уставились на меня, перешептываясь: «Новичок... новичок...» Экзамен прошел удовлетворительно, и я мог

* Да, да *(итал.)*.

приступать. Господи, как же мне повезло! Хороший заработок, белый халат!

Вжжик... вжжик... вжжик... Здорово получается!

Наконец-то я больше не чумазый шахтер, не грузчик и не дорожный рабочий. После смены я теперь вешаю белый халат на гвоздь и отправляюсь домой в чистом костюме. Могу даже галстук носить. Ну разве это не счастье! Я набрался храбрости, прыгнул — и вот я на другом берегу. Все оказалось куда проще, чем я мог подумать.

Вот оно, великое счастье, которым я бредил последний год.

Наконец-то я пристал к берегу... берегу... берегу.

В чистом цехе, в белом халате я сижу на стуле с пенопластовым сиденьем. За огромными окнами бурлит промышленный город... Только руки чуть покрываются пылью из-под сверла. Но стоит хлопнуть в ладоши — и тонкая пыль слетает. А потом такой славный малый работает напротив.

Через три места от меня восседает хмурый усач. Ему лет пятьдесят, а то и больше. Целыми днями он не произносит ни слова. А когда хочет что-то сказать, то делает знак рукой или бросает взгляд, и все понимают эти знаки и взгляды. Сегодня в полдень я впервые услышал, как он сказал, войдя последним после перерыва: «Dobre den».

Я спросил у соседа, что это значит.

— «Добрый день» по-чешски,— пояснил тот.— Старик ведь эмигрант.

Значит, кроме итальянца, у нас есть еще чех. Интернационал в белых халатах.

— И давно он здесь? — поинтересовался я.

— С самого начала.

— Какого начала?

— С момента пуска, десять лет уже.

— Разве он не говорит по-немецки?

— Еще как, без акцента. Только здоровается по-чешски.

— Почему? А, черт! Просверлил не там.

— Обойдется в две марки,— заметил сосед.

— Так почему же он все-таки здоровается по-чешски?

— Не знаю, спроси его.

— А почему это обойдется мне в две марки?

— Прочитай инструкцию. Весь брак за твой счет.

— Н-да, надо смотреть в оба.

— Конечно. Главное — втянуться. Тогда делаешь все автоматически. Только следи. Глаза, правда, устают, но со временем привыкнешь. И довольно скоро.

Вжжик... вжжик... вжжик...

Еще бы, к белому халату я быстро привык. А Ингеборг смеялась, когда я, заикаясь от радости, рассказал, что буду работать в белом халате и что это место мне нашла Рози.

— Брось,— сказала она.— От этой вертихвостки ничего путного не дождешься.

Подозреваю, что Ингеборг завидует моей работе: я могу расхаживать в белом халате, а она нет. Она охотно поменялась бы со мной местами, чего там говорить. Но я ее проучу. Ей все еще не верится, что я ухожу по утрам из дома в нормальном костюме и вечером возвращаюсь с тщательно повязанным галстуком. Она по-прежнему не может себе представить меня иначе, как чумазым шахтером.

Сосед справа вштамповывает ушки в просверленные мною отверстия. Пластина передвигается дальше. Следующий зазубривает ушки. Чех, сидящий в конце, проверяет качество пяти операций, сделанных на

нашей стороне стола. Проверив, он пишет что-то мелом на пластинах и передвигает их на другую сторону стола, где сидит Amigo *, итальянец. Там тоже делают пять операций, а в конце стола сидит другой контролер. Он перепроверяет чеха и то, что сделали пять рабочих, сидящих против нас. Потом нашу продукцию перевозят в другой цех.

Когда я рассказал Ингеборг про мою новую работу, я заметил, что она не обрадовалась. Поняв, что я не шучу, она только пожала плечами и скривила губы, будто сочла все это недостойным.

— Поживем — увидим!— сказала она.— Посмотрим, сколько ты там выдержишь.

Вжжик... вжжик... вжжик...

— Что мы, собственно, изготовляем?— спрашиваю я соседа.

— Не знаю,— говорит он.— Я здесь недавно.

— Сколько?

— Полгода. Для чего это делается, меня не интересует. Главное — хорошо платят. Я вштамповываю ушки в твои отверстия. Если ты хорошо сверлишь и равномерно даешь мне пластины, то и у меня все нормально и ушки получаются красивые. А на красивых ушках Эмиль, рядом со мной, вырежет красивые зубцы. Вот и весь секрет нашей работы. А остальное тебя не касается, так что не ломай голову. Следи только за тем, что делают перед тобой и после тебя. Все остальное ерунда.

Вжжик... вжжик... вжжик...

— Конечно,— говорю я,— это все существенно упрощает дело. Но когда ты новичок, хочется узнать поподробнее, что к чему.

— Понятно, понятно,— говорит он.— Только лучше не надо. А то начнешь переживать из-за этих подробностей и напортачишь. Так что знай свое — сверли, а я буду вштамповывать.

— Как тебя зовут?— спрашиваю.

— Меня?.. Эгон... Эгон Витлих. Живу на севере, в Брамбауэре.

— Это где дорога на Люнен?

— Точно. Езжу трамваем, остановка почти у самой двери.

— Тебе хорошо, а я вот трачу на дорогу больше часа.

— Привыкнешь — засмеялся он.— Человек ко всему привыкает.

Вжжик... вжжик... вжжик...

— По-моему, Эгон, все-таки надо знать, для чего ты работаешь. Вот, скажем, на шахте мы знали, что рубаем уголек и что он используется для разных нужд; на заводе я знал, что из стальных балок, которые я грузил, построят мост или каркас небоскреба; на стройке я знал, что через год или два по новой автостраде помчатся машины... А здесь я сверлю дырки и не знаю зачем. Не пойму, для чего это предназначается.

— Чепуха. Тебе надо только знать, что ты сверлишь их для меня, чтобы я мог вштамповать ушки. Зачем тебе знать весь процесс?

— Господи, да потому, что это интересно!

— Чушь! Ты сверлишь, я вштамповываю, Эмиль зазубривает, итальяшка паяет, Эрика шлифует, а ББ полирует.

— ББ?— спрашиваю я.— Это кто?

— Вон та, на углу. Глянь-ка на прическу. Так ее у нас и зовут: ББ — Брижитт Бардо. Волосы, глаза, бедра, ну, и конечно грудь — потрясающие, а? Если настоящая ББ вздумает остричься наголо, наша первая собезьянничает. А вообще она девка как девка, даже старательная.

Вжжик... вжжик... вжжик...

— В общем, работаем в электропромышленности? — спрашиваю я.

— Видишь ли,— отвечает он,— что это такое на самом деле, никто толком не знает. Мы считаемся... как это?.. да, заводом-поставщиком.

* Искаженное amico — друг, приятель *(итал.)*

Радиоприемников мы не делаем, телевизоров и магнитофонов тоже... Так что надо бы спросить шефа.

— Но куда-то наша продукция все-таки идет? — говорю я.

— Так ведь электропромышленность до черта вещей изготовляет.— Он рассмеялся.

— А шеф сюда заглядывает?

— За полгода, что я здесь, видел его всего один раз. Он больше разъезжает в машине.

— Слушай,— говорю я в шутку,— а может, мы изготовляем атомные боеголовки?

— Вряд ли они из пластмассы, а впрочем, кто их знает, вполне возможно. Ты брось эти дурацкие вопросы. Зарабатываем хорошо, не надрываемся, да и обстановка приятная. Никто не орет, друг другу не мешают, а переживать нет времени — норма подгоняет.

Вжжик... вжжик... вжжик...

Я должен просверлить семьдесят пластин, в каждой — по пятнадцать отверстий. Всего, значит, семьдесят на пятнадцать... так... семьдесят на десять это семьсот... семьдесят на пять — триста пятьдесят... итого — тысяча пятьдесят. Черт возьми, многовато. За восемь часов просверлить тысячу пятьдесят отверстий!

Многовато, даже очень.

А если хоть раз просверлю неправильно, вычтут две марки. Только за одну неправильно сделанную дырочку! Ужас как много. А если вдруг испорчу пять пластин, то заработаю всего двадцать марок, десять же вычтут, не моргнув глазом. Средний мой заработок — тридцать марок за смену. На шахте мне платили тридцать марок за девять шпуров, пробуренных в пласте двухметровой толщины. На складе металлоизделий я получал за погрузку десяти-двадцати тонн стали двадцать пять марок. На стройке за сорок замесов бетона — двадцать восемь марок в день. А здесь — тридцать. Чудно́: чем легче работа, тем выше заработок. Значит, верно говорят, что чернорабочий — последнее быдло в этом мире. Так оно и есть: чем легче работа, тем больше денег, чем тяжелее — тем меньше. Теперь у меня есть доказательства. А может, это зависит от самих людей, раз они не способны на легкую работу? Эх, разобраться бы мне в этом раньше! Прошляпил, дурак! А то ведь годами мучаешься, обливаешься потом и получаешь то же, что и здесь, где только сидишь и сверлишь, и после смены не надо лезть под душ — повязал галстук и едешь домой уже почти отдохнувшим. Эх, знать бы это раньше!

Вжжик... вжжик... вжжик...

Эгону Витлиху за штамповку тысячи пятидесяти ушек платят тридцать марок, Эмилю за насечку зубцов на ушках — тридцать марок, Эрике, наверно, тоже тридцать за шлифовку, ББ — тридцать за полировку, Amigo — тридцать за пайку, чеху — марок тридцать пять за контроль, а тому, что на другом конце стола,— не меньше сорока за контроль над контролем. Вот оно как.

А Рози ведь не обещала мне ничего особенного.

«Дядя Юрген,— сказала она,— я нашла тебе место, работу, о которой ты давно мечтал: легкая, белый халат, почти никакой грязи. Цех с кондиционированным воздухом. Завод в Дортмунде, неподалеку от полицей-президиума. Придется только ездить с пересадками».

«Не беда,— сказал я ей,— ради белого халата я готов ездить куда угодно».

Вжжик... вжжик... вжжик...

Надо дьявольское внимание, чтобы не просверлить мимо отметины... Две-три испорченных пластины в день — и нет смысла работать, с та-

ким же успехом можно наняться подметальщиком улиц в Камене или Унне. Уж легче ничего быть не может, ведь мимо не прометешь.

— Эй! — Эгон толкает меня в бок.— Отстаешь. У тебя всегда должно быть в запасе пять-шесть готовых пластин. А иначе остановится весь поток. Ты у нас ключевая фигура. Пока меняешь сверло, уходит масса времени.

Чех уставился на меня, лицо его мрачнеет, он хлопает в ладоши. Все смотрят в мою сторону. Господи, но это же не катастрофа, предприятие от этого не обанкротится.

— Быстрей! — прикрикивает Эмиль, а чех вторично хлопает в ладоши.

Черт, как назло сверло сломалось! Пластина трескается — слишком резко рванул дрель. Проклятье!

Главное сейчас сохранять спокойствие, показать всем, что можешь справиться со своей задачей даже при аварии. Пусть все видят, что я не психую.

Эгон помогает мне вставить новое сверло.

— Расколотую пластину припрячем,— шепчет он.

— Не надо,— возражаю я. —У меня в запасе еще два дня для чудачеств без вычетов. Испытательный срок кончается послезавтра.

— Не очень-то полагайся на это. Так всегда говорят начинающим, а в получку увидишь, что двух марок нет как нет. Ты здесь никому не верь, кругом мошенники, каждый только о своем кошельке и думает...

— Чего ж ты мне сейчас помогал? — спрашиваю я.

— ...потому что я тоже о своем кошельке думаю. Тут тебе никто не поможет, даже производственный совет.

Вжжик... вжжик... вжжик...

Все опять идет как по маслу. Но поволноваться пришлось. Amigo посматривает на девушек, говорит «si, si» и во весь рот улыбается. Чертов парень, отвлекает меня... Паяет, даже не глядя на инструмент... Надо заниматься своим делом. Теперь у меня белый халат, чудесное рабочее место с кондиционированным воздухом, хороший заработок — все остальное не имеет значения. Даже то, для чего предназначаются изготовляемые детали.

— Новичок-то наш,— кричит ББ через стол,— шпарит, будто всю жизнь этим занимался!

— Si, si,— говорит Amigo, скаля свои ослепительные зубы.

Эрика добродушно пялит на меня огромные карие глаза.

— Когда она отправится в туалет,— шепчет мне Эгон,— обрати внимание на ее «шасси». Умора!

— Чье «шасси», ББ?

— Нет, Эрики. Она так глупа, что не знает, где левая нога, где правая. При ходьбе все время путает.

— Да ну? — шепчу я.— Неужто такая дуреха?

— Ага. Не поверишь, пока сам не увидишь. Описать это невозможно.

— Как же она тогда шлифует?

— Работа тут ни при чем. Для шлифовки ноги ей не требуются, а руки у нее отличные. Словом, все, что видно над столом, у нее в порядке. Скажи ей что-нибудь приятное, увидишь, как заблестят ее коровьи глаза... Но стоит только ей подняться — вот тогда... А голова, зачем она ей? Тебе нужна голова, когда сверлишь? Вот то-то. Здесь можно работать без головы. Пальцы сами все делают.

— Так как же она ходит?

— Потерпи, сам увидишь. Скоро она поднимется, по ее прогулкам в туалет можно проверять часы.

— А как ББ? — спрашиваю я.

— ББ,— усмехается Эгон,— стопроцентная Ева, так и вихляет бедрами. Мужики за ней табуном ходят. Она и местечко-то это бедрами себе раздобыла. Ей хорошо платят, эта стервочка получает побольше нас.

— Сколько же ей лет? — спрашиваю я.

— Точно никто не знает. У нее это зависит от прически. Может, восемнадцать, а может, двадцать пять. Но она не замужем.

Над входом висят большие электрические часы. Без четверти три. Скоро смена, то есть «конец рабочего дня», как здесь говорят. Забавно. Просверлил я тысячу пятьдесят отверстий или нет? Не знаю, как проверить. Учитывает кто-нибудь нашу работу? А может, нас надувают? Нет, на этом предприятии царит порядок, все точно учитывается без весов и счетчиков. Перед чехом конторская книга. Время от времени он что-то туда записывает. Возможно, это и есть учет.

— С новичка сегодня магарыч! — кричит на весь цех ББ.

Все кивают. Чех произносит «Апо!», Amigo говорит сначала «да», потом «si, si».

— А итальянец пьет пиво? — спрашиваю я Эгона.

— Лакает все подряд,— усмехается Эгон.— А в общем, он малый что надо. Все бы такими были. По воскресеньям он обедает у моих родителей. Настоящий клоун, всегда в хорошем настроении. Ни разу еще не видел его в плохом...

— Как его зовут?

— Мы зовем его Силло, а вообще-то он Сиаджилло.

— Так как же насчет магарыча? — напоминает Эрика. Ее коровьи глаза просительно смотрят на меня.

— Согласен,— отвечаю я.— Ставлю. Только не тащите меня в самый дорогой ресторан.

— Мы идти в «Мюнхнер левенброй»! — предлагает Amigo.

— А он неплохо болтает по-немецки,— говорю я Эгону.

— Еще как. Болтает свободно, а понимает еще лучше. Но если чего не захочет понять... Хоть на куски его режь — не понимает, и все. Когда ему велят заняться другой работой, он просто заявляет: «Nix capito». Хитрюга.

— А чем знаменит «Мюнхнер левенброй»?

— Amigo любит туда ходить. Там играет трио, молоденькие девушки.

Но вот поднялась Эрика. Боже мой! До чего может человек измениться! Пока сидит, милейшая девушка. А сейчас — смотреть страшно. Краб! Передвигается она, как краб, впрочем нет, скорее как черепаха, да, именно черепаха... Поглядывая вслед Эрике, Силло широко улыбается.

— Bravissima, si, si! — говорит он мне.

— Но танцевать она умеет, будь спокоен,— говорит Эгон.— Тут она знает, где левая, где правая. Не умеет только ходить. А так у нее вроде бы все на месте...

Над голубой дверью звонит зуммер, а под электрочасами мигает зеленая лампочка. Выключаем механизмы, инструмент и материалы оставляем на столе. Все спешат. Моем руки — это все, что требуется здесь после работы. Я тщательно повязываю галстук. На улице ББ цепляет меня под руку. Трамваем добираемся до Гилтропвалла, дальше идем пешком. Все в сборе, только оба контролера не примкнули к компании.

Я так и не понял, почему именно меня выдвинули представителем нашего цеха на совещание, которое состоится в субботу.

— Почему меня? — спросил я своих новых коллег накануне.— Ведь я всего несколько дней как на заводе.

— Именно поэтому,— ответили мне.— Ты здесь недавно и сможешь судить беспристрастно. К тому же ты умеешь выступать, а мы нет.

— Но мне не хочется наживать неприятности перед рождеством.

— Не бойся,— успокоила меня ББ,— никаких неприятностей не будет. Послушай, что предложит директор, выскажись «за», и дело в шляпе.

— Si, si,— сказал Amigo и заулыбался.

Итак, завтра совещание. Пока известно лишь, что его созывает сам директор. Нам хотят предложить новый график работы. Почему так вдруг, никто не знал, даже чех. Кроме четырех членов производственного совета, избрали еще по одному делегату от всех десяти цехов. Моего согласия и не спрашивали. Amigo сказал «si, si», чех «dobre, dobre». На том и порешили.

Мне что-то не по себе в шкуре делегата. К чему затеяли эту комедию — совещание о том, когда начинать и когда кончать работу. Почему в субботу — понятно: иначе пришлось бы снимать людей с производства. Но зачем им понадобилось спрашивать нас? Пусть это решает директор.

— Много будем болтать — только дело испортим,— сказал я Эгону Витлиху.

— Зря ты так настроился,— ответил он.— Наш директор демократ. И это хорошо. Ну что толку, если демократией будут заниматься только в Бонне, а здесь ничего не изменится? Понимаешь?

— А разве у нас демократии нет? Ведь тот же производственный совет — это и есть, так сказать, оппозиция.

— Чудак человек! — воскликнул он.— Ничего себе оппозиция, которая оплачивается владельцем предприятия.

На улице пятнадцать градусов мороза. А в цеху, благодаря кондиционированному воздуху, двадцать градусов тепла.

— Мы на тебя надеемся,— крикнула ББ.— Если предложат начинать позже, соглашайся не задумываясь. Для меня рано вставать просто мука.

Эта девушка нравится мне все больше и больше. ББ не только умеет вихлять бедрами. Она всегда приветлива и готова прийти на помощь. Правда, глуповата, но, видно, так и надо. Не представляю себе ББ образованной. Она обязательно должна быть с глупцой.

Мы разговариваем на ходу, не отрываясь от работы. Через месяц я смогу, наверно, сверлить пластины вслепую, руки сами все делают, и еще остается время перекинуться словечком с соседом.

Серьезные разговоры, особенно о политике, здесь редкость, не то что на шахте, на складе металлоизделий или на стройке. Здесь все больше намеки, шуточки. Оно и неудивительно при такой легкой работе. К серьезным разговорам ни у кого нет охоты, и меня, пожалуй, сочли бы за чудака, заведи я такую беседу.

И все же я нашел, к чему придраться: на новой работе, при всех ее достоинствах, я не могу повысить свой заработок, а мне вдруг захотелось получать больше. Мы ограничены в заработке, поскольку являемся лишь колесиками, связанными друг с другом. И хотя от этих колесиков зависит ход всего огромного механизма, тем не менее мы вращаемся с определенной скоростью, в заранее намеченном темпе.

Даже если бы я захотел, мне нельзя работать быстрее колченогой Эрики — нарушится вся система. Увы, я всего лишь колесико, которое обязано вращаться не слишком быстро и не слишком медленно, и темпом этого вращения определяется мой заработок. И точно так же один цех связан с другим. За восемь часов я просверливаю семьдесят пластин. Я мог бы просверлить больше и тем самым больше заработать, но от

меня этого не требуется. Частенько я укрываюсь в одном местечке, чтобы выкурить сигарету и отключиться от суматохи. Смотрю в окно на падающий снег, гадаю, будет ли ночью мороз, и прикидываю, сколько угля потребуется на неделю.

Вжжик... Вжжик... И так тысячу пятьдесят раз за смену. Если бы не шутки да смешки, свихнуться можно. Если бы не болтовня и перекуры, все было бы до зевоты скучно и однообразно. И хотя мы управляем инструментом и машинами, по сути дела сами мы превратились в инструменты и машины.

— Скажи там, чтобы рабочий день начинали попозднее,— посоветовал Эгон Витлих.— Встаешь чуть не ночью, кому это надо.

Все поддержали Эгона. Только чех промолчал.

— Утром всегда устал, si si,— сказал Amigo. ББ, Эрика и женщина, сидящая с краю, тоже были за более позднее начало работы. Эта женщина работает на той же стороне стола, что и я, и мне ее не видно.

— Все равно ложишься поздно,— обратилась она ко мне,— поэтому никогда не высыпаешься. И вообще я за то, чтобы время от времени нам меняться местами, а то уж очень все однообразно.

В ответ на их доводы я кивал головой. Лично мне все равно, когда начинать. Так или иначе смену отработать надо.

Но их единодушие облегчает мне дело. Раз все требуют начинать позже — значит, так и буду голосовать. Плохо, конечно, что совещание устраивают в субботу, но всем участникам заплатят по двадцать марок.

Куплю Ингеборг чулки. А что еще можно подарить ей на рождество?

— Эта затея с двадцатью марками,— сказал мне в перерыве чех,— чистое надувательство.

Насколько я понял, с ним считаются не только в нашем цехе, но и на всем заводе. Он знает о том, что творится за кулисами, больше, чем кто-либо из нас. Как-никак он квалифицированный электромеханик. После сорок пятого года ему пришлось покинуть Чехословакию, поскольку он помогал нацистам. Но об этом сейчас уже никто не вспоминает.

Вжжик... вжжик... Сверление, вштамповка, шлифовка, полировка, насечка ушек и пайка — все сливается в мешанину звуков, похожую на шум летнего дождя. Иногда мы целый час работаем молча, а потом вдруг все загалдим наперебой.

Но о чем можно говорить восемь часов подряд, если уже на второй-третий день знаешь о соседях все, вернее, все, что человек говорит и делает на работе. О личной жизни здесь тоже не принято рассказывать. Эта тема запретная. Для себя я все-таки нашел лазейку, позволяющую нарушить сонное однообразие: поднажав, просверливаю десяток пластин в запас и выхожу из цеха — если только кто-нибудь меня не опередил (есть строгая инструкция, запрещающая покидать цех двум рабочим сразу). Стоя в коридоре, я клюю носом или курю, а то иду во двор поразмять ноги и глотнуть свежего воздуха.

Вжжик... вжжик... ББ съязвила, что у меня, видно, понос, но она сказала это не со зла. Жаль, что нельзя выходить вдвоем. Я спросил Витлиха о причине запрета.

— Из-за шашней,— убежденно ответил он.— Слишком много парочек в коридоре. Дирекция хочет это пресечь.

Вжжик... вжжик... Меня согревает мысль, что через девять месяцев я стану отцом. Я только и думаю о ребенке, особенно во время работы, выбираю ему имя, что ни час — новое. Когда этот день наступит, выставлю нашему цеху ящик пива. Но пока молчок, а то они девять месяцев не дадут мне покоя с этим ящиком. Ингеборг ничего мне еще не сказала — четыре недели не прошли. Как она все воспримет? Я немного побаиваюсь, что там ни говори, а появление ребенка в семье на девятом году супружества — обстоятельство довольно необычное.

С Рози мы изредка встречаемся на вокзале и вместе едем домой. Мы всегда так рады друг другу, словно не виделись год. Полчаса можно спокойно поболтать — пятнадцать минут в поезде и столько же по дороге от вокзала до дома. Теперь я понимаю, почему Рози хочет совсем перебраться в Дортмунд. Столько времени уходит каждый день на езду, вечно спешишь, вечно боишься опоздать и считаешь секунды. Рози теперь не надо хлопотать по дому. А мне приходится чистить картофель, помогать при уборке. Ингеборг возвращается с фабрики до того усталая, что спокойно взирает на горы грязи. Прежде она возмущалась каждым пятнышком. Но уборка — еще полбеды. Хуже, что Ингеборг то и дело заводит свою любимую пластинку:

— Если бы ты больше зарабатывал, мне не надо было бы ходить на фабрику.

К сожалению, она не добавляет при этом: «А если бы я была поскромнее и не выдвигала столько требований, то могла бы сидеть дома и заниматься хозяйством». Утешаю себя тем, что скоро появится ребенок и ей придется сидеть дома, хочет она того или нет.

Теща предложила мне обедать у нее в получасовой перерыв — от завода до ее квартиры всего пять минут хода. Я отказался. После того разговора с Ингеборг, который я подслушал, теща стала для меня чужим человеком.

Вжжик... вжжик... Каждый день, каждый час, неделю за неделей одно и то же. В дрожь кидает, как подумаешь, что всю жизнь придется «вжжикать», видеть одни и те же лица, зарабатывать тридцать марок и ни пфеннига больше и всю жизнь следить за тем, не вышел ли уже кто-нибудь в туалет до тебя.

Так и свихнуться недолго.

— Где собираются? — спрашиваю вахтера.

— Второй этаж, четырнадцатая комната. Поторапливайся, все тебя ждут.

Взлетаю по лестнице через три ступеньки, сбрасываю пальто, без стука вхожу в комнату, здороваюсь, прошу извинения — опоздал поезд. Директор останавливает меня движением руки и указывает на стул.

Все сидят за большим круглым столом, предназначенным для совещаний. На столе хрустальные пепельницы величиной с тарелку.

Собралось семнадцать человек, в том числе четыре члена производственного совета и десять представителей цехов — так называемые доверенные лица, как сказано в письменных приглашениях. Чувствуем себя несколько стесненно. Директор восседает прямо напротив меня, и это не придает мне бодрости. По левую руку от директора — члены производственного совета и какой-то господин лет пятидесяти-шестидесяти с густой седой шевелюрой. Позже нам его представили: доктор Фехнер. Мы тихо переговариваемся, а директор, похожий на салонного льва, то и дело поправляет перед собой стопку бумаг и громко покашливает.

На большом круглом столе разложены пачки сигарет и ящички с сигарами. Перед каждым стоит стакан и бутылка кока-колы. Сосед шепчет мне, что вахтер советовал не скромничать: в коридоре есть еще два ящика кока-колы.

Еще раз громко откашлявшись, директор встал. Он извинился, что доставил нам столько хлопот в субботу, да еще перед самым рождеством, когда каждая свободная минута принадлежит семье, но поступить иначе он не мог: все-таки лучше собраться утром, чем после работы.

— Дамы и господа,— голос чуть жирный, но приятный,— я созвал вас потому, что подлежащие выяснению вопросы, на мой взгляд, не могут быть решены только мною и производственным советом. Прежде чем будет принято решение, их надо обсудить в коллективе. Тогда, разумеется, в согласии с производственным советом я решу окончательно, что...

— А что надо решать? — спросил я соседку.

— ...речь идет о том,— продолжал директор, повысив голос,— некоторым это уже известно, чтобы изменить график работы.

Четверо членов производственного совета, сидевших рядом с директором, усердно закивали головой.

— Если станем начинать позже,— зашептала соседка,— то позже придется возвращаться домой и дети дольше будут одни...

— Я хочу,— директор понизил голос,— ознакомить вас с докладом, который подготовил господин доктор Фехнер (доктор слегка поклонился) на основе полуторамесячных исследований, проведенных им на нашем предприятии... Полтора месяца подряд занимался он исследованиями...

Четверо членов производственного совета усердно закивали.

— ...и знаете, каковы результаты? В высшей степени неожиданные. Признаться, даже для меня. В высшей степени поучительные выводы касательно производства и качества обработки материалов...

Четверо членов производственного совета усердно закивали.

— ...обработки материалов. Господа члены производственного совета уже имели возможность ознакомиться с данными доктора Фехнера.

Четверо членов производственного совета усердно закивали.

— Совершенно верно,— вымолвил один из них.— Потрясающе!

Директор зачитал длинный доклад, пестревший цифрами, которые невозможно было уловить на слух, не говоря уже о том, чтобы в них разобраться. О сигаретах и кока-коле позаботились, а вот положить перед нами карандаш и листок бумаги не подумали. Директор читал все быстрее и невнятнее, словно про себя. Цифры, иностранные слова, наборы технических терминов пролетали мимо ушей и мимо сознания. Директор сделал передышку.

— Что все это значит по-немецки? — спросил я, пока он набирал воздух.

Четверо членов производственного совета сердито посмотрели на меня. Директор оглядел всех, словно очнувшись от сна.

— Да, конечно,— сказал он и вкратце изложил суть дела.

Исследования доктора Фехнера показали, что качество работы до девяти часов утра очень низкое: чуть ли не пятьдесят процентов деталей поступает с недоделками, если не с явным браком. После девяти часов качество резко улучшается, брака по вине рабочих почти не бывает, во всяком случае, процент его не превышает нормы, предусмотренной для доброкачественного сырья.

— Итак, я подчеркиваю,— продолжал директор,— с шести тридцати до девяти часов утра бывает больше всего брака. А ведь это почти треть рабочего времени.

— Чем вы это объясняете? — неожиданно для себя спросил я.

Это получилось как-то нечаянно, и я смутился. Члены производственного совета нахмурились. Чтобы скрыть смущение, я закурил сигарету.

Директор улыбнулся.

— Минуточку терпения,— сказал он.

Члены производственного совета сердито посмотрели на меня. Тот, что сидел рядом с директором, заметил, обращаясь ко мне:

— Не надо перебивать.

Директор улыбнулся:

— Мне понятно ваше нетерпение.

— Извините,— сказал я.— Как-то сорвалось с языка.

— Ничего, ничего,— директор снова улыбнулся.— А теперь самое главное.— Он выбрал несколько листков, поднес их к глазам, поправил галстук, несколько секунд читал про себя, а затем произнес в напряженной тишине: — Доктор Фехнер обнаружил, и это главное, что особенно недоброкачественной бывает работа в те дни, когда накануне вечером телевизионная передача окончилась позже двадцати трех часов. Итак, телевидение, а точнее, продолжительность передач отражается на качестве работы. Я уже говорил, что для меня это было в высшей степени поразительным выводом. Я никогда бы не предположил, что обнаружить причину так просто. Результаты исследований доктора Фехнера налицо. Вы вправе, дамы и господа, усомниться в том, что я сказал, но доктор Фехнер тщательно зафиксировал все данные. Итак, причину мы выяснили...

Четверо членов производственного совета повернулись к директору и усердно закивали.

— ...а последствия? Последствия — это сонливость, нервозность, усталость, медлительность. Можно привести еще больше симптомов, например, дремотное состояние во время работы. Но достаточно и этих важнейших явлений, хотя должен сказать, что остальные тоже нельзя считать несущественными для рабочего процесса...

— Я и без телевизора подремываю иногда за работой,— шепнул я соседке.

— В итоге,— продолжал директор,— недоброкачественная работа. Вы понимаете, что предприятие, основанное на точных экономических расчетах, не может себе позволить, с финансовой точки зрения, совершать такие промахи длительное время, конкуренция слишком велика, а то, что в интересах предприятия, в конечном счете и в интересах каждого рабочего. Разве не так?..

Теперь уже закивали многие.

— Следует добавить, что доктор Фехнер проводил свои исследования по часовому графику, точно сопоставляя их с программами телепередач.

— Каждый вечер приходится стирать и гладить,— зашептала соседка,— все равно раньше одиннадцати не управляешься.

— У меня вообще нет телевизора,— громко произнес я

Директор улыбнулся:

— У меня тоже.

Члены производственного совета сердито посмотрели в мою сторону.

— Поэтому,— продолжал директор,— я хочу внести следующее...

Он действительно вызывает симпатию, голос, правда, немного жирный, но приятный.

— ...следующее предложение, которое технически легко осуществить, потому что наше предприятие работает в одну смену и не зависит от различных факторов времени. Итак: с 1 января мы будем начинать не в шесть тридцать, а в восемь часов утра.

Главный инженер уточнил:

— С восьми до двенадцати, и с двенадцати тридцати до шестнадцати тридцати.

— Тем самым мы избежим указанных доктором Фехнером недостатков, и всем это, как я надеюсь, пойдет на пользу.

— Господи,— громко сказала моя соседка,— неужели придется возвращаться так поздно! Дома куча дел, и дети так долго будут одни, нет...

— Постойте, постойте,— прервал ее член производственного совета, восседавший по левую руку от директора.— Если это вас не устраивает, то оставайтесь дома. Производство есть производство, что бы получилось, если бы предприятие ориентировалось на каждого сотрудника в зависимости от его домашних дел. Это же...

— Что вы говорите, господин Борман! — вспылила женщина.— Разве я плохо справлялась с работой? А теперь вы хотите выставить меня за ворота, ведь это... нет, да это же...

— Не волнуйтесь, дорогая госпожа Беккер,— мягко произнес директор и рассмеялся.— Этого господин Борман не имел в виду. Он хотел сказать только, что личные интересы необходимо подчинять благу всего предприятия, это же само собой разумеется.

— Вовсе это само собой не разумеется,— громко выпалил я.

Все с ужасом уставились на меня.

Член производственного совета Борман встал и поправил галстук.

— Дамы и господа,— произнес он торжественно,— вы слышали то, что сообщил нам господин директор. Он сделал это на основании исследований господина доктора Фехнера. Мы, члены производственного совета, можем от себя только добавить: так оно и есть. Именно так.

Остальные трое согласно закивали.

— А теперь я предлагаю закончить...

— Почему? — воскликнул я.— Мы ведь только начали!

Директор громко рассмеялся.

Что тут смешного? Он, наверно, считает меня чудаком.

— ...предлагаю закончить,— продолжал Борман, бросив на меня сердитый взгляд,— и принять решение о том, что с 1 января вводится такой распорядок рабочего времени, какой предложил руководитель предприятия.

— А кривая производительности учитывалась при составлении нового графика? — спросил я.

— Что, что? — переспросил Борман.

— Пожалуйста, повторю,— сказал я, поднявшись.— Ты, значит, считаешь, что нам следует сейчас решить: с 1 января начинать работу в восемь.

— Конечно,— вскипел Борман.— Какие тут могут быть еще разговоры! — Он презрительно махнул рукой.

Остальные трое закивали.

— А я-то думал,— воскликнул я,— что нас собрали здесь для обсуждения. Выходит, проще было остаться дома.

— Господа, господа! — вмешался директор.— Не горячитесь, прежде всего спокойствие.

— Чего тут обсуждать? — выкрикнул Борман, теперь он по-настоящему обозлился.— Кому нужна бесполезная болтовня!

— К чему тогда вообще это совещание, если нас не хотят выслушать,— сказал я раздраженно.— Почему бы просто не вывесить на доске объявлений приказ? Я бы куда с большей пользой провел свободное время. Господин директор сам сказал, что он хотел бы принять решение не единолично и не по согласованию с одним производственным советом, а еще и выслушать мнение коллектива. Зачем же ни с того ни с сего такая спешка?..

— Постойте, постойте,— прервал меня директор.— Разумеется, мы собрались, чтобы все могли высказаться. Вы знаете, что я всегда за демократию. Поэтому для меня важно знать ваше мнение. Правильно,

конечно, и то, что мы не можем равняться на каждого в отдельности, это ясно...

— Совершенно верно! — воскликнул Борман, бросив на меня торжествующий взгляд.— Полностью согласен!

— ...однако, по возможности, мы хотим достичь совместного решения. Я всегда стремился к тому — и это знают те, кто работает здесь с самого начала,— чтобы на моем заводе была демократическая атмосфера, то есть чтобы каждый имел возможность высказаться.

— И все-таки,— возразил я,— результаты исследований доктора Фехнера вызывают у меня сомнения...

— Вздор, глупости! — послышались возгласы.

— Это невероятно! — воскликнул один из членов производственного совета.

— Нельзя выдавать телевидение за пугало, виноватое во всем. А выяснил ли вообще доктор Фехнер, у кого из рабочих есть телевизоры? У меня, например, нет. У госпожи Беккер и у господина директора тоже. А сколько еще таких? Это ведь немаловажно для исследования...

— Разумеется, это выяснено! — воскликнул главный инженер.

— Извините,— сказал я,— но я не могу припомнить, чтобы меня опрашивали. Так каков же результат?

— Минуточку,— сказал он, поспешно листая бумаги.— Вот, нашел. Телевизоры есть у пятидесяти двух процентов работников нашего предприятия.

— Вот как,— сказал я,— значит, только у половины? А другой половине тоже вменяют в вину «последствия». Меня крайне удивляет, как доктор Фехнер мог прийти к такому выводу. Он утверждает, что в недоброкачественной работе с утра повинно телевидение, а потом выясняется, что телевизоры есть только у половины рабочих. Может, доктор Фехнер предполагает, что остальные смотрят у соседей? Странно, странно...

— Что странно? — спросил Борман.

— Даже очень странно,— продолжал я.— Ведь тогда все исследование доктора Фехнера вызывает сомнение.

— Это просто наглость! — воскликнул Борман.— Как ты смеешь подвергать сомнению результаты исследований ученого?

— А вот так,— сказал я,— подвергаю, и все. У меня своя голова на плечах. Или я не имею на это права только потому, что я не ученый? Возьмем простой пример: у меня и у госпожи Беккер нет телевизоров, и тем не менее мы приступаем каждое утро к работе, признаю это, усталыми, недостаточно собранными. Возможно, что в результате мы работаем не так тщательно, как надо, хотя мне не в чем себя упрекнуть...

— Мне тоже не в чем! — подтвердила соседка.

— ...значит, причины нужно искать в чем-то другом. Я лично думаю, что это причины самые обычные, человеческие. Да, господа, обычные, человеческие,— тихо, с расстановкой повторил я.— То, что человек бывает усталым даже после семи часов сна, то, что иногда он рассеян, все это нормально и естественно. Ни один человек не бывает изо дня в день в одинаковом состоянии. Одинаково работает только машина, пока не сломается.

Я сел.

— Продолжайте, пожалуйста,— сказал директор,— я вижу, вам еще что-то хочется сказать!

— Да,— ответил я,— я хотел бы сказать еще кое-что. Если станем начинать позже, не надо будет раньше ложиться спать. Будем дольше сидеть вечерами, зная, что утром можно поваляться лишний часок.

Послышался одобрительный гул.

Главный инженер и доктор Фехнер беспокойно заерзали на стульях.

— Весь этот комплекс касается ведь только готовой продукции,— заметил доктор Фехнер.

— Нет! — решительно возразил я.— В первую очередь речь идет о рабочем и о том, что можно и чего нельзя от него требовать.

— Из-за чего вы так волнуетесь? — продолжал доктор Фехнер.— В известном смысле вы, конечно, правы. Но дело не должно страдать ни в коем случае.

Члены производственного совета опять закивали.

— Если страдает рабочий, оттого что ему предъявляют невозможные требования, то тут начинает страдать и дело! — воскликнул я.— Если известно, в чем зло, то не надо усугублять его.

— Правильно, господин Форман, согласен с вами,— улыбнулся директор,— конечно, речь идет о рабочем, ему же, в конце концов, жить по новому расписанию...

— И трудиться,— добавил я.

Члены производственного совета расхохотались, словно я сострил. Дело стало принимать плохой оборот. Ведь меня отрядили сюда представлять интересы нашего цеха, а я вдруг смекнул, что отстаиваю свои собственные. Но что поделаешь, когда приходится обороняться против четырех усердно кивающих членов производственного совета, против улыбающегося директора и против этого непогрешимо-самоуверенного доктора Фехнера.

— Короче,— тут я постучал пальцем по столу и глотнул кока-колы,— короче, так мы ни к чему не придем. Если я правильно понял господина директора, он, будучи под впечатлением от доклада доктора Фехнера, собрал нас, желая установить новый график рабочего дня. Он собрал нас, как я понимаю, не для того, чтобы сообщить нам о введении нового распорядка, а для того, чтобы выслушать наше мнение; итак, мы должны сказать, за что мы. Раз уж я взял слово...

— То будешь трепаться без конца! — крикнул Борман и заискивающе улыбнулся директору, ожидая его одобрения.

— ...взял слово, то хотел бы добавить следующее: доклад доктора Фехнера, конечно, интересный, но не настолько, чтобы как по команде тут же вводить новый распорядок. Не такой уж безупречный доклад, в нем есть ошибки и не учтено многое, имеющее огромное значение для правильности картины. Поэтому я против того, чтобы начинать смену позже...

— Это возмутительно! — заерзали члены производственного совета. Директор сохранял полное спокойствие.

— ...при всем моем уважении к господину доктору, я сомневаюсь в правильности результатов. В такого рода исследованиях все зависит обычно от исходной точки. Доктор Фехнер взял телевидение и строит на этом свои доказательства...

— Уж не собираешься ли ты указывать ученому, что ему брать за исходную точку? — в бешенстве вскричал Борман.

— Нет, не собираюсь, я хочу лишь кое-что уточнить.

Директора все это явно забавляло. Мне показалось, что он терпеть не может доктора Фехнера и не так уж всерьез относится к затее с новым расписанием.

— У половины рабочих нет телевизоров,— повторил я.

— Заведи другую пластинку, надоело! — крикнул Борман и со смехом добавил словами рекламы: — Передохни и выпей кока-колы!

Все расхохотались, директор громче всех. Борман просиял от удовольствия.

— У нас с госпожой Беккер нет телевизора,— продолжал я, не обращая внимания на смех,— и тем не менее до девяти утра мы допускаем какие-то ошибки. Посмотрите, что получается практически: у госпожи Беккер четверо детей, при теперешнем графике она возвращается домой в четыре часа и, таким образом, может еще много сделать по хозяйству... По новому графику она вернется домой не раньше шести, у нее почти не останется времени зайти в магазин, а с домашними делами она будет возиться до поздней ночи. Где же тут, спрашивается, выход из положения?

— Госпожа Беккер—исключительный случай!—воскликнул Борман.

— Согласен, что исключительный,— сказал я,— а вы подсчитывали, сколько у нас таких исключительных случаев? Я точно не знаю, я вижу только, как после работы из заводских ворот выходит много женщин, большей частью семейные. Есть у них телевизор или нет, это роли не играет. Так что, если разобраться, новый график ничего не решит.

— Зато исчезнет брак! — крикнул Борман.

Остальные трое закивали в знак согласия.

— Поймите же, господа! — продолжал я.— Качество работы зависит не от того, раньше или позже мы начнем смену, а от каждого человека в отдельности, от его внутреннего состояния.

Набычившись, Борман хрипло спросил, кончил ли я. Остальные члены производственного совета уставились в окно. Директор улыбался. У доктора Фехнера погухла сигара, и он пытался раскурить ее с безучастной, почти скучающей миной.

— Я за то, чтобы проголосовать,— сказал директор.— Сам я, разумеется, не приму участия. Кто за новый распорядок, прошу поднять руки.

Члены производственного совета вскинули руки прежде, чем директор успел договорить. К ним присоединились еще трое доверенных лиц. Четырнадцать голосов разделились семь на семь.

— Значит, fifty-fifty *,— засмеялся директор.— Что же будем делать?

— Прежде всего надо заткнуть рот некоторым умникам,— сказал Борман, показывая в мою сторону.

— Разрешите мне сказать? — спросил я.

— Замолчи! — крикнул Борман.— Ты уже наговорил достаточно глупостей. Хватит. Всякому терпению есть предел.

— Во многих местах собираются перенести начало работы на более раннее время,— сказал я тихо, после того как директор поощрил меня движением руки.— Например, там, где начинали в семь или восемь, будут теперь начинать в шесть и семь. Чем это вызвано? Тоже исследованиями, которые провели коллеги доктора Фехнера. Я не вижу для нас особых оснований...

— А бракованная продукция? — выкрикнул Борман.

— А кто может поручиться, что при более позднем начале работы она станет лучше? — парировал я.— Ведь это все предположения!

— Верно! — сказал один из трех доверенных, голосовавших за новый график.

— Доктор Фехнер,— продолжал я,— упустил из виду, что мы не часы и не машины, которые можно отрегулировать и пустить. Он забыл, что мы люди. Люди со своими мыслями, с настроением, и вот именно это настроение влияет порой на работу. Мы, люди, являемся главным фактором, а не какие-то придуманные программы и исследования. Надо исходить из нас, людей, а не из того, что хочется или не хочется предпринимателю.

---

* Поровну *(англ.)*.

Директор улыбался. Доктор Фехнер выудил из ящичка очередную сигару.

— Раз уж мы продаем свою рабочую силу предприятию, то ему приходится рисковать и считаться с тем, что кроме ног и рук у нас есть голова и душа и что за стенами предприятия мы живем другой жизнью, нашей настоящей, которую мы вынуждены каждый день ломать, приспосабливать к искусственным законам предприятия. Не всякому удается это сделать в ту секунду, когда он отмечается в проходной, еще никто не запатентовал способа перестраиваться по звонку на работу,— точно так же, как восьмого мая сорок пятого года не все мы стали сразу демократами.

— Не отвлекайся! — прервал меня Борман.— Нельзя же перестраиваться по три часа в день.

— Я и не отвлекаюсь. В конце концов не мы живем для предприятия, а оно существует благодаря нам. Весьма сожалею, что должен напомнить об этом именно на таком предприятии, как наше, но для меня это вопрос принципиальный.

— Но мы живем благодаря предприятию! — Борман вскочил.

— Нет, коллега Борман,— спокойно сказал я,— ты заблуждаешься. Продавая свою рабочую силу, мы получаем возможность существовать, а не жить. Жизнь, дорогуша, это совсем другое, и каждый живет по-своему.

— Ты просто болтун! — вскричал Борман.— Что ты суешься? Не о том разговор!

— Давайте проголосуем еще раз,— вмешался директор.— Кто против более позднего начала работы? Прошу поднять руки.

Мы, десять делегатов, подняли руки.

— А члены производственного совета воздерживаются? — спросил, улыбаясь, директор.

— Нет! — воскликнул Борман.— Мы голосуем за новый график.

— Итак, господа,— произнес директор,— даже если бы каждый член производственного совета располагал двумя голосами, результат был бы десять против восьми. Сожалею. Так что будем делать? У кого есть предложения?

— Этот вопрос относится, в первую очередь, к компетенции руководства предприятия и производственного совета,— высказался Борман.

— Нет, нет, дорогой,— возразил с улыбкой директор,— мне кажется, это дело всего коллектива, и хорошо, что мы тут собрались.

— Правильно! — воскликнул я.

— Но для чего тогда нужен производственный совет? — спросил Борман.

— Для чего? Для чего? Для чего? — эхом откликнулись остальные.

— Об этом, господа, вам надо спрашивать не меня,— ответил директор не без иронии.— Я совет не учреждал и не выбирал, все это учреждено свыше. А то, что приходит свыше, не обязательно приносит пользу, не говоря уже о благе.

Было заметно, что эти слова доставляют ему удовольствие. Все рассмеялись, даже члены производственного совета.

— Совет нужен, чтобы представлять интересы рабочих,— сказала госпожа Беккер.

— Не только, госпожа Беккер, не только,— возразил директор.

— Но я впервые вижу, чтобы производственный совет выступал против интересов коллектива,— сказал старик Зиберг, сидевший рядом со мной. Он выпил уже три бутылки кока-колы.

— Гнусная клевета! — вскричал Борман.

— Это неслыханно! Неслыханно! Неслыханно! — закудахтала троица.

— Мы руководствовались только пожеланиями коллектива,— продолжал Борман,— ибо все рабочие хотят начинать позже, да, да. Кого я ни спрашивал в цехах, все говорили: позже! Как можно позже! Никто не высказывался за сохранение нынешнего графика. Вы позволили этому типу...

— Полегче, дружок! — крикнул я.— Без оскорблений!

— ...обвести себя вокруг пальца и проголосовали против собственных убеждений. К черту! Раз вы не знаете, чего хотите, расхлебывайте сами!

— Цитирует последнего саксонского короля,— заметил я Зибергу.

Тот недоуменно посмотрел на меня.

— Тише, тише, господа,— воскликнул директор, не улыбнувшись,— не надо волноваться! Спокойствие прежде всего... Дамы и господа, я хочу внести компромиссное предложение,— он опять заулыбался.— Отложим пока этот вопрос. Я поручу доктору Фехнеру провести на основе его данных еще одно исследование, которое займет месяца полтора-два. Параллельно другой специалист исследует этот же вопрос на иной основе, независимо от доктора Фехнера. А результаты мы сопоставим. Соберемся снова, скажем, в середине или в конце марта и тогда уже примем окончательное решение. Согласны?

Все закивали, в том числе и члены производственного совета.

— Шеф не скупится,— заметила госпожа Беккер.— Специалисты наверняка обходятся не дешево.

— Наверняка,— поддакнул я.

— Чего ему потребовалось выяснять наше мнение? — недоумевал Зиберг.— На других предприятиях никого не спрашивают, берут да вывешивают распоряжение, как в третьем рейхе, и точка. Кому не нравится, иди на все четыре стороны. Чудак.

— На этом, дамы и господа, мы закрываем наше совещание. Благодарю вас.

Зашумели отодвигаемые стулья. Я прихватил со стола несколько сигарет, а Зиберг — пяток сигар.

В коридоре меня задержал директор.

— Ну и задали же вы производственному совету,— сказал он, посмеиваясь.— Браво! — Он похлопал меня по плечу.

До сих пор он вызывал у меня какую-то симпатию, а сейчас я вдруг охладел к нему. Не переношу людей, похлопывающих меня по плечу. Я же не собака, которую можно потрепать по шее. Сердито взглянув на него, я собрался было ответить резкостью, но спохватился: и без того уже достаточно наговорил сегодня.

— Что вы,— сказал я.— И не думал. Я только высказал свое личное мнение, ведь для того нас и позвали. Разве не так?

— Конечно так. Иначе вы не могли поступить. Меня это даже радует. Где вы работаете?

— В пятом цехе,— ответил я,— сверловщиком.

— А, сверловщик. Но это, пожалуй, не для вас. Вам нужна другая работа. Посмотрю, может, удастся перевести вас в экспедицию. Через месяц там освобождается место.

— Благодарю, не стоит,— ответил я.— Мне нравится моя работа, другой не надо. Хочу остаться там, где сейчас.

— Понимаю вас, понимаю. Но ведь хорошо себя чувствуешь на одном и том же месте лишь определенное время, не так ли? — Он засмеялся.— Да, а членам производственного совета вы преподали урок! Мое почтение!

Директор оглушительно расхохотался и, выйдя через вертящуюся дверь на улицу, сел в свой мощный суперлимузин.

Госпожа Беккер, с которой мы вместе пошли к вокзалу, без умолку говорила о своих домашних заботах. Меня вдруг охватило недоброе предчувствие. Я не мог отделаться от мысли, что директор пригласил представителей цехов лишь для того, чтобы столкнуть их с производственным советом. Если выяснится, что это так, надо будет в следующий раз голосовать заодно с членами совета.

Госпожа Беккер накупила по дороге полную сумку продуктов. Я помог ей донести их до вокзала. Она жила в Лютгендортмунде.

— Эти вечные поездки, господин Форман, так изматывают,— жаловалась она.— Дома ничего не успеваешь, а ведь надо подготовиться к рождеству. В этом году даже ни разу не делала большой уборки, просто руки не доходят. Муж возвращается не раньше восьми, работает во вторую смену.

— Кому вы это рассказываете, госпожа Беккер, моя жена тоже работает. Мне эта песенка знакома.

До поезда оставалось полчаса. Мы выпили по стакану пива.

— На одно мужнино жалованье не проживешь, господин Форман. Он получает пятьсот пятьдесят марок. Четверо детей. Восемьдесят пять марок за квартиру, потом вода, уборка мусора, уголь. И сверх всего четыре голодных рта, которые день ото дня становятся прожорливее, аппетит у них такой, что просто страшно... Об одежде уж не говорю... А пойдешь в магазин — ста марок как не бывало.

— Да, конечно,— вздохнул я.

— Муж собирался купить себе костюм на рождественское пособие, но ничего не получается. Детям нужна обувь.

— Да, конечно. Скажите, госпожа Беккер, что вы думаете о сегодняшнем совещании? Мне все это не очень нравится.

— Что думаю? Ничего.— Она рассмеялась.— Члены производственного совета еще раз продемонстрировали, как надо быть паинькой перед шефом. Да они иначе и не могут.

— Почему не могут? В конце концов...

— Бросьте, господин Форман. Двое из них построили себе недавно новые домики возле Хоэнзибурга. Шеф дал им беспроцентную ссуду. Как же им выступать против него?

— Не может быть. Да это же... Что ж вы их тогда выбрали? На шахте у нас такого бы не допустили.

— Выбрали! Господи, да вы же знаете, как это проворачивают. У них глотка здоровая. А насчет ссуды знает один старый Енучек и больше никто.

— Чех из нашего цеха?

— Ну да. Только он помалкивает. Он знает все, что творится за кулисами.

— Кто он такой? — поинтересовался я.— Мне кажется, что он пользуется на заводе большим влиянием.

— Влиянием? Нет, он только все знает. Видите ли, отец нашего шефа служил когда-то доверенным фирмы Енучека в Чехословакии.

— Что вы говорите! Значит, наш шеф...

— Да, он из судетских немцев. А у Енучека прежде был в Хебе завод электрооборудования, довольно большая фирма. Наш шеф был там учеником, а его отец — доверенным.

— Как же Енучек попал сюда?

— Точно не знаю. Должно быть, он сотрудничал с нацистами. Говорят, после войны его разыскивало чехословацкое правительство и он

долго скрывался в Нюрнберге, пока шеф не вызволил его оттуда. Енучек продал ему свои патенты, и шеф открыл производство здесь, в Дортмунде. Тогда он и взял к себе старика.

— Вот оно как. Только зачем Енучеку работать, он мог бы жить на свой капитал? Денег у него, наверно, хватает.

— Видно, тут дело не чисто. Говорят еще, будто шеф шантажировал Енучека: грозил выдать его чехам, если тот не выложит патенты.

— Чепуха, шеф совсем не производит такого впечатления. Он выглядит очень обходительным человеком.

— Выглядит! Пока дело не коснется его кошелька, он, может, и порядочный. А вообще, ну их всех, пусть делают, что хотят. Для меня главное — получить свои деньги. Если старый Енучек действительно занимался тем, о чем говорят, то так ему и надо. Если суд не может разыскать эту сволочь, пусть судьба отомстит ему.

Господи, думал я, мир стал так тесен, но почему-то для подобных людей он все еще чересчур велик.

— Они живучи, как кошки,— сказала госпожа Беккер.— Что Енучек, что наш шеф, все они выходят сухими из воды. Куда бы жизнь их ни швырнула, они всегда приземляются на четыре лапы.

— Да, конечно.

Мы пошли к поездам. Я направился на третью, а она на шестую платформу. Я хотел было спросить у нее, что изготовляют на нашем заводе, но она уже поднялась по лестнице на переход.

Я чувствовал себя несчастным. Собирался отстаивать мнение цеха, а отстоял только собственное.

Что я скажу им в понедельник?

В передней пахло жареной рыбой. С картофельным салатом, наверно, подумал я. Вот заладила — рыба да рыба, знает же, что я терпеть не могу ее.

Ингеборг сидела в кухне у плиты, склонив голову.

Она плакала.

Я испугался, увидев ее такой жалкой. Я ждал чего угодно—приступа бешенства, истерики, ругани, но только не тихого всхлипывания. Ингеборг была похожа на обиженного ребенка.

В то же время я почувствовал облегчение: наконец-то, подумал я, она узнала, что станет матерью. Мне захотелось объяснить ей, почему нам необходим ребенок, но я не находил слов, только молча стоял перед ней и мялся, перекладывая берет из руки в руку.

— Ингеборг, дорогая, разреши объяснить тебе, ну, пожалуйста...

Вот тут-то она пустилась в рев. Я переступал с ноги на ногу, как провинившийся школьник, и разглядывал носки ботинок, ожидая чуда, которое вызволило бы меня из неприятного положения.

Наконец она подняла голову и посмотрела на меня долгим взглядом, словно, не понимая, откуда я взялся. Я хотел заговорить, но ничего не получалось. Так я и стоял, переминаясь, как вдруг Ингеборг бросилась мне на шею. Она плакала, смеялась и топала ногами по кафельному полу.

С души у меня свалился камень. Слава богу, подумал я, слава богу, она примирилась, не сердится на меня, даже радуется, свыклась с мыслью об этом. Быть может, она все время мечтала о ребенке, а я, дурак, придавал значение ее отказам. Как можно заблуждаться, как мы мало знаем друг друга.

Разжав объятия, она потащила меня в гостиную и выдвинула ящик, где лежали ножи и вилки. Движения были торопливые, она тяжело дышала.

Выхватив из ящика желтый листок бумаги, она помахала им у меня перед носом и затанцевала по комнате. Потом остановилась и снова сунула мне под нос желтую бумажку.

— Знаешь, что это? — спросила она, переводя дух.

— Нет,— растерянно ответил я.

Впрочем, я видел, что это лотерейный билет.

— Я выиграла пять тысяч! Ты понимаешь? Пять тысяч! Пять!

Я оцепенел. Все поплыло у меня перед глазами.

— Ну что ты стоишь, как пень? Делай что-нибудь, бей посуду, пляши, рычи, прыгай в окно, стукни меня, если хочешь. Только не топчись на месте!

Я не двигался.

— Все еще не дошло?

— Нет,— глухо ответил я.

— Я еще вчера хотела сказать тебе, что совпали пять цифр, но решила подождать, пока не узнаю, сколько выиграла.

— Да,— пробормотал я,— конечно.

— Разве ты не заметил вчера, как я нервничала? Даже подала на стол горячую воду вместо кофе.

— Да, конечно.

Болван, подумал я с тоской. А я-то объяснял ее вчерашнюю нервозность совсем по-иному. Так вот почему она сейчас плакала, смеялась и душила меня в объятиях. Какой же я болван!.. А я-то думал... Значит, она еще не догадывается о ребенке? Вот это хуже всего. Сказать ей сейчас? Нет, невозможно. Она превратится в фурию. Значит, всему причиной лотерейный билет!

Я был невероятно разочарован.

Ингеборг усадила меня в кресло, стащила с меня ботинки, подала шлепанцы и дымящийся кофе. Она была сейчас прежней Ингеборг далеких месяцев нашего безоблачного счастья. Постепенно и меня начала согревать мысль о пяти тысячах, я с уважением поглядывал на желтый листок, лежавший передо мной на столе.

Пять тысяч. Уйма денег.

Усевшись ко мне на колени, она целовала меня и говорила нежности, которых я не слышал уже много лет.

— Ну,— сказал я,— теперь все заботы побоку. Такое облегчение, будто я только что из-под душа. Господи, Ингеборг, вот счастье!

В душе я просил у нее прощения: ведь я часто ругал ее за то, что она тратилась по пятницам на лотерею.

Я не узнавал свою жену, она помолодела и вела себя как шаловливая девчонка.

Вспомнив, что я еще не обедал, она забегала между кухней и гостиной, принесла мне газету и спросила:

— Рыбы не хочешь? Нет? Ну и хорошо, я приготовила тебе жареной колбасы.

Появляясь в гостиной, она всякий раз целовала меня и говорила мне «дорогой». Давно я уже не слышал этого слова. Я был как во сне: понимал, что происходит, но не успевал переварить.

Ингеборг то и дело хватала со стола билет и смотрела на эту мятую бумажку, как мать на новорожденного — с огромной нежностью и не вполне еще веря, что это попискивающее существо целиком принадлежит ей. Господи, думал я, что будет, когда она узнает, что ждет ребенка. Дрожь берет при одной мысли об этом. Но теперь, утешал я себя, она уж так не рассердится, раз есть деньги на младенца и еще кое на что.

— Теперь мы можем жить без забот,— сказал я.— Наконец-то, прямо не верится.

— Да, дорогой, наконец-то.

— Сначала оплатим все долги, и еще останется. Боже мой, Ингеборг, не думать ни о взносах, ни о судебном исполнителе... И покупать без всяких рассрочек. Да я готов бежать на улицу и орать от счастья... пусть меня забирает полиция...

Ингеборг медленно вышла из кухни и, сделав неестественно большие глаза, тихо спросила:

— Что ты говоришь? Что?! — вскричала она вдруг, побагровев.

Я поднялся.

— Что с тобой, Ингеборг?

— О чем ты говоришь? Платить долги? Да ты что, сдурел?

Это было настолько неожиданно, что я снова опустился в кресло.

— Послушай, Ингеборг!..

— Молчи! Неужели ты всерьез полагаешь, что я растранжирю свои денежки на долги? Такую уйму денег! Долги заплатим и без этих пяти тысяч. У тебя котелок варит или нет? С такой суммой надо сразу приобретать что-то стоящее, иначе деньги в миг разойдутся... И не заметишь, как останешься на бобах.

— Послушай, Ингеборг, если мы развяжемся с долгами, то будем спать спокойно.

— Если ты плохо спишь, обратись к врачу. Я даже согласна, чтобы ты взял бюллетень. Теперь мы можем позволить себе отдохнуть недельку-две.

Я сидел ошеломленный. Ее шаловливость как ветром сдуло, лицо опять приняло хмурое выражение, появившееся с тех пор, как она устроилась на фабрику.

Опершись о стол, я поднялся. Передо мной лежал желтый листок, доставивший мне минутное счастье. Теперь он выглядел иначе. Этот проклятый листок еще глубже затягивал нас в долги, и надежда на облегчение переросла в чувство тяжелой подавленности. Что случилось с Ингеборг, что ее ослепило? С каждым днем она становится все более чужой; моей единственной надеждой остается ребенок. Еще не рожденный ребенок! Когда он появится, она уже не сможет сторониться меня и жить в одиночку, ведь он будет такой же частицей меня, как и ее. Мне не терпится услышать его писк, увидеть первые мокрые пеленки. Я захотел проверить, не совпадают ли цифры на проклятом билете с какими-нибудь датами в нашей жизни, и взял его в руки. Но Ингеборг бросилась ко мне и, выхватив листок, спрятала в вырез платья.

— Не трогай! — вскричала она.— Это мое. Я куплю автомобиль, а ты сдашь на права.

Лицо ее перекосила гримаса.

— Постой, Ингеборг, дай объяснить...

— Твоя болтовня мне надоела! Я сыта ею по горло! Ты отсталый, примитивный человек! Ты неудачник! Живешь мечтами и наслаждаешься! Доволен сегодняшним днем и не думаешь о том, что будет завтра. Ты не можешь очнуться даже сейчас, когда слышишь и видишь, что твоя жена выиграла пять тысяч марок. Ты просто осел!

Господи, что с ней стало.

— Значит, я должен научиться водить машину? — спросил я.

— Не хочешь, научусь сама. Так даже будет лучше, смогу ездить, когда захочу. Ну как? Будешь учиться или нет? Завтра же зайди на курсы и запишись.

— Ладно,— глухо ответил я.

— Да ты, вижу, не очень рад? Подумай, такие деньги и собственный автомобиль. Соседи лопнут от зависти, когда увидят машину перед нашим домом. Ты только представь себе их рожи!

— Да,— сказал я,— представляю.

— Теперь убедился — правильно я делала, что покупала билеты? А ты еще каркал. Господи, до чего бы мы дожили, если б я тебя во всем слушалась. Значит, тебя это не радует? Ты просто завидуешь, что выиграла я. Но к моим денежкам ты не подберешься! Это мои деньги, мои! — вскричала она.

Я посмотрел на нее. Вот до чего докатилась: уже не говорит «наше», а только «мое» или «твое».

Господи, думал я, глотая остывший кофе, не семья, а сумасшедший дом! Пожалуй, разумнее всего уступить ей сейчас, иначе она не даст мне проходу. Буду некоторое время на все соглашаться. А потом пусть делает все, что ей взбредет в голову, я и пальцем не пошевелю. Посмотрим, чем это кончится. Еще придет просить: «Юрген, пусть все станет по-прежнему, я знаю, что будет тяжело, но я постараюсь».

Уверен, что в один прекрасный день одумается не только Ингеборг, одумаются многие женщины. Но что они тогда скажут? Не проклянут ли своих мужей за то, что мы их вовремя не остановили? Когда женщина точно знает, где зарыто ее счастье, она чувствует себя на голову выше нас, мужчин, ибо мы не сознаем, к чему стремимся, а если сознаем, то не умеем это выразить.

Стоя, я проглотил несколько ломтей колбасы. Да, вкусное блюдо приготовила Ингеборг ради такого праздничного дня. Еще не остыв, она гневно поглядывала на меня.

Я бросился из дома, даже не надев пальто.

— Юрген! — крикнула она вдогонку.— Не уходи! Ю-уу-р-ге-н!

Я зашагал в сторону центра. У рынка мне встретились товарищи с нашей старой шахты.

Надо было бы ей сказать, что у нее будет ребенок, но она сочла бы меня, пожалуй, за сумасшедшего.

Пока я разговаривал с приятелями, в ушах у меня все еще стоял ее пронзительный крик: «Ю-уу-р-ге-н!»

Вжжик... вжжик... Даже чудно́ держать эту игрушечную дрель после огромного, неуклюжего, грохочущего бура, которым я орудовал в шахте. Мне всегда почему-то приходилось что-то сверлить или буравить. Не хватает только стать зубным врачом, там сверла еще меньше, зато больше заработок.

В понедельник коллеги встретили меня молчанием: они уже всё узнали. Никто со мной не разговаривал и даже не смотрел в мою сторону. Странный народ. Рассердились на меня за то, что я сорвал новый график. Дулись они часа три.

— Нечего сказать, хорошенького делегата мы выбрали,— заметил молодой парень, сидевший в дальнем конце стола.

О госпоже Беккер никто не заговаривал. Amigo рассеянно поглядывал на меня, даже забывая высунуть язык. Вот это действительно плохой признак. Amigo держал язык за зубами.

Вжжик... вжжик... вжжик. Атмосфера разрядилась только после того, как чех несколько раз обратился ко мне по имени. Он приветливо топорщил усы и повторял свое «dobre, dobre». С чехом никто не хочет портить отношения, почему — неизвестно, но люди чувствуют, что этого нельзя делать. Несколько раз чех даже громко смеялся, чего с ним, как мне позже сообщили, еще никогда не бывало. Все были убеждены, что он вообще не умеет смеяться. Когда в цехе вновь установилась обычная атмосфера, Витлих шепнул мне, что я у старика на хорошем счету. Под стариком он разумел чеха. А между тем я не обменялся с Енучеком еще ни одной связной фразой.

Вжжик... вжжик... вжжик... Неделя тянулась медленно, накопилось столько послепраздничной вялости, что размеры брака наверняка превзойдут подсчеты доктора Фехнера. Работать никому не хотелось, все еще смаковали рождественское жаркое и жили в предвкушении Нового года. Этого доктор Фехнер не учел. Цех подремывал, лень было порой раскрыть рот. Только ББ не поленилась сообщить, что ей подарили прозрачную ночную рубашку розового цвета. Витлих тут же выразил готовность помочь ей примерить обновку. ББ, не удостоив его ответом, посмотрела на меня и покраснела.

Скоро опять праздник, и все ждут его, хотя четыре рождественских дня прошли тоскливо. В сочельник мы с Ингеборг зажгли на елке свечи. Я листал подаренную ею книгу с иллюстрациями, а она весь вечер записывала в толстую тетрадь многозначные суммы. Я не проявлял любопытства к ее записям: надо же хоть рождество провести «гармонично». Часам к десяти жену разморило, она зевнула и, прихватив с собой гроссбух, легла спать. Гроссбух и утром лежал у нее под подушкой.

Это было самое тоскливое рождество в моей жизни. В армии и то было веселее — там мы хоть острили, как висельники, и мечтали о конце войны.

Вжжик... вжжик... вжжик... Оба следователя, явившиеся ко мне позавчера по делу Поленца, вели себя вежливо. Правда, они задали мне несколько странных вопросов, не имевших к Поленцу никакого отношения. Ингеборг, конечно, перепугалась и устроила мне потом сцену. Она, оказывается, предвидела, к чему приведет знакомство с такими людьми, как Поленц.

— Никто не знает, уголовники они или политические. Как только перейдут границу, все кричат, что их преследовали: еще бы, беженцам дают пособие, и немалое.— Ингеборг разошлась.— Тут целый год тянешь лямку и отказываешь себе во всем, а эти «бедняги» уже через месяц-другой живут припеваючи. Да и что скажут соседи, ведь они знают, что приходили из полиции.

Ингеборг даже всплакнула, и мне показалось, что слезы ее были искренние.

Вжжик... вжжик... вжжик... Я рассказал следователям все, что знал о Поленце и госпоже Полицик, и даже то, о чем только догадывался. Я старался припомнить все как можно точнее, особенно тот разговор с Поленцем, которому следователи, по-видимому, придавали большое значение. Они попросили меня зайти после Нового года подписать протокол, дело, мол, неспешное, следствие только началось, в восточной зоне тоже собирают материалы... До чего же они вежливо разговаривают. Поразительно.

Вжжик... вжжик... вжжик...

— Теперь ты связался еще и с полицией на нашу голову,— всхлипывала Ингеборг.

В полицейских она видит олицетворение зла, особенно если они в штатском.

Вжжик... вжжик... вжжик... Послезавтра Новый год. Не знаю еще, как выберусь из старого. По радио опять выступают с громкими речами, из года в год одно и то же. Хоть бы кто-нибудь из этих политиков сказал: «Дорогие люди! Напейтесь допьяна! Кто знает, сможете ли вы это сделать завтра. Содом и Гоморра обрушатся на нас не только с Востока, но и с Запада». Нет, никто так не скажет, ибо это непопулярно, а что непопулярно, то подрывает репутацию или по меньшей мере карьеру.

Двадцать марок, полученных за субботнее заседание, я придержал для себя: надо же, в конце концов, иметь карманные деньги, под Новый

год они быстро уплывают. А что, если купить детское приданое? Скажем, пеленки или ползунки?

Вжжик... вжжик... вжжик. Неожиданно меня осенило.

— Силло,— спросил я Amigo,— что ты делаешь на Новый год? Поедешь домой в Реджо?

Он уставился на меня.

— В Реджо? No, no, nix. Реджо далеко, много денег. Я остаюсь здесь в лагере. Пить, спать, кино.

— И прогулки по вокзалу,— добавил я, смеясь.

Он тоже рассмеялся.

— Силло,— сказал я,— а не хочешь ли провести два дня у меня? Переночуешь, места достаточно. Жена будет рада. Ну как?

Вжжик... вжжик... вжжик... Amigo бросил работу и восторженно посмотрел на всех. Потом заерзал на стуле, вскочил и, воздев руки, весело закричал:

— Я должен... должен... приходить... к тебе...

Вжжик... вжжик... вжжик...

— Обязательно приходи,— сказал я.— Чего тебе торчать в общежитии, надоели, наверно, друг другу.

Он вдруг подскочил на месте и как сумасшедший запрыгал по цеху, восклицая: «Mamma mia, o mamma mia». Подлетев ко мне, он сделал еще один замысловатый пируэт и чмокнул меня в щеку.

— Ты amigo! Ты amigo, o mamma mia, mamma mia! — вскричал он и затанцевал по цеху, напевая какой-то итальянский твист.

Чех, широко улыбнувшись, взглянул на меня.

— Dobre, dobre,— сказал он.

Витлих заметил, что мне трудно будет отвадить Силло, если он побывает хоть раз у меня дома.

— Ты не знаешь, как они привязчивы. Конечно, с ними весело, но со временем их привязчивость начинает действовать на нервы.

— Как жалко, что у меня нет своей комнаты,— воскликнула ББ,— а то бы я пригласила его к себе.

— Ну, конечно,— откликнулся Витлих,— уж он бы примерил тебе рубашечку.

Силло, остановившись, испуганно посмотрел на ББ.

— О, ночная рубашка хорошо, я приходить — не хорошо для тебя.

Все рассмеялись.

Вжжик... вжжик... вжжик... Следователи интересовались также, знаю ли я об отношениях между Поленцем и повесившимся Боровски. Я сообщил им то, что знал, в общем, не так уж много, ведь слышал-то я об этом от Поленца, а не от Карла. Следователи угостили меня сигарами. Я злился на Ингеборг, что она не угостила их ни кофе, ни рюмкой шнапса; скорее всего, они бы отказались, но Ингеборг могла, по крайней мере, предложить. Съежившись в кресле, со злым выражением лица она следила за вопросами и ответами. Слава богу, хоть молчала. Когда следователи обратились к ней с каким-то вопросом, она резко заявила, что не имеет ко всей этой истории никакого отношения и что это касается только ее мужа. Я заметил, как следователи ухмыльнулись.

Вжжик... вжжик.. вжжик... Когда они ушли, Ингеборг стала кричать, что «всю эту кашу заварили Вероника с Рози». Она опять начала всхлипывать, но на этот раз я не мог понять, плачет она в самом деле или притворяется.

Вжжик... вжжик... вжжик... Лучше бы она составила список долгов. Но она боится увидеть сумму, которая получится. Наконец-то нам вручили под расписку первое требование об уплате ста сорока шести марок. Ингеборг перепугалась, а я обрадовался. Может, хоть судебный испол-

нитель образумит ее, все-таки ей будет стыдно, если он к нам нагрянет. Однако вечером она заявила, что погасит этот мелкий должок за счет своего рождественского пособия. Она успокоилась и пришла в хорошее расположение духа. Должно быть, такие случаи ее только чуть встряхивают, а потом она опять принимается за старое. Окати я ее ведром ледяной воды, она, пожалуй, только удивилась бы, отфыркалась и спросила: «Почему не теплой?»

Вжжик... вжжик... вжжик... Не знаю, что и делать,— новая беда. Квартира у нас собственная, на улицу нас выставить не могут, но сейчас, когда я больше не работаю на шахте, угольная компания потребовала вернуть ссуду в пять тысяч марок, которую мне тогда выдали на строительство. Они, конечно, понимают, что никто не выложит им пять тысяч наличными, поэтому придумали хитрый способ: с 1 января взимать по сто двадцать марок в месяц. Куча денег, а месяц промелькнет быстро. В уведомлении, которое нам вручили под расписку, было сказано, что в случае неуплаты нас выселят. Так компания зарабатывает денежки. Кто не подпишет обязательства, того немедленно выселят. Да я бы плюнул на эту квартиру, но где сейчас найдешь другую? А потом, сколько мы вложили в нее собственных средств...

Вжжик... вжжик... вжжик... Следователи все снова и снова спрашивали меня, не говорил ли когда-нибудь Боровски о Поленце? Я отвечал отрицательно, удивляясь, что они без конца повторяют один и тот же вопрос. И еще они спросили, не подозреваю ли я, кто мог тогда донести на Карла.

— Нет,— сказал я,— подозрений у меня не было, но половина людей на шахте знала, что надписи делал Карл. Его предупреждали, а он делал свое, как непослушный ребенок. Но почему вас это интересует? — спросил я.— Ведь это не имеет к Поленцу никакого отношения, он жил в то время в Оппельне.

— Конечно, конечно,— сказали они,— вопрос не имеет значения, просто так поинтересовались.

— О, mamma mia, mamma mia,— восклицает он,— о, amigo Юрген!

Вжжик... вжжик... вжжик... После Нового года нам выдадут халаты пастельных тонов. Этим, вероятно, мы обязаны доктору Фехнеру: он говорил, что нежные тона повышают работоспособность. Людям вроде доктора Фехнера приходят в голову какие-то странные идеи; будем расхаживать как попугаи, но вообще идея занятная, а то уж слишком мрачно у нас в цеху. У каждого будет халат определенного цвета, позже выдадут запасной, чтобы можно было менять. Халаты выдаются бесплатно.

Вжжик... вжжик... вжжик... Все время вспоминаю тех четверых членов производственного совета. Такие деятели оказывают плохую услугу профсоюзу, начинаешь подозревать его в продажности. Чего доброго, настанет пора, когда придется выступать уже не против предпринимателя, а против своего собственного профсоюза. Черт, опять забыл переоформить профсоюзный билет! Наши представители что-то уж очень раскомандовались, они еще отделываются отговорками, что заботятся о нашем благе, но кто поручится, что не о своем. Они превращаются в бюрократов, а когда они станут бюрократами, нам придется объединиться с предпринимателем, чтобы прогнать их с насиженных мест. Им вообще не приходит в голову, что за письменный стол их усадили только временно. Пожалуй, профсоюзные представители не должны быть штатными служащими, а как депутаты парламента, переизбираться каждые четыре года, и не уполномоченными, а всеми рабочими. А они вечерами за игрой в кегли или в карты втихомолку делят между собой портфели, в то время как рабочий стоит в стороне, полагаясь на коллективный договор о тарифных ставках, веря в честность и в самоотверженную

защиту его интересов. Не мешало бы им поговорить с народом, порасспросить тех, кто при слове «профсоюз» отмахивается рукой,— а таких с каждым днем все больше и больше. Господи. что же будет, если нам придется выступать против собственных представителей, потому что они превратились в бонз. Придется расплачиваться за угощение, когда очнемся от экономического чуда.

Вжжик... вжжик... вжжик... С Ireной Полицик мы встретились на вокзале в Камене. Она была в отчаянии: Поленц наговорил на нее бог знает что. Она чувствует, что следователи стали относиться к ней недоверчиво.

— Я им говорю: «Но ведь я рассказала вам все, что мне известно. Больше рассказывать нечего! Я объяснила вам, что покинула ГДР не потому, что мне угрожали или я была не согласна с той системой, я просто уехала потому, что не могла выдержать». Они спросили, почему же я не могла больше выдержать. если мне ничто не угрожало. «Ну, как мне вам это объяснить? Я ничего не имею против холодной воды, но не могу же я весь день сидеть в ней». Они только переглянулись и пожали плечами. Господи, что это за мир. Кругом сплошное недоверие. Я надеялась, что обрету покой, а теперь все начинается сначала. Хотя, в сущности, это никогда не прекращалось. Следователи пожимают плечами, когда я спрашиваю, верят ли они мне. Переглядываются и качают головами, будто я рассказываю небылицы. Что же мне делать, господин Форман?

Она умоляюще смотрела на меня. Было очень холодно, но я не хотел заходить в вокзальный ресторан — еще встретишь каких-нибудь знакомых, потом сплетен не оберешься. Так мы и продолжали стоять на автобусной остановке у рынка.

— Говорите правду, госпожа Полицик,— посоветовал я.— Только правду.

— Ах,— вздохнула она,— если бы не существовало так много правд, они скорее поверили бы мне, чем Поленцу.

— Не надо зря волноваться,— сказал я,— все уляжется.

Я легонько похлопал ее по плечу и зашагал домой. Ирена догнала меня и схватила за руку.

— Постойте,— умоляла она,— ради бога, не уходите! Мне нужно выговориться, не могу же я рассказывать об этом детям.

Ее низкий голос привлекал внимание. Прохожие оборачивались на нас. Ее горячность смущала меня все больше и больше.

— Только бы, наконец, вырваться из Массена,— продолжала она,— не зависеть от этого пособия, всякий раз тебе дают его как милостыню. Знаете, начать бы работать, жить по-человечески, зарабатывать своими руками. Тогда совсем иначе относишься и к людям и к государству, в котором живешь... надеюсь. что госпожа Боровски поможет мне.

— Конечно,— сказал я.— Она добрая и хозяйственная женщина, позаботится о ваших дочках.

Вжжик... вжжик... вжжик... Господи, неужели мне придется всю жизнь провести в этом помещении? Каждое утро натягивать голубой, красный, желтый или зеленый халат, брать в руки дрель и сверлить в пластине пятнадцать отверстий, так и не зная, для чего это предназначается. Сверлю и сверлю, передвигая пластины Эгону Витлиху. Каждый день одно и то же, те же движения, тот же монотонный шум в цехе. Пальцы и руки живут сами по себе, голова — сама по себе, а цех — сам по себе. Человек утрачивает свою первозданность, он перестает здесь быть единым целым. При такой работе он начинает делиться на части: голова, туловище, руки. Восемь часов эти части существуют врозь, по окончании работы постепенно срастаются и только на улице превращаются снова в единое целое.

Не всегда удается собрать их сразу. Нередко голова продолжает часами жить сама по себе. А утром то же самое, только наоборот. Неужели такая уж наша жизнь, что левая рука не знает, что делает правая? Или, может, не хочет знать? Это хорошо заметно, когда наблюдаешь за ББ и Эрикой. Они работают как одержимые, аккуратно, добросовестно и быстро. Но их глаза блуждают по цеху, не воспринимая людей и предметы, а словно проникая насквозь, и мысли девушек тоже, наверно, уносятся далеко-далеко, за Рурскую автостраду, через холмы Зауэрланда и Рурскую долину к высоким гребням Доломитовых гор или к садам на берегу озера Гарда... Ну что это за жизнь? Уж не два ли человека живут в одном теле?

Вжжик... вжжик... вжжик... По дороге с вокзала я часто встречаю теперь молодого пастора, который помогал мне тогда вытаскивать из могилы Поленца. Мы останавливаемся поболтать о погоде, о неожиданных холодах и о нехватке угля, хотя его полным-полно на складах. Пастор ни разу не пригласил меня зайти в церковь — он никогда не заговаривает об этом, а когда я спрашиваю, откуда он идет, отвечает:

— Из общины, она велика и глуха.

Звучит оригинально. На днях он поинтересовался, как мне живется, как работается на новом месте. Что я ему мог сказать? Сказал, что сегодня было как вчера, а завтра будет как сегодня. Он удивленно посмотрел на меня, кашлянул и что-то пробормотал. Прощаясь, он заметил:

— Ну да, если жить только буднями, то один день похож на другой.

Вжжик... вжжик... вжжик... Странные слова он говорит. Впрочем, я тоже иногда вижу странные вещи, особенно когда лежу на диване и вглядываюсь в абстрактный рисунок обоев. Вижу, как вдруг проступают картины. Огромная гора человеческих тел. Из этой горы вырывается множество огоньков, каждый огонек горит там, где сердце. Эти огоньки разгораются в гигантское пламя, оно подымается все выше и выше над дымящими городами, и в его ослепительном жаре угасают светляки огнедышащей индустрии...

Вжжик... вжжик... вжжик... Через четверть часа рабочий день кончится, и — опять три выходных. Жалею, что пригласил Силло, не удастся подремать после обеда и почитать книгу, которая ждет меня в шкафу. Черт, не надо было приглашать, не будет теперь покоя. А может, и хорошо, что пригласил, узнаю, живет ли он только буднями или чем-нибудь еще и как ему удается всегда быть веселым. Быть может, узнаю его мир — не тот, в котором он работает, а тот, в котором живет. И еще, возможно, узнаю, как у него обстоит дело с головой и руками на работе — существуют ли они врозь или вместе, и не кажется ли ему, что восемь часов подряд в нем живут два человека. На шахте во мне тоже было два Адама, но там один сменял другого: один Адам был под землей, другой на поверхности. Вместе они никогда не встречались, такого быть не могло. Спрошу, доволен ли Силло своей судьбой... Хоть он и говорит, что в Реджо вечное солнце, но ведь одним солнцем сыт не будешь.

Вжжик... вжжик... вжжик... Было уже поздно, я собирался спать, когда раздался звонок. Пришел Фриц Ленерц. Он так и не получил места вахтера в Массене и устроился табельщиком на соседней шахте.

— Спокойная работа,— сказал он,— знаешь, я не захотел оставаться в Массене. Не потому, что работа там была бы труднее. Не хотелось видеть эту другую Германию.

— А сейчас? — спросил я.

— Сейчас? — Он рассмеялся.— Сейчас я вижу нашу Германию сквозь немытые стекла проходной будки. Понимаешь, там все ходят, все, кто были начальниками во время войны и избивали русских пленных стальными тросами. Они выкручивали русским уши. Да, тогда была ночь,

немилосердная ночь. После войны повыгоняли всех, у кого был членский билет нацистской партии. Многие, может, ничего и не делали такого, вступили в партию, чтобы семье было что жрать. А других, которые не состояли тогда в партии, не выгнали, они так и поостава́лись штейгерами, фарштейгерами, бригадирами... А ведь как они измывались над русскими военнопленными, обращались будто со скотиной, да что там, со скотиной обращаются лучше.

— Фриц,— сказал я.— Что ты мучишь себя воспоминаниями? Это было так давно, что непохоже на правду.

— Нет, не говори, я-то вижу, как сейчас они идут через проходную. Не бочком, нет. Подняв голову, как добропорядочные граждане. Но под курткой у каждого кусок стального троса, они-то не знают об этом, а я знаю. Дай им волю, они бы и нас избили. Я видел однажды, как били русского, хотел вмешаться, но фарштейгер только глянул на меня и говорит: «В лагерь захотел? Саботажник!» А нынче — попомни мои слова,— как только изменится положение на рынке труда, они скажут: «Ну, если вы не желаете!» Методы остались прежними, люди те же. С ума сойти можно. Всякую мелюзгу с нацистскими билетами посажали, они, мол, если не активно, так пассивно помогали режиму. А что творили всякие начальники? Они хоть и не были членами партии, зато активно помогали режиму. Но их не судили, и никто не заикается об этом, они, мол, выполняли свой долг, народ им благодарен за то, что получал уголь в трудное время. О стальных тросах никто уже не вспоминает. Я готов проломить им башку, когда вижу, как они подкатывают в своих лимузинах к воротам и так вот, небрежно, пальцем командуют мне: открывай, мол. Сейчас они все в ХДС или СДПГ, но в душе они остались коричневыми.

Я спросил Фрица, почему он разглядел это только теперь.

— Понимаешь,— сказал он,—я все время был под землей. Там забываешь. А теперь, теперь их лица освещает не тусклый огонек шахтерской лампочки, а солнце, вот черты и проступают резче. Поэтому я их только сейчас и разглядел.

— Что же ты собираешься делать?

— А ничего. Уже ничего не поделаешь, Юрген, все списано за давностью, если попробуешь вытащить их на свет, тебя в лучшем случае поднимут на смех, высмеют, и все. Потребуют доказательств. А у меня доказательств нет, есть лишь то, что я видел сам или слышал от других. Но бывшие мучители среди нас.

Было уже поздно, когда Фриц собрался уходить.

— Юрген,— сказал он в дверях,— до чего мы докатились, чем еще все это кончится?

Вжжик... вжжик... вжжик... У моей жены долги плюс мечты о том, что с приобретением машины все изменится. Ирена Полицик мечтает о работе, она верит, что, получив работу, снова станет человеком. А вот некоторые думают, что смогут стать людьми, если не будут работать. Вот и попробуй тут разберись. Вероника беспокоится за дочь и уже думает о детях чужой женщины, которых ей отныне будет дозволено опекать, чтобы чужая женщина могла устроиться на работу и снова стать человеком. Карл Боровски заботился о разделе мира, а потом взял и повесился. А может, он только и мечтал о смерти? У Рози все заботы и мечты связаны с новой жизнью в городе. Поленц озабочен сейчас тем, как обелить себя и очернить других, и мечтает о жизни без решетки. Директор обеспокоен браком в утренние часы и мечтает ввести новый график, чтобы избежать убытков. Члены производственного совета беспокоятся о восьми тысячах марок, которые им ссудили на домики, и, вероятно, мечтают списать эти долги. Мне не дает покоя однообразие моей жизни и мечта о ребенке.

Вжжик... вжжик... вжжик... Молодому пастору легко рассуждать, его жизнь не монотонна, и правая его рука всегда знает, что делает левая, он и его профессия — единое целое.

Вот и звонок. Конец. Три дня отдыха.

Обмениваемся рукопожатиями, желаем друг другу счастливого Нового года и расходимся.

Чех подает мне руку, но не произносит «dobre».

Странно.

Я объясняю Силло, как добраться ко мне. Он благодарит, не жалея слов и жестов, и я уже не раскаиваюсь, что пригласил его.

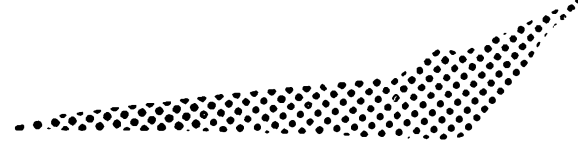
ББ улыбается мне, краснеет и уходит, покачивая бедрами.

Эрика старается ступать правильно, но это не всегда ей удается.

Я медленно бреду по городу, голова и тело опять едины.

У витрин универмага «Витгоф» останавливаюсь и разглядываю детские коляски и цены. Да, недешево. Но ничего!

За окном вагона падает густой снег. Колеса поскрипывают: вжжик... вжжик... вжжик...



ЧИНУА АЧЕБЕ

Человек из народа

РОМАН

Перевод с английского Е. ПРИГОЖИНОЙ

Глава десятая

После этой истории с велосипедом я уже не мог поговорить с Эдной так, как хотел. Но мне удалось выведать у нее, что первый день рождества она проведет в доме миссис Нанга, чтобы помочь по хозяйству, и я тотчас решил явиться туда с визитом.

На рождество Аната, как и многие другие поселки в этой части страны, словно пробуждается ото сна — народ съезжается сюда из городов, и на улицах царит веселое оживление. Молодые люди и девушки, уехавшие работать в город, возвращаются в эти дни домой с кучей денег, которые они тут же спускают. К тому же со всех концов стекаются на каникулы школьники, студенты специальных учебных заведений и те немногие счастливчики, которым удалось попасть в университет.

Мы называем их «заводилами», и вся эта хорошо одетая, уже вкусившая иной жизни молодежь сразу меняет облик нашей тихой деревни, придавая ей веселый и праздничный вид. Парни, которых я встречал в этот день, щеголяли в итальянских ботинках и узеньких брючках, а у девушек были накрашенные губы и гладко расчесанные волосы — они научились выпрямлять их горячими щипцами. Я даже видел одну девицу в брюках, что было уж из ряда вон.

Я пришел в дом мистера Нанги около одиннадцати. Эдна еще не появлялась. Вместо нее я застал в гостиной какого-то молодого человека, от которого за сто миль разило водкой; громко разглагольствуя на дикой смеси пиджин и местного диалекта, он требовал, чтобы миссис Нанга поставила ему выпивку. Судя по его виду, это был какой-то мелкий торговец из соседнего городка. Миссис Нанга обращалась с ним спокойно, но твердо. Видно было, что такие истории ей не в новинку. Пожив год-другой в богатстве, научаешься отваживать менее удачливых сородичей.

— Подай мне пива! — вопил молодой человек. Он икнул и тут же начал снова кричать:— Достопочтенный мистер Нанга мне брат, и он, что называется, важная шишка, а на меня так все шишки валятся.

Он первый рассмеялся своей остроте и осоловело уставился на нас. Я не мог удержаться от улыбки — наши торговцы вразнос славятся по всему миру своим остроумием и изворотливостью.

— Да, на меня все шишки валятся,— повторил он.— Бутылка пива стоит всего пять шиллингов, а у нашего почтенного мистера Нанги денег хоть завались. Видали, какой дом затеял? В четыре этажа!.. Прежде, бывало, если кто себе построит двухэтажный домишко, весь город сбегался смотреть. А мой родственничек отгрохал четыре этажа! Я бы мог попроситься к нему жить. Но это мне ни к чему. Я прошу бутылку обыкновенного пива, просто пива по пять шиллингов бутылка.

— А почему бы вам и в самом деле не поселиться в новом доме? — спросила миссис Нанга, чтобы переменить разговор.— Разве кто посмеет не впустить к себе брата?

С минуту он размышлял, склонив голову набок.

Окончание. Начало в № 3.

— Никто не посмеет, нет,— сказал он наконец.— Ваша правда, этот дом мой.

Новый дом, о котором шла речь и который строился неподалеку от нынешнего,— отличное четырехэтажное здание современной архитектуры — впоследствии прогремел во всех газетах. Как мы потом узнали, этот дом был не чем иным, как взяткой от европейской строительной фирмы «Антонио и сыновья», получившей благодаря Нанге полумиллионный подряд на постройку Национальной Академии наук и искусств.

Мне пришлось проторчать у миссис Нанга добрых два часа, пока наконец не приехала Эдна в посланной за нею машине. За это время я успел раздать три шиллинга трем бандам мальчишек, каждая из которых являлась со своим танцором в маске. Последнего танцора, в съехавшей набок маске и с огромным накладным брюхом, мальчишки привели на веревке; дергая за конец этой веревки, они «усмиряли» его и вообще обращались с ним так, как взрослые обращаются с настоящей ритуальной маской, которая, того и гляди, учинит какое-нибудь буйство.

Дети били в барабаны, гонги или просто в металлические пепельницы и пели:

Это праздник воскресенье,
Воскресенье праздник наш.
К нам пришел Акатаката —
Общий ужас и смятенье —
Аллилуйя, воскресенье...

Маска исполняла комический танец. Мальчишка выплясывал, размахивая несоразмерно большим мачете, и вдруг веревка, за которую его держали, развязалась... Тут бы ждать драки, кровопролития, разгрома и опустошения. Но маска смиренно отложила в сторону свой мачете, помогла ребятам связать себя и, снова взяв в руки грозное оружие, как ни в чем не бывало продолжала танец.

Пьяного родственника наконец уговорили пойти домой проспаться. Миссис Нанга открыла дверь из гостиной на террасу, служившую, должно быть, для приема важных особ, и пригласила меня посидеть пока там. Некоторое время спустя она прислала ко мне Эдну с подносом, на котором стояли бутылка пива и стакан. Эдна молча подала угощение, подошла к окну и, облокотившись на подоконник, стала смотреть на улицу.

Я потягивал пиво, не зная, что сказать. Дом мистера Нанги, право же, был самым неподходящим местом для осуществления моих планов. Но я подумал, что нельзя терять время: того и гляди, нагрянут новые гости. И словно в подтверждение моей мысли послышался барабанный бой: явилась еще одна орава мальчишек.

— Почему вы не присядете, Эдна? — спросил я, стараясь держаться как можно увереннее.

— Мне и здесь хорошо,— отозвалась она,— я смотрю, что там делается.

— А там что-нибудь происходит? — спросил я и тоже подошел к окну; мне хотелось положить руку ей на талию, но я поборол искушение — это было бы явно преждевременно.

— Да нет, просто народ гуляет, и все такие нарядные.

— Мне нужно с вами поговорить,— сказал я, возвращаясь к столу.

— Со мной? — переспросила она с непритворным удивлением.

— Да, с вами. Пойдите сюда и сядьте.

Она села, а я, прежде чем начать разговор, отхлебнул глоток пива.

— Мне хочется дать вам совет, я ведь лучше вас знаю жизнь, больше видел... И я вам друг. («Хорошее начало»,— подумал я и отпил еще глоток.) Вы сделаете непоправимую ошибку, если позволите выдать себя замуж так рано. Вы слишком молоды, чтобы вступать в брак, да к тому же еще с человеком, у которого одна жена уже есть.

— Это мама послала вас ко мне? — спросила она.

— Мама? Какая мама?.. А, миссис Нанга... Конечно нет... С чего бы ей посылать меня к вам?.. Нет, Эдна, я забочусь только о вас... Не губите свою жизнь...

— А вам-то какое до этого дело?

— Я, конечно, тут ни при чем... Но вы так прекрасны, так молоды — вы заслужили лучшего мужа, чем этот старый многоженец...

— Ведь вы говорили отцу, что он ваш друг?

— Будь он мне отцом или братом, я бы все равно... Эдна, вы заживо похороните себя... У этого человека сын почти ваш ровесник...

— Такова участь женщины,— со вздохом сказала она.

— Чепуха! Зачем вы это говорите, ведь вы же образованная девушка... Разве вы мусульманка?

Она встала и снова подошла к окну.

— Он дал нам денег, чтобы я могла учиться.

— Ну и что? — вскипел я и тут же об этом пожалел.

Я встал, подошел к ней и осторожно обнял ее за талию. Она вздрогнула, словно я дотронулся до нее раскаленным железом, и тут же вывернулась и с силой оттолкнула меня. С минуту мы молча смотрели друг на друга. Наконец она не выдержала, опустила глаза и снова повернулась к окну. Тогда и я возвратился на свое место и решил прекратить всякие разговоры. Но искушение разыграть непонятого, оскорбленного и бескорыстного доброжелателя было слишком велико.

— Эдна,— сказал я,— я прошу у вас прощения, но я хотел бы, чтобы вы меня поняли... Вы правы, я не должен был вмешиваться в ваши дела... Поставим на этом точку и забудьте все, что я вам говорил.

Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем я дождался ее ответа:

— Простите меня, Одили...

Впервые она назвала меня по имени. Я готов был запеть от радости.

— Простить? За что?

— Вы не обиделись? — спросила она, взглянув на меня с таким наивным и чистосердечным удивлением, что и каменное сердце должно было бы дрогнуть, а уж о моем нечего и говорить.

— Разве я могу обидеться на вас, Эдна? — ответил я без тени иронии.

Нельзя сказать, чтобы я многого добился, но я был доволен и этим. Такую девушку, как Эдна, приступом не возьмешь, ее надо приручать осторожно и постепенно.

Пока я размышлял обо всем этом в своей тихой Анате, мечтая и строя планы на будущее, в стране назревали важные события, которые скоро должны были захлестнуть нас всех, нарушив привычное течение жизни.

Как известно, в день Нового года наш министр внешней торговли сенатор Сулейман Вагада объявил, что таможенные сборы на некоторые импортируемые текстильные товары повышаются на двадцать процентов. Второго января оппозиционная партия ППС опубликовала подробнейшие материалы, с полной очевидностью доказывающие, что еще в октябре компания «Бритиш амальгамейтед» была кем-то предупреждена о планах нашего правительства и поспешила принять свои меры: к середине декабря она разгрузила в наших портах три судна с текстилем. Кабинет министров раскололся на два враждебных лагеря: одни требовали отставки правительства, другие, во главе с мистером Нангой, утверждали, что в этом деле замешан только министр внешней торговли и, если уж ставить вопрос об отставке, то пусть уходит он один. И тут со страниц газет полились потоки грязи. «Дейли мэчет» напечатала статейку, из которой явствовало, что мистер Нанга, в бытность свою министром внешней торговли — а он сменил этот портфель только два года назад,— занимался точно такими же делишками и на свои доходы с этих афер построил три семиэтажных жилых дома с квартирами «люкс» стоимостью в триста тысяч фунтов каждый; эти дома он записал на имя жены и сдал в аренду компании «Бритиш амальгамейтед» по тысяче четыреста фунтов в месяц за квартиру. Сначала об этом, как и о других подобных историях, говорилось только намеками, но через неделю уже ни о какой щепетильности и осторожности не было и речи.

Страна оказалась накануне серьезных беспорядков. Подняли свой голос профсоюзы и Объединение государственных служащих, и в воздухе запахло всеобщей забастовкой. Один за другим закрывались магазины — их владельцы испугались возможных грабежей. По слухам, генерал-губернатор потребовал, чтобы премьер подал в отставку, и через три недели тот действительно вынужден был это сделать.

В эти дни Макс вызвал меня в Бори для консультации, а также для того, чтобы я мог присутствовать на торжестве по случаю официального создания новой партии — Союза Трудящихся (СТ). События застали нас врасплох — ведь мы еще, можно сказать, не встали на ноги,— но это нас ничуть не огорчало. Нас, как и всех, возбуждала предгрозовая атмосфера, пьянило предвкушение жестоких схваток. Все мы знали, что приближающиеся выборы — это борьба не на жизнь, а на смерть. После семи лет всеобщей пассивности и апатии всякое действие казалось благотворным; страна, уподобившаяся за эти годы обрюзгшему, вялому человеку с дряблой кожей и жировыми складками, жаждала стряхнуть с себя сонное оцепенение. В газетах ежедневно печатались скандальные разоблачения, но они отнюдь не действовали угнетающе, напротив, у всех было приподнятое, почти праздничное настроение. Я говорю, конечно, не о таких господах, как член парламента достопочтенный мистер М. И. Нанга или сенатор Сулейман Вагада, а о простых смертных вроде меня, которые понимали, что им нечего терять.

В Анату я вернулся в новеньком «фольксвагене», с восемью тысячами в кармане и с перспективой получить еще столько же в ближайшем будущем. Я бы сразу поехал навестить Эдну, но моя ослепительная светло-кремовая машина покрылась в дороге красной пылью и бурыми брызгами грязи, и потому я решил сначала вымыть ее и отправился к себе. А потом я с шиком подкатил к дому Эдны, но оказалось, что она уехала в соседнюю деревню проведать бабушку. Отец Эдны вышел посмотреть на мою машину, и по тому, как он ее разглядывал, всякий бы подумал, что этот человек знает толк в автомобилях. После долгого и внимательного осмотра он вдруг усмехнулся и объявил, что это не машина, а черепаха.

Надо сказать, что это была наша последняя мирная встреча с ним, но, впрочем, не следует забегать вперед.

Вернувшись домой, я написал Эдне свое первое письмо, очень длинное и обстоятельное, в котором подробно изложил, почему она не должна выходить замуж за мистера Нангу.

Когда я впервые объявил, что хочу выставить свою кандидатуру в том же округе, что и мистер Нанга, все только посмеялись надо мной — все, кроме изгнанного из нашей деревни негодяя Джошиа. Поздно вечером он неизвестно откуда явился ко мне и предложил свои услуги и поддержку в избирательной кампании. Я был, конечно, благодарен ему, но я понимал, что человек с такой репутацией может погубить все наше дело и уж во всяком случае с ним не оберешься неприятностей. Поэтому я сказал ему, всячески стараясь смягчить свой отказ, что у меня нет для него никакой работы. Выслушав меня, он с минуту помолчал, а потом заявил, что я еще в этом раскаюсь, и исчез в темноте прежде, чем я успел послать его к черту.

В избирательный округ мистера Нанги (номер сто тридцать шесть по регистрационным спискам) входило пять деревень, включая Анату, где был его собственный дом, и Уруа, где я родился. Сначала я хотел сделать центром своей деятельности Анату, чтобы сразиться с Нангой в его логове, но вскоре мне пришлось отказаться от этой мысли. Дело в том, что митинг, которым я открывал избирательную кампанию, был назначен в актовом зале нашей школы, но в последнюю минуту мистер Нвеге, директор школы, сорвал его. На митинг явилось несколько жителей деревни, и я не сомневался, что они пришли послушать меня, и потому ужасно рассвирепел, увидав, что дверь в зал заперта на засов. Один из моих предполагаемых слушателей был, казалось, больше всех возмущен тем, как со мной обошлись, он даже подошел ко мне, и я решил, что он хочет мне представиться.

— Мистер Самалу? Рад вас видеть,— сказал он. Лицо его светилось дружеским участием.

Естественно, я протянул ему руку, ожидая того же с его стороны. Но он ловким ударом сбил с меня мою красную шапочку. Все, присутствовавшие при этой сцене, сочли его поступок очень забавным и громко захохотали. Я, стараясь сохранить хладнокровие и не уронить свое достоинство, не спеша нагнулся, чтобы поднять шапочку, и тут, к моему ужасу и позору, этот негодяй дал мне пинка в зад, и хотя удар был несильным, все же я очутился на четвереньках. Я готов был ринуться в драку, но грязный трус успел дать стрекача под одобрительные крики и рукоплескания тех самых людей, про которых я так доверчиво подумал, что они пришли послушать мое выступление. Это приключение отрезвило меня: я понял, что нахожусь на вражеской территории и мне следует обзавестись охраной и поскорее перебраться в родную деревню. Однако Ананта готовила мне новые сюрпризы. В тот же вечер мистер Нвеге прислал за мной мальчишку. Когда я явился к нему в его «резиденцию», он вручил мне месячное жалованье и уведомил меня, что я уволен. Я хотел было поблагодарить его: я, мол, и сам решил уходить, так что, спалив дом, уже обреченный на снос, он только избавил меня от хлопот — но он не дал мне раскрыть рта.

— Вам у нас делать нечего — вы теперь птица высокого полета,— с издевательской усмешкой сказал он.

Я так разозлился, что заготовленная фраза застряла у меня в горле.

— Зато вы, мистер Спихни-меня-за-три-пенса, сколько ни кудахтайте, выше своего насеста не взлетите,— сказал я и расхохотался ему в лицо. Он даже растерялся от неожиданности.

Наконец-то я хоть немного отвел душу после всех неприятностей этого дня.

Мистер Нвеге вскочил со стула, и я подумал, что он сейчас бросится на меня с кулаками, и, пожалуй, мне даже этого хотелось. Но не тут-то было: он выскочил в другую комнату, вероятно, за своей двустволкой или еще за чем-нибудь в этом роде,— выяснять я не стал, а предпочел смыться.

Прошло уже четыре дня после моего возвращения из Бори, и назавтра я уезжал к себе в Уруа, а я еще не повидался ни с миссис Нанга, ни с Эдной.

Честно говоря, никакого дела к миссис Нанга у меня не было. Но мы стали теперь сообщниками, и между нами завязалось нечто вроде дружбы; мне казалось поэтому, что как-то неловко уехать, не попрощавшись с ней. К тому же меня мучило любопытство: мне хотелось узнать, как она приняла известие о том, что я оспариваю депутатское кресло ее мужа. В то время я еще был достаточно наивен и не искушен в политике, чтобы задаваться подобными вопросами. Но все же поехал я к ней главным образом потому, что надеялся встретить там Эдну.

Входная дверь оказалась открытой; я вошел и громко хлопнул в ладоши.

— Кто там? — раздался из дальней комнаты голос миссис Нанга.

— Это я!

— Присядьте, я сейчас.

Я сел лицом к выходу. Вскоре я услышал, как она вошла, шлепая задниками домашних туфель и напевая себе под нос.

Я обернулся, и наши взгляды встретились. Она остановилась как вкопанная.

— Доброе утро, миссис Нанга,— сказал я.

— Что вам здесь нужно? — с трудом выговорила она, задыхаясь от негодования.

— Я забежал проститься,— сказал я, поднимаясь.

— Я не желаю с вами разговаривать, слышите? Благодарите господа, что в доме нет взрослого мужчины... Только поэтому вы смогли явиться сюда среди белого дня...

— Простите...— начал было я, но закончить фразу мне так и не удалось.

Миссис Нанга внезапно начала кричать на всю деревню, понося меня и призывая в свидетели богов: она сидела себе тихо и мирно, как подобает скромной и беззащитной женщине, а ее обидчик ворвался к ней и хорохорится в ее доме.

Когда она сорвала с себя платок и в исступлении принялась теребить его и скручивать в жгут, точно сучила веревку, как отец Эдны, я поспешил ретироваться. Но пока я шел к машине, до меня все еще доносились ее проклятия и вопли.

Было уже около полудня, и я отправился прямо в больницу анатской миссии, надеясь подкараулить там Эдну. Прождав перед воротами больше часа, я решил пройти в женскую палату, но привратник отказался пропустить во двор мою машину. Возможно, он был прав, но меня возмутила его грубость. Ведь он мог мне объяснить, что въезд в больницу на машине запрещен, если только на ней не привезли больного, а вместо этого он набросился на меня как бешеный и, тыча пальцем в объявление, заорал:

— Ты что, читать не умеешь?

— Не дури,— сказал я,— и не кричи на меня.

— Что значит не дури! Дубина! Еще на машине разъезжает! Для таких вот и писано, а он прется куда не попадя! Идиот!

Я поставил машину перед оградой и направился к зданию, стараясь не обращать внимания на крики привратника, который еще долго не мог угомониться.

— Чтоб тебе расшибиться на твоей машине! Чтоб ты себе шею свернул! Болван! — кричал он мне вдогонку.

Меня поражало его остервенение, и ведь он ненавидел меня только потому, что в его глазах я был владельцем собственной машины. От этой мысли мне стало как-то не по себе. А когда я вошел в палату и сиделка небрежно бросила мне, что моя больная вчера выписалась, я совсем упал духом. Но не в моих правилах предаваться бесплодному отчаянию. Страдание, как мне кажется, должно служить толчком к тому, чтобы добиваться чего-то хорошего, светлого. Поэтому прямо из больницы я отправился к Эдне, хотя ее отец дня за три до того предупредил меня, чтобы я не вздумал появляться у него в доме. На этот раз мне повезло, я застал Эдну одну — ее отец куда-то вышел. Скорее всего, он пошел на задний двор, чтобы облегчиться. Эдна умоляла меня уйти.

— Ни за что,— сказал я.

— Он убьет вас, если застанет здесь.

— Ну и отлично,— ответил я по-английски.

— Если вы сейчас уйдете, я сама приду к вам.

— Ничего не выйдет,— сказал я,— завтра утром я уезжаю из Анаты. Из школы меня уже уволили. Как ваша мать? Я только что ездил в больницу — хотел навестить ее.

Эдна переводила взгляд с меня на дверь комнаты, из которой, как я сообразил, должен был появиться ее отец, и снова на меня. Она буквально тряслась от страха. Признаться, ее страх доставил мне искреннюю радость. У меня было такое чувство, словно я немного пьян, отчего — я и сам не мог бы сказать.

— Умоляю вас, Одили,— снова начала она, чуть не плача.

— Повторите сто раз «умоляю вас, Одили», тогда я уйду,— ответил я, потягиваясь.

— Вы думаете, это шутки. Ну что ж, садитесь.

Она тоже села, скрестив руки на груди.

— Умоляю, Одили,— вдруг повторила она, внезапно вскакивая и в ужасе ломая руки.

— Раз! — сказал я.

— Что все это значит? — воскликнула она в отчаянии.

— Осталось еще девяносто девять.

В эту минуту со двора донесся кашель — это ее папаша прочищал глотку. Она схватила меня за руку, пытаясь стащить со стула, но я, смеясь над ее бесплодными усилиями, только поерзал и уселся поудобнее. Отец уже вернулся в дом, мы услышали его шаги.

— Вот видите... Он здесь... Что вы наделали!

Он чуточку задержался в дверях, чтобы разглядеть, что за гость к ним пожаловал, и, убедившись, что это я, подошел и остановился передо мной с угрожающим видом.

— Что тебе здесь надо? — спросил он, не повышая голоса, но таким тоном, который не предвещал ничего хорошего.— Разве я не говорил тебе, чтобы ноги твоей здесь больше не было?

— Говорили,— подтвердил я, не потрудившись даже подняться с места.

— Погоди же,— сказал он и кинулся в ту комнату, из которой только что появился. За последние дни уже столько людей набрасывалось на меня с угрозами, что на этот раз я решил посидеть и посмотреть, что из этого выйдет. Даже слезы Эдны не тронули меня. Она метнулась к двери с криком: «Мама! мама!» — и на пороге столкнулась с отцом. Он отпихнул ее в сторону и двинулся прямо на меня с занесенным мачете в руке.

— Что это с вами? — спокойно спросил я.

Эдна неистово вопила, и на ее крик, еле передвигая ноги, приковыляла больная мать. А я тем временем объяснял отцу, что пришел уговорить его и его семейство отдать мне в день выборов свои голоса.

— А мозги у этого парня в порядке? — спросил он, ни к кому в сущности не обращаясь, и я заметил, что он немного опустил мачете. К тому моменту, когда в дверях появилась мать Эдны, опасность как будто миновала.

— Ведь это тот самый молодой человек, который принес мне в больницу хлеба? — спросила мать и засеменила ко мне, протягивая худую со вздутыми жилами руку.

— А мне наплевать, что он тебе приносил,— заорал ее супруг,— я знаю одно: он подкапывается под моего зятя.

— Как так? — удивилась женщина, и муж рассказал ей, в чем дело. Она внимательно выслушала его и, подумав, сказала: — Мне-то что до этого? Они, видно, знают, что к чему: понабирались от белых. А мы что в их делах смыслим?

Я провел в этом доме час, а то и больше, и на прощание отец Эдны дал мне разумный совет, во всяком случае ему самому он казался очень разумным.

— Мой зять что бык,— сказал он,— а ты для него что клещ для быка. Клещ вопьется быку в зад, а бык его и не замечает — ест, пьет, справляет нужду, и хоть бы ему что. Куда ни пойдет, клещ все на нем. А потом прилетит белая цапля, сядет быку на спину и склюнет клеща. Поразмысли-ка об этом.

— Спасибо за совет,— сказал я.

— Говорят, тебе надавали кучу денег, чтобы ты мог побороть моего зятя,— продолжал он.— Будь у тебя хоть капля здравого смысла, ты бы припрятал эти денежки подальше и употребил бы их с толком. Смотри не проморгай своего счастья... А уж если тебе непременно хочется спустить их, что ж, я не откажусь помочь тебе в этом деле.

Просто удивительно, как быстро распространились слухи о моих намерениях. Обычно телеграмму из Бори получают в Анате через пять дней, конечно, при условии, что не бастуют почтовые служащие и ветер не сорвал телеграфные провода; слух же доходит за день, а то и быстрее.

Когда я поднялся и стал прощаться, Эдна, в течение последнего часа державшаяся как-то в тени, тоже встала, чтобы проводить меня к машине.

— А ты куда собралась? — спросил ее отец.

— Хочу проводить его...

— Проводить? Этого только не хватало... Смотри, как бы мне не пришлось тебе всыпать.

— До свиданья,— сказала она с порога.

— До свиданья,— ответил я, силясь улыбнуться.

Глава одиннадцатая

По дороге домой я снова и снова вспоминал, как хладнокровно и смело я вел себя в минуту опасности, и эта мысль всякий раз доставляла мне неизъяснимое удовольствие — будто маслом по сердцу. А как Эдна взглянула на меня при прощании! Уж, конечно, она сумела оценить мое бесстрашие. И тут я вынужден был сказать себе то, в чем до сих пор не решался признаться: я хочу завоевать Эдну, потому что она нужна мне сама по себе, а вовсе не потому, что это входит в разработанный мною план мести. Сначала я внушал себе, будто увиваюсь вокруг нее только для того, чтобы досадить мистеру Нанге, а теперь, странное дело, Эдна была для меня куда важнее, чем этот Нанга. Анализируя таким образом свое душевное состояние, я не мог не спросить себя, какое значение я придаю своей политической деятельности, как таковой. На этот вопрос я затруднялся ответить, все перемешалось: месть, проснувшееся во мне политическое честолюбие, любовь... И, пожалуй, это имело свою хорошую сторону — одни побуждения подкрепляли другие. Ведь было бы наивно полагать, будто одной только любви достаточно, чтобы отбить Эдну у министра. Правда, у меня тоже были кое-какие преимущества — молодость, образование, но что все это значило по сравнению с богатством и положением мистера Нанги и отцовской властью корыстолюбивого старика. Да, я должен был использовать все средства. Надежды отвоевать депутатский мандат у мистера Нанги у меня, в сущности, не было, но я тем не менее считал, что надо бороться, и всюду, где только можно, выводить его на чистую воду; тогда, если он и одержит победу, премьер-министр поостережется снова включить его в свой кабинет. Впрочем, имя мистера Нанги, как и многих из его коллег, было достаточно запятнано, чтобы уже сейчас лишить его всех полномочий, но у нас, к сожалению, не столь строгие нравы, как в некоторых других странах. Вот почему наша новая партия СТ должна была разоблачать все злоупотребления и предавать их широкой гласности; может быть, кто-нибудь наконец встанет и скажет: «Воруй, да знай меру. А Нанга меры не знает». Однако очень-то надеяться на это не приходилось.

Я ехал по тому самому склону, где три недели назад мы с Эдной потерпели аварию, и думал о том, сколько перемен произошло за это время, как все неустойчиво в нашей стране и как изменились мои собственные взгляды. Поступая в университет, я твердо знал, что, окончив его через три года, я стану членом привилегированного класса, символом принадлежности к которому является собственная машина. Я был так уверен в этом, что уже на втором курсе выправил себе водительские права и присмотрел машину, очень комфортабельную — сиденья в ней в один миг превращались в удобную постель. Однако последний год в университете ознаменовался для меня своего рода нравственным кризисом, который я объясняю отчасти влиянием довольно радикально настроенного преподавателя — ирландца, читавшего у нас курс всеобщей истории, отчасти тем впечатлением, которое произвело на меня весьма поучительное перерождение человека, за пять лет до этого слывшего в университете самым воинственным председателем студенческого союза. Этот вояка, остудив свой юный пыл, стал непременным секретарем министерства труда и промышленности и одним из самых богатых и самых продажных чиновников в Бори, а однажды мы прочли в газетах его выступление, в котором он заявил, что профсоюзных лидеров неплохо бы сажать под замок. На этом примере мы, студенты, поняли, как развращающе действуют на людей любые привилегии. Мы торжественно сожгли его чучело в зале студенческого союза, где он когда-то произносил свои пламенные речи, обличающие правительство, и университетское начальство оштрафовало нас за то, что мы закоптили потолок. Многие из нас дали клятву не соблазняться никакими буржуазными привилегиями, самой осязаемой из которых в нашей стране является собственная машина. И вот теперь я сидел за рулем в своем прекрасном «фольксвагене» и дорога в гору была мне нипочем, как сказала бы Эдна. Тем не менее я надеялся, что мое новое положение не развратит меня и я не уподоблюсь человеку, который всю жизнь избегал опасности, а под конец все-таки сломал себе шею.

Когда я приехал домой, мой слуга Питер вручил мне письмо в голубом конверте. Почерк на конверте был аккуратный и круглый, несомненно женский, но совсем не такой, как у Джой, моей знакомой учительницы из соседней деревни, которая время от времени писала мне. При одной мысли, что письмо от Эдны, у меня бешено заколотилось сердце. Однако этого не могло быть: ведь не прошло и часу, как мы расстались, а она даже и словом не обмолвилась ни о каком письме...

— Его привез какой-то мальчишка на велосипеде, как только вы ушли,— сказал Питер.

— Ладно,— ответил я,— можешь идти.

Я хотел сразу разорвать конверт, но мне вдруг стало страшно: кто его знает, что там, в этом письме. Да и жалко было портить такой красивый конверт.

Письмо было от Эдны. Почему же она про него даже не упомянула?

«Дорогой Одили!

Ваше послание от 10-го сего месяца получено и принято во внимание. У меня не хватает слов, чтобы выразить, как я вам благодарна за вашу братскую заботу и за ваши советы. Очень жаль, что вы не застали меня дома. Брат рассказал мне, как плохо вас встретил отец. Меня это ужасно огорчает, и я готова на коленях молить у вас прощения. Но я знаю, как вы добры и великодушны, вы простите меня даже без моей просьбы (читая это, я улыбнулся).

Я тщательно обдумала все ваши доводы против моего брака. Право, Одили, вы должны меня пожалеть. Я попала в безвыходное положение. Если я сейчас заупрямлюсь, отец убьет меня: где он возьмет денег, чтобы вернуть этому человеку все, что на меня потрачено? Поймите, дело совсем не в том, что я хочу быть женой министра, просто тут уж ничего не поделаешь. А раз нельзя этого избежать, значит, надо смириться.

Я только молю бога, чтобы он не оставил меня. Если будет на то его воля, я найду счастье с любым мужем.

Надеюсь, мы навсегда останемся друзьями. Ведь вчера — это только сон, а завтра — только мечта, но дружба нынешнего дня превращает каждое «вчера» в счастливый сон, а каждое «завтра» — в мечту, исполненную надежды.

До свидания.

Пусть будут сладостны ваши сновидения.

Искренне ваша

Эдна.

P.S. Брат сказал мне, что вы купили машину. Поздравляю и желаю дальнейших успехов. Я надеюсь, что вы меня когда-нибудь покатаете в память о нашем приключении с велосипедом. (Я опять улыбнулся)

Э д н а».

Письмо было помечено вчерашним днем. Вероятно, она ждала, чтобы я первый заговорил с нею об этом письме, а может быть, перепугавшись за меня, она просто о нем забыла.

Я перечитал его сначала стоя, потом сидя и наконец растянувшись на кровати. Кое в чем я узнавал Эдну, а кое-что (например, строки о мечтах и надеждах) было попросту списано из какого-то письмовника. Я до сих пор помню один из таких опу-

сов — «Любовные письма», составленный и изданный каким-то предприимчивым торговцем из Катаки и пользовавшийся большой популярностью среди молодежи, когда я еще учился в школе. На суперобложке было напечатано, что уже распродано 500 000 экземпляров этой книги; надо думать, это было легким преувеличением: вероятно, разошлось или, скорее всего, издатель надеялся, что разойдется несколько сот экземпляров. Иностранцы нередко удивляются тому, как мы обращаемся с цифрами. Однажды, когда я еще учился в университете, к моему отцу пришел бывший окружной начальник, с которым он когда-то работал. Начальник вышел в отставку, а через несколько лет вернулся к нам уже в качестве консультанта по вопросам кооперации и счел нужным нанести визит своему бывшему толмачу. Пока они разговаривали в гостиной, мои сводные братья и сестры появлялись один за другим, чтобы поглазеть на незнакомого гостя, так что тот наконец спросил моего отца, сколько же у него детей.

— Около пятнадцати,— отвечал мой отец.

— Около? Неужели вы не знаете точно?..

Отец только ухмыльнулся и перевел разговор на другую тему. Он, конечно, отлично знал, сколько у него детей, но разве можно вести счет детям, как будто это поголовье скота или мешки батата! Боюсь, что на этом принципе основана и статистика народонаселения в нашей стране.

Но вернемся к письму Эдны. Мысленно отбросив те фразы, в которых не отразилась ее нежная и пылкая душа, я принялся слово за словом анализировать и взвешивать содержание письма, пытаясь понять, каково же ее отношение ко мне. Меня несколько разочаровало обращение «дорогой Одили» — ведь я в своем письме называл ее «мой драгоценный друг Эдна». Если влечение обоюдно, женщина должна отвечать на письмо с равной или разве что чуточку меньшей сердечностью и теплотой; скажем, в данном случае она могла бы назвать меня «мой дорогой друг Одили». Зато в самом тексте письма кое-что показалось мне обнадеживающим, наибольшее же значение я склонен был придавать пожеланию «сладостных сновидений». Одним словом, я повеселел и укрепился в своем решении бороться с мистером Нангой.

Приехав назавтра, я прежде всего позаботился о том, чтобы подобрать себе телохранителей. Я выбрал четырех парней и старшим назначил известного головореза по имени Бонифаций, который бог знает откуда появился в нашей деревне несколько лет назад. В то время он даже не говорил на нашем языке, да и теперь еще предпочитал пиджин. Не могу поручиться, что это правда, но говорили, что руки у него не как у всех людей: в предплечье только одна кость вместо положенных двух. Случалось, он вел себя так, будто в голове у него тоже не все в порядке. Он и сам этого не отрицал и охотно рассказывал, что повредился в уме после того, как в детстве, сорвавшись с дерева, ударился затылком. Жалованье я отвалил ему немалое — десять фунтов в месяц и кормежка моя; трое остальных получали значительно меньше. Когда я отправлялся куда-нибудь по делам, связанным с выборами, Бонифаций всегда усаживался рядом со мной, а его помощники — на заднее сиденье. Число неприятных приключений во время таких поездок непрерывно росло, и в конце концов мне пришлось разрешить им брать с собой кое-какое оружие, исключительно в целях самозащиты. Под сиденьем у нас лежало пять мачете, несколько пустых бутылок и куча камней. Потом пришлось прихватить еще две двустволки. Я согласился на это скрепя сердце и лишь потому, что хулиганы вроде молодчиков из «Юного авангарда вождя Нанги», сокращенно «Нангаванга», не оставляли нас в покое. Нангавангистов с каждым днем становилось все больше. Они объявили, что ставят своей целью «уничтожение всех врагов прогресса» и «победу истинного нангаизма». Парни, на которых мы как-то раз напоролись, несли плакат: «Да здравствует нангаизм! Самалу — предатель».

Впервые увидев свое имя на плакате, я, как ни странно, сразу вырос в собственных глазах. Да и стычка с нангавангистами доставила мне немалое удовольствие, потому что эти трусы, преградившие нам дорогу, бросились врассыпную, когда Бонифаций, ухватив за ворот двух самых задиристых, сшиб их лбами и швырнул на землю. Надо было видеть, как они рухнули, словно подрубленные пальмовые стволы. В этом бою я захватил свой первый трофей — плакат с моим именем, противники же разбили камнями ветровое стекло на моей машине.

Я знаю, что это очень смешно, но с тех пор я стал искать свое имя на вражеских плакатах и бывал разочарован, если не находил его или оно встречалось недостаточно часто.

Однажды Бонифаций и один из его подручных разбудили меня чуть свет и потребовали двадцать пять фунтов. Я отлично знал, что в таком деле вымогательства не избежать, а потому и не спрашивал с них отчета за каждый израсходованный пенни, однако не следовало забывать, что вверенные мне деньги принадлежат СТ. Чтобы успокоить совесть, я делал вид, будто все же контролирую своих молодцов.

— Я ведь только вчера дал вам десять фунтов,— сказал я и хотел было уже в который раз напомнить о том, что, в отличие от наших противников, мы весьма ограничены в средствах, но Бонифаций прервал меня.

— Да ты что? — возмутился он.— Не хочешь дело делать, так и скажи — я задаром время терять не желаю. Ты что, думаешь, одной болтовней справишься с этим Нангой? Пусть правительство раскошелится, а не то ничего у нас с тобой не выйдет.

— На тигра не идут с голыми руками,— вмешался его товарищ, прежде чем я успел вставить хоть слово, чтобы рассеять чудовищное заблуждение Бонифация относительно источника наших средств.

— Правительство нам денег не дает,— удалось наконец сказать мне.— Мы — партия СТ, Союз Трудящихся. Мы хотим помочь бедному люду, таким, как вы. Зачем же правительство станет финансировать нас?

— Так откуда твой... как его там... ТС берет деньги? — озадаченно спросил Бонифаций.

— У нас есть друзья за границей,— с апломбом ответил я, хоть и сам не знал откуда, в пылу борьбы я как-то забыл об этом и думать.

— А нельзя ли послать твоим друзьям телеграмму? — осведомился подручный Бонифация.

— Сейчас не время об этом говорить. Скажите лучше, на что вам понадобилось двадцать пять фунтов. И куда вы дели вчерашние десять?

Я знал, что надо проявить твердость, и это действительно помогло.

— Три фунта десять центов мы дали полицейскому, чтобы он сорвал плакат против нас... Один фунт десять центов — секретарю суда, чтобы он не подымал шуму. Два фунта...

— Хорошо,— перебил я,— а на что вам еще двадцать пять?

— Говорят, вождь Нанга вчера приехал из Бори.

— Что ж, вы хотите и его подмазать?

— Ладно, хозяин, сейчас не до шуток. Придется заплатить кое-кому, чтобы ночью спалили его машину.

— Что? Нет-нет, этого не нужно.

С минуту все молчали.

— Послушай, приятель,— заговорил наконец Бонифаций.— Я уж тебе сказал — если ты это все не всерьез, лучше сиди себе дома и никуда не лезь. В таком деле нечего деликатничать, а ты, я вижу, джентльмена из себя корчишь. Этим их не возьмешь, министром так еще никто не становился... Ну, да мне наплевать, поступай как знаешь.

Отношение отца к моей политической деятельности оставалось для меня загадкой. Как я уже, кажется, говорил, он был председателем местной организации ПНС, и потому я полагал, что нам теперь трудно будет ужиться под одной крышей. Оказалось, что я ошибся. Он считал (хотя прямо об этом и не говорил), что истинная пружина политической деятельности — погоня за наживой, и, надо сказать, этот взгляд куда больше отвечал господствовавшему в стране умонастроению, чем возвышенный образ мыслей таких чудаков, как Макс и я. О моих делах он заговорил со мной один-единственный раз и то только для того, чтобы узнать, смогу ли я получить от своей новой партии достаточно денег, чтобы бороться с Нангой. Видно было, что он не слишком в этом уверен. Однако ему явно пришлось по душе, что кое-что я уже получил и, главное, что у меня теперь есть машина, которой он пользовался, пожалуй, не меньше, чем я сам. Мы оба на время спрятали в карман свои давнишние обиды. Однако долго этому не суждено было продолжаться, вскоре все изменилось, и опять ненадолго.

Как-то раз, когда мы сидели с отцом в нашей летней пристройке и читали вчерашние газеты, которые я только что купил в местной парикмахерской «Веселый цирюльник», я увидел, что по дороге катит «кадиллак» мистера Нанги. Я хотел было укрыться в доме, но потом передумал. Мне не из-за чего было волноваться, ведь это он, а не я пожаловал куда его совсем не звали. Я сказал отцу, который в полной растерянности смотрел на незнакомую машину, остановившуюся перед нашим домом, что приехал мистер Нанга, и он, поспешно натянув на голое тело фуфайку, выскочил встречать гостя, а на лице у него появилась нерешительная, заискивающая, как у нас говорят, «тухлая» улыбка. Я остался сидеть на месте, делая вид, что читаю.

— Здорово, Одили, мой грозный враг,— приветствовал меня мистер Нанга, разыгрывая из себя добродушного весельчака, что в данной ситуации показалось мне неслыханной дерзостью.

— Здорово,— сухо ответил я.

— Как ты здороваешься с нашим уважаемым министром! — прикрикнул на меня отец.

— Оставьте его, сэр,— сказал мистер Нанга.— Он просто дурачится. Мы с ним любим иной раз обменяться любезностями, в шутку, конечно. Посмотришь со стороны — вот-вот горло друг другу перегрызем.

Я уселся поудобнее в своем соломенном кресле и загородился газетой. Мистер Нанга предпринял еще несколько попыток вызвать меня на разговор, но я так и не раскрыл рта, хотя отец начал глупейшим образом кричать на меня, сжимая кулаки, будто собирается меня ударить. К счастью для нас обоих, он этого не сделал; ведь случись такое, мне была бы крышка — кто же захочет отдать свой голос за человека, влепившего затрещину своему отцу. Любопытно, что, как я потом припомнил, мистер

Нанга, столь горячо заступавшийся за меня или во всяком случае делавший вид, что заступается, в ту минуту внезапно замолчал, разумеется, в тайной надежде, что отец не сумеет сдержать себя. Убедившись, однако, что надежды его не оправдались, он с искусно разыгранным простодушием снова обратился к моему отцу:

— Не принимайте это так близко к сердцу, сэр. Когда же и поартачиться, как не в молодые годы?

— Пускай заведет себе собственный дом и вытворяет в нем все, что угодно, а здесь пока еще я хозяин. Меня-то он ни во что не ставит, но зачем же обижать такого почетного гостя?

— Не стоит обращать на него внимания, сэр. Я здесь не гость. Я считаю ваш дом своим, ведь вы мне все равно что отец. И если мы чего-нибудь добились там, в Бори, то только благодаря поддержке таких людей, как вы. А эти молокососы, которые возводят на меня всякую напраслину, разве что-нибудь смыслят? Прослышали, будто Нанга прикарманил десять процентов комиссионных, и подняли крик, поносят меня на всех перекрестках. Им и невдомек, что все комиссионные идут в партийный фонд.

Я немного приспустил газету, если можно так выразиться.

— Ну да,— сказал мой отец, стараясь показать, будто он в курсе дела, однако по выражению его лица я понял, что ему понадобилось огромное усилие воли, чтобы не проявить своей полной неосведомленности. Сначала его, как видно, смутили объяснения министра, но потом, вероятно, решив, что председателю местной организации ПНС следовало бы разбираться в делах своей партии, он поспешил сделать вид, будто ему все отлично известно. Как правонарушитель не может отговориться незнанием законов, так и политик не может ссылаться на незнание правил политической игры. В обоих случаях предполагается, что каждый знает то, что должен знать.

— Надо думать, ваш новый дом тоже предназначен для нужд партии? — спросил я, откладывая газету в сторону.

— Господин министр разговаривает не с тобой,— пытаясь хоть как-то спасти положение, оборвал меня отец.

— Конечно. О чем ему со мной говорить? Он ведь знает, что я все знаю, и я знаю, что он это знает. Автобусы, например, он купил, чтобы перевозить членов партии, а таможенные пошлины...

— Замолчи! — закричал отец.

— Пусть себе говорит, сэр! Когда он выложит все свои глупости, я попытаюсь ему кое-что объяснить.

Я хотел было сказать ему, чтобы он оставил свои объяснения при себе, но решил промолчать.

— Вы кончили, многоуважаемый поборник народных прав? — спросил Нанга.— Так вот, тот, кто даже не знает, чего он не знает,— просто дурак.

— Да плюньте вы на него, господин министр. Сами видите, никакого сладу с ним нет. С таким сыночком мне, старику, долго не протянуть. Пойдемте лучше в дом.

И отец увел мистера Нангу в темную и мрачную гостиную нашего каменного дома. Когда-то этот дом считался самым красивым и современным во всем селении. Теперь же, если речь заходила о наиболее приметных домах в округе, никто не вспоминал дом Эрзеки Самалу. Он уже казался старомодным — главным образом из-за высокой двускатной крыши, на которую ушло столько железа, что хватило бы на целые две кровли. И не худо было бы заменить деревянные сквозные ставни на узких, как щели, окнах, обыкновенными стеклами, чтобы впустить хоть немного света в полутемные комнаты. Вероятно, этим когда-нибудь придется заняться мне.

Я сидел в светлой, залитой солнцем пристройке, наслаждаясь своей победой и радуясь тому, что вынудил противника отступить под мрачные своды каменного дома.

Через полчаса отец вышел на порог и позвал меня.

— Да, сэр? — почтительно произнес я, не проявляя, однако, ни малейшего желания сдвинуться с места.

— Иди сюда,— сказал он.

Я не спеша поднялся и направился в дом. На круглом столике посреди гостиной стоял поднос с двумя бутылками — виски и содовой. Стакан мистера Нанги был почти не тронут, а стакан отца — как всегда, пуст.

— Садись,— сказал мне отец,— мы тебя не съедим.

Его игривый тон сразу заставил меня насторожиться. Я сел, демонстративно не глядя на мистера Нангу.

Отец перешел прямо к делу.

— Сумасшедший может бегать по улицам голый — он сраму не знает, но горе и позор его родным! Мне пришлось просить за тебя прощения у мистера Нанги. Ты пришел к нему за помощью, ты жил под его крышей, ел его хлеб, а потом плюнул ему в лицо. Как ты мог... не перебивай! Ты все это скрыл от меня. Ты публично оскорбил его и, когда ушел из его дома, стал плести против него интриги... Молчи! Меня не удивляет, что ты явился сюда и не сказал мне ни о чем ни слова. Ты никогда мне ничего не говоришь. Да и зачем? Разве я что понимаю! Разве я уже не отжил свой век!.. Молчи, не перебивай меня! И вот, после всего, что было, мистер Нанга продолжал хлопотать за тебя и сам приехал сообщить, что тебе наконец дают стипендию. Я только дивлюсь его доброте. Нет, я бы не мог так поступить. И это еще не все — ты полу-

чишь двести пятьдесят фунтов, если подпишешь эту бумагу.— И он протянул мне какой-то листок.

— Простите, если я перебил вас, сэр,— сказал мистер Нанга,— но я бы не хотел, чтобы Одили меня неправильно понял.

Он круто повернулся ко мне.

— Я тебя не боюсь. Каждый осел понимает, что ты провалишься с треском. Только сам опозоришься и залог потеряешь. И деньги я даю тебе только потому, что хочу баллотироваться один, без соперников: мои многолетние заслуги перед народом дают мне на это право. Пусть те, кто поливает меня грязью, видят, что весь народ стоит за меня. Вот почему я приехал к тебе, хотя не мешало бы дать тебе хороший урок, чтобы в другой раз при одном только слове «выборы» ты бросался удирать во все лопатки. Я знаю, что твои легкомысленные друзья уже успели вручить тебе изрядную сумму. Если у тебя осталась хоть капля здравого смысла, сбереги эти деньги, ты сможешь дать образование детям твоего отца или сделать хоть что-нибудь путное.

Я был удивительно спокоен. По правде сказать, я все это время думал об Эдне. Однако я все же заметил, что отец, услышав совет мистера Нанги, тотчас задрал нос, всем своим видом показывая, что отклоняет мое великодушное предложение, хотя я его еще не сделал, да и вовсе не собирался делать.

— Мы знаем, откуда берутся эти деньги,— продолжал мистер Нанга.— Нам все отлично известно. Пусть только пройдут выборы — мы разделаемся с этими типами. Они воображают, что могут безнаказанно приезжать сюда и снабжать деньгами безответственных мальчишек, чтобы свергнуть законное правительство. Подожди, мы им еще покажем! Ну, а ты, брат, пользуйся тем, что тебе перепало. Твой дружок Куламо поумнее тебя, он уже положил денежки в карман и уступил дорогу мистеру Коко.

— Это ложь! — воскликнул я.

— Нет, вы только посмотрите на этого политика! Он даже не знает, что творится у него за спиной. Да пока ты сидишь в этой дыре и теряешь время, твои дружки в Бори один за другим открывают счета в банке. Но что мне тебе объяснять, ты уже не ребенок. Видит бог, я сделал для тебя все, что в моих силах — твой отец свидетель. Получай свои деньги и свою стипендию и отправляйся опять изучать науки. Стране нужны образованные люди. А грязную игру в политику предоставь лучше более опытным игрокам.

— Вы ждете моего ответа? — заговорил наконец я.— Вот он: нет, нет и нет. Вы уверены, что на ваши паршивые фунты можете купить кого угодно, но вы ошибаетесь. Я буду бороться с вами всегда и везде, даже если вам удастся подкупить всю нашу партию. Вы трусите, я вижу это по вашим глазам. Вы уверяете, что не боитесь меня, тогда зачем же вы подсылаете ко мне ваших головорезов? Зачем заставляете всякую шваль таскать по улицам плакаты с моим именем? Извините, но вам придется забрать свои деньги и убраться отсюда вон, господин государственный деятель, а впрочем, какой вы деятель, вы просто дикарь!

— Одили!

Убраться пришлось мне, и притом немедленно. Проходя мимо «кадиллака», я заметил, что в нем сидят четверо или пятеро парней, и один из них показался мне знакомым, хотя я и не сумел как следует его разглядеть.

Я был уверен, что Макс не изменил нам, но почему же он до сих пор не приехал, как обещал, чтобы помочь мне начать предвыборную кампанию? Я не знал, что и думать.

Глава двенадцатая

— И безумец может сказать разумное слово,— начал свои упреки отец,— но послушай его еще немножко — и ты поймешь, что у него не все дома. Ты опять себя показал, мой сын. Когда ты приехал сюда на своей машине, я подумал: наконец-то он взялся за ум. Но не тут-то было. Так ты, значит, в самом деле хочешь тягаться с мистером Нангой! Ты что, о двух головах? Если, по-твоему, он предложил тебе слишком мало, почему ты ему прямо не сказал? Почему ты не потребовал три, четыре сотни? Да где там! У тебя разве на это ума хватит! Нет, ты норовишь оскорбить человека, который хочет тебе же добра. Может, ты воображаешь, что он завтра опять придет и поклонится тебе в ножки — сделай милость, возьми двести пятьдесят фунтов? Как бы не так. И в рай ты не попал и согрешить не сумел.

— А вам-то что за печаль? Моя потеря — не ваша. Вы в ПНС, я в СТ...

— Что поделаешь, видно, придется тебе терпеть мое брюзжание, пока ты носишь имя Самалу. Хотя недалек тот день, когда ты сам станешь звать меня, да уж я не откликнусь.

Я сразу смягчился. Я очень чувствителен к подобного рода намекам и не люблю думать о том, что человек может не откликнуться, сколько его ни зови. Немного помолчав, я заговорил уже более мирным тоном.

— Выходит, ваша партия считает, что министр вправе брать взятки?

— Что? — переспросил отец, внезапно просыпаясь: я и не заметил, как он заснул.

— Мистер Нанга уверяет, что десять процентов комиссионных, которые он берет, заключая контракты, идут в фонд партии. Это правда?

— Если аллигатор высунет пасть из воды и объявит, что крокодил заболел, разве ты станешь проверять, так ли это?

— Вот оно что,— сказал я и невольно улыбнулся, увидев, что отец уже снова задремал.

На следующий день приехал Макс со своей бригадой — всего человек двенадцать, из которых я знал только двух: Юнис, невесту Макса, и профсоюзного лидера Джо. У них была легковая машина, микроавтобус и два новехоньких вездехода с репродукторами на крыше. Когда я увидел, как хорошо они экипированы и как уверенно держатся, я впервые за много недель воспрял духом. Признаться, я позавидовал Максу, что у него такая красивая и преданная подруга. Везет же людям! И я пожалел, что не могу привести сюда Эдну, чтобы она на них посмотрела.

— Почему ты не сообщил мне о своем приезде? — спросил я Макса.— Это, конечно, ничего не меняет, но все же?

— Разве ты не получил мою телеграмму?

— Нет.

— Я телеграфировал тебе в понедельник.

— В этот понедельник? Ну, ведь сегодня только четверг, в пятницу получу.

— Техника! — сказал Макс, и все засмеялись.

Я повел их в пристройку. Отец, завидев гостей, натянул на себя свою порыжелую фуфайку и принялся каждому по очереди пожимать руку с таким энтузиазмом, будто он всей душой был на нашей стороне. Мои братья и сестры высыпали во двор и окружили машины; они строили рожи, любуясь своим отражением в сверкающей полировке. «Вероятно, машины вымыли на переправе»,— подумал я... Это было так похоже на Макса — он всегда и во всем старался быть безукоризненно аккуратным. Жены отца вышли на порог главного дома и шумно приветствовали гостей. Потом появилась Мама, старшая жена, с телеграммой в руке и торопливо направилась к нам.

— Вот,— сказала она мне,— сегодня утром получили, когда тебя не было. Я совсем забыла. Велела Эдмунду напомнить, когда ты придешь, да этот дуралей...

Все опять засмеялись, а отец, заражаясь всеобщим весельем, шутливо проворчал что-то насчет людей, которые и читать-то не умеют, а хватают чужие письма.

— Придется нам взять назад свое обвинение. А ну-ка, троекратное «ура» в честь министерства почт и телеграфов! Гип-гип...

— Ура!

— Гип-гип...

— Ура!

— Гип-гип...

— Ура!

— Мировые это парни — почтари.
Мировые это парни — почтари.
Мировые это парни — почтари.
Все мы это говорим — ура!
Все мы это говорим — ура!

Шум, смех и невиданное скопление машин привлекли внимание прохожих и соседей, и вскоре у нас во дворе уже толпился народ.

— А почему бы нам не открыть сейчас предвыборный митинг? — воскликнул вдруг Макс, и глаза у него возбужденно заблестели.

— Только не здесь,— твердо сказал я.— Мой отец — председатель местной организации ПНС, и мы поставим его в неловкое положение. Да и вообще, разве митинги так проводят!

— Чего он там болтает? — вмешался отец.— Что с того, что я в ПНС? Вам-то до этого какое дело? Всякая птица садится где хочет, и орел ястребу не помеха.

Макс и его друзья захлопали и снова прокричали троекратное «ура», на этот раз в честь моего отца. Потом включили репродукторы на полную мощность и запустили пластинку с бравурной песенкой. Пока прокрутили четыре или пять пластинок, набился уже полный двор народу. Из дому вынесли все стулья и табуреты и, расставив их полукругом, усадили стариков и деревенскую знать. На крыльце установили микрофон. Всех поразило, что, когда говоришь в эту штуку, голос раздается откуда-то совсем с другой стороны. Я слышал, как кто-то сказал: «Все-таки белый человек — колдун».

Импровизированная речь Макса, которая, вероятно, в общих чертах все же была у него заготовлена, произвела впечатление. Однако я не уверен, что для большинства она прозвучала убедительно. Строго говоря, это была даже не речь, а скорее диалог между оратором и аудиторией, вернее, наиболее горластой ее частью. Один из присутствующих доставил нам особенно много хлопот. Когда-то он служил капралом в полиции и отсидел два года в тюрьме за то, что взял с водителя грузовика

взятку в десять шиллингов. Во всяком случае, такова была официальная версия. Сам же он уверял, что все это дело подстроили потому, что он когда-то, еще до того, как наша страна получила независимость, не поладил со своим белым хозяином. Вероятно, была и третья версия, во всем винившая недоброжелателей из чужого племени. Как бы там ни было, но Капрал, как его до сих пор называли в деревне, вернувшись домой, вздумал заняться политикой и стал членом деревенского совета. Теперь он поставлял нашей деревне щебень для будущих строительных работ — у нас собирались проложить водопроводные трубы,— и про него ходили упорные слухи, что, продав кучу щебня, он ночью выкрадывал ее, а на следующий день продавал снова, и так без конца. Разумеется, он орудовал заодно с казначеем деревенского совета.

Макс начал свою речь с того, что обвинил нынешнее правительство в мошенничестве и коррупции. И когда он, приводя один пример за другим, доказывал, как наши государственные и политические деятели, которые еще пять лет назад были попросту нищими, на наших глазах превратились чуть ли не в миллионеров, в толпе то и дело раздавался смех. Но это был горький смех людей, привыкших мириться со своей участью. Никто не взывал к отмщению, никто не потрясал кулаками и не рвался в бой. Все отлично понимали, о чем толкует Макс, ведь они это наблюдали не раз. Но что тут можно было поделать?

Бывший капрал лучше всех выразил общее настроение.

— Что ж,— сказал он.— Они сами живут и другим дают. Вот воду взялись нам подвести и электричество обещают. Разве прежде у нас это было? Выходит, что и нам от них кое-что перепадает...

— Не давай их в обиду, Капрал,— крикнул кто-то.— Ты ведь тоже из их компании — любишь полакомиться за чужой счет!

В толпе опять засмеялись, и опять это был тот же горький, но беззлобный смех. Никому и в голову не приходило всерьез обвинять в чем-нибудь Капрала или затевать с ним ссору только из-за того, что он заступается за таких же пройдох, как он сам.

До сих пор Макс говорил спокойно и уверенно, не горячась. Но когда он перешел к тому, что наши теперешние правители возомнили себя привилегированным классом и хотят сесть на шею своему народу, голос его дрогнул.

— Все они заодно! — воскликнул он.— ПНС или ППС — разницы никакой.

— Что в лоб, что по лбу,— подтвердил кто-то из толпы по-английски.

— Они хотят прибрать к рукам все богатства страны и поделить их между собой. Вот почему вы не должны поддерживать их, вот почему мы образовали новую партию — Союз Трудящихся, партию, которая защищает интересы простых людей, ваши интересы. Однажды ночью охотник подстрелил крупную дичь. Он долго искал ее в кустах, но не мог найти. Тогда он решил пойти домой и дождаться утра. С первыми лучами солнца он отправился в лес, уже заранее радуясь своей добыче. И что же он там увидел? Два стервятника дрались из-за остатков растерзанной дичи. Охотник пришел в ярость. Он зарядил ружье и пристрелил мерзких птиц, которые не годились даже в пищу. Вы, может быть, скажете, что не стоило тратить на них пули, но я не могу с вами согласиться. Охотник, дав выход своему гневу, покончил с подлыми ворюгами, которые дрались из-за чужого добра. Охотник — это вы все. Да, вы, и вы, и вы. А два стервятника — это ПНС и ППС.

Раздались аплодисменты. «Неплохо»,— подумал я.

— Стервятников было три,— во всеуслышание сказал бывший капрал, как только стихли аплодисменты.— Третий и самый молодой звался СТ.

— И чего ты все перебиваешь? Дай человеку сказать,— оборвала его какая-то старуха, курившая короткую глиняную трубку.

Но многим острота Капрала, видно, пришлась по душе, кое-кто даже подошел пожать ему руку.

Заканчивая свою речь, Макс позволил себе высказывание, которое, по совести говоря, показалось мне недостойным ни его самого, ни нашей партии, но, вероятно, я слишком щепетилен.

— Счет дружбы не портит,— сказал он.— В прошлый раз вы выбрали в парламент уроженца Анаты. Теперь ваш черед. Оттого, что козел поест, курица сыта не будет, хоть они и друзья. Что наше, то наше, но уж что мое, то мое. Партия СТ призывает вас отдать свои голоса за вашего земляка Одили Самалу.

Он подошел ко мне, взял мою руку и поднял ее, а толпа приветствовала нас криками, и не было им конца.

Потом встал какой-то старик, кажется, тоже член деревенского совета. До сих пор он сидел на краешке стула, прямо перед микрофоном, обеими руками сжимая свою железную клюку. Выражение его лица и поза говорили о напряженном внимании.

— Я хочу поблагодарить молодого человека за его прекрасные слова,— сказал он.— Каждое из них нашло дорогу в мои уши. Я всегда говорю, что в наше время почитают не возраст, не звание, а ученость. И я хочу поклониться молодому человеку за его ученость. Много мудрого он сказал, но одно запало мне прямо в душу: мы должны получить свою долю, и сын нашей деревни пойдет и принесет ее нам.

Толпа зааплодировала.

— Придется Анате потесниться,— продолжал старик,— чтобы и мы могли протянуть руку к общему блюду. Ни один человек в Уруа не отдаст свой голос чужаку, раз он нужен нашему сыну. Если целебная трава, которую мы собирали в лесу, выросла теперь у нас во дворе, зачем же нам ходить за ней в такую даль? Мы люди темные и во всех этих делах что малые дети. Но одно я хочу сказать: в дом, где у ребенка прорезался первый зуб, не приходят с пустыми руками. И Уруа тоже ждет, чтобы ей что-нибудь подарили на зубок. Пусть же наш сын напомнит об этом там, в Бори, уж он сам знает, кому и как. Верно я говорю?

— Верно! — закричали ему в толпе, и народ начал расходиться.

Немного позднее я отозвал Макса в сторону и в нескольких словах рассказал ему о визите мистера Нанги.

— Напрасно ты отказался от денег,— сказал он.

— Что? — переспросил я, не веря своим ушам.

— Мистер Коко предложил мне тысячу фунтов,— невозмутимо продолжал Макс.— Я посоветовался с ребятами, и мы решили их взять. Купили на них вот этот автобусик.

— Я тебя не понимаю, Макс. Неужели ты согласился за деньги снять свою кандидатуру в пользу ППС?

— Разве я что-нибудь подобное говорил? Нам нужны были деньги, а бумажка, которую я подписал, не имеет никакой юридической силы.

— Но моральную силу она имеет,— пробормотал я, совершенно убитый.— Извини меня, Макс, но мне кажется, ты совершил большую ошибку. Я думал, что мы намерены бороться честно. Вот увидишь, теперь они пустят в ход все свои грязные уловки, и люди скажут, что мы сами виноваты.

Я был очень обеспокоен. Наш народ твердо придерживается правила: взял деньги, сделай, что обещал, в противном случае тебя ждет справедливая кара, и ни заклинания, ни амулеты, ни сам господь бог не спасут тебя от нее.

— Да брось, не о чем тут и говорить,— отмахнулся Макс.— Знаешь ли ты, что ПНС получила от «Бритиш амальгамейтед» для проведения избирательной кампании четыреста тысяч фунтов? Американцы оказались еще щедрее, хотя точных цифр у нас пока нет. Сам посуди, можно ли вести эту грязную войну в белых перчатках? Ну, нам пора, мы едем в Абагу. Я вернусь через пару дней посмотреть, все ли у тебя в порядке, и расскажу о наших дальнейших планах — ты должен быть в курсе. И послушай меня, дружище, если Нанга повторит свое предложение, соглашайся. Ведь эти деньги в такой же мере твои, как его.

— Ни за что!

— Ладно, это уже все равно чисто академический вопрос... А твой отец отличный старикан. Он мне понравился.

Когда я смотрел, как Макс и Юнис дружно делят все радости и заботы, я не мог им не позавидовать. Во время выступления Макса я поймал себя на том, что не спускаю глаз с Юнис, невольно любуясь выражением ее прекрасного лица. Она сидела на самом краешке стула, судорожно сжимая руки, как школьница перед экзаменом. Губы ее шевелились — казалось, она повторяет за Максом каждое его слово. Быть может, именно это зримое свидетельство трогательной женской преданности заставило меня изменить своей тщательно разработанной тактике и на следующее же утро отправиться к Эдне. Я решил прямо сказать ей о своей любви. Если она откажет мне, потому что я не ворую государственных денег и не разъезжаю в собственном «кадиллаке», что ж, я снесу отказ, как подобает мужчине. Во всяком случае, я не намерен был больше ни часу продолжать свою игру. Как было бы хорошо, когда приедет Макс, познакомить его с Эдной! Я уверен, он бы мне позавидовал. Эдна, конечно, не адвокат и не так искушена, как Юнис, в вопросах косметики и прочих женских ухищрений, но, когда она идет по улице, все мужчины оборачиваются ей вслед.

Что до образования, то, на мой взгляд, учености Эдне вполне хватало. Я ничего не имею против самостоятельных женщин, мне они даже нравятся, но черт с ней, с эмансипацией, если она доводит до того, что такая образованная дама как миссис Акило, соглашается за двадцать пять фунтов провести ночь с неотесанным болваном, о чем этот болван, достопочтенный мистер Нанга, не преминул сообщить мне на другой же день.

До Анаты всего пятнадцать миль, но из-за плохой дороги ехать туда минут сорок пять, не меньше, и все это время я обдумывал, что я скажу Эдне. Впрочем, что именно я скажу, было не так уж важно, главное — держаться уверенно и смело, а не мямлить, как школьник, не выучивший урока. В худшем случае она ответит мне «нет»; как говорится, двум смертям не бывать, одной не миновать. А может быть, прежде чем объясниться в любви, стоило рассказать ей обо всем, что произошло со дня нашей последней встречи? Ей, вероятно, интересно будет узнать, как ее уважаемый жених явился в мой дом, чтобы предложить мне двести пятьдесят фунтов. Это доставит ей удовольствие, а у ее жадюги папаши, если он только прослышит про деньги, пожалуй, слюнки потекут, и я сразу вырасту в его глазах.

Тут я вспомнил, как, раздумывая ночью о событиях прошедшего дня, я опять не на шутку разозлился. И не только потому, что Макс опозорил нашу партию и еще имел наглость обвинять меня в идеализме и наивности,— невольно сравнивая предложенный мне куш с тем, во что оценили Макса, я не мог не чувствовать себя задетым. Хотя, конечно, никакого значения это не имело: если бы мне предложили десять тысяч, я бы все равно отказался. Важно было совсем другое: Макс поставил под удар наше моральное превосходство, внушавшее страх таким людям, как Нанга,— я прочел этот страх у него в глазах, несмотря на все его фанфаронство; а ведь в конечном счете именно в моральной чистоте и бескомпромиссности таилась единственная надежда спасти нашу страну.

Подъезжая к дому Эдны, я на мгновение увидел ее в окне, но, очевидно, заметив меня, она поспешно скрылась. «О женщины, женщины! — подумал я.— Все они на один лад. Любая из них, даже самая красивая, всегда хочет казаться еще прекраснее, и большей частью это идет им только во вред». Впрочем, к Эдне это не относилось: пудра и всякие там притирания ничего не могли изменить — она всегда была одинаково хороша.

Когда я вошел, я застал в комнате только брата Эдны.

— Доброе утро, сэр,— сказал он, вставая мне навстречу.

— Доброе утро,— ответил я.— Это ты привез мне письмо?

— Да, сэр.

— Спасибо.

— Не стоит, сэр.

— Что ты читаешь?

Он протянул мне «Скорбь сатаны», придерживая пальцем страницу, на которой остановился. Я сел.

— Эдна дома?

— Нет, сэр.

— Как нет? А кого же я видел в окне?

Он пробормотал что-то невразумительное.

— Пойди позови ее.

Он стоял передо мной как вкопанный, уставившись в пол.

— Сейчас же позови ее! — закричал я, вскакивая со стула.

Он не двинулся с места.

— Хорошо же,— сказал я и заорал так, что, верно, было слышно на всю деревню: — Эдна!

Она немедленно прибежала.

Я уже хотел было спросить, что все это значит и какого черта... но она, не дав мне и рта раскрыть, накинулась на меня прямо с порога. Меня поразила происшедшая в ней перемена: она вся была как натянутая тетива, и каждое ее слово жалило меня, точно скорпион. Я был так ошеломлен, что лишился дара речи.

— Стыда у вас нет! — негодовала Эдна.— Мало вам своих девиц, что ли? Зачем вы сюда повадились? Ведь отец запретил вам появляться в нашем доме. Может, вам надо разнюхать еще что-нибудь для своей приятельницы миссис Нанга? И вам не совестно распускать сплетни? А еще мужчина! Идите, доложите ей поскорее, что я все-таки выхожу замуж за мистера Нангу,— вы ведь у нее на посылках! Пускай прибежит и вцепится мне в волосы, если посмеет. А вам-то чего околачиваться здесь понапрасну? Убирались бы лучше обратно в Бори, к своей потаскушке. Я была любезна с вами из уважения к мистеру Нанге, но если вы еще раз посмеете прийти сюда, вы узнаете, что значит иметь дело с Эдной Одо.

Она уже направилась было к двери, но снова обернулась и, обозвав меня по-английски «грязным сплетником», выбежала из комнаты.

Я стоял, словно пригвожденный к месту, уж и сам не знаю, как долго, и наконец братишка Эдны, видно не выдержав, сказал:

— Лучше уходите, пока не вернулся Дого. Он грозился кастрировать вас.

— Дого? Это еще кто такой? Ах, да, этот одноглазый буйвол. Так, значит, его теперь приставили к Эдне. Ну что ж, желаю им всем счастья!

К тому времени, как я, развернув машину, тронулся в путь, сжимавшее мне горло волнение уже улеглось. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что мое тогдашнее состояние и поведение противоречило всем романтическим канонам. Я должен был бы мчаться по дороге, не помня себя. На самом же деле голова у меня была совершенно ясная. Несправедливые и маловразумительные упреки Эдны, большую часть которых я не понял и уж никак не мог принять на свой счет, почему-то не сердили меня. И даже страшная мысль о том, что Нанга и на этот раз взял верх, была мне почти безразлична. Я испытывал только грусть—глубокую и спокойную, как вода в колодце. И, как в колодце, казалось мне, утонули все мои надежды: и надежда на прекрасную жизнь с Эдной, и неразрывно связанная с ней мечта о новом, безупречно чистом этапе в политической жизни нашей страны.

У меня даже мелькнула мысль, что, пожалуй, не стоит теперь добиваться осуществления моих политических планов, которые, по совести говоря, были весьма неопределенными, пока на сцене не появилась Эдна, сыгравшая роль той пылинки в насы-

щенной парами атмосфере, вокруг которой конденсируются рассеянные в воздухе водяные частицы, образуя дождевую каплю.

Однако я знал, что, какие бы мысли ни лезли мне в голову, я уже не откажусь от своих намерений. Сознание, что Нанга вышел победителем в двух раундах и, судя по всему, вероятно, победит и в третьем, последнем, не только не ослабляло во мне волю к борьбе, а, напротив, лишь укрепляло мою решимость. То, что мне предстояло, уже не было для меня просто дракой за место в парламенте, а внезапно выросло в моих глазах в символический акт, прекрасный и величественный жест, к которому не примешивались ни расчет на успех, ни надежда на вознаграждение.

Ответный удар мистера Нанги не заставил себя ждать, и, как вы догадываетесь, это был беспощадный удар.

В воскресенье я, как всегда, в двенадцать часов включил свой новый транзистор, чтобы послушать новости. В те дни я не пропускал ни одной передачи последних известий. Если я не рассчитывал вернуться домой к двенадцати, к четырем, к шести или к десяти часам, когда транслировались известия, я захватывал транзистор с собой. Эта прелестная японская игрушка размером с фотографический аппарат снабжена была наушником, который позволял, отключаясь от внешнего шума, слушать радиопередачи в любой обстановке. Если передача заставала меня в дороге, я останавливал машину у обочины и не трогался в путь, пока не прослушаю все до конца.

Эта новая моя страсть объяснялась двумя причинами. Во-первых, подобного рода недугом одержимы все, кто активно занимается политикой, это как бы профессиональная болезнь. А во-вторых, мне хотелось проследить за всеми ухищрениями и уловками нашего отечественного радиовещания. Между прочим, ни в одной передаче еще не было сказано ни слова о существовании новой партии, хотя мы регулярно давали на радио подробные сообщения о нашей деятельности. Мой Бонифаций и вся его компания вскоре заболели той же болезнью — жаждой информации, но оказалось, что слушать молча они попросту не умеют; им необходимо было вслух комментировать чуть не каждое слово, и это раздражало меня, тем более что их интерпретация событий была весьма своеобразной, а нередко и чудовищно нелепой. Я решил лишить их этого удовольствия и стал пользоваться наушником.

— Куда девались новости? — озадаченно спросил Бонифаций, когда я в первый раз прибег к этому способу.

— Приемник испортился,— сказал я.— Еле слышно, и то только у самого уха.

— Надо отдать в починку,— заметил Бонифаций.— Нельзя держать людей в темноте.

Два дня спустя я сжалился над ними и сделал вид, будто сам починил транзистор, что произвело на них большое впечатление. Дело в том, что мне стало стыдно лишать своих верных соратников единственного источника света. Но была и еще одна причина: мне как-то не хватало гневных эпитетов Бонифация — «болван», «ворюга», и т. п., которыми он награждал мистера Нангу и других министров всякий раз, когда имя одного из них упоминалось в радиопередаче, что в обычное время случалось через каждые пять секунд, а в эти напряженные дни — значительно чаще.

Однако вернемся к тому воскресному дню, о котором я начал рассказывать. Я сидел в нашей летней пристройке и с привычной уже презрительной иронией выслушивал очередную радиоболтовню. Я понимал теперь, что на передачу нашей информации надеяться не приходится, но, поскольку я не далее как в пятницу отправил телеграмму о ходе избирательной кампании в Уруа, мне казалось, что краткого упоминания мы все же можем быть удостоены. Ведь в конце концов на этих выборах впервые выступала новая партия СТ и бесспорная, хотя и молчаливая, поддержка, которую получила моя кандидатура в нашей деревне, заслуживала внимания. Правда, наша деревня была лишь одной из многих в этом избирательном округе и ее голоса еще не решали дела, но все же то, о чем сообщалось в моей телеграмме, во всем цивилизованном мире принято было считать «последними известиями».

Однако и на этот раз я обманулся в своих ожиданиях. О нас не было сказано ни слова, зато сообщалось о предвыборном митинге, на котором еще только должен был выступить мистер Нанга! Этот торжественный митинг, открывающий его предвыборную кампанию, Нанга назначал на следующий понедельник в деревне Аната. Возможно, мне стоило бы на него пойти.

Я лениво раздумывал над этим вопросом, как вдруг услышал имя своего отца. Передавали, что «согласно сведениям, полученным сегодня утром от бюро информации и пропаганды ПНС, мистер Хезекиа Самалу, председатель организации ПНС в Уруа, с позором отстранен от должности за подрывную антипартийную деятельность».

Я кинулся в дом, чтобы сообщить новость отцу, который в это время, сидя за своим низеньким круглым столиком, преспокойно уписывал пюре из батата с перцем. Выслушав меня, он снова запустил руку в миску, отправил в рот очередную порцию пюре и облизал пальцы. Я думал, что теперь он что-нибудь скажет, но он только по-

жал плечами и презрительно выпятил нижнюю губу, что должно было означать: «Пусть себе болтают», а затем снова принялся за еду.

Однако на следующий день эта болтовня обернулась уже более осязаемыми неприятностями. К отцу явился податной инспектор с повесткой об изменении суммы налога, которая отныне исчислялась не только с его пенсии, но и с дохода в пятьсот фунтов, якобы получаемого им с какого-то промысла.

— Что это еще за «промысел»? — спрашивали все вокруг. Но разбираться уже не было времени — вечером трое полицейских, в которых нетрудно было угадать заядлых курильщиков марихуаны, пришли арестовать отца, и надо сказать, что они с ним не слишком церемонились. Мне пришлось, не теряя времени, выложить двадцать четыре фунта. К счастью, я смог взять их из денег, полученных мною от СТ. Я, правда, пригрозил полицейским поднять против них дело, но эти мошенники только рассмеялись мне в лицо.

— Подымай, подымай,— сказал старший из них,— да смотри пуп не надорви, еще пригодится — тягаться с Нангой.

— Видать, что дурак,— заметил другой, уже направляясь к двери.

Но оказалось, что это еще не все: в субботу утром мы увидели, как в деревню один за другим въехали семь грузовиков и на них стали укладывать предназначенные для будущего водопровода трубы, которые те же грузовики коммунального ведомства доставили сюда несколько месяцев назад. Это было первым официальным откликом на наш скромный митинг. Что ж, по крайней мере мы наконец получили признание.

Как ни печально, но приходится согласиться, что человек, под влиянием свалившихся за него неприятностей, черствости огрубевает душой. На следующий день после истории с налогом меня вдруг прорвало. Я понимал, что Эдна все еще занимает какой-то уголок в моем сознании, и решил, подкравшись сзади, столкнуть ее в ту бездонную пропасть, которая называется забвением. Я написал ей письмо:

«Дорогая Эдна, я, право, не знаю, как в вашу хорошенькую пустую головку могла закрасться мысль, будто я собираюсь отбить вас у вашего драгоценного жениха. Ну, подумайте сами, на что мне девушка, у которой нет даже приличного образования? Ради бога, выходите за своего старика, ведь, если он не оправдает ваших надежд, вы всегда сможете воспользоваться услугами его сына.

Искренне ваш

Одили Самалу».

Глава тринадцатая

Два дня спустя мы внезапно услышали звуки гонга и крики глашатая.

До сих пор глашатай оповещал жителей деревни о возлагаемых на них общественных работах или созывал их на собрание обсудить какой-нибудь важный вопрос. На этот раз, вопреки обычаю, он извещал о решении, которое уже было принято: «Перед лицом нарастающей в стране политической борьбы деревенский совет, с одобрения старейшин и всего народа, считает своим долгом заявить, что деревня Уруа признает только одного кандидата в парламент — мистера Нангу. Как и в прошлые годы, мужчины и женщины, взрослые и дети — все до одного отдадут за него свои голоса. Ни о каком другом кандидате совету деревни и старейшинам ничего не известно». Глашатай повторял все это снова и снова, позволяя себе лишь незначительные изменения, например, опуская иногда «и дети», на что я обратил внимание, потому что упоминание о детях показалось мне с самого начала весьма нелепым. Слушая глашатая, я подумал: если таково решение самого народа, так зачем же ему об этом сообщают?

А вечером радио, наш государственный глашатай, подхватило это известие и уже в дополненном виде передало его на четырех языках, в том числе и по-английски. Я прослушал передачу с той же привычной усмешкой, с которой выслушал первый, деревенский ее вариант. Не могу сказать, чтобы я осуждал своих односельчан за то, что роль жертвенного барашка не пришлась им по сердцу. Зачем им было упускать возможность получить, наконец, водопровод — их долю общественного пирога? Проделанное ими сальто-мортале уже через два дня дало свои результаты: трубы были водворены на прежнее место или, во всяком случае, часть из них: остальные, как выяснилось, перекочевали в Ичиду, соседнюю деревню, которой тоже был обещан водопровод. Таким образом, в результате моих же стараний Нанга получил возможность одним выстрелом убить двух зайцев.

Когда на следующий день я отлучился за газетами, к отцу, как мне потом рассказали, явился Капрал и обещал вернуть ему взысканную с него сумму налога, если он согласится подписать бумагу, в которой говорилось, что он отмежевывается от безумных действий сына, что так называемый предвыборный митинг, имевший место у него во дворе, был устроен без его ведома и согласия и что он безоговорочно поддерживает нашего великого вождя мистера Нангу.

Я представил себе, как отец, нацепив на нос очки, которым он теперь уже редко находил применение, внимательно читает бумагу, а потом, отложив очки в сторону,

предлагает непрошенному гостю убраться, покуда он цел. И гость, как видно, тотчас поспешил убраться — он даже забыл свою бумагу на столе.

— Вы совершили сегодня большую ошибку,— сказал я отцу.

— Разве, по-твоему, я хоть что-нибудь в жизни делал, как надо?

— Я говорю об этой бумаге, которую вы не пожелали подписать.

С минуту помолчав, он ответил:

— Возможно, ты прав, но достойный человек не отрекается назавтра от того, что он говорил вчера — у нас так не поступают. Я принимал твоих друзей у себя дома, и я не стану этого отрицать.

«Ты отстал от века, отец,— подумал я про себя.— Достойные люди теперь попросту забывают то, что они говорили вчера». И я впервые осознал, что никогда не был достаточно близок с отцом, чтобы по-настоящему понять его. Я составил себе о нем свое собственное представление, основанное на тех отдельных фактах, которыми я располагал. Но разве в эту минуту передо мной стоял тот же человек, который, занимая должность окружного переводчика и пользуясь невежеством своих нищих и неграмотных соотечественников, сколотил себе состояние, чтобы потом просадить его на вино и многочисленных жен? Или, быть может, я всегда судил о нем неверно и однобоко? Так или иначе, мне было сейчас не до переоценок — пусть уж этим занимается налоговая инспекция.

— Но одно я хочу тебе сказать,— внезапно заметил отец,— ты всю эту кашу заварил, ты и расхлебывай. С сегодняшнего дня все извещения о налогах я буду передавать тебе.

— Ну, это пустяки,— сказал я и подумал, что это еще и в самом деле не самое страшное.

Сам не знаю, что меня дернуло отправиться на предвыборный митинг мистера Нанги. Быть может, я надеялся перенять у соперника какой-нибудь трюк, чтобы потом использовать его в борьбе против него же, или мною просто овладело любопытство, а оно, как известно, никогда не доводит до добра. Как бы то ни было, но я поехал. Правда, я позаботился о том, чтобы остаться неузнанным, для чего надел шляпу и темные очки. Я подумал было взять с собой Бонифация и его молодцов, но решил, что они только будут привлекать к себе внимание и еще, чего доброго, затеют какой-нибудь скандал. Итак, я отправился один.

Оставив машину возле почты, я прошел пешком ярдов триста до здания суда, во дворе которого был назначен митинг. По моим часам было начало пятого, и народ уже собирался. Даже если бы я плохо ориентировался в Анате, я без труда нашел бы дорогу, потому что со стороны суда доносились пальба и барабанный бой. К тому же туда направлялись толпы людей. Подойдя поближе, я услышал звуки духового оркестра — без сомнения, это старались учащиеся анатской школы. Я обогнал несколько человек, которых знал в лицо и которые, конечно, не могли меня не помнить — ведь еще недавно я учительствовал в их деревне, но никто даже не обернулся в мою сторону, из чего я заключил, что мой маскарад удался.

Не заметил меня и Джошиа, бывший торговец, который плелся передо мной, пока я не перегнал его. Он выглядел жалким — просто мокрая курица.

Свернув во двор, где должен был проходить митинг, я сразу увидел мистера Нангу — он восседал со своей свитой на высоком, крепко сколоченном помосте из свежевыструганных досок. Разумеется, такие детали, как новые доски, я разглядел уже потом, когда энергично протиснулся сквозь толпу, невзирая на брань, которая летела мне вслед. Сначала я успел заметить только одно: рядом с Нангой сидела Эдна, совсем как в тот день, когда я впервые увидел ее,— скромная послушница, неизвестно каким образом оказавшаяся среди этих людей. При виде ее я, забыв обо всем, ринулся к помосту. По другую сторону от Нанги сидела его жена. Кроме нее и Эдны на помосте были пока только мужчины, но многие стулья еще пустовали. Я остановился там, откуда мог через головы толпы наблюдать за министром и его свитой, не привлекая к себе их внимания.

Помост окружали какие-то подозрительные субъекты — как видно, из тех, кого обычно использует полиция для различного рода сомнительных услуг. Среди них был и одноглазый Дого. Тут же, конечно, толпились и нангавангисты со своими плакатами, вырядившиеся по такому поводу в зеленые шелковые ковбойки. Однако ни на одном из плакатов не было моего имени, напрасно я тогда сболтнул об этом Нанге. У подножия помоста стояло с полдюжины полицейских — на всякий случай, хотя при такой дружелюбно настроенной аудитории никаких инцидентов не приходилось ожидать.

Я задыхался от едкого запаха человеческого пота и не мог дождаться, когда наконец начнется митинг.

Мистер Нанга, в белоснежном одеянии, бодрый и свежий, как всегда, сиял своей неизменной улыбкой. Его жена, очень величественная в голубом бархатном платье, облегающем ее пышные формы, обмахивалась треугольным японским веером, слишком маленьким, чтобы оправдывать свое назначение. Время от времени она, оттянув ворот платья, дула себе на грудь. Эдна сидела с отсутствующим видом.

Наконец появились первые признаки того, что митинг все же собираются начать.

Какой-то партийный функционер в зеленой шапочке с буквами ПНС пошептался с Нанга, и тот, взглянув на часы, утвердительно кивнул. Тогда человек в зеленой шапочке схватил микрофон и начал его проверять. Неожиданно загремевший из микрофона голос вызвал смятение в толпе, но все тут же расхохотались над собственным испугом. Что-то, очевидно, не ладилось, потому что голос в микрофоне сменился длинным и пронзительным свистом. Однако вскоре свист прекратился, функционер в шапочке ПНС сосчитал от одного до десяти, и в толпе опять засмеялись. Потом он представился как член комитета партии и сказал:

— Человека, которого мы выдвигаем в кандидаты, нет необходимости представлять (черт возьми, опять! — подумал я). Это не кто иной, как наш достопочтенный министр доктор наук (уже заранее!) мистер Нанга.

Я не стал слушать длинный перечень заслуг достопочтенного мистера Нанги не только потому, что уже знал его наизусть, но и потому, что этот парень из партийного комитета, видно, сам уже оглох от собственного крика и не щадил ничьих барабанных перепонок. Я заткнул уши и в ожидании речи мистера Нанги дал волю своей фантазии. А что, если бы я сейчас протиснулся вперед, взобрался на украшенную пальмовыми листьями трибуну и, вырвав микрофон из жирных пальцев разболтавшегося фигляра, поведал толпе, всему этому сборищу жалких людишек, что великий человек, которого они встречают громом оркестра и барабанным боем,— достопочтенный пройдоха и жулик. Но, разумеется, все они это знают и сами. Мое сообщение не было бы новостью ни для кого, даже для скромной послушницы, сидевшей рядом с министром. Меня только подняли бы на смех. Что за дурак! — могли бы сказать обо мне. Откуда он взялся? Где он был, когда белые набивали себе карманы, и что он сделал, чтобы этому помешать? Где он был, когда Нанга боролся против белых, изгонял их из нашей страны? Почему теперь он не хочет, чтобы храбрый воин воспользовался плодами своей победы? Будь он на месте Нанги, разве сам он поступил бы иначе?

Но, разумеется, никто не стал бы задавать мне столь пространных вопросов, пара затрещин решила бы дело куда быстрее.

Я еще предавался этим праздным размышлениям, когда вдруг увидел, что Джошиа, изгнанный из деревни торговец, поднялся на помост, подошел к Нанге и шепнул ему что-то на ухо, после чего тот вскочил как ужаленный и принялся шарить глазами по толпе. Джошиа указал в мою сторону. Охваченный страхом, я тотчас повернулся и стал проталкиваться назад, что оказалось не так-то просто. Внезапно взревели репродукторы: всех присутствующих призывали задержать человека в шляпе и темных очках. Я сдернул с головы шляпу, и мне удалось продвинуться еще немного. Потом кто-то неуверенно попытался меня остановить, но я, вывернувшись, продолжал протискиваться сквозь гущу людей.

— Немедленно задержите вора, не дайте ему уйти! — снова загремели репродукторы. Меня схватили уже более решительно, и какая-то бесформенная туша выросла передо мной, преграждая мне путь. Но я уже и не пытался вырваться, я должен был узнать, кто посмел назвать меня вором. Я обернулся, и меня тут же стали со всех сторон подталкивать к помосту.

— Одили Великий,— приветствовал меня Нанга и громко объявил в микрофон: — Друзья мои, этот мальчишка хочет занять мое место.

Его слова были встречены взрывом негодования, послышались изумленные возгласы и издевательский смех.

— Полезай сюда,— сказал Нанга,— пусть люди посмотрят на тебя.

Меня втолкнули на помост. Поднимаясь по ступенькам, я успел заметить, что Эдна закрыла лицо руками.

— Друзья мои,— снова обратился Нанга к толпе,— я хочу, чтобы вы знали — этот мальчишка вздумал подкапываться под меня. Он жил у меня в Бори, ел мой хлеб и пил мое вино, а теперь вместо благодарности замышляет выгнать меня из моего же дома.

Толпа снова угрожающе зашумела. Но от моего испуга уже не осталось и следа, я ощущал в своем сердце только холодную отвагу, какой не испытывал еще никогда. Я смотрел, как Нанга, опьяненный собственным красноречием, с микрофоном в руке расхаживает по помосту, и чувство превосходства над ним делало меня неуязвимым.

— Я слышу, многие из вас спрашивают, кто он такой,— продолжал Нанга.— Я вам скажу. Когда-то он был моим учеником. Я научил его грамоте, я пригласил его в свой дом, чтобы устроить ему поездку в Англию. Да, я признаю свою вину, он не сам явился ко мне — я его пригласил. Вы вправе теперь упрекнуть меня...— Такое неслыханное предательство вызвало новый взрыв возмущения в толпе.— Но этого еще мало, он пытался отнять у меня девушку, за которую я заплатил полный выкуп, не говоря уже о прочих расходах, и которая по нашим законам считается моей женой. Вот эта девушка.— Он подошел к Эдне и отнял ее руки от лица.— Он пытался отобрать у меня эту девушку. Она закрывает лицо от стыда. Но, к счастью, моя жена узнала о его проделках и вовремя предупредила меня.

Повернувшись в мою сторону, он обратился теперь ко мне:

— Одили Великий! Так ты, значит, снова пришел ко мне! Ты, я вижу, не трус. А может, тебе захотелось посмотреть на Эдну? Скорее всего! А ну-ка подойди к микрофону и скажи этим людям, зачем ты пришел, они ждут твоего ответа,— и он сунул микрофон мне под нос.

— Я пришел, чтобы сказать этим людям, что вы лжец и...

Он поспешно отдернул микрофон, поставил его на место, потом подошел и ударил меня по лицу. Меня тут же схватили за руки, но я все же успел хорошенько лягнуть его. Тогда он ударил меня опять, и еще, и еще... Эдна с криком бросилась между нами, но он оттолкнул ее с такой силой, что она отлетела и шлепнулась на пол. Вокруг стоял густой рев толпы. Удары сыпались на меня теперь со всех сторон, и вот что-то тяжелое обрушилось мне на голову... Я увидел, как полицейские повернулись и не спеша зашагали прочь; больше я ничего не помню...

События, развернувшиеся в последующие несколько недель, получили такую широкую огласку, что было бы излишне рассказывать о них здесь. Да и надо сказать, мне тогда было не до политики — с меня за глаза хватало своих собственных забот. Понадобилось немало времени, чтобы зажила моя голова, я уже не говорю о сломанной руке и множестве других увечий, одно из которых грозило навсегда лишить меня надежды на продолжение рода.

Помню, как, очнувшись в больнице, я ощутил у себя на голове нечто вроде восточной чалмы. Все вокруг казалось мне зыбким и несоразмерно большим, и я подумал, что это сон. Во сне я видел Эдну, отца и Маму — они стояли возле моей кровати — и еще, через щелку в ширме, я видел двух полицейских. Но что-то давило мне изнутри на череп, билось там, ища выхода, и это ощущение было единственной реальностью в неустойчивом и расплывчатом мире. Я попытался пощупать чалму на своей голове, но резкая боль пронзила мне руку, и я снова потерял сознание. Когда я открыл глаза, отец, Мама и полицейские все еще были здесь и уже не казались такими призрачными. Эдна исчезла. Быть может, в моем горячечном состоянии она только привиделась мне. Мне показалось странным, что здесь полицейские, но эта мысль лишь смутно мелькнула в моей голове. Ведь все вообще было так необычно, и два полицейских (а когда они сменялись, то целых четыре) мало что меняли. Однажды, проснувшись утром, я обнаружил, что полицейских нет.

— Где они? — спросил я сиделку.

— Ушли.

— Почему же?

— И вы еще спрашиваете почему, вместо того чтобы благодарить бога, что ваше дело прекращено!

— Дело? — Я попытался припомнить, что это за дело, но так и не смог. С минуты на минуту должен был прийти отец, и я решил не мучиться понапрасну, а лучше спросить у него. Однако он наотрез отказался отвечать на мои вопросы, говоря, что мне нужно сначала поправиться. Тем не менее я не отставал от него до тех пор, пока не выяснил, что действительно находился под арестом: у меня было обнаружено оружие.— Оружие? Где?

— В твоей машине. Говорят, у тебя там нашли пять мачете и две двустволки. Ну да все равно — теперь уже дело прекращено.

Я постепенно припомнил все, что случилось.

— На какой день назначены выборы? — спросил я.

— Не знаю.

— Знаете, просто не хотите сказать,— проворчал я.— Могу я получить свой транзистор?

— Пока нет. Врач говорит, что тебе нужен покой.

На следующий день я опять пристал к нему с расспросами, и он, чтобы отделаться от меня, вынужден был рассказать, что хулиганы обыскали мою машину и подожгли ее, а когда меня доставили в больницу, я был взят под арест, якобы за хранение оружия, на самом же деле для того, чтобы помешать мне подписать заявление о согласии баллотироваться в парламент.

— Заявление о согласии? Но ведь я уже его подписал!

— Нет, оно не дошло до избирательной комиссии, его перехватили по дороге.

Я попытался приподняться с подушки, но отец остановил меня; впрочем, я все равно не сумел бы этого сделать.

— Теперь ты все знаешь. Больше ни о чем меня не спрашивай, слышишь? Даже здесь, в больнице, неизвестно, кто тебе друг, а кто враг. Потому-то я и стараюсь бывать здесь почаще.

При этих словах он понизил голос и покосился на дверь.

— Макс сам приходил сюда, чтобы дать тебе новое заявление на подпись, но его не впустили.

— Понятно.

Как выяснилось потом, выборы происходили в тот самый день, когда я разговаривал с отцом. Ему не составило большого труда скрыть это от меня, потому что я лежал в отдельной палате.

В ту же ночь в Абаге убили Макса, о чем я тоже узнал только на третьи сутки, а узнав, проплакал весь день. Голова у меня опять стала разламываться от боли, и я уже мечтал умереть, но врач сделал мне укол, и в конце концов я уснул.

Впоследствии Джо рассказал мне, как все это случилось. Наши агенты сообщили Максу, что хитроумная супруга мистера Коко и ее соратницы из женской организации ПНС решили, что называется, встать грудью за своего кандидата: они проносят в кабины пачки бюллетеней, которые прячут за лифчиками. Макс немедленно отправился на избирательный участок, но не успел он выйти из машины, как один из джипов мистера Коко налетел на него сзади — и он был убит на месте.

Полицейские — как оказалось, в большинстве своем переодетые наемники Коко — предприняли было слабую попытку арестовать шофера, но в эту минуту появился мистер Коко собственной персоной и, отстранив полицейских, заявил, что он сам займется расследованием этого дела. Юнис, которая тоже едва не попала под колеса джипа, сначала, как мне рассказывали, словно окаменела. Потом, придя в себя, она открыла сумочку, будто собираясь достать носовой платок, вытащила из нее пистолет и дважды выстрелила Коко в грудь. Только после этого она упала на труп Макса и зарыдала, как самая обыкновенная женщина. Полицейские оттащили ее и увели с собой. «Странная девушка»,— говорили в толпе.

Драка, разыгравшаяся в эту ночь между приспешниками Макса и головорезами Коко, послужила той искрой, из которой вспыхнул пожар недовольства и беспорядков в стране. В Анате мистер Нанга, получивший, как единственный кандидат, все голоса на выборах, попытался распустить свою лейб-гвардию, которая, надо сказать, обходилась ему недешево, но наемные бандиты, не желая расставаться с таким легким заработком, взбунтовались и в завязавшейся потасовке Дого, одноглазый верзила, лишился уха. В конце концов, оставшись не у дел, бывшие телохранители министра принялись чинить разбой и грабежи; они шныряли по всем базарам в округе, отбирая у женщин их товары и избивая всех, кто подвернется под руку. После одного из таких налетов младшая жена моего отца вернулась домой с подбитым глазом и рассказала, что у нее отобрали корзину с сушеной рыбой, которую она носила продавать. Распущенные после выборов наемники других кандидатов, прослышав про подвиги нанговских молодчиков, организовали свои банды и тоже занялись мародерством. Население было терроризировано.

Тем временем премьер-министр сформировал кабинет, куда вошли все прежние министры, в том числе и Нанга, и выступил по радио с речью, в которой заявил, что намерен навести порядок в стране, раз и навсегда покончив с бесчинствами и бандитизмом. Он заверил иностранных предпринимателей, что их капиталовложения в нашей стране находятся в полной безопасности и что его правительство остается непоколебимым, «как гибралтарская скала», в своем намерении проводить политику «открытых дверей». «Положение в стране никогда еще не было столь устойчивым,— заявил он,— и национальное единство столь прочным». Он ввел вдову мистера Коко в сенат и сделал ее министром по вопросам эмансипации женщин, рассчитывая таким образом утихомирить мощную гильдию торговок Бори, которая в последнее время все громче выражала свое недовольство.

Некоторые политические комментаторы считают, будто народ был возмущен откровенным цинизмом подобных сделок, что и привело к падению правительства. Но это совершеннейший вздор. Сам народ, как вы уже видели, был не менее циничен, чем его правители, и к тому же еще абсолютно пассивен. «Пусть их наживаются,— гласила народная мудрость.— Когда белые набивали брюхо за наш счет, разве мы лезли в петлю? Нет. И где теперь эти всесильные белые? Пришли, нажрались и ушли подобру-поздорову. А мы по-прежнему здесь. Главное — это выжить; все невзгоды минуют сами собой. Как говорят старики, воспоминания — вот что дорого для человека, а ведь только тому, кто долго проживет, будет о чем вспомнить. Да и как знать, пока ты жив, всегда может настать и твой черед; не сегодня-завтра твой сын может принести тебе твою долю».

Нет, народ не имел никакого отношения к тому, что произошло в стране. Просто отряды личной охраны наших вождей и прочий сброд, попробовав крови во время предвыборной кампании и вкусив сладость власти, совсем отбились от рук и решили скинуть своих бывших повелителей и хозяев. Никаких политических мотивов здесь не было и в помине — давайте смотреть правде в глаза.

Однажды, незадолго до того как я выписался из больницы, меня пришла навестить Эдна. Мы долго глядели друг на друга, не говоря ни слова. Как я мог объяснить ей свое письмо, в котором упрекал ее в невежестве и вообще был ужасно груб? Но недаром говорят, что нападение есть лучшее средство защиты. Я решил сразу же перейти в наступление.

— Поздравляю, теперь вашему мистеру Нанге уже не страшны никакие политические соперники,— сказал я, изобразив на своем лице нечто вроде улыбки.

Она ничего не ответила, просто продолжала смотреть на меня, но перед этим взглядом не устояло бы и каменное сердце.

— Простите меня, Эдна,— вырвалось у меня,— я вел себя как скотина... Я никогда не забуду, что вы, только вы одна, попытались прийти мне на помощь.— У меня защипало в глазах, но, взглянув на нее, я увидел, что мои непролившиеся слезы катятся у нее по щекам.— Не плачьте,— сказал я.— Эдна, любимая, не плачь. Иди сюда.

И она подошла и села ко мне на кровать!

— Эдна,— забормотал я,— не знаю, как мне тебе объяснить... Я такая скотина... Это письмо... Я был так несчастлив... ты не можешь себе представить, как я страдал... Простишь ли ты меня когда-нибудь?

— Простить? За что? Все, что вы написали,— правда.

— Не говори так, Эдна, прошу тебя. Я знаю, что я тебя обидел, но я не хотел... поверь мне. Я был в таком отчаянии, и я боялся, что ты... что ты выйдешь замуж за этого идиота. Только поэтому... клянусь тебе.— Я хотел было по привычке для подтверждения клятвы приложить палец к губам и потом указать им на небо, но сломанная рука, которая была еще в гипсе, тут же напомнила о себе, и мне пришлось проделать это левой рукой, что, вероятно, выглядело очень смешно.

— Выйду за него замуж? По правде говоря, я никогда не хотела выходить за него... Все девочки в колледже смеялись надо мной... Но отец... Конечно, я не очень ученая, но все же...

— Эдна, не надо!

— ...все же, слава богу, я лучше и образованнее его, будь он хоть тысячу раз министр. Он просто неотесанный грубиян, и никакое богатство ему не поможет. А то, что ты пишешь про ревность его жены...

— Подожди минутку,— прервал я ее, начиная о чем-то догадываться,— о каком письме ты говоришь, о втором или о первом?

— О втором? Разве их было два?

— Ну да. После того, как я приходил к тебе... «Держись! Не сдавай позиций!» — приказал я сам себе. В тот раз, когда ты так обошлась со мной, я послал тебе письмо. Ты не получила его?

— Нет. После того, как ты был у меня? Значит, начальник почты отдал ему и твое письмо.

— Начальник почты? При чем тут начальник почты?

— Ты разве не знаешь? Они с начальником почты друзья-приятели, и все мои письма поступали к нему.

— Не может быть! Какой негодяй!

— Ты только представь себе! Меня просто бог спас от этого человека.

— Бог и Одили.

— Да, и Одили. А что там было?..

— Где? Ах, в этом письме... Да так, ничего особенного.

— Нет, расскажи.

— Когда-нибудь потом. Давай больше не вспоминать про это, поговорим о чем-нибудь другом, о нашем будущем.

Я помолчал, пытаясь привыкнуть к мысли о свалившемся на меня неслыханном счастье, а потом шутливо заметил:

— И надо же, чтобы сам господин министр интересовался любовными письмами какой-то девчушки.

— Просто ужасно! — сказала Эдна и тут же, спохватившись, спросила: — Это кто «девчушка»?

Я улыбнулся и нежно сжал ее руку, а потом продолжал, словно думая вслух:

— Кто сует нос в чужие дела, тот сам себя наказывает. Порядочный человек не станет подглядывать в замочную скважину.

Теперь Эдна, в свою очередь, пожала мою здоровую руку.

В это время мы услышали, как за дверью отец громко поздоровался с одной из сиделок, и Эдна поспешно пересела с кровати на стул.

— Ты здесь, дочь моя,— сказал он, входя.— Ты так долго не приходила. Я уж было подумал, что спугнул тебя.

— Нет, сэр,— смущенно ответила Эдна.

— Спугнул? Чем же?

— Я сказал, что женю на ней одного из своих сыновей. Ты знаешь, она ведь провела тогда здесь всю ночь.

— Так, значит, это был не сон?

— Какой сон?

— Неважно, отец. Я думаю, вы должны женить на ней своего старшего сына.

— Ну, это мы еще посмотрим.

Когда я поправился, мы с отцом и несколькими родственниками, прихватив с собой большой кувшин пальмового вина, отправились на переговоры к отцу Эдны. Наш первый визит не привел ни к каким результатам. Отец Эдны просто отказывался верить, что он потерял зятя-министра и ему придется теперь выдать дочь за какого-

то сумасбродного мальчишку, который купил себе не машину, а черепаху. Однако мне на помощь неожиданно пришла армия: в стране произошел военный переворот, и все члены правительства были отправлены в тюрьму.

Бесчинствующие банды, возникшие после выборов, посеяли среди населения такую смуту, вызвали такие беспорядки, что создалась благоприятная для переворота ситуация, которой воспользовались молодые офицеры, чтобы захватить власть в свои руки. Как мы вскоре узнали, Нанга, переодетый рыбаком, пытался бежать на лодке, но был схвачен и тоже посажен под замок.

Мои дела сразу пошли на лад, потому что отец Эдны, как и следовало ожидать, предпочел получить синицу в руки. Он сказал нам, что мистер Нанга заплатил за его дочь выкуп в сто пятьдесят фунтов и сто фунтов дал на ее обучение в колледже и прочие расходы. «Только и всего?» — подумал я.

— По нашему обычаю,— твердо сказал отец,— выкуп положено возвращать. Все остальные расходы не возмещают. Так? — обратился он к родственникам, и они подтвердили, что таков обычай.

Отец, конечно, был прав, но мне вовсе не хотелось затевать сейчас морально-правовые споры, которые грозили бы только затянуть дело — ведь никто не мог поручиться, что за переворотом не последует контрпереворот, и нам с Эдной лучше было поспешить. К тому же я предпочитал не быть всю жизнь в долгу перед Нангой за то, что он дал образование моей жене. Поэтому я немедленно согласился заплатить всю сумму, что очень удивило и даже задело моих родственников.

— Выйдем на минутку, нам нужно поговорить,— зашептали они. Но я решительно отказался обсуждать этот вопрос, и они пожали плечами и отступились, поражаясь моей твердости и в то же время гордясь мною, потому что твердый характер всегда внушает уважение.

Про себя я уже решил позаимствовать нужную сумму из денег СТ, которые все еще находились у меня. Вряд ли эти деньги могли скоро понадобиться, тем более что новое правительство запретило все политические партии до «полной стабилизации» положения в стране. Одновременно было объявлено, что все должностные лица, нажившиеся за государственный счет, предаются суду. Говорили, что сумма хищений составляет около пятнадцати миллионов фунтов.

Лично меня из всех мероприятий нашего нового правительства больше всего взволновал приказ об освобождении Юнис и присвоении Максу звания Героя Революции. Несмотря на ужасную ошибку, которую он допустил и за которую я его сурово осуждаю, я должен признать, что Макс был настоящим героем и мучеником, и я предполагаю основать у себя в деревне школу его имени (разумеется, это будет школа нового типа). Тем не менее мне отвратительно бесстыдство людей, которые пальцем не пошевелили, когда Макс был убит у них на глазах, а теперь, после приказа, сразу перестроились и переменили свои убеждения.

Внезапно все заговорили о злоупотреблениях при старом режиме, о взяточничестве, коррупции, политическом гнете. Газеты, радио, молчавшие до сих пор интеллигенты и государственные служащие — все возмущались прежним правительством. А ведь речь шла о людях, которым только вчера пели дифирамбы, которых повсюду встречали славословием и барабанным боем. Коко, например, теперь иначе не называли, как убийцей и вором, а те, кто ему попустительствовал, то есть, с моей точки зрения, истинные виновники всех наших бед, оказались ни при чем, словно окунулись в легендарный источник, смывающий любые грехи.

— Воруй, да знай меру, не то хозяин заметит. А Коко меры не знал,— сказал мне отец, когда, вернувшись от Юнис, которую я ходил навещать, я рассказал ему, что она утратила всякий интерес к жизни и даже не рада, что вышла из тюрьмы. Слова отца поразили меня, потому что то же самое говорили в Анате о Джошиа.

Правда, в устах жителей селения, поносивших ненавистного торговца, эта поговорка имела вполне определенный смысл: хозяином была деревня, а у деревни свои законы, и она не потерпит надругательства над ними. Но в масштабе государства эти законы теряют силу — здесь нет хозяина. За Макса отомстил не народ, а один-единственный человек — женщина, которая его любила. Если бы его душе не суждено было обрести успокоение, пока народ не потребует возмездия, она скиталась бы и поныне. Но ему посчастливилось. Я говорю это не из духа противоречия и не из пристрастия к парадоксам. Я искренне считаю, что при гнусном режиме, до недавнего времени царившем у нас в стране, режиме, превратившем общество в гнилое болото и сделавшем его девизом пресловутое «живи и жить давай другим», а символом веры — «кто жирнее, тот и умнее» или, выражаясь более современным языком, «набивай брюхо — остальное трепотня», режиме, при котором негодяй, укравший посох у слепца и проклятый всеми, может назавтра взойти на алтарь нового святилища, чтобы на глазах у народа шептаться со священнослужителем,— при таком режиме, говорю я, надо считать, что человек умер славной смертью, если его жизнь побудила кого-то выступить из толпы и выстрелить в грудь убийце, не ожидая за это награды.

БОРИС СЛУЦКИЙ

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ И ОКТЯБРЬ

В Болгарии рассказывают, что ленинский декрет о мире первыми узнали фронтовые радисты. Передачи русской радиостанции были размножены этими солдатами — рядовыми третьего года мировой войны, израненными, усталыми, голодными, несчастными. Эти радиопередачи дошли до окопов. И, как рассказывают в Болгарии, начались солдатские восстания.

Ленинское «Всем, всем, всем!», переданное по радио, размноженное листовками, распространенное (пусть иногда в искаженном виде) газетами, было принято не только радиоприемниками. Почти в то же время оно дошло до иных приемников, до другого чувствилища мира — до поэзии.

Вспомним нашу, русскую поэзию — Маяковского, пришедшего в Смольный в октябрьские дни, с полным правом говорившего впоследствии: «Моя революция!», Блока, еще под гром выстрелов писавшего «Двенадцать» и радостно отметившего в дневнике: «Сегодня я гений», Хлебникова, звонившего в Зимний дворец и издевавшегося по телефону над Керенским, Хлебникова, сказавшего: «Пусть Млечный Путь расколется на Млечный Путь приобретателей и на Млечный Путь изобретателей». Вспомним Демьяна Бедного, добившегося для революционной поэзии небывало массовой аудитории, Есенина, сказавшего: «Мать моя родина, я — большевик!», Андрея Белого, сразу же после Октября пошедшего работать с рабочими поэтами, Валерия Брюсова — одного из руководителей Наркомпроса октябрьских дней, месяцев и лет. Вспомним, что поэтическая молодежь России — начиная с Тихонова, Багрицкого, Сельвинского, Асеева — без колебаний выбрала Октябрь.

«В последний раз опомнись, старый мир!» — писал Блок в те дни, и эти грозные слова дошли до поэтов старого мира. Из всех муз мирового Парнаса острее всего почувствовала Октябрь муза лирической поэзии.

Почему?

Я думаю, и потому, что лозунги Октября: Мир, Труд, Свобода, Справедливость были чрезвычайно близки к тому, что думали и чувствовали в то время поэты мира, особенно те из них, кто родились между 1890 и 1900 годами, а в 1917 году сидели в окопах, переполненные ненавистью к тем, кто их туда послал.

Девятнадцатилетний Бертольт Брехт, в то время санитар Аугсбургского военного госпиталя, был избран в Совет рабочих и солдатских депутатов. Он рассказывал Сергею Третьякову: «Я был членом Аугсбургского ревкома. Рядом, в Мюнхене, Левинэ поднял знамя Советской власти. Аугсбург работал отраженным багрецом Мюнхена. Госпиталь был единственной воинской частью Аугсбурга Он и послал меня в ревком... У нас не было ни одного красногвардейца. Мы не успели издать ни одного декрета, национализировать ни одного банка, закрыть ни одной церкви. Через два дня войска генерала Эппа-усмирителя, идя на Мюнхен, задели нас своим крылом».

Важно и интересно проследить, как приняли Октябрь те, кто составил славу и гордость последнего полустолетия всемирной поэзии.

Назым Хикмет, которому в Октябре было пятнадцать лет, тремя годами позже пробирается в Москву с единственной целью — узнать у Ленина, как ему, Назыму, устроить в своей Турции такую же Октябрьскую революцию.

«Девятнадцати лет в Москве состоял студентом Комуниверситета»,— с гордостью писал он впоследствии в своей автобиографии.

С такой же гордостью Пабло Неруда вспоминает, что первое в его жизни публичное выступление со стихами состоялось 7 ноября 1921 г. на вечере, посвященном четвертой годовщине Октября. В то время Неруде было 17 с небольшим лет.

Когда Рафаэль Альберти основал поэтическую группу, он назвал ее «Октубре».

Замечательный хорватский поэт Мирослав Крлежа, вся молодость которого прошла в окопах австрийского фронта, вскоре же после революции написал стихи об Интернационале, о Коминтерне, который только что был основан в Москве. Эти стихи почти дословно совпали со строками, которые в то же время написал ничего не знавший о Крлеже Блок: «Высоко над нами, над волнами, реет знамя — Интернационал».

Эти слова: Октябрь, Ленин, Кремль, Интернационал и не только эти слова, но и эти идеи носились в воздухе. Поэтому-то они и приходили в голову поэтам, разделенным друг от друга расстоянием в тысячи километров.

Когда в Прагу советским полпредом приехал Антонов-Овсеенко, в посольском доме, в «Вилле Терезе», в дни октябрьских годовщин собирались едва ли не все таланты тогдашней Чехословакии. Вспоминая эти приемы, Лацо Новомеский впоследствии писал:

Я всегда понимал, что должен,
что обязательно должен
описать вечера в этом доме, самое важное
в них,
описать этот дом над вокзалом, на
Жижкове,
дом с гербом государства, какого и знать
не хотели,
и признавать не хотели, и злобно стирали
с карты,
чтоб его и в природе не было.
Его отрицали все: и парламент, и банки,
и министры, и биржа, и церковь, и
вечерние длинные платья,
и та очевидность, что стен не пробьешь
головой,
и сознание стен, что они прочнее голов,
и традиции предков, все эти заветы
нищих, блошиных, но все же «своих»
домов,
и бог его знает что — все было против.
Кто не был против — а ну-ка, скажите!

(Перев. Л. Тоома)

Но и среди тех, кто сначала был против, нашлись люди, которые, войдя в силовое поле Октябрьской революции, круто изменили свою жизнь, переоценили многое или все.

Владислав Броневский, великий поэт польского народа, сказал: «Я учился у польских поэтов: Словацкого, Норвида, Мицкевича, Романовского,— я знал их наизусть с раннего детства. Русификации тех лет я противопоставлял идеалы повстанцев. Тогда я был далек от социалистического мышления.

Пришла ранняя молодость и война, единственным ценным трофеем которой стали для меня книги, найденные в большевистских окопах, и прежде всего — Ленин».

На примере Владислава Броневского я и пытаюсь показать, как изменил Октябрь жизнь одного человека, правда, замечательного, и творчество одного поэта, правда, великого.

■

Я вошел в комнату, точнее говоря, в небольшой зал, где встретились польские и советские поэты. Поэтов было много — несколько десятков. Я хорошо знал стихи Броневского, но никогда не видел ни его портретов, ни его самого. Тем не менее ошибиться было невозможно. Даже среди талантливых и сильных людей он выделялся своей особостью, своей, как когда-то говорили, «самостью». Его лицо, раз увиденное, не забывалось никогда. Что в нем было, в этом лице? По первому впечатлению, то, что бывает в лицах подлинных вождей, королей духа — величие. Потом, присмотревшись, я различил многое другое — волю, сжимавшую его губы, ум, светившийся во взгляде, следы страданий — морщины и бескрайнюю доброжелательность, которая бывает у людей, не имеющих причин завидовать кому бы то ни было в мире или, по крайней мере, в своей профессии. Бывают поэты, не похожие на свои стихи. Броневский совпадал с поэзией Броневского полностью, как Блок, как Маяковский, как Есенин.

В пору нашего знакомства Броневскому было под шестьдесят. Он родился зимой 1897 года в Плоцке, губернском городе Царства Польского.

Надо сказать, что этот пункт анкеты, место рождения, сыграл в жизни Броневского немалую роль.

По нашим понятиям Плоцк был маленьким городом. По переписи, состоявшейся, кстати говоря, в том же 1897 году, в нем было 27 073 жителя. Но кроме жителей в Плоцке обитали великие воспоминания. Он был древнейшим городом Царства Польского. В то время ему шло уже десятое столетие. В Плоцке жили польские короли, и двое из них были погребены в местном кафедральном соборе. В средние века Плоцк был столицей Мазовецкого княжества. Его многократно осаждали, жгли и восстанавливали. В 1863 году во время восстания в нем расстреливали пленных повстанцев. Среди них был и двоюродный дед Броневского — Ромуальд. История осаждала Броневского сызмальства. История его Родины, его Края, его Польщины переплеталась с историей его семьи.

В 1953 году, в изгнании, он писал о мазурке Шопена:

Бабушка не раз мазурку эту
в темной комнате играла мне,
где казненных братьев два портрета
с давних лет висели на стене.

Спят два брата, в кунтуши одеты,
Похоронены в саду родном...

(Перев. М. Светлова)

Одно слово Светлов перевел не совсем точно. Два брата были одеты не в барские кунтуши, а в мужицкие чамары, нечто вроде свиток. Незадолго до смерти Броневский горько сетовал мне, редактору перевода, на эту ошибку высоко ценимого им Светлова. Броневскому было важно подчеркнуть повстанческие привычки своих предков, распространявшиеся и на одежду. Недаром свои первые стихи гимназист Броневский подписывал Ян Чамара.

Плоцк был городом не только историческим, но и прекрасно расположенным. Высоко возвышался он над Вислой. Из дома Броневских было видимо далеко во все концы света.

Висла... Висла...
во всех впечатленьях и мыслях,
Висла серая и голубая,
Висла добрая, Висла злая,
то разгневанна, то лукава.

(Перев. Н. Асеева)

Висла омывала берега всей поэзии Броневского. Она дала имя одной из лучших его поэм. А за Вислой простиралась

Равнина мазовецкая,
раскинувшаяся широко,
блуждают по тебе мое сердце
детское
и мужское око.

(Перевод Л. Мартынова)

Мазовия дала имя другой поэме Броневского, блистательно переведенной Леонидом Мартыновым.

Четырех лет от роду Броневский потерял отца. Воспитывал его родной город, о котором он сам впоследствии сказал: «Какое огромное влияние оказал Плоцк на формирование моего характера и моей поэзии!» И бабушка Ядвига Любовидская, родная сестра расстрелянного царскими карателями Ромуальда и еще одного повстанца — Валериана, погибшего в 1863 году в партизанском отряде.

Воспитание было революционным, революционность была строго национальной. Любимыми поэтами семьи были Мицкевич, Словацкий и повстанческий поэт Мечислав Романовский. Польская гимназия, в которую в 1906 году поступил Броневский, была открыта благодаря состоявшейся за год до этого забастовке учащихся.

В 1911 году Броневский связывается с националистическим, антицарским подпольем, и тогда уже его, четырнадцатилетнего мальчика, впервые арестовывают. Это была первая из многих темниц Броневского.

Два года спустя Броневский — член организации «Стшелец» (Стрелок). Как попал будущий крупнейший поэт польского рабочего класса к людям, которых возглавлял будущий палач польского рабочего класса Юзеф Пилсудский? Сохранились номера гимназического журнала, который Броневский редактировал, заполнял своими поэтическими и прозаическими произведениями и самолично печатал на гектографе. В этом журнале Броневский писал: «...Можем ли мы мечтать о каких-нибудь основательных изменениях в общественных отношениях или хотя бы об их улучшении, пока мы не имеем политической самостоятельности?!» (Журнал «Идут молодые» № 2, статья «Польская идея»).

Польская идея, как она тогда представлялась вождю правых социалистов и будущему диктатору Пилсудскому и многим тысячам его последователей, молодых и немолодых, состояла в том, чтобы любой ценой и с любой помощью добиться независимости от царской России. Однако Пилсудский не искал помощи у русского рабочего класса и его партии, то есть у самых упорных и надежных врагов царизма. Его союзниками были штабы Германской империи и Австро-Венгерской монархии, угнетавшей и подавлявшей поляков не хуже империи Российской. На австрийской территории с помощью немецких инструкторов Пилсудский формировал и обучал военные отряды-легионы.

С этими легионами на долгие годы связал свою судьбу Броневский.

Плоцк был занят немецкой армией. Весной 1915 года гимназическая группа «Стшелец», и Броневский в том числе, вступила в легион.

Потом была унтер-офицерская школа. Потом бои. Потом, в июле 1917 года, Броневский отказался принести присягу императору Вильгельму и на полгода сел за колючую проволоку в немецкий лагерь для интернированных.

Так, не достигнув и восемнадцати лет, Броневский стал солдатом. Надо сказать, он никогда не считал, что единственным делом поэта является его слово. За свои убеждения, ошибочные ли, правильные ли, он боролся не только балладами, но и гранатами. Как ни горек был солдатский опыт Броневского, он вынес из годов солдатчины полное и точное знание того, что такое армия, казарма, бой, смерть на поле брани. Недаром его стихи в период обеих мировых войн принадлежат к лучшим страницам военной поэзии.

В 1920 году среди армий четырнадцати держав, посланных Антантой на Советскую Россию, в первых рядах шагали легионеры Пилсудского, а среди них подпоручик Броневский. Они шагали на Восток. Они оккупировали земли, на которых жили украинские, белорусские и литовские крестьяне. Они везли в своих обозах помещиков, поровших этих крестьян целыми селами. Их союзником был царский генерал Врангель, и врангельский делегат Махров приезжал к Пилсудскому предлагать ему Минск в обмен на военную помощь. Более того, легионерам пришлось воевать против своего собственного народа, потому что в 1919 и 1920 годах на территории собственно Польши было немало Советов — рабочих и крестьянских.

Это была несправедливая война, война захватническая со стороны легионов и справедливая, освободительная война со стороны Красной Армии. Если сравнить автобио-

графические вещи трех ее участников—«Молодость» Броневского, а с другой стороны «Конармию» Бабеля и «Первую конную» Вишневского, станет совершенно ясно, на чьей стороне были право, свобода и справедливость.

Гимназист Броневский, пошедший на фронт ради права, свободы и справедливости, беспощадно искренне сказал о том, кем он был в эти годы:

Был щенком совсем еще глупым,
когда взял я винтовку в руки,
зубы стиснув и лоб насупив,
шел сквозь грозы, сквозь смерть
и муки.
Так солдатом стал закаленным
и узнал я, почем фунт лиха.
Был щенком слепым, несмышленым,
в мир глядел за меня маннлихер.
(Перев. М. Живова)

Однако Броневский был слишком умен и честен и к концу советско-польской войны достаточно опытен, чтобы передоверить свой взгляд на мир, свою оценку действительности австрийской винтовке. Независимая Польша, за которую он воевал, оказалась совсем не такой, какой ее представляли плоцкие гимназисты. Майорат графа Замойского, площадью в 191 тыс. гектаров, майорат Давидгрудек князя Радзивилла площадью в 75 тыс. гектаров, майорат Несьвиж другого князя Радзивилла также площадью в 75 тыс. гектаров, а также прочие майораты, на которые разделили Польшу Сапеги, Замойские, Потоцкие, очень мало напоминали ту будущую Польшу, о которой писал гектографированный гимназический журнал «Идут молодые». Молодые пришли совсем не туда, куда хотели. Единственное, что вынес Броневский из войны,— был опыт, правда, горький.

Польский ревком издал и завез в Польшу немало большевистской литературы. Кроме того, бывший плоцкий гимназист хорошо читал по-русски. Уже в 1919 году он отмечает в своем дневнике чтение Ленина. Книги Ленина он привез с войны в своем солдатском ранце. В Польшу Броневский вернулся другим человеком.

С тех пор и до самой смерти — сорок долгих лет — Броневский посвятил себя двум основным профессиям — поэзии и революции. Он занимался и многими другими делами. Четыре года учился в Варшавском университете на философском факультете. Пять лет руководил рабочим театром. Много переводил — и для заработка, и, когда дело касалось его любимых Блока, Маяковского. Пастернака, Есенина, Асеева — для того, чтобы поэты Советской России заговорили по-польски. Много рецензировал и т. д.

Но в главном его жизнь была жизнью профессионального поэта и профессионального революционера.

Легко ли было жить этой жизнью в Польше 20-х и 30-х годов?

Маяковский, бывший в Польше весной 1927 года и думавший над этим вопросом, отвечал на него так:

«Правда — можно писать и против того, что видишь. Но кто тебя будет печатать?

А если тебя отпечатает нелегально нелегальная коммунистическая партия — готов ли ты садиться в цитадель на четыре, на шесть, на восемь лет?

А кто сейчас в силах идти на этот героизм, кроме человека, принадлежащего к классу, верящему в победу коммунизма?»

Отдадим должное прозорливости Маяковского. Перевидав многих талантливых польских поэтов, переслушав их стихи, он решительно выделил Броневского.

«Прочная фамилия!» — сказал он о Броневском Асееву, возвратившись в Москву, и добавил, что «это наш поэт, что он близок к левому фронту... и вообще с ним стоит иметь дело» (Асеев. «О Броневском»).

В опубликованных тогда же в Москве очерках Маяковский назвал Броневского первым среди «самых близких наших друзей в Польше», первым в перечне «интереснейшие здесь» и дважды пересказал знаменитый случай, когда шпики сконфуженно выскакивали из зала, где Броневский читал стихотворение «Шпик».

Героизм — так определял Маяковский путь Броневского и его друзей Вандурского, Станде — группы «Три залпа», не побоявшейся в те времена называть себя пролетарской, коммунистической и просоветской.

В этом героизме не было ничего мгновенного, скоропортящегося. Он продолжался десятилетия.

Была нужда — каждодневная и беспросветная. Маяковский с удивлением писал, что даже Пшибышевскому — своей славе и гордости — официальная Польша платила 180 рублей в месяц пенсии. Поэтам рабочего класса, конечно, не платили ничего.

Были аресты — частые, ставшие почти привычными. М. Живов рассказывает: во время одного из арестов Броневского прокурор на допросе заявил ему: «При каждом обыске у коммунистов мы находим экземпляр «Парижской коммуны».

У властей естественно возникало желание уменьшить количество этих экземпляров, и вышедшая в 1929 году поэма «Парижская коммуна» была конфискована. Был тяжкий труд для заработков, выколачивание прожиточного минимума, как ни минимален был этот минимум.

Была черновая партийная работа — листовки, журналистика, легальная и нелегальная.

Прежде всего, раньше всего были стихи.

Если не считать конфискованной поэмы, до войны вышли четыре книги: «Ветряные мельницы» (1925 г.), «Дымы над городом» (1926 г.) — эту книгу Маяковский называл книгой прекрасных стихов, «Печаль и песня» (1932 г.) и «Последний клич» (1939 г.).

Не разрушена стена цитадели,
на могилах растет белена,
никто не выломал ночью решеток,
та же самая несправедливость, та же
самая
с криком обрушивается на города
и деревни.

Все, что писал Броневский, было борьбой с «тою же самою несправедливостью».

Одной из главных тем его была война — бывшая и будущая, законченная и готовящаяся. Недаром Польшу тех лет называли междувоенной. Позже других европейских государств она кончила воевать. Раньше всех испытала удары новой войны. Военщина была там особенно наглядной, очевидной. Недаром это государство возглавляли то маршал, то полковник.

Отставной подпоручик Броневский нашел точные слова для войн, чья тень легла на польскую историю.

«Растаяла молодость лужею мокрого грязного снега» и «Средь трупов я сам полутрупом бродил по осенним полям»,— так писал о своем легионерстве бывший командир роты во время похода пилсудчиков на Киев.

В «Молодости» поэт подводил итоги своему личному военному опыту. В поэме «Последняя война» подводится итог военному опыту всего человечества.

Первая мировая война. Марна и Стоход, Верден и Мазурские болота продемонстрировали такие гекатомбы что видения грядущих сражений томили многих поэтов. Блок пишет «Скифов», Маяковский — «150000000», Брехт создает свою «Балладу о неизвестном солдате», а Броневский — фреску о восстании мертвецов, о войне погибших за то, чтобы живым никогда не пришлось воевать больше.

Неважно,
что губы изъела могила,
что червь
живет в глазах, жирея.
Они вернутся
к своим любимым,
а те
повиснут у них на шеях.
Не из могил —
из дальних странствий
придут к родному порогу гости.
Земля расцветает
цветком пахучим,
розовой пылающей
любовью.

(Перев. А. Роховича)

Это писалось и печаталось в государстве торжествующей военщины, в государстве, где «откроешь глаза — сплошное козырянье. Закроешь глаза — сплошной звон шпор» (Маяковский).

Рядом с темой войны у Броневского стояла другая тема — народной нужды, беды. Он писал об этом много. Возьмем стихотворения о двух улицах с красивыми именами.

Улица Милая вовсе не милая.
ты не ходи по ней, моя милая...

И далее

В подвале мертвец.
Худой конец.
На первом вдова,
сама чуть жива.
На втором этаже — банкрот, пристав
с описью.
на третьем кухарка отравилась какой-то
окисью.
На четвертом — обыск производится
втайне.
На пятом — читают объявления о найме.
Под крышей девица младенца загубила.
Милая улица.
Не правда ли, мило?

(Перев. Д. Самойлова)

А на другой улице с прекрасным названьем Павья, или Павлинья:

Тяжелая жизнь: кусок селедки
с хлебом,
неделями ничего другого, право.
Очень грустно глядела с неба
красивая луна с улицы Павьей.

(Перев. М. Живова)

А в «Балладе о театральной площади» призрак сыщика

...площадь прошел, притаился, как вор,
в подворотне охранки под лестницей,
на меня устремляет оттуда свой взор,
хочет запах почуять моей крови и
песни...

(Перев. М. Живова)

А в стихотворении «Домбровский бассейн»: «Отдыха нет никогда». А в стихотворении «Лодзь»:

Кровь превращают банкиры в
мильоны,
акции скачут в портфелях разбухших,
в беге безумном ворчат веретена,
чтобы жирели Шайблеров туши,
им только радость от нашего горя,
бьют нас нагайки и топчут копыта —
движется грозная туча на город,
в зареве молний — Речь Посполита.

(Перев. М. Живова)

Однако муза Броневского была не только музой печали, но и музой мести.

Империалистическая война была бесчеловечна и невыносима. Народная нужда была невыносимой и бесчеловечной. С этими темами смыкается, из них вытекает третья важнейшая тема молодого Броневского — революция.

Рассказывают, что в пору гестаповских казней Дюкло сказал Арагону: «Ставь памятники казненным!» Броневский ставил памятники жертвам польской охранки — дефензивы.

6 августа 1925 года был казнен комсомолец Ботвин, покушавшийся на провокатора. 9 дней спустя Броневский, также покушавшийся на провокатора — замечательным стихотворением «Шпик»,—написал стихи о Ботвине, о том, как он умирал.

Через все книги Броневского проходят стихотворения-памятники, стихотворения — эпитафии павшим бойцам. Бакунин, американские рабочие Сакко и Ванцетти, посаженные на электрический стул в Бостоне, основатель первой партии польских рабочих Варынский, коммунист Ян Гемпель — все они томились в тюрьмах, а иные там и погибли. О каждом из них Броневский написал по балладе.

Остановимся на стихотворении «Магнитогорск, или Разговор с Яном». Ян Гемпель — старый подпольщик, партийный литератор. Броневский знал его еще с начала двадцатых годов. Именно Гемпель привлек поэта к работе в коммунистическом журнале «Нова культура». В 1931 году Броневский и Гемпель были арестованы и сидели в одной камере.

Сидим вместе с Яном в тюрьме,
в Ратуше,
в тесной камере номер тринадцать.
Здесь нас держат три дня подряд уже,
До чего-то им надо дознаться.

Пол — подушка, на ужин — корочка...
Тут найти опору сумейте-ка!
Мчит ко мне поэзии облачко,
К Яну мчит сама диалектика.

Кто-то стонет. Кто-то похрапывает.
Вонь. И насекомые бегают...
На стене углем нацарапано:
«Да здравствует забастовка пекарей!»

Я-то что? Мне все это — шутка!
Хоть на целый месяц засяду.
А у Яна — катар желудка,
да к тому ж ему шесть десятков.
. . . . . .

Только Ян — из железа, истинно!
Хорошо, что вздремнул опять...
А над глобусом его лысины
начинает светлеть. Скоро пять.

Утро — серым комочком в горстке.
Ян вздыхает с улыбкой доброй.
«Знаешь, парень, в Магнитогорске
нынче в строй вступают две домны...»

Еле полз рассвет мутно-грязный —
за улитой и то не угнаться! —
а я думал: «Как здесь прекрасно,
в гнусной камере номер тринадцать!»

И — где Рим, где Крым, а где Польша...
Но пылают в тюрьме этой польской,
согревая душу все больше,
домны Магнитогорска.

(Перев. Р. Казаковой)

Весной 1934 года Броневский путешествовал по Советской Украине. Он читал свои стихи харьковским писателям и записал: «Лучше всего принимают «Разговор с Яном» — их трогает, что в далеком городе, в чужой стране поэты думают о Днепростроях и Магнитогорсках с тем же чувством, что и они сами». Впрочем, об этом путешествии следует рассказать подробнее.

Писатели-коммунисты зарубежного Запада и зарубежного Востока, скажем более, люди доброй воли всего мира ездили в СССР не с праздным любопытством. Им важно было своими глазами увидеть, что их представление о будущем находит реальное осуществление в огромной стране, в одной шестой земного шара. Джон Рид и Рабиндранат Тагор, Арагон и Броневский ездили к нам за аргументами для политических споров и за вдохновением для стихов, а более всего за уверенностью, что они живут и работают правильно, и за надеждой, что мир можно переделать, улучшить.

В двадцатом году в окрестностях Киева офицер белопольской армии Броневский допрашивал красноармейца. Это был недоучившийся гимназист из Харькова, и Броневский спросил у него:

— Ну, и что у вас там в Харькове слышно?

— Да что слышно, строим.

— Что строите?

— Все. Новую жизнь. Социализм.

— Ну и как получается?

— Хорошо получается. Правда, надо сказать, вы нам сейчас здорово подгадили...

Четырнадцать лет спустя Броневский имел возможность посмотреть, что сделал этот парень и такие же, как он, у себя в стране. Он смотрел глазами друга, но в замечательном очерке «На пути к Днепрогэсу» преобладает желание не просто похвалить, а разобраться и в том, что сделано, и в том, что еще не доделано. Броневский не замалчивает ни голода 1932—1933 годов, ни грязи на заводских дворах. Более всего его интересуют цифры. Он выписывает точные цифры заработков рабочих, квалифицированных и неквалифицированных, мастера, инженера. Он разбирается в том, что такое «прогульщик» — новое, только что возникшее понятие, и в том, что такое «ударник» — старое понятие, получившее новое значение. Он читает цеховые стенгазеты, кормится в заводских столовых, разговаривает со множеством непоэтов и поэтов. В Днепропетровске он записывает: «Способные ребята, чрезвычайно способные. Молоденький Сидоров напоминает складом своего таланта Есенина, но он внутренне крепче, здоровее. Одно из его стихотворений кончается такой фразой: «Вот это да, вот это жизнь, вот это хорошо!»

Я завидую ему, когда он этими словами приветствует не только Днепрострой, но и собственное свое житье-бытье провинциального поэта, свой сильно потертый пиджачок и жалкие ботинки. Это те слова, которых не хватает мне в Варшаве в моем повседневном быту».

На Харьковском тракторном заводе Броневский проделал весь путь вслед за конвейерной лентой «вместе с одним из рождающихся тракторов, наблюдая, как с каждым шагом он становился все совершеннее... Приятно было посмотреть на это». На Днепрогэсе «директор станции знакомит нас с человеком, который начал работать... чернорабочим, учился без отрыва от стройки и теперь, уже в качестве инженера, состоит при тех самых машинах, что росли вместе с ним и выросли в такую силу. Обе стороны могут гордиться друг другом — инженер машинами, а машины — инженером».

В рабочей столовке он прислушивался к обрывкам разговоров, доносившихся с соседних столиков. «Говорят о соревновании двух рабочих бригад, о строительстве стадиона, о поступлении в «вуз» (высшее учебное заведение) и о том, на сколько процентов выполнен план сева... Но наибольший интерес вызывают челюскинцы... И по этим разговорам чувствуется, что здесь все понимают, какая тесная и непосредственная связь существует между двумя, казалось бы, столь различными вещами — производство металла на Днепрогэсе и спасение потерпевших кораблекрушение членов арктической экспедиции». В клубе завода им. Петровского Броневского забросали записками. Среди них вопросы о цели его поездки, о том, что он думает о строительстве в СССР, но также вопросы о Жеромском и о собственных стихах поэта.

Больше всего и упорнее всего Броневский думает и пишет о рабочих. Раскаленный шлак, стынущий у подножия мартенов,

«отбрасывает на людей, машины и здания отблеск, подобный тому, какой бывает порой лишь на красном знамени. На знамени в те возвышенные и грозные мгновения, когда невольно веришь: да, «то наша кровь горит огнем, то кровь работников на нем».

В очерке нет слов Лодзь или Домброва, но, глядя на украинских металлистов, Броневский беспрерывно думал о польских шахтерах и текстильщиках. С тех пор как он по-настоящему взялся за перо, они вошли в его стихи — главными героями и главными читателями. По четырем его довоенным книгам и по всем послевоенным можно проследить всю историю польского пролетариата — от Варынского, основавшего партию, носившую это имя, и до молодежи, восстановившей Варшаву. Кажется, нет формы борьбы рабочего класса, которой Броневский не посвятил бы стихотворения. Есть у него стихи и о забастовках, и о демонстрациях, и о поведении рабочего в капиталистической тюрьме, и о вооруженной борьбе с эксплуататорами.

В стихах Броневского не только вся история польского рабочего класса, но и вся его география: от варшавских портняжек до лодзинских ткачей. Войдя в стихи Броневского, рабочие постепенно меняли его эстетику. Настойчивая мысль о тех, для кого он пишет, желание прорваться к массовому читателю, стать своим человеком в рабочем клубе, не только политически своим, но и эстетически, все это двигало и изменяло поэзию Броневского. В мировой поэзии немного людей, которые до такой степени сумели причаститься «к великому чувству по имени класс», как этот поляк, глядевший на украинских рабочих и думавший: «Освещенные красным заревом, с обнаженными, блестящими от пота торсами, они похожи на фигуры с первомайских плакатов, с рисунков Каминского, с заставок к «Коммунистическому манифесту», изданному в Варшаве в 1905 году. Они патетичны в своем невероятно тяжком труде. Они серьезны. И когда смотришь на них, на их напряженные мускулы и суровые лица, на их схватку со стихией расплавленного металла, на снопы искр, брызжущие при каждом прикосновении лопаты, теряешь представление о границе между трудом и борьбой. Да, здесь, среди этих людей и машин, в неустанном рождении организованной материи революция у себя дома».

Так вместе с войной, нуждой, революцией в стихи Броневского входит тема Советского Союза.

Пуск магнитогорских домен был своим делом не только для советских людей. В те годы Арагон писал поэму «Ура, Урал!», а Брехт — стихи о среднеазиатских ткачах. Советская Россия была для них второй родиной, и все происходившее там касалось их непосредственно.

Броневский был первым из поэтов тогдашней Польши, которого узнали у нас. Надо вспомнить, чем была для Советской России эта Польша. Самая сильная из соседних стран и самая враждебная. Самая неспокойная граница. Совсем недавно в Варшаве убили Войкова, нашего полпреда. То, что поэт из этой самой панской Польши открыто стал нашим другом, не побоялся ради нас ни тюрьмы, ни цензуры,— изумляло.

У Броневского было совершенно особое положение в поэзии, более того — в литературе буржуазной Польши.

Крупнейший из ее новаторов, он шел не только от своих непосредственных предшественников, но и от поэтов 19-го века. Продолжение и восстановление их традиций было важным компонентом его искусства. С другой стороны, в ряду поэтов, близких коммунизму, он решительно выделялся и талантом и мастерством, абсолютным владением всеми инструментами поэтического оркестра. Не побрезговавший агиткой, памфлетом, стихотворной прокламацией, он в то же время восстановил в правах все крупные жанры — историческую поэму, поэму-биографию, описательную поэму, лирическую поэму. Снова и снова он обращается к опыту Мицкевича — человека, которого называл Адамом и перед которым преклонялся. Чем старше становился Броневский, тем меньше в его стихах эксперимента и тем более мицкевичевского. Подводя итоги тем годам, Броневский (много позднее) писал:

«В 1921—1924 годах я учился в Варшавском университете. Философия, социология, экономика, марксизм — вот большой заряд, который я получил. Так я «менял кожу». В том числе и благодаря поэзии. Наряду с французами — Рембо, Аполлинером и другими — я тогда впервые познакомился с Блоком. Много переводил Блока — это была моя школа и мой первый сознательный поэтический акт. Потому что именно в это время я начал писать стихи, которые уже не прятал в ящик стола.

Настоящим потрясением была для меня поэзия Маяковского, Есенина, Пастернака и других. Я переводил их, оттачивал свое перо, но отнюдь не подражал.

Поэзия Маяковского сделала из меня социалистического поэта. Стихотворение «Поэт-рабочий» стало моей жизненной и поэтической программой, пополнило мои фронтовые, поверхностные уроки марксизма.

Есенина я люблю за его «песенность», за глубокое, «душевное» проникновение в русскую речь; Пастернака — за непревзойденно тонкое чувство языка, за то, что жизнь для него — синоним поэзии.

Многих из вас я узнал позднее и переводил, дорогие друзья русские поэты... Кроме поэзии я перевел несколько десятков томов прозы советских писателей и русских классиков. Я отдал этому полжизни».

В конце тридцатых годов все меняется в жизни Польши и, следовательно, все меняется в жизни Броневского. Для многих поэтов поэзия — башня из слоновой кости. Для Броневского она всегда была стрелко-

вым окопом, как сказано в написанном в апреле 1939 года стихотворении «Оружье к бою».

В ту пору нацистская угроза уже нависла над Польшей. До начала войны оставались считанные недели. Отечество Броневского было в опасности, а его правители метались между страхом перед Гитлером и надеждой сговориться с его дипломатами. Броневский громче всех и лучше всех сказал о фашистской угрозе Польше и о том, что надо делать. Гражданская страсть сочеталась в этом стихотворении с политической мудростью. Вспомним Польшу 1939 года — с глупым и трусливым правительством, с распущенной по навету провокаторов коммунистической партией, Польшу разоруженную и сбитую с толку.

Броневский дал лозунг, и этот лозунг оказался правильным:

Когда придут поджечь твой дом,
ту Польшу, где родился,
когда железный грянет гром,
чтоб враг в ней утвердился,
когда под дверью ночью встанут
и колотить прикладом станут,
неужто не проснемся мы с тобою?
Нет, встанем у дверей.
Оружье к бою!
Крови — не жалей!

На родине бичи и язвы,
и враг не зачеркнет их счет,
но в крови мы откажем разве?
Из сердца — с песней потечет.
Что из того, что мы не раз вкусили
тюремный хлеб, неправый суд?
Те, что на Польшу руку заносили,
живыми не уйдут!

(Перев. Бориса Слуцкого)

В сентябре 1939 года польские коммунисты прямо из тюрем шли на фронт. Их отряды защищали Варшаву, когда правительство и командование уже бежали за границу. Не раз вкусившие «тюремный хлеб, неправый суд», они не пожалели крови для своей родины.

Польские солдаты, преданные своими правителями, были разбиты. Броневский, уехавший во Львов, пишет два удивительных стихотворения. Одно из них — вопль горя, другое — крик надежды.

Еще до того как народ сложил песни о фашистской неволе, такую песню, безыскусную и ясную, написал Броневский. Советский исследователь Виктор Хорев в хорошей книге о поэте, многие положения которой вошли в эту статью, правильно указывает, что стихотворение «Польский солдат» связано со строками из «Пана Тадеуша»: «Скитается солдат по свету, как бродяга, от голода и ран едва живой, бедняга». Быть может, Броневский думал и о другом стихотворении — «Гренадерах» Гейне. Так или иначе, «Польский солдат» был первым выстрелом в той войне, которую польская поэзия вела против оккупантов. Стихи Броневского в списках и в подпольных публикациях ходили по всей стране.

Тогда же, осенью 1939 года во Львове Броневский пишет еще одно стихотворение большого значения.

Я перевел его первые строки такими словами: «Сын завоеванной нации, сын независимой песни, что мне, чей дом — руина, как мне петь — не знаю. Сентябрь растоптал, как танком, отчизны грады и веси, а моя рука безоружна, безоружна страна родная».

Марк Живов перевел первую строку иначе: «Сын покоренной страны, песни сын непокорной».

В этом стихотворении, уже через несколько дней после поражения, были отчетливо сформулированы надежды поляков и назван по имени союзник польского народа: «Варшава, прекрасная, гордая, славны твои руины. Измученные кирпичины хочу целовать и трогать. Руку дай мне, Белоруссия, руку мне дай, Украина! Серп и молот свободы дайте мне на дорогу».

Начинаются долгие годы изгнанничества Броневского. Польским поэтам не привыкать стать к эмиграции. Как ни в одной другой поэзии мира, горький хлеб чужбины вошел в судьбу и творчество — начиная с Мицкевича и Словацкого.

Горек, очень горек был и хлеб Броневского, солона была чаша, которую он испил. В 1940 году его и нескольких других польских писателей арестовали. Прошедшему столько тюрем поэту пришлось еще раз в течение двух лет испытывать, что значит клевета и что значит тюрьма. В 1942 году он был освобожден, вступил в армию, которую генерал Андерс сформировал на нашей территории, и уехал вместе с нею на Ближний Восток.

Как ни тяжело было испытание, через которое прошел на этот раз поэт, его любовь к стране «серпа и молота свободы», к нашей стране это испытание выдержала. Приехав в Палестину, он вскоре опубликовал заявление:

«Если говорить о моих взглядах, то мне представляется, что я ничуть не изменился... В освобожденной Польше я буду по-прежнему бороться за осуществление социальных прав, абсолютно ни от чего не отрекаясь».

Много лет спустя он писал:

Кланяюсь русской Революции
шапкой до земли, по-польски,
делу всенародному,
советскому, могучему,
пролетариям, крестьянам, войску!
. . . . . .
Кланяюсь могилам Сталинграда
и могилам до Берлина от Москвы —
после лет осколочного града
в Завтра мы по ним мостим мосты.

(Перев. С. Кирсанова)

Представим себе, как жил, что думал и чувствовал поэт в те годы. Тысячи километров и линии многих фронтов отделяли его от Польши. Его окружала безмерно чуждая ему природа и безмерно далекие от него люди. Даже многие поляки, разделявшие с ним изгнание, не разделяли его мыслей. Потому что они мечтали о возвращении в Польшу прошлую, а не в Польшу будущую. Каждый день приходили вести о страданиях и бедах отечества и среди них весть о смерти в концлагере жены Броневского — актрисы Марии Заремби́нской. Два сборника, выпущенные в эмиграции, назывались «Примкнуть штыки» и «Дерево отчаяния».

Как всегда, у Броневского это были не случайные названия.

Какой же главный тон звучал в буре чувств, которая охватила поэта? Прямой ответ дает стихотворение «Что мне грустить?».

Была бы в руках винтовка, а к ней бы
патроны были —
и что мне песок ливийский, что мне снега
Сибири,
что мне цинга, и голод, и тюрьмы
с лагерями —
солдатским весельем сумку набью, а не
сухарями!
К чему ордена любые, к чему мне лавры
славы,
нужны подметки покрепче, чтобы дойти
до Варшавы,
чтоб по святым панелям те сапоги гудели,
что в Тобруке мы подбили, а в Нарвике мы
одели.
Много дорог протоптано, много стран
миновалось.
Под каждой стопой солдатской польской
земля оставалась!

. . . . . .

Что мне грустить, товарищ! Сквозь
континенты проходим,
наши летят эскадрильи нашим во след
пароходам.
Мы покажем миру, что в Польше мы
родились,
была бы в руках винтовка, подметки бы не
прохудились.

(Перев. Бориса Слуцкого)

Слова Родина, Польша, Край, Отчизна звучат едва ли не в каждом стихотворении.

«Видится все яснее время свиданий нежных, когда в Уяздовской аллее дарил я милой подснежник»,— это писано в стихотворении о Дамаске. Стихотворение о Персии кончается строками: «Ты, как Польша, чудесна перед сентябрьской грозою». В Иерусалимском переулке поэт слышит, как «внезапно в тишь Иерусалима ворвался с мазуркою Шопен. Хорошо играет незнакомый, сердцу очень близкий пианист, и звучит напев родного дома серебрист и, словно детство, чист». Вся экзотическая география, обрушившаяся на поэта, отвергается в вопле: «Мне не нужны палестины, ираны, ираки, египты — кипарисов милей мне калины, березы милей эвкалиптов».

Как никогда прежде изгнаннические стихи Броневского пестрят библеизмами. Почему так? Мне кажется, потому, что каменистая и песчаная земля ежедневно наталкивала поэта на воспоминания о Ветхом и Новом заветах. Не следует забывать, что Библия и Евангелие были настольными книгами многих тогдашних читателей Броневского. Ему приходилось обращаться не к лодзинским рабочим, а к людям старой Польши, выросшим с молитвенниками в руках. Строй Библии, ее плачи, пророчества, проклятья совмещались с тогдашним бытом и тогдашними настроениями польских изгнанников. Стихи из военных сборников неоднократно подвергались упрекам в пессимизме, в безысходности, в отчаянии. Даже друзья поэта не удержались от этих обвинений.

Думают, стихосложенье —
как солдатское «ать-два»,
маршируют отделенья,
строятся в ряды слова,—

(Перев. Б. Пастернака)

горько отвечал на это Броневский.

Огромное и длительное народное горе, огромное и длительное личное горе, дым крематориев Освенцима, доносившийся и до Среднего Востока (а ведь Мария Зарембинская была в те годы в Освенциме), не способствовали мажорным настроениям.

Однако горе, которым дышали его стихи, тоска по родине, скорбь о погибших неизменно сливались с упрямым солдатским знанием того, что: «Мы покажем миру, что в Польше мы родились, была бы в руках винтовка, подметки бы не прохудились».

В 1945 году, как только Польша была освобождена, Броневский среди первых поэтов-изгнанников воротился в Варшаву.

Ни одна из оккупированных фашистами столиц не сражалась так упорно и ни одна не была разрушена с такой жестокостью. Груда развалин — вот первое, что увидел Броневский на родине, и первое, о чем он написал. Наверное, в каждом третьем стихотворении 1945, 1946, 1947 годов есть слово «руины».

Вообще говоря, народная память, чувство истории удивительно сильны в поляках. Недаром варшавяне восстановили по гравюрам прославленную Старую площадь еще тогда, когда сами ютились в подвалах и землянках.

Недаром каждый подвиг подпольщиков, каждое место их гибели отмечены мемориальной доской, и много этих досок в Польше.

Броневский стал голосом, рупором народной памяти о городах и людях, о разрушенных площадях и убитых героях.

Он почтил стихотворением свою библиотеку, где «на каждой полке есть следы от пули, и книжки продырявлены войною».

Он почтил поэмой Кароля Сверчевского. «Поэт сражений», как назвал его Броневский, в юности варшавский рабочий, стал бойцом и командиром Красной Армии, был генералом в республиканской Испании, командовал соединениями в Отечественную войну, освобождал Варшаву, брал Дрезден.

Я впервые услышал о Сверчевском в 1941 году на западном фронте. Рассказывали, что под страшной массированной бомбежкой он замаскировал свою дивизию так умело, что не потерял ни единого человека. Сверчевский был военным профессионалом высочайшего класса и одновременно — профессионалом революции. Броневский написал о нем лаконично и взволнованно, слогом Плутарха. «Повесть о Кароле Сверчевском» — самая эпическая из его поэм. Недаром она названа именно повестью.

Наряду с мертвецами, которых Броневский оплакивал вместе со всем народом, у него были свои, личные потери, тяжелые и страшные. Он вторично пережил смерть

Марии Заембинской — слух о ее гибели оказался ложным, но Освенцим сделал свое дело, и жена поэта умерла в 1946 году.

Мария... Осталось одно лишь имя...
Да вьюга.
И шла под вьюгой в платьишке рваном
на голое тело.
Слева — эсэс, справа — охрана,
курить хотела.

Ничего у нее не было — ни зипуна,
ни единого грошика,
и взывала ко мне, взывала —
одна-одинешенька.

(Перев. Д. Самойлова)

Снова и снова картины освенцимского житья Марии вставали перед поэтом.

Погибла дочь Броневского Анка.

Беда шла по следам поэта.

Однако эти же годы, последняя четверть жизни была временем величайшего творческого подъема. Дело, за которое он боролся всю жизнь, победило. Из развалин вставала новая Польша.

«Не погибла»,— писал он в стихотворении «Мост Понятовского».

Погибнуть не может,
мы возродим ее
сами.
К небу взывает
пепел Варшавы.
Сотни и тысячи
с ломами вышли.
Из щебня истории,
из осколков славы
мост воздвигаем
над Вислой.

(Перев. М. Живова)

Поэт, прославивший Магнитострой стихами и Днепрострой прозой, стал самоличным участником нового великого «строя» — Варшавского.

«Перо мое служило и будет служить идее борьбы за идеалы социализма»,— сказал он вскоре после возвращения.

Так оно и было.

В 1933 году он говорил польским шахтерам: «Кто же тебя, Домброва, может назвать отчизной?» Пятнадцать лет спустя он писал: «Руби, шахтер, пласт угля упорней, руби скорей и сильней: встает в твоей шахте, встает в твоей штольне фундамент отчизны твоей!»

Певец забастовок начинает стихотворение «Клятва молодежи» словами: «Клянемся все тебе, Отчизна, в дни благородного труда построим мы для новой жизни заводы, штольни, города».

Влияние слова Броневского было велико. В стране, где поэтов издавна хоронят вместе с королями и диктаторами, где поэзия почти всегда была ведущим жанром искусства, Броневский на протяжении нескольких поколений был первым, любимым, действительно народным поэтом.

Рабочий из Радома, потерявший сына, написал поэту письмо, в котором просил сложить стихи об умершем. Такую просьбу надо заслужить.

Незадолго до смерти Броневского в последний день рождения, который он отпраздновал, то есть 17 декабря 1961 года, я провел у него несколько часов. Рак уже догрызал поэта, хотя он ничего об этом не знал. Мне, помнящему прежнего Броневского, грустно было смотреть на тощенького слабого старика, утопавшего в старой пижаме.

Мы говорили долго, я помню этот разговор и когда-нибудь напишу о нем. Вот выздоровею, говорил между прочим Броневский, дождусь весны и опять поеду по всей Польше читать стихи в рабочих клубах.

Он говорил об этом много раз. «Москвич», который он собирался купить на гонорар за советские издания, был нужен ему именно для этой цели — ездить по Польше и читать стихи рабочим.

Глаза Броневского загорались, он привставал с постели и напоминал былого Броневского, образ которого был для меня неразрывен с образом польской поэзии и польской революции.

Я прочитал посвященные ему стихи:

Покуда над стихами плачут
и то поносят, то возносят,
покуда их, как деньги, прячут,
покуда их, как хлеба, просят —
до той поры не отзвенело,
не оскудело наше дело.
Оно как Польша: не сгинело,
хоть выдержало три раздела...

А через несколько недель вся Польша — сотни тысяч человек — проводила в могилу своего поэта.

В. СКОРОДЕНКО

РАДУЖНАЯ ОТРАВА БЕЛЛЕТРИСТИКИ

(«Шпионский роман» Яна Флеминга)

Когда Ян Флеминг умер в Кентербери в возрасте 58 лет от сердечного приступа, он был одним из самых богатых английских беллетристов. Выпускник Итона, аристократической закрытой школы, бывший корреспондент агентства Рейтер в Берлине, Лондоне и Москве, работник «Таймс», редактор «Санди таймс», сотрудник секретной службы, он обладал кое-какой информацией о мире «тайных схваток», великолепным чутьем на литературную конъюнктуру и богатой фантазией. Все свои немалые таланты он поставил на службу антикоммунизму — точно так же, как болельщики на ипподроме ставят на фаворита. Он не прогадал: десять из написанных им книг в одной только Англии вышли тиражом более миллиона экземпляров каждая. По четырем из его романов поставлены фильмы, пятый находится в процессе экранизации.

С именем Флеминга буржуазная пресса связывает чуть ли не новую мифологию в современной западной беллетристике.

Флеминг — «отец» Джеймса Бонда, Агента 007.

Флеминг дал «героя» безгероичной западной литературе.

Флеминг показал «романтику» современной жизни.

Молодежь читает Флеминга... Интеллигенция читает Флеминга... Иными словами, Флеминг — «новое чудо света».

Объясняется все это куда проще. Нужно уметь спекулировать на истории. Флеминг умел. Правда, спекуляции, как известно, долго не живут. Флеминга продолжают читать, но как явление желтой литературы он уже в прошлом. Преувеличивать значение Флеминга не нужно. Недооценивать его романы и их воздействие на умы читателей в равной степени неразумно.

■

«После Фултоновской речи Черчилля страх перед коммунизмом и ненависть к нему, никогда не затухавшие в годы войны, вырвались из-под спуда и зазвучали в полную силу. Этот страх и ненависть, наряду с ужасом перед военной мощью Советов, обеспечили идеологическую базу для объединения союзников в Атлантическое сообщество»,— писал «Таймс литерари саппламент» в статье, красноречиво озаглавленной «Поворот направо» *.

Послевоенное двадцатилетие стало свидетелем того, как антикоммунизм все глубже и глубже проникал в различные области духовно-политической жизни западного мира. Речь идет не столько о влиянии американской дипломатии, но и шире — о целом комплексе явлений, в сумме своей дающих то, что «Таймс литерари саппламент» охарактеризовал как «квазиофициальную идеологию» антикоммунизма. Эта идеология, ставшая в США откровенно господствующей, определяет многое в жизни всего капиталистического мира.

Антикоммунистический «шпионский роман», или, как его еще называют, антикоммунистический «политический детектив»,— характернейшее порождение «холодной войны». Возникновение и развитие этого жанра в западной беллетристике связано с двумя тенденциями. С одной стороны, это свойственная послевоенному капитализму *деидеологизация общественной жизни.* Вторая тенденция — страх, вызванный на Западе самой обстановкой «холодной войны» и постоянно подогреваемый военной истерией. «Шпионский роман» дает выход обывательскому ужасу перед мифической «красной опасностью» и в то же время сам служит

* "The Times Literary Supplement", 3.II.1966, p. 73.

распространению этого мифа в широких кругах западных читателей.

Концентрированное выражение этих настроений мы находим в книгах англичанина Питера О'Донелла о похождениях агентессы Модести Блейз, француза Жана Брюса — об Агенте О. С. С. 117, Поля Кенни (коллективный псевдоним Либера и Ванделя) — об агенте Фрэнсисе Коплане и более всего — в романах Яна Флеминга.

■

Составные элементы, из которых складывается «шпионский роман»,— это прежде всего специфический «герой», не менее специфический «злодей», quantum satis «романтики», «экзотики», насилия и секса, без которого сейчас не обходится на Западе ни один беллетрист, ищущий коммерческого спроса на свои книги. В эту схему Флеминг внес кое-что новое, ничего, однако, не меняя в ней по существу.

Первое, что сразу же бросается в глаза при чтении романов Флеминга,— обстоятельства действия. Эти обстоятельства порой даже оттесняют «героя» на второй план. Именно в них сосредоточена «романтика» и «экзотика» рассказа.

Нью-Йорк, Флорида, Ямайка, Французская Гвинея, Лас-Вегас (центр американской индустрии игорных домов), Стамбул, Майами, Париж, Рим, Венеция, Швейцарские Альпы, Япония, Багамские острова — таков далеко не полный перечень уголков планеты, куда заносят Бонда «служебные поездки» по весьма секретным делам правительства Ее Величества.

Правда, в применении к книгам Флеминга лучше говорить не о том или ином городе или районе, а, скорее, о конгломерате описаний, имен и географических названий, который можно определить словом «Бондландия»: ведь именно Джеймс Бонд «бог и царь» этой условно-декоративной, несуществующей страны, такой же полноправный в ней хозяин, как «Тигр» в кроваво-сексуальных кошмарах книг американца Микки Спиллейна или Супермен и Бэтмен — в плоском, одномерном мире газетно-журнальных комиксов.

Кое в чем Бонд отличается от разного рода новомодных суперменов, которыми читатели могут восхищаться со стороны, но с которыми они просто не способны себя отождествлять. Флеминг в этом отношении проявил консерватизм: его Бонд не исключает возможности отождествления.

Начать с того, что Бонд, собственно говоря, не шпион в том смысле, как мы это понимаем. Он — секретный агент, своеобразный чиновник для особо опасных поручений при «Юниверсал экспорт» (под этой вывеской работает британская секретная служба, возглавляемая адмиралом М.). Он не избавляется в свободное от «путешествий» время от обычной бюрократической рутины, ходит на работу, выписывает вполне консервативные «Таймс» и «Дейли экспресс». Вот разве что свой день он начинает не с чашки кофе, а с порции выпивки, но он может себе это позволить. Если нужно, он легко меняет режим; его физическая сила, находчивость, навыки рукопашного боя — результат долгих тренировок, а не врожденные качества супермена. В соответствии с шаблоном беллетристики, он благороден и всегда готов встать на защиту слабого. Жестокость Бонда сплошь и рядом оправдывается еще более невероятной жестокостью его врагов.

Во внешности Бонда также нет ничего сверхъестественного: «Рост — 183 см, вес 76 кг; телосложение правильное, глаза — голубые, волосы — черные». Враги Бонда рассматривают его фотографию: «У него было смуглое, с четкими чертами лицо, трехдюймовый белый шрам ярко выступал на загорелой коже правой щеки. Широко и симметрично посаженные глаза глядели из-под прямых, чуть-чуть длинноватых черных бровей. Черные волосы с пробором на левой стороне были небрежно приглажены, так что плотная черная запятая падала на правую бровь. Длинный прямой нос спускался к короткой верхней губе; рот был широкий, красиво очерченный, но с жестокой складкой вокруг губ. Подбородок был прям и тяжел... Генерал Г. держал фотографию в вытянутой руке. Решительность, властность, беспощадность — вот что он прочитал в этом лице» («Из России, с любовью»). Перед нами — типичный портрет, лишенный индивидуальности. Такой «герой» нужен Флемингу для того, чтобы читатель отождествлял себя с ним, совершал в процессе чтения все великие «деяния» Бонда и воспринял так или иначе комплекс идей и «идеалов», которыми последний руководствуется. В представлении рядового читателя западного мира, особенно молодого и неискушенного, Джеймс Бонд выступает как «положительный образ». Он появился в темные, безгероичные годы безвременья «холодной войны», когда героика антифашистской борьбы была предана на Западе официальному забвению и на повестке дня стояло создание нового «героического» эпоса — эпоса антикоммунизма. «Благородство» Бонда — в мужественности, стремлении к активному действию, «человечность» — в любвеобильности, «высокое» — в служении антикоммунизму. Международная популярность Бонда объясняется и настойчивой, шумной рекламой, и манерой, в которой автор подает этот культ новой «мужественности».

В английском языке есть новое словообразование «гиммик». Этим термином обозначаются качества и навыки, не связанные с уровнем профессионального мастерства и используемые малоталантливыми исполнителями в погоне за дешевой популярностью. Скажем, у исполнителя шлягеров «гиммик» — одежда особого покроя, прическа «а-ля битлз», развязная манера поведения на сцене и т. п. «Гиммик» апеллирует к зрителям, «заражает» их и увлекает, заставляя подчас забывать о профессиональной несостоятельности актера. В романах о Джеймсе Бонде антикоммунизм, явно не усваиваемый уже читателем в «чистом виде», подан при

помощи разного рода литературных «гимми-ков». В их числе — «антураж» бульварной литературы: насилие, секс, авантюра, классический треугольник: рыцарь-герой, злодей, очаровательная девушка.

Флеминг умело сыграл на тяге читателя не только к необычному, но и к грандиозному. Его Бонд — «герой» нового времени, выступающий по меньшей мере спасителем нации, если не всего «свободного мира». Отсюда — грандиозны враги, грандиозны замыслы, которые они лелеют, грандиозны злодеи, призванные претворять эти замыслы в жизнь. И самый зловредный, самый безжалостный, самый чудовищный враг Бонда — конечно же международный коммунизм.

Разумеется, не случайно напрашиваются аналогии между романом Флеминга и официально-пропагандистской беллетристикой фашистской Германии. Хотя обстоятельства действия, размах «операций», да и собственно «герой» у Флеминга вроде бы и не те, что в романах его немецких «предшественников», хотя Флеминг работает тоньше и избегает плакатной, предельно откровенной трактовки материала, направление и характер действия у него и у его «коллег» по перу в третьем рейхе едины: един генезис творчества, един социальный заказ. Жестокость и беспринципность действия не только поощряются Флемингом, но и выдаются им за эталон — точно так же, как утверждался фашистскими беллетристами культ жестокости и разрушения, следование принципу «все позволено» при выполнении «исторической миссии третьего рейха» — уничтожении «мирового большевизма». И «белокурая бестия» фашистской пропаганды, и англосаксонский джентльмен Джеймс Бонд, «герой» современного антикоммунистического эпоса,— оба они солдаты крестового «похода на Восток». У них разная форма, но одна и та же цель. Естественно, время шло, менялся «герой», но антикоммунизм оставался все тем же антикоммунизмом. Неизменной оставалась и главная мишень антикоммунистической беллетристики — «Советы».

В восьми из тринадцати книг Бонду приходится бороться с опасностью, исходящей непосредственно от Советского Союза, на который работают международные преступники всех разрядов и рангов. У «красных» далеко идущие замыслы: собрать тем или иным (большей частью, разумеется, мошенническим) путем валюту, необходимую для деятельности мифической международной организации «красного террора»; уничтожить Лондон при помощи ракеты с ядерной боеголовкой; похитить все золото из национальной сокровищницы США в Форт-Ноксе; деморализовать Англию, развернув подпольную торговлю наркотиками и т. д. и т. п. Нелепость исходных положений в книгах Флеминга столь очевидна, что не признать ее не могут даже те, кто относится к Бонду и его делу с явной симпатией.

В целях идеологической маскировки, а также для того, чтобы обеспечить доверие читателя, еще не успевшего забыть, против кого воевали страны антигитлеровской коалиции во второй мировой войне, Флеминг, с одной стороны, делает Бонда противником фашизма, а с другой — тщится представить «коммунистов» чуть ли не духовными союзниками фашизма. «Красные агенты» у него работают то в тесном контакте с недобитыми гитлеровцами («Мунрейкер»), то в не менее тесном контакте с международными бандитскими синдикатами («Голдфингер»). Облик «бонд-врагов» также дан в полном соответствии с законами мифической Бондландии.

Бонд-враги — модификация «злодеев» бульварного романа. Это — «злодеи» совершеннейшие, стопроцентные, по призванию и честолюбию, предающиеся «злодейству» с самозабвением и утонченностью подлинных знатоков. В самом их облике ощущается нечто сатанинское. Не случайно мистер Биг, «злодей» из второго романа Флеминга,— верховный маг секты вудуистов : «Его голова, в два раза больше обычного и почти идеально круглая, походила на огромный футбольный мяч. Черная кожа с серовато-тым оттенком казалась натянутой на костяк и была блестящей, как лицо трупа, пролежавшего неделю в воде. Голова была безволосой, если не считать редких серо-коричневых кустиков за ушами. У него не было ни бровей, ни век, а глаза были посажены на таком расстоянии друг от друга, что их было невозможно охватить одним взглядом. Они смотрели твердо и проникновенно. Когда они на чем-нибудь останавливались, они, казалось, пожирали предмет, обволакивая его взглядом со всех сторон. Они слегка выступали из орбит, и их золотая радужная оболочка опоясывала расширенные черные зрачки. То были глаза зверя, не человека, и отливали они звериным блеском» («Живи сам и давай умирать другим»).

Романы Флеминга — своеобразная кунсткамера аномалий в облике человека, и почти все они — на службе у «красных»: и доктор Нет, и мистер Биг, и Голдфингер, и маньяк-убийца Ред Грант («Из России, с любовью»), и старая мегера, садистка, к тому же и лесбиянка Роза Клебб (там же), и многие другие. Выписывая — со знанием дела и не без смакования — портретную галерею «злодеев», Флеминг стремится заинтриговать, увлечь читателя изображением схватки «обыкновенного» западного агента с чудовищными преступниками («гиммик»). Красная (в прямом и переносном смысле слова) кровь буквально стекает со страниц тоненьких книжек Флеминга.

Английский писатель Кингсли Эмис, объявивший себя поклонником Агента 007 и посвятивший полемике с его противниками специальное исследование «Досье Джеймса Бонда», приводит объективную выкладку о числе и характере «кровопролитий» в книгах Флеминга. «По моим подсчетам, Бонд расстреливает, душит, закалывает, по-

---

В. СКОРОДЕНКО
РАДУЖНАЯ ОТРАВА БЕЛЛЕТРИСТИКИ

гребает под грудой гуано, помогает «отбыть» через разбитый иллюминатор самолета на высоте нескольких километров или каким-то иным способом непосредственно отправляет на тот свет тридцать восемь с половиной злодеев; за смерть тридцать девятого Бонд и барракуда несут равную долю ответственности... Однако размах деятельности Бонда выглядит даже ограниченным в свете того, что около 70 человек уже без его прямого участия взлетели на воздух, заживо сгорели при автокатастрофах; были обглоданы пирайей, отравлены, спущены в желоб для бобслея (разумеется, без санок), искромсаны в снегоочистителе альпийского локомотива, погибли под лавиной, задохнулись от рыбы, которую им вогнали в глотку... и т. д. и т. п. Я уже не говорю о жертвах (их число невозможно установить точно: что-то около 500 человек), которые принесли операция в Форт-Ноксе и падение ракеты с атомным зарядом, запущенной сэром Драксом,* среди кораблей Северного флота».

Составляя этот перечень, Эмис полагал, что защищает Флеминга от упреков в фетишизации насилия. Результат, однако, получился прямо противоположный и выдает Флеминга с головой. Количество явно переходит в качество: сцены насилия встречаются в таком изобилии, что читатель уже перестает разбирать, какая из акций является ответной (и, следовательно, оправданной), а какая — провокационной. Сцена пытки, связанная с болевым воздействием на половые органы жертвы («Королевское казино»), живописание отвратительной животной схватки двух полуголых женщин («Из России, с любовью»), изображение изощреннейших способов самоубийства в заповеднике, где культивируются ядовитые растения и насекомые, водоемы кишат пирайей, а из земли бьют кипящие грязевые гейзеры («Живешь только дважды»),— такие и подобные им картины — непременный элемент «художественной ткани» романов Флеминга. Тем более что автор не упускает ни одной возможности лишний раз подчеркнуть, что, как бы ни был жесток Агент 007, реализующий право на убийство «при исполнении служебных обязанностей», его жестокость в каждом случае перекрывается еще более чудовищной жестокостью «красных». Вот одна из сцен, «проходных» для романов Флеминга. Бонд, изучая наставления по рукопашному бою, составленные секретными службами различных стран, знакомится с руководством, составленным якобы «русскими». «Он перечел абзац, вызвавший у него отвращение: «С пьяной женщиной можно легко справиться, захватив край нижней губы большим и указательным пальцами. Крепко защемив губу, тяните ее на себя и одновременно выкручивайте, и женщина сразу же перестанет сопротивляться». Мораль: каковы должны быть «красные», если их жестокость заставляет содрогаться даже Бонда!

По Флемингу, «борьба с коммунизмом», которую ведет Бонд, не только искупает его, Бонда, грехи, но обязательно вознаграждается. В каждом романе неизменно присутствует Прекрасная Девушка, которую Агент 007 завоевывает (или отвоевывает) как законную контрибуцию. Все, связанное с прекрасным полом, трактуется Флемингом в духе бульварного романа. Девушки напоминают одна другую: они красивы, у них прекрасные фигуры и «великолепные тугие груди». А главное: все они с первого взгляда становятся жертвами неотразимых чар мужественного агента (схема, как видим, полностью повторяющая общие места желтой беллетристики).

Очаровательные сцены с обнаженными красавицами предназначены Флемингом в награду не одному герою, но и читателю также. Когда в Англии были опубликованы результаты опроса, проведенного среди молодежи Д. Деверсон и Ч. Хэмблеттом*, выяснилось, что добрая половина молодых англичан читает Флеминга, а из их числа не меньше половины «завоевано» тем (привожу дословно высказывание подростка), «как Бонд поставил себя с женщинами». Думается, популярность такого рода не случайна: с одной стороны, Бонд — обыкновенный, каким может стать каждый; с другой — выгодно отличается своим мускульным и сексуальным (увы! — не интеллектуальным) потенциалом от «рефлектирующих» и «сложных» героев серьезной литературы. Его секс-успехи становятся одновременно компенсацией за то, что Бонд, в сущности,— лицо подчиненное. Умение беспрекословно подчиняться — качество, которое Флеминг закономерно идеализирует. Бонд у него «предан без лести», «любит и почитает» даже звук голоса своего непосредственного начальства.

Двойственность Бонда (служащий и псевдоромантический «герой» в одном лице) отражает специфику композиции книг Флеминга. Исключительное в них соседствует с обычным, «романтическое» выступает в единстве с повседневным. Самые невероятные, самые дикие коллизии и ситуации обрастают у Флеминга массой вполне конкретных, подчас документально точных, натуралистических деталей. Любой человек сочтет, например, маловероятным, если ему сказать, будто в середине XX века некий авантюрист может купить остров у берегов Америки, оборудовать на этом острове подземный город по последнему слову техники, установить на нем аппаратуру для того, чтобы сбивать с курса американские ракеты, приводнять их в нужном месте, а затем вылавливать и продавать секрет их устройства «красным» — и сделать все это так, что ни одна живая душа не узнает об этом («Доктор Нет»). Бред? Конечно. Но автор начеку.

Флеминг не только мастерски построит сюжет, он даст вам точные географические координаты острова, латинское название породы птиц, на нем обитающих,

* «Злодей», работающий на «Советы», из романа «Мунрейкер».

* См. «Иностранную литературу» № 12, 1965 г.

марку трактора из гаража доктора Нета, виды оружия его телохранителей, размеры стекла подводного аквариума в подземном кабинете доктора, наконец, перечислит все блюда, которыми «злодей» угощает пленного «героя» перед тем, как подвергнуть последнего жестокому испытанию. Читатель, поглощенный, захлестнутый этой стихией информации, может и не дать себе отчета в общем неправдоподобии всего происходящего: Флеминг как бы направляет его по ложному следу.

Подобному приему, рассчитанному на то, чтобы представлять невероятное правдоподобным, Эмис дал название «эффект Флеминга». О том, что этот «эффект» достаточно эффективен, свидетельствует коммерческий успех книг Флеминга. Правда, речь, скорее, может идти о материале псевдофактическом, поскольку уличение Флеминга в фактических ошибках и неточностях давно уже превратилось на Западе в своеобразный интеллектуальный спорт.

Помимо коммерческой и сюжетной, «эффект Флеминга» несет и еще одну, далеко не маловажную «нагрузку»: идеологическую. Взять, например, роман «Голдфингер». «Советы» решили подорвать экономическое могущество Запада. С этой целью «красный конспиратор» Голдфингер решает... ограбить национальную сокровищницу США в Форт-Ноксе. План сам по себе достаточно дик, но в соответствии с «эффектом Флеминга» он начинает обрастать подробностями и псевдофактами, каждый из которых призван дискредитировать «международный коммунизм» в глазах читателя.

«Красные агенты», под видом японской делегации проникнув в Форт-Нокс, должны подбросить в городское водохранилище «GB» — страшный яд, парализующий нервную систему. «GB» был выделен в лабораториях третьего рейха и захвачен русскими в конце войны, поскольку даже фашисты не решились пустить его в дело. Все это сообщается Флемингом, как говорится, «на полном серьезе». Сейчас яд предоставлен «Советами» в распоряжение Голдфингера (ибо коммунисты, пугает Флеминг читателя, страшнее фашистов). Своим «коллегам» по операции Голдфингер, разумеется, не сообщает о запланированном убийстве 60 тысяч человек: такая жестокость может травмировать психику самых закоренелых преступников, не состоящих в партии. В Форт-Нокс Голдфингер с сообщниками прибудут на бронепоезде, замаскированном под эшелон Красного Креста. Наконец, заключительная подробность, бросающая свет на поистине черное коварство «красных»: похищенное золото будет погружено на советский крейсер класса «Свердловск», находящийся у берегов США с визитом доброй воли.

Так выглядит «эффект Флеминга» на практике.

В антикоммунизме Флеминга, как, впрочем, во всяком антикоммунизме, важно не только то, *против* кого сражается Бонд, но и то, *чему* и *кому* он служит.

Бонд служит Западу, миру «белого человека». Он космополит по роду деятельности: ведь антикоммунизм не имеет родины. Однако для того, чтобы стать «героической» фигурой в глазах западного обывателя, Бонд должен служить какой-то конкретной стране. Ура-патриотизм входит в обязательный набор «джентльменских» качеств, призванных снискать герою симпатию рядового читателя беллетристики. Британский патриотизм Бонда — один из существенных «гиммиков», обеспечивающих международную популярность книг Флеминга.

В различных книгах противниками Бонда выступают: болгары, чигроиды (продукт китайско-негритянского брака), корсиканцы, югославы, русские, итальянцы, немцы, корейцы, китайцы, латиноамериканцы, ирландцы, турки, сицилийцы, даже американцы. Но англичан среди них нет — ни одного во всех 13 книгах! Более того, «расстановка сил» в романах недвусмысленно свидетельствует о расизме автора. Негры, мулаты, китайцы, чигроиды, корейцы — всего лишь «мускульная сила» «красного террора».

Англичанин Бонд часто выступает с помощниками. Показательно, что роль последних всегда сводится к чисто подчиненной. Своеобразный «апофеоз» Бонда — передача под его бесконтрольное командование американской атомной подводной лодки «Манта» («Операция «Шаровая молния»). Англичанин Бонд — всегда самый первый, самый эффективный.

Рассуждая о патриотизме Флеминга (а «патриотизм» этот — не более чем условность в облике космополитического героя), тот же Эмис вынужден сделать знаменательное признание: «Мания величия идет рука об руку с манией преследования». Действительно, жертвой ненависти «красных», как, впрочем, и других международных мерзавцев, становится большей частью почему-то именно Англия. В своей англомании Флеминг доходит уже и вовсе до анекдотических положений. Так, «цвет» советской «секретной службы», получив приказ «напомнить» о себе Западу какой-нибудь решительной акцией, не может придумать ничего страшнее и болезненнее для капиталистического лагеря, как... устранить Джеймса Бонда («Из России, с любовью»)*.

* Значение и влияние Англии в романах Флеминга существенным образом отличается от подлинного положения дел в послевоенном мире. Автор как бы «не замечает» необратимых исторических изменений, а если и замечает, то пытается представить их как случайные и временные трудности (именно таков характер спора Бонда и главы японской контрразведки Танака в романе «Живешь только дважды»). Естественно, что книги Флеминга пришлись по душе крайним британским консерваторам, твердолобым сторонникам «решительного курса», вздыхающим по временам Родса и Китченера. Романы о Джеймсе Бонде, таким образом,— не только развлекательно-пропагандистское чтиво, но кое для кого еще и чтиво «утешительное».

В. СКОРОДЕНКО
РАДУЖНАЯ ОТРАВА БЕЛЛЕТРИСТИКИ

«Шпионский роман» Флеминга рассчитан на различные категории читателей, но в первую очередь — на молодежь. «Моя задача,— сказал Флеминг в одном из многочисленных интервью,— заставить умных, непредубежденных подростков любого возраста перелистывать страницы моих книг в поездах, самолетах или просто у себя дома, в постели, перед отходом ко сну». С *этой* задачей автор справился более чем успешно. Романы о Бонде и их экранизации получали на Западе превосходную прессу и грандиозную рекламу. Поддержка «сверху» шла навстречу запросам рядового читателя, молодежи, которая не знала, где и как найти выход энергии, которая тосковала по романтике и приключениям, по активному действию и жизни, достойной «настоящего мужчины», и которая нашла все это в книгах Флеминга. Обладающие всевозможными «гиммиками», увлекательные, яркие по колориту, «заряженные» напряженным действием, романы об Агенте 007 отравляют сознание молодого поколения всего западного мира ядом насилия, ненависти и шовинизма.

Молодой читатель «шпионского романа» воспринимает не столько «джентльменский комплекс» антикоммунизма, сколько жестокость и нравственную беспринципность действий «героя», мораль зверя. Причем это насилие обращается против «своих», то есть на общество, в котором культивируется беллетристика насилия. Последствия такого «обратного эффекта» настолько серьезны, что против «литературы насилия» начинают выступать и такие консервативные издания, как «Таймс», в редакции которого долгое время работал Флеминг и постоянным подписчиком которого является Джеймс Бонд. Ведь именно «Таймс» забил тревогу по поводу упадка интереса к интеллектуальному детективу (Кристи, Гарднер, Сименон) и огромной популярности «шпионского романа» среди молодых англичан.

О понимании опасности, которую несет обществу «шпионский роман», пропагандирующий насилие, свидетельствует и тот факт, что многие серьезные художники слова в последние годы выступили с произведениями, разоблачающими или высмеивающими шпиономанию и спекуляции на «красной опасности», культ жестокости и антикоммунистической «романтики». В Англии к числу таких произведений относятся психологические романы Джона Ле Карре «Шпион, который вошел с холода» (1961) и «Война в Зазеркалье» (1963), пародия Кингсли Эмиса «Лига борцов со смертью» (1966) — это при всех симпатиях Эмиса к Бонду и его создателю! — яркая сатирическая комедия Н. Ф. Симпсона «Бег по кругу» (1966).

Знаменательно, что Ле Карре и другие обращаются к жанру «политического детектива», то есть фактически к тому же жанру, который был разработан Флемингом, вкладывая, однако, в эту литературную форму диаметрально противоположное содержание. Недаром Ле Карре называет свои романы «антибондистскими». «Политический детектив», успеху которого положил начало Флеминг, развивается сегодня, таким образом, уже в новом качестве.

Современный антикоммунизм, несомненно, изыщет новые виды беллетристической отравы для широкого читателя. Но и «сага» о Джеймсе Бонде пока что отнюдь не сдана в архив, «герой» еще дееспособен. «Если спросить молодого читателя, как он отличает «хороших» героев от «плохих», ответ сведется к тому, что «хорошие» обычно всегда побеждают; здесь мы имеем дело с «добродетелью по определению»... — писал о современной западной беллетристике известный американский социолог Д. Рисман.— Вполне естественно, что мораль начинает восприниматься как следствие победы». Таким образом, «правой стороной» вроде бы оказывается и Бонд, и то общество, на которое он работает.

Суть, однако, заключается в том, что деятельность Бонда, как и его «мораль», относится к области «наоборотного», «зазеркального» мира, существующего исключительно в фантазии автора. В реальном же, действительном мире все его «победы» существуют только на бумаге: они свидетельствуют о поражении Агента 007, о поражении его создателя Яна Флеминга и тех сил, которым они все еще продолжают служить.

БОГУМИР ШМЕРАЛЬ

ПРАВДА О СОВЕТСКОЙ РОССИИ

(Отрывки из книги)

Книга Б. Шмераля «Правда о Советской России» имеет свою сложную и интересную историю. Б. Шмераль был одним из немногих крупных деятелей II Интернационала и единственным видным вождем чешской социал-демократии, который после победы Октябрьской революции в России встал на путь коммунизма. Шмераль был наиболее выдающимся представителем левой социал-демократии в Чехословакии, а в последующие годы одним из основателей и руководителей КПЧ.

Деятельность Б. Шмераля относится к тому периоду, когда чехословацкие рабочие боролись за освоение опыта Октябрьской революции и за создание коммунистической партии. Октябрьская революция оказала большое влияние на жизнь чешского и словацкого народов. Она стала важной предпосылкой создания в октябре 1918 г. самостоятельного Чехословацкого государства. Тем не менее о жизни Советской России в тогдашней Чехословакии было известно очень немногое. Через фронты гражданской войны поступали лишь скудные сведения, совсем мало было сведений достоверных и правдивых. У чешской буржуазии, принимавшей активное участие в борьбе против Советской России было достаточно причин скрывать правду о первом в мире рабочем государстве. Вожди чешской и словацкой социал-демократии, опасаясь быстрого полевения рабочих масс, стремились отмежеваться от идей большевизма. Они объявляли его в лучшем случае «чисто русским явлением», не пригодным для европейских условий. В этой обстановке правдивая информация об Октябрьской революции, о жизни Страны Советов, о политике большевиков и о теории ленинизма становилась жизненно необходимой для чехословацкого рабочего движения. Вот почему весной 1920 г., за год до основания КПЧ, в Советскую Россию отправился Богумир Шмераль.

За время своего непродолжительного пребывания в Советской России Б. Шмераль успел многое. Он посетил Москву и Петроград, участвовал в работе IX съезда РКП(б), съезда профсоюзов, беседовал с видными деятелями большевистской партии и советского государства, дважды встречался с В. И. Лениным, посетил многие предприятия и учреждения и собрал обширную информацию о жизни революционной России. Свои наблюдения и впечатления он изложил в виде писем, адресованных чехословацким рабочим. Эти письма и составили его книгу, вышедшую в Чехословакии в 1920 г.

«Правда о Советской России» — один из ярких документов революционной чешской публицистики. Это первая в Чехословакии попытка как развернутого изложения основных принципов ленинизма, так и изучения опыта русской революции. Книга Богумира Шмераля — ценное свидетельство о жизни Советской России в первые годы после победы революции.

Богумир Шмераль описал советскую жизнь тех лет очень живо и с большой любовью. Тем не менее его книга в течение многих лет не переиздавалась и стала библиографической редкостью. Лишь в 1965 г. Институт истории КПЧ подготовил и опубликовал ее новое издание на чешском языке.

М. РЕЙМАН

ВВЕДЕНИЕ

Я вернулся из Советской России. У каждого, с кем я встречаюсь, во взгляде вопрос: как там, что ты видел, что пережил?

Отвечаю просто и кратко: я прихожу из иного мира, прихожу иным человеком. То, что происходит в России,— головокружительно, огромно, разумно, честно, неизбежно, неодолимо. «Novarum rerum nobis nascitur ordo». Новых деяний родится нам череда!

Все, что в течение двух лет защитники капиталистического строя пытаются внушить нам всеми способами — действуя уточненно или грубо,— это ложь, равной которой не было еще в истории.

В России я имел доступ везде и всюду. Говорил по душам и с вождями, и с простыми рабочими. Бывал и на заводах, и в казармах, и на съездах, и в учреждениях, и в Советах, и в школах, среди детей. Мне нельзя было демонстрировать «потемкинские деревни». Наибольшее значение я придавал собственным наблюдениям в тех обстоятельствах, в которых волей-неволей оказывался. Например, когда наш экипаж застрял в деревне и нам пришлось заночевать в крестьянской семье. Или тогда, когда после внезапного сообщения о войне с поляками, в разгар мобилизации коммунистов и рабочих, в Москве произошел страшный взрыв военных складов, подвергший испытанию нервы улицы. Желая ознакомиться с работой государственного аппарата, я не задавал отвлеченных вопросов кому-нибудь из руководящих товарищей, я сам поехал на окраину, постарался обратить на себя внимание, делая выписки из приказов о мобилизации, и сознательно допустил, чтоб меня арестовали, отвезли в чрезвычайку, допросили вместе с другими арестованными. Только потом я показал свое удостоверение личности, а также письмо-мандат от Ленина и попросил товарища, возглавляющего местное отделение, информировать меня в общих чертах о работе чрезвычайки.

Я не фантазер и старался, чтобы мои наблюдения не были односторонними. Однако не скрываю, что с самого начала с любовью и верой воспринимал русскую пролетарскую революцию. Конечно, я не мог за эти полтора месяца увидеть в России все, что хотелось бы.

В какой форме лучше передать свои впечатления тем, кто захочет меня услышать? Я сперва думал построить мою книгу так, чтобы в ее основу легли главные выводы, общие впечатления, описание общего положения в стране. Но подлинная сущность нынешнего переворота в России яснее всего проявляется в деталях, конкретных делах, и тут нужна точность воспроизведения. Только совокупность деталей, хотя бы и незначительных, создаст фотографически точное представление о том, что происходит в России. Я пытался фиксировать свои впечатления, пока еще дышал той исторической атмосферой, в которой очутился.

Прошу далее, чтобы читатель не предъявлял к моей книге тех требований, которые предъявляют к художественному произведению. Я никогда не был, не мог быть никем иным, как тружеником-журналистом. У меня нет ни таланта, ни времени на большее, чем некоторая обработка тех записей, которые я всегда делал в России по ночам, не думая об их художественной конструкции, ставя перед собой одну цель — быть правдивым. И все же это — ценный материал, впервые становящийся доступным Западной Европе, и было бы жаль растерять его.

Эти статьи я посвящаю пролетариям красного Кладно. Рабочих Кладно хорошо знают в России. На большом собрании в Петрограде группа смоленской молодежи послала мне в президиум записку, в которой просила передать привет молодым кладненским товарищам. То же самое поручил мне Всероссийский Центральный Комитет молодежи. Когда я уезжал, все члены Исполкома Московского Совета просили меня передать привет кладненским товарищам.

Были месяцы, когда речь шла о судьбе социалистической республики, в полном смысле слова о жизни и смерти не десятков, а сотен тысяч русских пролетариев Сиби-

ри и всей России. В ту пору трудящиеся России, боясь и не понимая нас, видели в чехах едва ли не самых безжалостных и кровавых палачей *. Но красное Кладно отстояло честь своего народа **.

(Из письма третьего)

Москва, среда, 31 марта.

Первое впечатление на платформе московского вокзала было не особенно благоприятным для оценки организованности советской работы. Мы везем дипломатическую почту, а принять ее некому. Курьер Скурка звонит по телефону, чтобы прислали за почтой, но свободных машин нет. Сегодня открылся съезд партии, все руководящие товарищи заняты...

Сирола *** с гордостью констатирует, что все же за последнее время порядок улучшился, и рассказывает, какой хаос царил в 1917—1918 годах: миллионы вооруженных солдат возвращались с фронта, отдельные группы их были очень недисциплинированны. Занимали самовольно любой вагон, и никто не мог помешать им. Тогда действительно можно было прийти в отчаяние. И все же понемногу деятельность руководящего центра становилась заметной. Ему подчинялись, и появлялся порядок. Сильная рука революционного руководства создавала из хаоса новую жизнь. Революционная администрация возникла во всем государстве. Так трудно выбираться из хаоса, порой допускались ошибки. Представь себе, какие задачи легли на наши плечи после того, как мы взяли власть: овладеть массами, организовать вооруженную оборону от внешнего врага, оборону против контрреволюции, наладить питание людей, школы, транспорт, борьбу с неграмотностью. Многое еще идет не так, как мы хотели бы.

Машина все не приезжает, и Скурка нанимает повозку. Грузим почту, и Скурка едет с ней в комиссариат иностранных дел. Идем пешком. На улицах страшная грязь, полно народу. В центре города — много прохожих в рабочем платье. Хорошие костюмы буржуа — редкое исключение. Все магазины превращены в канцелярии или квартиры. На улицах торгуют различными мелочами. Пока Советская власть не может людей всем обеспечить, и она терпит эту мелкую торговлю.

Подходим к зданию комиссариата иностранных дел. Повозка с пакетами и ящиками курьерской почты уже стоит у входа. Идем в отдел курьеров. В каждой комнате — портреты Маркса, Либкнехта, Люксембург, Ленина.

Нас приветствует товарищ Крумина, работник одного из отделов III Интернационала: «Вы устали с дороги, прежде всего вам надо поесть». Комиссариат иностранных дел находится рядом со 2-м Домом Советов, бывшим отелем «Метрополь», против Большого театра. В «Метрополе» живет много государственных служащих, некоторые иностранные журналисты и гости. И здесь, как и во всех русских учреждениях, заводах и в больших домах,— общая кухня. Получаем талоны на обед, отмечаем их в кассе и идем в столовую. Большой зал, сейчас тут обедает около двухсот человек. На столах белые скатерти. Каждый должен взять у входа ложки и вилки и при выходе вернуть их. За одним столом сидит женщина в рабочей одежде, рядом с ней — служащий комиссариата. Оба едят одно и то же. Девушки — служащие комиссариата, приходя со своей посудой, уносят еду в канцелярию. Каждый получает к обеду полную тарелку рыбного супа с зеленью и кусочком рыбы, на второе — небольшой кусочек рыбы с капустой, хлеб. Товарищ Крумина звонит по телефону в Московский Совет, сообщает, что мы прибыли, и просит дать нам комнату в каком-нибудь национализированном доме. Мы получаем комнату в отеле «Савой». Багаж нужно отнести самим.

Перед «Метрополем» ждут пятеро немецких товарищей — спартаковцы и независимые. В Германии создана организация для переселения в Россию, она имеет и свою газету «Ретецейтунг». Газета получила много писем и из Вены, и из Праги. В организации — пятьдесят тысяч членов. Сейчас товарищи приехали договориться, чтобы переселенцев приняли, дали им землю, инвентарь, материал для строительства домов и даже целые фабрики. Советская власть хочет дать им работу и создать показательные коммуны. Говорят, переговоры идут успешно. Сообщают, что уже в этом году сюда приедет пять тысяч немецких пролетариев...

---

* Речь идет о контрреволюционном мятеже чехословацких легионов в 1918 г.

** Кладненские рабочие 15 апреля 1920 г. провели генеральную забастовку, выдвигая требование немедленно завязать политические и экономические связи Чехословакии с Советским Союзом. 1 мая 1920 г. они дали на массовом митинге клятву: «...идти вперед за маяком великой русской революции...»

*** Ирье Сирола (1876—1936) — один из основателей компартии Финляндии. В годы 1911—1922 и 1928—1936 был членом Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна.

(Из письма пятого)

Москва, пятница, 2 апреля.

Вчера нас пригласили осмотреть агитпоезд, готовый к выезду на освобожденные от Деникина территории. Мы встретились сегодня после обеда в Кремле — Ольбрахт, Вайтауэр, англичанин Артур Ренсом, шведские товарищи Туре Нееpман и Гримлунд, Радек, его жена и я. Через два дня поезд уходит в путь.

На вокзале нас встретил товарищ Я. И. Буров, 39-летний металлист, позднее — журналист, работник отдела агитации и пропаганды ЦК партии. Он разъяснил нам, как возникла идея таких агитационных поездов. В первую очередь они предназначены для деревенского населения отдаленных районов, отрезанных от центра. До сих пор организовано пять таких поездов: поезд имени Ленина, поезд Октябрьской революции, поезд имени Свердлова, «Красный Восток» (для Туркестана) и теперь новый — «Красный казак». Каждый из этих поездов регулярно выезжает в трехмесячную экспедицию. Он останавливается на тех станциях, куда заранее направлена радиограмма о его приезде, чтобы организации успели провести предварительную работу. Поезд везет с собой и автомобили, на которых его работники выезжают километров за сорок от железной дороги. Задача экспедиции — пропагандировать принципы коммунизма, привлекать массы к работе в советской системе, контролировать деятельность местных органов, принимать жалобы, распространять на местах литературу и просвещение. В поезде едут работники всех главных государственных комиссариатов, способные агитаторы и организаторы.

На вокзале случайно стоял поезд имени Октябрьской революции, выпущенный два года назад. (Первым был поезд имени Ленина.)

Осматриваем росписи стен вагонов. Оригинальные рисунки, яркие краски. Это — стиль, созданный революцией в первые же ее дни. Плакаты обрамлены надписями, лозунгами. Стены по вечерам специально освещаются. Изображения на стенах напоминают росписи повозок кочующих комедиантов в Чехословакии, они большей частью, за отдельными исключениями, хороши, некоторые даже очень. Мы вспоминаем, какую роль играли кукольные театры в Чехии в период национального возрождения. Здесь, у колыбели социального освобождения, сходный метод, но масштабы сверхамериканские. Плакаты по содержанию производят весьма внушительное впечатление. Крупные рисунки, выразительные надписи. Вот некоторые мотивы... Огромные капиталистические гады протягивают щупальца, чтобы захватить русскую революцию. Колоссальная фигура рабочего направляет против них страшный удар — русская коммунистическая партия рождает русскую революцию. И надпись: «В Октябре были разбиты цепи великого рабства». Гигантская фигура рабочего, выметающего половой щеткой сор — капиталистов, военщину, монархов. «Рабочие и крестьяне, вы куете собственную судьбу — куйте железо, пока горячо». Большое ослепительно-красное пространство: «Пожар революции переходит из России через границы в остальные страны».

Товарищ Буров сообщает, что у поезда Октябрьской революции на счету уже десять выездов. Работой четырех выезжавших поездов охвачено два миллиона людей, которые распространяют полученные знания по деревням. Оборудованы и три агитпарохода на Волге, на Днепре и на Дону. Результаты этой пропаганды так велики, что отделение, которым руководит Буров, думает организовать подобные же самолеты. Но это еще только в стадии подготовки.

Переходим на другую сторону платформы, где стоит готовый к своему первому пути поезд «Красный казак». У него, как и у всех этих поездов, большой локомотив и шестнадцать вагонов. На локомотиве и у входа в каждый вагон — красные флаги. Вместо футуристских рисунков — яркие краски национальных орнаментов. Вышивки, цветы — словно бы рамка для волнующих революционных сцен... «Казаки, не верьте, что Советская власть преследует церковь. Она не допускает никакого насилия над религиозными чувствами людей». «Казаки! Власть рабочих и крестьян не мстит. Она забудет о ваших заблуждениях и примет вас в дружную семью трудящихся». «Казаки! Организуйте свои Советы. Совет — это ваша власть, а не власть ничтожной кучки богатых». «Казачки! Поймите, что Советская власть освободила женщину. В Советской России вы имеете право на землю, решающий голос наравне с мужчинами. Казачки, стойте за Советскую власть!» «Долой царских генералов, помещиков и капиталистов! Да здравствует трудовое казачество!» «Казак, поверни свое оружие против тех, с кем до сих пор шел!» Над вагоном в середине поезда развевается красное знамя. На стене — большой герб советской республики в национальных орнаментах. Еще плакат: машина, в которую с одной стороны крестьянин бросает зерно, а с другой стороны выходит сукно. Надпись: «Дай хлеб, получишь на платье».

Две большие картины: «Рай белых», где преследуют бедняков, и «Жизнь в пролетарской стране»... «Казацкий совет принимает закон: все богатства трудящимся! Кто не работает, тот не ест!..»

Большое впечатление производит призыв Стеньки Разина, вождя казацкого восстания в XVIII столетии. И надпись: «Казаки, помните его слова: «Хочу воевать с богатыми. Хочу все разделить с бедняками...»

Большинство сотрудников поезда — казаки. Начальник поезда Дмитрий Полуян — донской казак, проверенный товарищ, который уже несколько месяцев работает в казацком секторе при комиссариате просвещения. Поезд имеет охрану из 12 человек, но все, кто едет, должны владеть оружием. Не исключено, что впереди опасность.

— Видели бы вы,— рассказывает товарищ Буров,— какое впечатление производил приезд агитпоезда в сибирских деревнях. Народ сбегался, все таращили глаза. Тогда начиналась работа. Сперва — короткие речи. Потом фильмы для детей в вагоне, где может поместиться 200 человек. Для взрослых одновременно показывают кино на площади. Типография, расположенная в одном из вагонов, тут же выпускает местную газету. В ней помещаются самые последние новости, только что услышанные по радио. Местные сообщения поставляются местными властями, которые нам всюду помогали. Представители комиссариата контролируют деятельность местных органов и пишут, по просьбе жителей, жалобы, которые передаются центральным органам в Москву. Советуют населению, помогают в важных организационных, экономических и политических мероприятиях и даже в личных делах, проводят собрания и митинги, распространяют литературу. В этот раз с поездом поедет писатель Серафимович.

Книжная лавка будет продавать на вокзалах литературу. Для деревенских организаций, чья деятельность заслуживает одобрения, поезд везет граммофоны с пластинками. Мы просили поставить пластинку. Граммофон сыграл «Интернационал», а потом воспроизвел речь Ленина на съезде в прошлом году, когда пришло сообщение о революции в Венгрии.

Когда мы заканчивали осмотр, Ольбрахт, все больше и больше приходивший в восторг, уже не мог удержаться и воскликнул по-чешски:

— Пусть в Европе идут к черту! Тут все так замечательно, а когда буду писать об этом, ничего у меня не выйдет. Хоть плачь!

Смотрим фильм. Большой зал затемнен. Длинноволосый аккомпаниатор играет «Интернационал». Показывают Первый съезд III Интернационала, потом монастырь, где комиссар в присутствии крестьян разоблачает мошенничество с мощами (этот фильм пользуется в деревнях особым успехом), потом — революционные сцены и первомайский праздник коммунистической молодежи.

За обедом в поезде сюрприз: встает товарищ и заговаривает с нами по-чешски. Это — Краткий, когда-то учитель Пльзеньской гимназии, родился в Домажлицах. Он был в России в плену и со времени организации агитпоезда работает здесь два года, один из самых опытных работников. Откуда он взялся и откуда взялись мы? В революции не бывает ничего удивительного. Лаконично информируем друг друга о самом важном. Краткий знает здешние условия, он в восторге от них. Производит впечатление интеллигентного человека, говорит спокойно, не спеша. В ближайшие дни мы встретимся, чтобы побеседовать.

(Из письма одиннадцатого)

Москва, четверг, 15 апреля.

...Я начал сегодняшний день с посещения Секретариата ЦК Коммунистической партии. Секретариат находится в 4-м Доме Советов на Моховой, в здании бывшей гостиницы «Петергоф». Сопровождает меня товарищ Невский.

Первое внешнее впечатление. Секретариат имеет 26 комнат, и работает в нем 120 товарищей. Стены увешаны множеством диаграмм, картами всех русских губерний, на картах отмечены точками партийные организации. В большом зале огромная схема — сеть всей партийной организации России. Портреты вождей резолюции.

Москва разделена на 13 районов, объединяющих 630 партийных ячеек. Райкомы заседают по пятницам. В Москве ежемесячно проводится около 300 лекций и 500 митингов. Если происходит что-нибудь значительное, например борьба против Деникина, митингов бывает больше. Пропаганда должна дойти до каждого жителя... Каждую неделю — какой-нибудь конкретный призыв: «На борьбу против Деникина!», «Юденич должен быть побежден!», «Неделя фронта!», «Неделя раненых!», «Неделя уборки, купанья, стрижки, бритья!», «Неделя борьбы против сыпного тифа, за чистоту квартир!», «Неделя заготовки дров!», «Неделя транспорта!», «Неделя ремонта паровозов!». На проведении в жизнь этих лозунгов надо сосредоточить все силы, они направлены к тому, чтобы создать мощный фронт труда, необходимого для обновления экономики страны...

Подробнее знакомлюсь с отделом работы в деревне, которым руководит товарищ Невский. Невскому около сорока лет, он выбрит, носит длинные волосы, белый накрахмаленный воротничок, хороший костюм, лицо его спокойно и весело. Он происходит из купеческой семьи. В революционном движении участвует с 1897 года, восемь лет провел в царских тюрьмах. На вопрос о профессии отвечает с улыбкой: «Революционер». В молодости Невский был в течение трех лет доцентом математики в университете. За границей (в Женеве) жил около трех месяцев. В 1917 году — работник военной организации в Петрограде... С увлечением вспоминает дни Октября,

говорит и о своей нынешней работе. Показывает нам несколько писем, из одного района пишут: крестьяне жаловались, что при реквизициях совершаются несправедливости. Сейчас там создана партийная организация. Студент Московского университета, посланный агитатором в деревню, делится своим опытом, приводит факты, до сих пор в Москве не известные. Рекомендует провести в Москве конференцию сельских агитаторов. Невский отмечает в своем блокноте: просить ЦК провести такую конференцию в начале июня. Петроградский металлист сообщает, что он, организуя самые отсталые элементы в Тульской губернии, добился хороших результатов. В письме с Кавказа просят выделить агитмашину с сильными работниками и необходимой литературой. Товарищ Невский говорит о том, какое исключительное значение имеет личное общение с простыми тружениками. Деревенские жители обращаются в Москву с разными просьбами к органам Советской власти. Мы принимаем их, беседуем, и часто бывает, что крестьяне, пришедшие аполитичными, возвращаются домой заинтересованными нашими идеями, нагруженные литературой. Это требует, конечно, большого труда и терпения, но дает свои плоды. Я лично принял за последние пять с половиной месяцев 5500 крестьян.

...Последние утренние часы я посвятил беглому осмотру Кремля. Роскошные комнаты и залы бывшего царя осматривало не менее десяти групп красногвардейцев. При каждой группе — девушки, дающие разъяснения; очень хорошо и с увлечением они, показывая сокровища дворца, говорят о социализме. Властители могли здесь жить так богато только потому, что миллионы были рабами. Революция свергла царя, и прошлое стало музейным экспонатом. Сегодня все принадлежит народу.

Стоит отметить, что исторические памятники в Кремле Советская власть хранит очень бережно. Мозаика редкостных полов покрыта рогожами, так же как и ценные ковры, стулья и диваны — в чехлах. В нижних комнатах Кремля много забитых перенумерованных ящиков с печатями. Как легко распространилась во всем мире сплетня, будто большевики хотят продать кремлевские ценности!.. А в ящиках хранятся сокровища петроградских музеев, отправленные правительством в Кремль в тот момент, когда не было исключено, что город может оказаться в руках врага. Сейчас Советская власть чувствует себя настолько крепкой, что возвращает эти сокровища в музеи.

Бывший дворцовый лакей, сопровождающий нас, не может отделаться от привычек, с которыми прожил всю жизнь. Он, правда, не говорит «его величество», но именует царя «императором». Показывает кучу золотых и серебряных тарелок, на которых царю, когда он куда-нибудь выезжал, подавали хлеб-соль. Мы выражаем удивление, что царь прихватывал с собой не только хлеб-соль, но и тарелки, и лакей как бы извиняется за него. Позднее император решил, что это слишком дорогой обычай, и приказал подавать ему хлеб-соль на деревянных тарелках. Лакей демонстрирует нам коллекцию деревянных тарелок. Несмотря на устаревшие взгляды лакея, ему не мешают дожить свой век на службе пролетарской республики.

Описывать царские залы нет смысла, описание найдешь в каждом путеводителе. На простых русских солдат награможденные здесь богатства производят огромное впечатление. Я видел лица русских красногвардейцев, когда им показали комнаты, оборудованные с поистине вавилонской роскошью, и объяснили, что в этих комнатах никто никогда не жил в течение двух столетий, если не считать двухдневного пребывания в них сиамского короля и персидского шаха. Однако самое сильное впечатление производит на простых людей большая картина Репина, которую царь особенно любил и велел повесить на самое заметное место в одном из лучших залов так, чтобы она сразу бросалась в глаза. Царь после войны принимает деревенских жителей. Впереди стоят окружающие царя официальные особы, равнодушные и бесстрастные. Сзади — представители мужиков. Они глядят во все глаза на своего государя, ловя каждое его слово. Замученный работой, сгорбленный старик прикладывает к уху согнутую ладонь, чтобы лучше услышать того, от кого он ожидает освобождения. Какой была речь, которую сам царь считал настолько удачной, что приказал врезать ее текст в металлическую раму картины? Вот ее примерный смысл: «Очень рад, что снова вас вижу. Особенно благодарен вам за ваше участие в наших победах, за которые храбро сражалась вся Россия. Передайте всем, когда разойдетесь по домам, мою сердечную благодарность. Слушайтесь своих господ, подчиняйтесь их приказам и не позволяйте вводить себя в заблуждение тем, кто болтает, будто землю разделят и передадут вам. Эти сказки сочиняют ваши враги. Частная собственность, в том числе и ваша, должна остаться неприкосновенной. Дай вам бог счастья и здоровья».

Эту картину следовало бы выставить на самой людной московской улице, но нигде она не производила бы такого впечатления, как здесь, среди роскоши, в которой жил царь...

В личных комнатах царицы — много на редкость безвкусных ваз и безделушек из Нюрнберга и Франкфурта. Интимные мелочи свидетельствуют о том, как близки были друг другу те, кто владел народами и гнал их на бойню, как близки были Романовы и Гогенцоллерны.

После обеда я побывал в Рабоче-крестьянском университете имени товарища Свердлова, в одном из отделений центральной рабочей школы. Несколько дней назад товарищ Ольбрахт прослушал там лекцию Луначарского о древнегреческой культуре.

Луначарский задержался на работе, и слушатели, ожидая его, устроили собрание. Толковали о делах насущных — об одежде, о топливе... Один из слушателей пожаловался на питание. Другие ораторы напомнили ему, что студенты имеют высшую категорию питания, как солдаты и рабочие. Луначарский три четверти часа говорил о греческой культуре. Очень сосредоточенно, наглядно и выразительно. Потом артистка московского театра читала стихи Сафо, демонстрировались древнегреческие танцы.

— За такие два часа,— сказал мне Ольбрахт,— слушатель получит больше, чем если бы он целые дни сидел за книгами.

Я пришел в Университет имени Свердлова около пяти часов. В дверях столкнулся с молодым японцем, в руках у него были книги. В конференц-зале меня встретила женщина лет двадцати шести, она сейчас же позвонила товарищу Невскому. Он пришел и здесь досказел мне то, о чем начал говорить в секретариате. В университете два факультета — партийный и советский, но первые три месяца курс лекций один и тот же. За три месяца слушатели должны усвоить теорию марксизма, советскую конституцию, программу коммунистической партии, платформы других партий, историю русской революции, историю западноевропейских революций, историю русской компартии, важнейшие положения о народном хозяйстве, кое-что из истории культуры и статистику. Теория связывается с практикой партийной жизни. Партийный факультет в этом году посещает 500 слушателей (всего их 1200). Он разделен на семь секций: организационная, пропагандистская, журналистская, военная, работа в деревне, работа среди женщин, работа среди молодежи. Второй факультет — советский — состоит из стольких секций, сколько имеется в стране комиссариатов. Политические, профсоюзные и другие организации России направляют в университет самых способных, на каждую губернию дается определенное количество мест. Студенты получают квартиру, питание, одежду и 600 рублей в месяц. Если они семейные, пославшая их организация доплачивает им до среднего заработка. Наряду с этим Рабочим университетом, созданным для быстрой подготовки новых кадров, существует и университет прежнего типа, но в нем упразднены два факультета — теологический и юридический.

Я захожу в некоторые аудитории. В каждой комнате 20—25 человек, перед ними классная доска, у доски преподаватель или преподавательница. Занимаются повторением материала. Преподают на этих семинарах рабочие и работницы, окончившие университет в прошлом году. При университете оставлено около 100 самых одаренных выпускников.

В каждой группе несколько девушек, женщин, солдат. Обучение проходит в форме непринужденной беседы. Некоторые слушатели сидят за партами, другие у столов. Почти все в зимних пальто и шапках. Это привычка, оставшаяся от тех дней, когда они учились в жестокие морозы. Во всех кружках сейчас проходит беседа о Советах, об их структуре и функциях. Я задаю одной слушательнице вопрос: чем отличается ваша конституция от мелкобуржуазных конституций? Она дает правильный ответ: «Советская конституция — выразитель и носитель мощи и воли трудящихся — рабочих и крестьян». Учебников нет, но я видел у многих слушателей очень хорошую иллюстрированную книгу под названием «Мы создаем новый мир». Видел я за работой и специальный отдел для товарищей из Азии, здесь занимаются сибиряки, туркмены, индус, два японца и два китайца. Большинство из них не умеют читать по-русски, они учат азбуку...

(Из письма двадцать восьмого)

Москва, четверг, 6 мая.

...Во второй половине дня на Театральной площади должен был состояться военный парад, а после парада — митинг в Большом театре. И на параде, и на митинге выступит Ленин. Так было решено на вчерашнем заседании Московского Совета. Таким образом, перед представителями армии и перед представителями пролетариата Советская власть официально выразит свое отношение к войне, начатой Польшей, разъяснит свою точку зрения советской и международной общественности. Речь Ленина на митинге будет официальным актом, которым Россия ответит на навязанную ей войну и вступит в состояние войны...

Мы на трибуне. Собрание проходит торжественно.

Заседание Московского Совета должно было быть посвящено хозяйственным вопросам, но неожиданная война с Польшей отодвинула на второй план все остальное. Заседание было тотчас же прервано. Вынесли только одно решение: созвать митинг, посвященный положению на польском фронте.

Конечно, сегодняшний спектакль в Большом театре пришлось отменить. Замечательный зал, его балконы и ложи декорированы красной материей. На авансцене сидят члены ВЦИКа, народные комиссары, члены Московского Совета, члены ЦК партии, представители профсоюзных организаций. В ложах у сцены представители азиатских народов, японцы, китайцы, индусы, турки, представители мусульман из Туркестана.

В царской ложе — члены литовской и латышской мирных делегаций. Я сижу на сцене между Антоновым-Овсеенко и Сокольниковым. Антонов-Овсеенко — молодой, похожий на студента, в очках, с длинными, по-женски подстриженными волосами. В Праге я принял бы его за одного из постоянных посетителей кафе «Унион». Однако у этого студента за плечами большая революционная и военная деятельность. Он был организатором партизанской борьбы на Украине в 1918 году и теперь уезжает на фронт. Сокольников командует 8-й армией.

...Выступает Ленин. Очень сухо, деловито, почти бесстрастно. Ни одного слова неумеренного оптимизма.

«Конечно, никто из вас не сомневается и нельзя сомневаться в том, что эта война представляет собой одно из звеньев длинной цепи событий, означающих бешеное сопротивление международной буржуазии по отношению к победоносному пролетариату, бешеную попытку международной буржуазии задушить Советскую Россию, свергнуть первую Советскую власть во что бы то ни стало, какими бы то ни было средствами...

Мы прекрасно знаем, что тот неприятель, который стоит перед нами сейчас, не страшен нам после того, что мы уже пережили, но он может потребовать новых тяжелых жертв со стороны рабочих и крестьян, может затруднить нам во много раз наше хозяйственное строительство, привести к разорению, разрушению десятки, сотни и тысячи крестьянских хозяйств, а также своим временным успехом воскресить потухшие надежды разбитых нами империалистов, которые, конечно, не преминут примкнуть к нему...

Пусть ни одно собрание, ни одно совещание не пройдет без того, чтобы при всяком обсуждении на первом месте не стоял вопрос: все ли мы сделали, чтобы помочь войне, достаточно ли напряжены наши силы, достаточно ли помощи отправлено на фронт? Нужно, чтобы здесь оставались только те, кто не способен помогать на фронте. Ему все жертвы, ему вся помощь, отбросив все колебания. И, сосредоточив все силы и принеся все жертвы, мы, несомненно, победим и на этот раз».*

Бурные аплодисменты прерывают почти каждую фразу Ленина. Глава самого великого государства произносит одну из самых своих значительных речей... Он обращается ко всему миру. Говорит при бурном одобрении всех присутствующих, в том числе небольшой группы эсеров и меньшевиков. Ленин едва договорил, а его уже ожидает курьер: пришли важные сообщения.

Я сижу по другую сторону трибуны. Ленин не может подойти ко мне и пожать руку. Однако Ленин, обремененный заботами исторического значения, помнит, что перед собранием говорил с малым человеком малого народа. И эта беседа должна иметь логическое, гармоничное завершение.

Ленин вынимает записную книжку, вырывает из нее лист, что-то пишет карандашом, листочек передается из рук в руки, попадает ко мне. Он написан по-немецки, и я читаю, по привычке журналиста отмечая подчеркнутые в нем Лениным слова: «An den Genossen Schmeral: Wenn Sie etwas brauchen und trotz aller Anstrengungen keine Antwort und keinen Resultat bekommen (was bei uns leider ziemlich oft vorkommt), dann **wenden** Sie sich, bitte, direkt an mich (Telephonogramm: **Kreml**, Kommutator, 3 Etage), oder schriftlich mit Angabe **auf** dem Kouvert: Persönlich von so u. so. Mit besten Grüßen Lenin». («Товарищу Шмералю. Если вам что-нибудь понадобится и, несмотря на все усилия, вы не сможете добиться ответа и результата (к сожалению, у нас это нередко бывает), **обращайтесь** прямо ко мне (телефонограммой: **Кремль**, коммутатор, 3-й этаж) или письменно с надписью на конверте: личное от такого-то. С самым горячим приветом. Ленин».)

Ясно, этот листочек Ленин послал, чтобы заменить им пожатие руки. Мелочь, но как она свидетельствует о такте и деликатности большевистского вождя...

Бурно приветствовали на митинге товарища Мархлевского-Карского, старого седовласого польского марксиста, который более 30 лет участвует в польском рабочем движении. Он сказал, что его присутствие имеет символический смысл, что эта война ведется против польских панов и цель ее — братское единение с польским рабочим классом. Он пришел к убеждению, что правительственные круги Польши не хотят мира. Однако эти круги не имеют в Польше никакой социальной поддержки и будут побеждены. «Потом в ответ на грохот наших пушек зазвучит гром выстрелов на баррикадах польских улиц. Так решится судьба этой войны, а этим и судьба мировой революции. Я убежден, что русский пролетариат победит и гигантскими шагами будет идти вперед, чтобы создать великое государство коммунизма». Наконец, меньшевики и эсеры неожиданно подали заявление письменно. Они заявили, что нападение Польши и Антанты — нападение мировой контрреволюции и что, оставаясь в оппозиции к правительству большевиков, они готовы помочь отбить нападение. (Со мной рядом один коммунист прошептал соседу: «И те, и другие — социал-патриоты. Готовы служить каждому правительству, будут служить и нам».)

---

* В книге Б. Шмераля выступление В. И. Ленина цитируется по сделанным им записям. В нашей публикации эти цитаты выверены (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. М., 1963, т. 41, стр. 112—118).

Председатель сообщает, что на собрании присутствуют первые 500 коммунистов, призванные в армию и едущие из Петрограда через Москву на фронт. Представители татарского пролетариата подают в президиум письменное заявление, подписанное Центральной военной коллегией и председателем ЦК бюро коммунистов Востока. Они предлагают, чтобы на фронт была послана 2-я татарская бригада. Первая уже выехала из Казани и находится в пути. Студенты университета им. Свердлова заявляют, что все пойдут на фронт. «Когда победим, вернемся и будем продолжать учебу». В здании Московского Совета принимают добровольцев, и в одиночку и группами...

Интересны сегодняшние газеты. Всюду напечатаны в русском переводе три самые популярные польские революционные песни с нотами. Сегодня первый официальный день войны. Завтра казармы будут заполняться мобилизованными и добровольцами, на польском фронте они будут петь польские революционные песни. Какой фронт может выдержать такую подготовку к артиллерийскому обстрелу?

(Из письма тридцать пятого)

Среда, 19 мая.

В понедельник я уезжаю. До Ревеля идет специальный вагон Наркоминдела, мне предложили ехать в этом вагоне. Имел беседу с Чичериным. В Кремле уже известно, что я провожу здесь последние дни. Директор столовой, с которым я до сих пор не встречался, подошел ко мне, сказал очень сердечно: «Не забудьте взять талоны на продовольствие, папиросы на дорогу». Дал мне талоны, я взял папиросы.

Пятница, 21 мая.

Сегодня вечером я был у Ленина на его квартире в Кремле.

Воскресенье, 23 мая.

Последний день. С утра тоскливое чувство, как будто я покидаю родину... А потом прогулка вдоль Кремля и по набережной. Замечательный, тихий весенний вечер; весна вот-вот перейдет в лето. У кремлевской стены, где похоронены борцы за Революцию, играют дети. Двое влюбленных, держась за руки, читают надписи на мемориальных досках: «Слава павшим бойцам!», «Слава авангарду пролетарской революции!» Она шепчет ему: «Товарищ!» В Москве-реке уже купаются мальчишки, на ступеньках, спускающихся к воде, молодая работница кормит ребенка. Другой ее ребенок, лет шести, гоняется за обручем. В Александровском саду полно людей: мужчины, женщины, дети сидят на газонах, никто их не сгоняет. Скамейки заняты, аллеи переполнены тружениками — рабочими, солдатами, их семьями. На лицах удовлетворение и спокойствие: наша Советская власть!

Повсюду я видел сирень, сирень, сирень! Откуда же сегодня взялось столько ландышей? Ландыши в руках, за поясом, на груди.

Посреди парка большой круг зрителей: два товарища при слабом сопровождении скрипки пляшут народный танец. Неподалеку козленок спокойно жует листья кустов. Маленькая — лет трех — девчушка бежит по тропинке ко мне. Устремляет на меня взгляд больших, удивленных, голубых, как незабудки, глаз и подставляет щеку! Не знаю почему, но я не потрепал ее по щеке, а пожал, как взрослой, ручонку, маленькую, теплую...

Я думаю о тех в нашей борьбе, кто останется добрым и выстоит. Дитя, до свиданья! Если не здесь, то у нас. Придет день, когда мы и у себя будем дома.

Перевод с чешского С. ШМЕРАЛЬ

ПОЛЬ ХОГАРТ

ЛОНДОН À LA MODE

Мой Лондон — это непролазные джунгли, населенные девятью миллионами душ, продавшихся черту ради жизненных благ. Расцвела и ушла в прошлое слава империи, и цитадели былого могущества, разбросанные по Вест-энду, кажутся стадом разбредшихся по пастбищу небоскребов. К востоку тянутся склады; они окаймляют Темзу, черную от грязи веков. Когда-то эти склады ломились от индийского золота и шелков, вест-индийского сахара, американского леса и табака. Теперь они набиты моющими средствами, консервами для домашних животных и другими подобными предметами широкого потребления, столь характерными для нашего «общества изобилия».

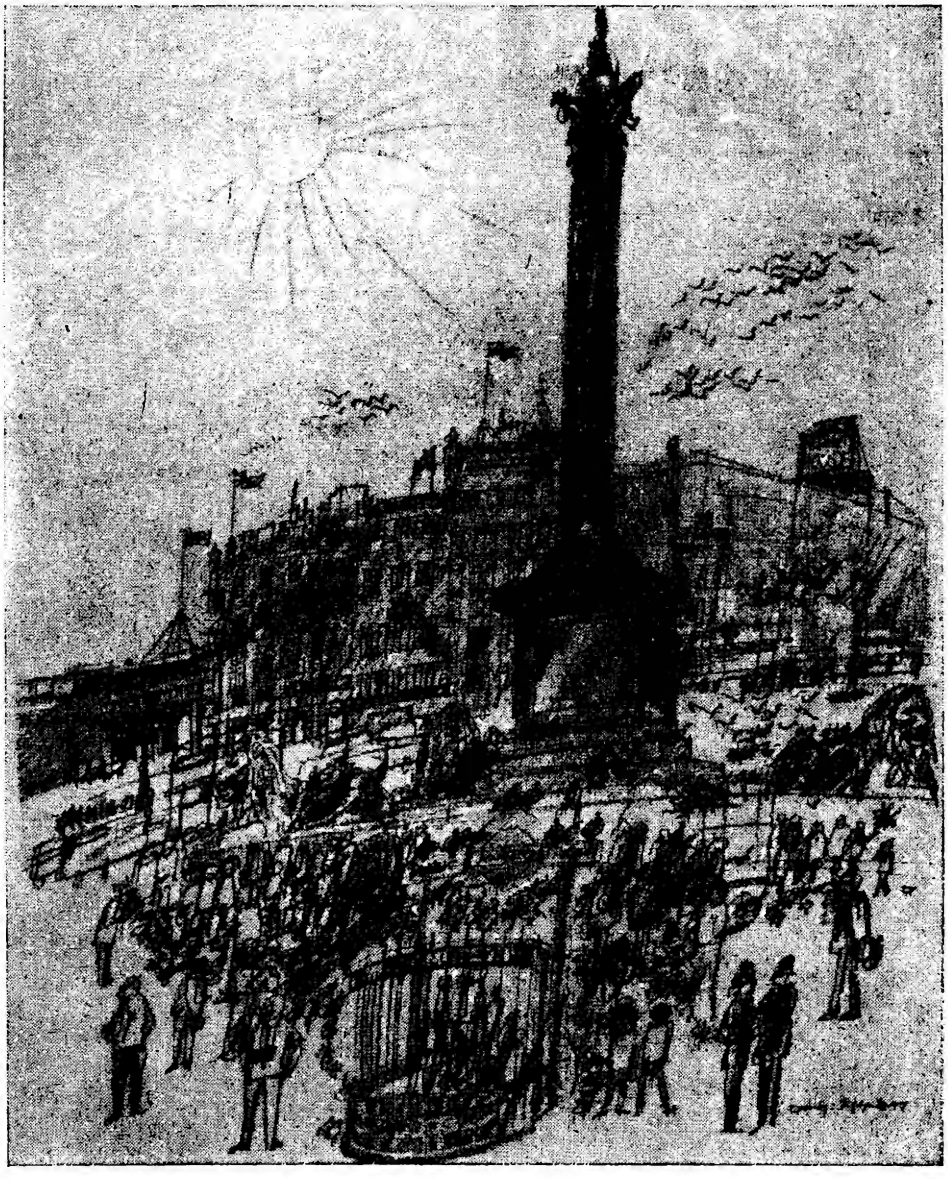
Мы живем в окружении бездельников и тружеников, трудолюбивых бездельников и бездельничающих тружеников. Порой их трудно различить. Нас теперь так бесконечно много. Досуг, высвобожденный автоматизацией, породил скуку, и многие из нас знают только один способ избавиться от нее — погоню за развлечениями. А почему бы и нет? И вот Лондон шестидесятых годов нашего века возродил во многих чертах и для всех желающих бурное веселье и вопиющие контрасты Лондона 1760-х годов. Или даже превзошел прошлое. В самом деле, мы располагаем не только вкусной едой, красивой одеждой, пороком и азартными играми, но и истинными приметами именно нашего века — «поп-артом», стриптизом для каждого и организованной преступностью.

Как может художник, которого волнуют проблемы эпохи, остаться в стороне от этой темы? Весь цивилизованный мир завидует безудержному жизнелюбию лондонских ночей и дней. Разве не благодать это для наших ищущих карандашей?

Впервые я сознательно увидел Лондон
вместе с отцом из наемного кэба,
где кучер помещается позади пассажиров,
вероятно, одного из последних лондонских кэбов
такого типа,
поджидавших седоков у Мургейта.
Пусть пройдет миллион лет,
но если я вдруг услышу звон колоколов св. Павла,
или почувствую аромат цветов,
смешанный с вонью гниющих овощей
на Ковент-Гардене,
или вдохну сырой и густой воздух Темзы,
я тотчас же узнаю, где я,— я в Лондоне.

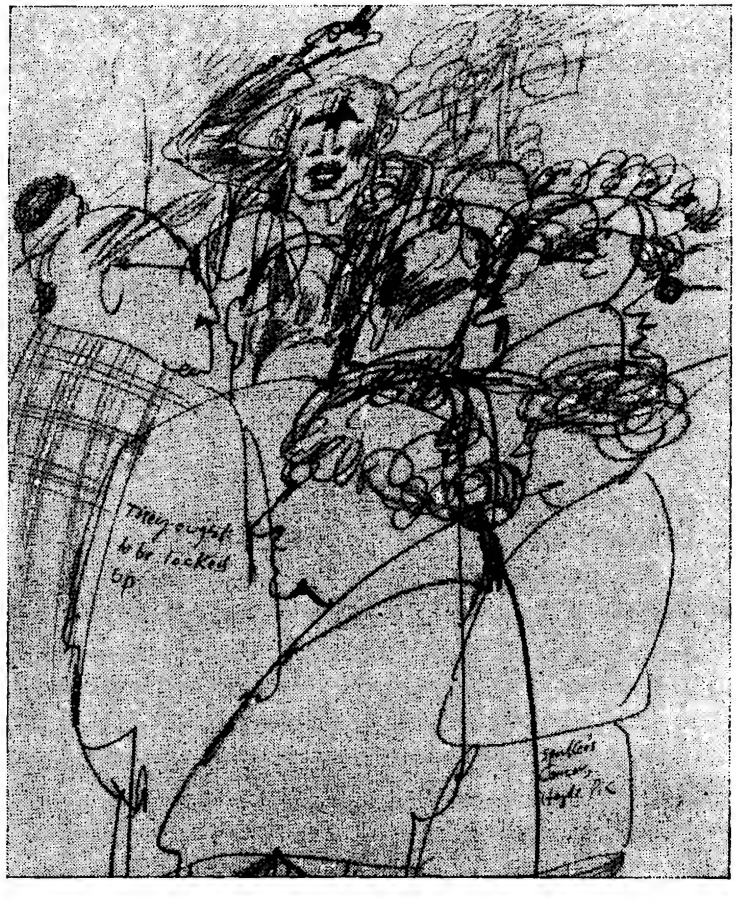
Восьмидесятичетырехлетняя Жанна де Гебсаттель — люксембургская баронесса, когда-то сама владелица обширного поместья. Лондон удочерил ее, и теперь она живет в малюсенькой квартирке в Хемпстеде. «В мое время, — начала она свой рассказ, — богатые люди (то есть аристократы) не работали. Теперь они хватаются за любую работу». Сама баронесса уже была уборщицей и бродяжкой, кухаркой и сиделкой. Сейчас она натурщица и позирует студентам Королевского колледжа искусств в Сент-Мартине. Кроме того, она плавает. С самого своего приезда в Лондон в 1934 году баронесса постоянно, летом и зимой, ходит купаться на Хайгейтские пруды. «Я приехала в Лондон перед самым сочельником, — рассказывала она, — и понятия не имела о традиционном зимнем заплыве в первый день после рождества. В тот год состояние льда не позволило провести заплыв, но я нашла себе полынью и нырнула в нее».

Трафальгарская площадь — сердце Содружества
и одно из самых примечательных мест в Европе
по части голубей, веселых девочек и уличных фотографов.

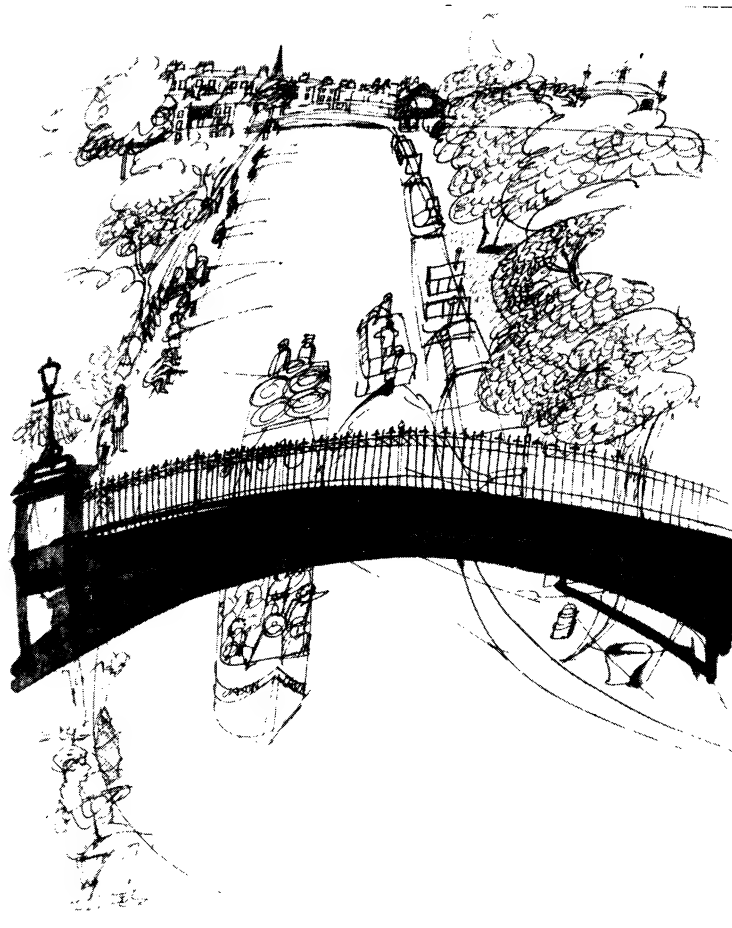


Как мало осталось от старой гвардии лондонских нянюшек!
На традиционных прогулках в Гайд-парке тон теперь задает молодое поколение.

Гайд-парк. Площадка ораторов. Воскресное утреннее представление. Участвует смешанная труппа психопатов и бродяг, выуживающих пенни у истомленных скукой и одиночеством прохожих.



Это — Риджент-канал, или, как его иногда называют, «маленькая Венеция». Проезжая под мостом, леди и джентльмены, будьте осторожны. Здешние мальчишки иногда позволяют себе нечто весьма неприличное.



Уже пробило два. По всему Сохо открылись залы стриптиза и игорные заведения.

Музей мадам Тюссо.
Зал ужасов.
Потрясенные ужасами
влюбленные парочки
и любопытные ирландочки
бессмысленно хихикают.
Юноши немеют от страха.
Дамы средних лет
обмирают
от зловещего очарования
«синих бород»
викторианской эпохи.

Карнаби-стрит, Сохо.
Джо Зурбини, который
«всего пяток лет назад»
сам имел «кафушку»
здесь, на Карнаби,
вспоминает,
глядя, как я рисую:
«В свое время здесь было
полно питейных заведений.
Целых четырнадцать.
А теперь ребята
кинулись на джаз.
Субботний вечер —
самое джазовое время.
Сюда собираются
со всего города «моды»
(любят, чтоб их называли
«стильными ребятами»).
Приходят пешком и приезжают
на спортивных машинах
поинтересоваться
последними новинками.
А заведений этих,
где проигрывают пластинки,
пооткрывалась целая куча».

Шумные с самого раннего утра
улицы Сохо наконец опустели.
Те, кто не смотрит сейчас телевизор,
просто отдыхают часок
перед вечерними удовольствиями.

На кегельбане господствует
атмосфера приятного досуга.
Кегельбаны стали своего рода
новыми общественными центрами
для «добропорядочных» граждан
всех возрастов.
На Шефтсбери-авеню в Эксел-лейнз
начинают катать шары в пять часов.
Но самое боевое время —
от семи до восьми.
Играют до самого рассвета.
Почтальоны и типографские рабочие,
клерки и операторы счетных машин.
Играют командами —
«Неудачники» против «Книжных червей»,
«Драконы» против «Тех, кто знавал
лучшие и счастливые времена».
Так объяснил мне служитель.
— Сюда заходят «рокеры» и парни,
которые ищут на ночь задешево
крышу над головой,— добавил он.

Наполняются залы казино,
такие, как на этом рисунке,—
зал ABC Коммодор
в Хеммерсмите.
Молодые и старые
живут здесь
в призрачном мире
надежд и ожиданий.

С Шефтсбери-авеню я направляюсь
по Уордур-стрит, Фрит-стрит,
Олд Комптон-стрит, Грик-стрит,
прохожу по соединяющим их
переулкам и проулочкам.
Сохо просыпается к жизни.
Во вторую половину дня
здесь можно встретить
главным образом
людей пожилых и робких.
Это завсегдатаи
порнографических кинофильмов —
в зале они сидят,
туго затянув пояса дождевиков
и наклонив седые головы;
некоторые из них проникают
в святая святых книжных лавочек,
где продаются
порнографические книжки,
и роются в тамошних сокровищах;
или смотрят
второсортные стриптизы
с такими серьезными лицами,
будто присутствуют
на похоронной церемонии
в Аббатстве.
К вечеру улицы заполняет
новая, более молодая публика...

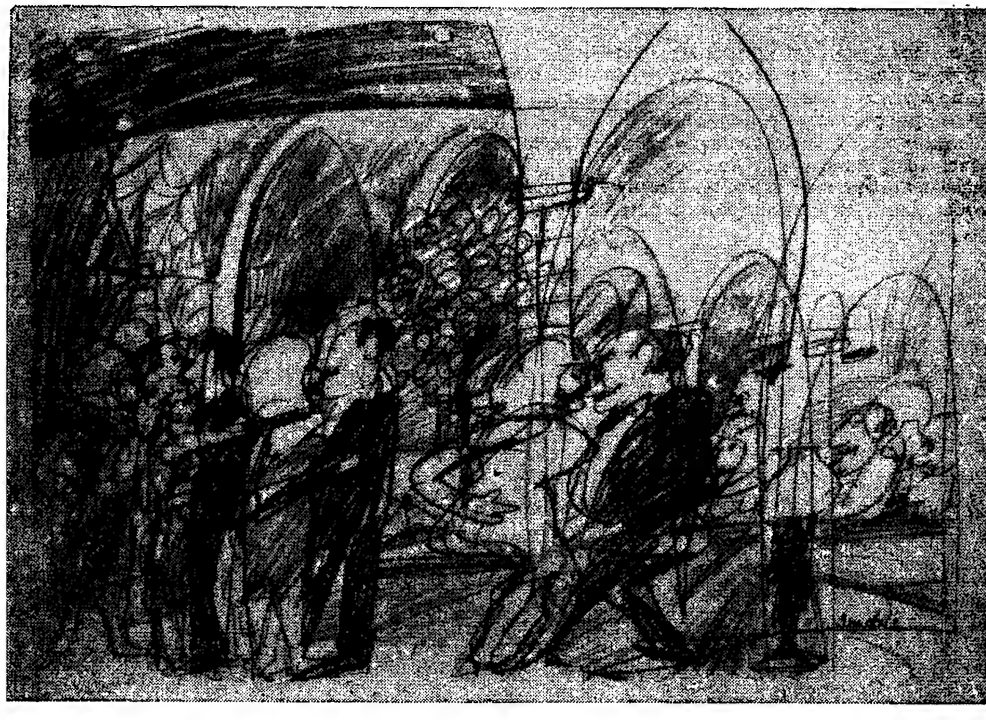
Прекрасный летний вечер. Вместе с пятнадцатью тысячами поклонников джаза я присутствую на большом джазконцерте. Впервые в истории этих массовых фестивалей джазовой музыки и песен профессионалов здесь меньше, чем любителей — «самодеятельных» ансамблей. Однако они зачастую встречают холодный прием у поклонников джаза, которые предпочитают «мастеров». Гэри Фарр, обаятельный сын величайшего из английских боксеров-тяжеловесов, буквально сворачивает горы, чтобы добиться перелома в пользу «непрофессионалов».

Но добивается перелома Ронни Джонс, американский негр, который живет и работает в Англии. Его номер весьма впечатляет. Исполнив одну песню в обыкновенной манере, он срывает с себя черный галстук, точно факир — змею, обматывает вокруг тела шнур от микрофона и начинает извиваться в экстазе, повторяя ритм, отбиваемый джазом; пот градом струится по его лицу. Тут вскакивают на ноги все присутствующие в зале и, раскачиваясь вместе с ним, скандируют мелодию.

Клубы любителей стриптиза набиты битком.
Членский билет
можно приобрести прямо у входа.
Публика здесь самая разная —
от джентльменов в котелках
до рабочих в кепках.
В прошлое ушли дни, когда сюда приходили
лысеющие пожилые бизнесмены.
Сегодня здесь устраивают представления
в расчете на любой карман.
Клуб, где я нахожусь,—
любимое место сборищ
с иголочки одетых молодых холостяков
из числа промышленных рабочих.
Диктор с безупречным
«оксбриджским» выговором
представляет публике
обретшие плоть и кровь
эротические мечты.

Меня зовут Мюриэл.
Я — Богиня Ночи в Сохо и друг всех людей искусства
(в особенности, если они знамениты).
Я хозяйка бара для избранной публики,
который называется «Колониальный зал».
Хорошее местечко, чтобы пропустить парочку стаканчиков
до и после того, как отправишься по остальным заведениям.

Кафе «Туз» — штаб-квартира «рокеров»,
так называемых «мальчиков на взводе» или «кожаных мальчиков».
По стилю «Туз» напоминает мрачные подпольные питейные заведения тридцатых годов.
В будни сюда заходят водители грузовиков или приезжие,
но во время уик-энда — в пятницу и в субботу по вечерам —
«Туз» превращается в ночной клуб с джазом
и битком набит «рокерами» и их девицами.
Здесь танцуют и сидят недолго,
выпьют по бутылочке кока-колы и — на мотоциклы,
чтобы гонять взад и вперед по скудно освещенному шоссе.



Хороший танцзал с порядочными пластинками.
«Благопристойные» господа тоже поддаются обаянию джаза.

Ночь сменяется утром,
и снова начинается лондонский круговорот.

Культура и современность

Заметки на полях

зарубежных газет и журналов

ВРЕМЯ ТРЕВОГ И НАДЕЖД

Не так давно в гамбургской газете «Цейт» была опубликована речь Гюнтера Грасса, одного из крупных немецких писателей, автора «Жестяного барабана» и «Собачьих лет» — беспощадной сатиры на тоталитарное государство Гитлера и на пассивность немецкого «Михеля», ставшего объектом чудовищных экспериментов фашизма. У речи Грасса знаменательный заголовок — «О первой обязанности гражданина». Согласно Грассу, первая обязанность гражданина — беспокойство! Беспокойство как антипод гражданской пассивности, безразличия и классически «немецкого» повиновения всему, что диктуется свыше. Обращаясь к недавнему прошлому и настоящему, Грасс говорит:

«Граждане, повинуясь велению свыше, спокойно воспринимали то, как где-то их именем и за их счет проигрывали «Битву на Волге», как в рейхстаге принимали закон о чрезвычайных полномочиях (речь идет о чрезвычайных полномочиях, которые в 1933 году были «легально» даны Гитлеру.— *Л. Ч.*), как бундестаг одобрил ремилитаризацию, как во время предвыборных кампаний направо и налево разбрасывались их трудовые гроши, изъятые в виде налогов».

Итак, первый долг истинного гражданина — беспокойство! И со всей решительностью этот гражданин должен осудить и внешнеполитический и внутриполитический курс, который проводится ныне Бонном под прикрытием красивых слов о коалиционном правительстве или, как выражается Грасс, под прикрытием «украшенного цветочками покрывала о пропорциональном представительстве» — компромиссном соглашении между ХДС и СДПГ. Грасс требует со всей суровостью осудить политику бывшего канцлера Эрхарда, ибо

«любой директор банка, который провинился бы так же, как Эрхард,— разумеется, в пределах своих возможностей,— уже сидел бы на скамье подсудимых».

Западногерманский гражданин, согласно Грассу, должен нести всю меру ответственности и за преступления, совершенные Германией в 1933—1945 гг., и за политику ремилитаризации и «силы», которую проводил Бонн на протяжении двух десятилетий.

«Мы должны, наконец, без обиняков заявить,— утверждает Грасс,— о том, что давно ясно всему миру: только линия по Одеру—Нейсе может быть границей единого или конфедерированного германского государства; поскольку война, которая изменила наши восточные границы, была развязана нами, мы должны признать и итоги событий, за которые несем ответственность».

И, наконец, Гюнтер Грасс призывает подданных ФРГ к гражданскому беспокойству в связи с пресловутыми чрезвычайными законами, которые под шумок пытается вновь протащить западногерманская реакция. В своей речи он решительно выступает против официальной боннской пропаганды, которая уверяет, что с принятием милитаристских законов, дескать, ничего не изменится, поскольку они войдут в силу только в день «Х» — день войны. В действительности чрезвычайные законы призваны к тому, чтобы фашизировать и милитаризировать западногерманское общество. Именно поэтому Грасс и говорит:

«Чрезвычайные законы, подготовка которых неразрывно связана с подготовкой войны, неминуемо окажут гораздо более сильное воздействие на все наше общественное развитие, чем конституция».

Речь Грасса кончается страстным призывом к гражданам ФРГ — осознать свой гражданский долг, свои права и обязанности, свою ответственность за настоящее и будущее.

Итак, «большая коалиция» в Бонне проводит тот же недоброй памяти курс, которого придерживался обанкротившийся Эрхард: на внешней арене Бонн по-прежнему домогается доступа к ядерному оружию, на внутренней — пытается подчинить всю жизнь страны законам и установлениям военного времени, которые должны быть приняты под наименованием «чрезвычайные законы».

Так называемые чрезвычайные законы должны были быть введены в ФРГ уже семь лет назад, в 1960 году, по предложению Шрёдера. Они представляют собой целую сеть мероприятий, означающих поэтапную фашизацию страны, или, как метко выразился западногерманский философ Ясперс, «превращение партийной олигархии в авторитарное государство, авторитарного государства в государство диктатуры, диктатуры — в войну». Чрезвычайные законы, которые дебатируются по сей день, фактически сводят на нет боннскую конституцию, лишают граждан минимальных демократических свобод, обрекают их почти на полное бесправие. И все это делается якобы для того, чтобы в «момент опасности» быть готовыми к «обороне». По подсчетам боннских политиков из 18 «прав», зафиксированных в конституции, 11 должны быть пересмотрены, 24 статьи конституции видоизменены, всего предполагается ввести 15 новых, читай милитаристских, «чрезвычайных» статей с 56 пунктами. Таким образом, конституция должна будет состоять из одиннадцати «элементарных» законов с 426 новыми параграфами. Как будут выглядеть на практике чрезвычайные законы, суммарно изложила демократическая печать в ГДР, подведя итог многолетним словопрениям в бундестаге. В один прекрасный день, в случае принятия чрезвычайных законов, боннский гражданин — пишет газета «Нейес Дейчланд» — увидит, что: 1) он не имеет права в какой бы то ни было форме излагать свое мнение касательно политики правительства; 2) специальная цензура унифицировала все газеты, журналы, радио и телепередачи; 3) правительственные органы запретили митинги протеста против самоубийственной политики атомного вооружения, как «противоречащие конституции»; 4) правительство распустило все оппозиционные организации; 5) никто не сможет переменить места жительства; 6) каждого немца можно послать на принудительные работы в интересах агрессии; 7) солдаты бундесвера «в случае необходимости» должны стрелять в своих жен и детей, родителей и товарищей по работе... Недаром фон Хассель, бывший военный министр в Бонне, откровенно заявил два года назад, что «милитаристские усилия» боннских правителей — всего лишь «полдела» до тех пор, пока полностью не будут приняты чрезвычайные законы.

И все это происходит под надсадный вой реакции, которая уже вновь кричит о «силе», «сплоченности», о «боевом долге немца быть решительным», о «преступном пацифизме» и о некой мнимой «непосредственной угрозе» (Гитлеру всегда кто-то «угрожал», и все войны, которые он провоцировал и развязывал, именовались «превентивными»). Боннская газета «Парламент» не без остроумия заметила как-то, что в Федеративной Республике в придачу ко всем прочим истериям возникла еще и истерия чрезвычайных законов.

Совершенно ясно, что чрезвычайные законы, так же, как и все другие антидемократические мероприятия немецких милитаристов и агрессоров, замышлялись втайне. Их обсуждение и принятие должно было пройти в тиши кабинетов, за спиною общественности и народа. Однако этот план не удался. Черная кухня агрессоров — хоть и медленно, но чем дальше, тем больше — привлекает внимание общественности.

Уже тот факт, что борьба против чрезвычайных законов ведется в течение семи лет, многое значит. Еще более знаменательно то, что ныне эта борьба перешла в «низы»: захватила широкие слои населения, десятки тысяч организованных рабочих. И, наконец, сейчас, когда в Бонне воцарилась «большая коалиция», сопротивление милитаризации и фашизации страны идет в о п р е к и воле СДПГ, которая все больше и больше скатывается на позиции сочинителей и вдохновителей чрезвычайных законов.

Некоторое время назад во Франкфурте-на-Майне состоялся митинг протеста против чрезвычайных законов. Митинг проходил под лозунгом «Демократия в чрезвычайной опасности». Впервые в боннском государстве рабочие, объединенные в профсоюзы, интеллигенция и молодежь, вне зависимости от партийной принадлежности, вероисповедания и взглядов, объединились, чтобы выполнить свою первую гражданскую обязанность — защитить демократию, сказать «нет» реакции. На митинге присутствовало 24 тысячи человек. Митинг показал, что у десятков тысяч людей в ФРГ, несмотря на все усилия боннской пропаганды, несмотря на все ухищрения боннских политиков, хорошая память. Нынешние западные немцы желают предотвратить то, что не удалось предотвратить немцам в 1933 году. Возвращаясь к трагическим событиям января—февраля 1933 года, к событиям, которые произошли уже после того, как ярый монархист и милитарист Гинденбург с согласия и под нажимом монополистической клики и реакционной военщины вручил власть Адольфу Гитлеру, ораторы на франкфуртском митинге с горечью признавали, что и тогда фашизм мог бы быть сломлен, если бы немецкий народ выступил единым фронтом, если бы немецкие профсоюзы объявили всеобщую забастовку, если бы призывы немецких коммунистов к сопротивлению полу-

чили всенародную поддержку. Прежде чем превратить веймарскую конституцию в пустую бумажку, а рейхстаг в самый «высокооплачиваемый мужской хор в Германии», как острили немцы (при Гитлере функции рейхстага свелись к тому, что он пел до начала и после окончания заседаний «немецкий гимн» и песню о «Хорсте Весселе»), нацистам понадобилось всего лишь... изменить 48 статью конституции и принять так называемый чрезвычайный закон, да еще с клятвенным обещанием ввести его в силу только в случае, если он «понадобится как жизненно важное мероприятие». Правда, этот закон был навязан Германии в обстановке чудовищного террора, когда улица уже принадлежала коричневорубашечникам, а сотни тысяч лучших сынов немецкого народа — коммунисты, рабочие, левые интеллигенты — были брошены в фашистские застенки. Но и тогда, в эти роковые дни не все еще было потеряно — говорят ораторы во Франкфурте. А затем переходят к тому, что непосредственно волнует миллионы людей сейчас: к усилению неонацистских сил в стране, к чрезвычайным законам, к внешней политике Бонна.

На франкфуртском митинге присутствовал и один из крупнейших послевоенных поэтов Ганс Магнус Энценсбергер. Фотограф запечатлел его в момент разговора с руководителем западногерманского профсоюза металлистов Отто Бреннером, который в своем выступлении заявил: «История требует от немецких профсоюзов бдительности, решительности и воли, чтобы предотвратить то, что не удалось предотвратить в 1933 году». Снимок Энценсбергер — Бреннер, поэт — вожак масс, глубоко символичен для франкфуртского митинга, куда прислали своих представителей крупнейшие профсоюзные организации Западной Германии: металлисты, химики, печатники, бумажники, текстильщики, кожевники, деревообделочники, промышленные и торговые служащие и куда съехались многие представители западногерманской интеллигенции: ученые, писатели, деятели театра — профессора Гельмут Риддер, Александр Мичерлих, Вольфганг Абендрот, писатели Альфред Андерш, Эрих Кестнер, Мартин Вальзер, театральные деятели Гейнц Гильперт, Рудольф Рольфс, Труда Герстерберг и многие, многие другие.

С большой речью во Франкфурте выступил Энценсбергер.

«Внешняя политика федерального правительства,— сказал Энценсбергер,— потерпела крах. У него не осталось друзей нигде — вплоть до Португалии и Южной Америки... Наши соседи со все большей холодностью рассматривают нас как страну, противящуюся миру. Мы оказались в изоляции, как больные проказой...

Политика федерального правительства представляет собой кучу развалин...

Внутренняя политика федерального правительства превратила демократию в инвалида. Экономическая политика федерального правительства обанкротилась. У любой домохозяйки, которая так обращалась бы со своим бюджетом, судебный исполнитель давно описал бы имущество. Так вот и выглядит эта «чреватая опасностью ситуация», о которой они беспрерывно толкуют. Вы только взгляните на всех них еще раз — взгляните не спеша, спокойно в этот мирный и солнечный субботний день... вот они еще восклицают: «Я крепко стою на ногах» — и все еще хотят покончить (с чем?) и принять меры (против чего?);

вот они, эта клика, которая даже в припадке агонии требует чрезвычайных законов (и это когда власть уже утекла у них между пальцев);

вот они сидят в бункерах и, наспех жуя бутерброды, репетируют ликвидацию демократии (кстати, если я не ошибаюсь, там сидит и кое-кто из господ оппозиции);

зарылись в земле, чтобы забить там партию в скат и заодно провернуть всеобщую мобилизацию...

Они сидят в бункерах и даже в минуту политической агонии покушаются на конституцию — и при том дрожат перед каждым из нас, и не без оснований.

И потому, что они дрожат от страха, эти трупы, замурованные в бункерах, потому что они сами являют собой чрезвычайное положение, они выдумывают параграфы, которые увековечили бы это положение. «В случае серьезной необходимости,— говорит г-н фон Хассель,— может функционировать только то, что функционировало уже в мирное время». Но поскольку функционирование в мирное время никак не налаживается, проще всего покончить с самим этим мирным временем. Начало уже положено. Четыре антикоммунистических закона провозглашены больше года назад...»

И далее Энценсбергер, так же, как и Грасс, взывает к гражданскому чувству каждого жителя ФРГ, к его сознательности, к его политическому долгу и разуму. От имени миллионов граждан он требует защиты демократии, решительной борьбы с неонацистами, с гибельной политикой милитаризации под видом «обороны».

«Мы требуем, чтобы, наконец, был услышан голос разума. Мы требуем, чтобы законность вышла из бункера на свет. Мы требуем, чтобы парламент при свете дня развеял эту чертовщину...

Долгое время демократия в этой стране была в обороне. Она должна перейти в наступление. Мы — те, кто обязан повышать производительность труда, обязан нести воинскую повинность, обязан заявлять о своем месте жительства,

обязан выполнять закон о самозащите, мы можем защитить самих себя и конституцию. Наш потенциальный враг — это нынешнее или всякое новое федеральное правительство, которое будет похоже на нынешнее...»

Франкфуртский митинг вызвал ожесточенные нападки реакции в Бонне. Боннские реваншисты и антикоммунисты, напуганные пробуждением политической зрелости в широких слоях населения, выступают как ревнители... легальности, демократизма и парламентаризма. Они уверяют теперь, что многолюдные митинги, рабочие собрания и широкая пресса, дескать, мешают нормальной парламентской демократической процедуре. Но «демократические» уловки ярых антидемократов не могут никого обмануть. В шестидесятых годах жупел антидемократизма так же мало действен, как и жупел антикоммунизма.

Как сообщает «Нейес Дейчланд», с резкой критикой политики «большой коалиции» выступили писатели Мартин Вальзер, Фриц фон Унру, Кристиан Гейслер и Рольф Хохгут.

Мартин Вальзер, один из самых интересных молодых прозаиков ФРГ, с гневом клеймит в своем выступлении позицию Бонна в отношении американской агрессии во Вьетнаме.

«Среди населения,— говорит Вальзер,— по сведениям институтов общественного мнения, постепенно растет недовольство этой войной, но это недовольство не находит ни малейшего политического выражения ни в бундестаге, ни у правительства. Неужели же война, которую ведут наши ближайшие дружки и которая становится все более жестокой, не заслуживает того, чтобы ей хотя бы на часок заинтересовался бундестаг? Франция уже сказала свое слово. Англия тоже... А Федеративная Республика все еще стыдливо поддакивает Вашингтону». И далее Вальзер справедливо замечает: «Все это отнюдь не является просто одной из внешнеполитических проблем. Все это характеризует наше государство: показывает, кого мы поддерживаем и с кем боремся...»

Фриц фон Унру, один из самых старейших писателей Германии — еще в 1915 году он получил премию Клейста,— автор большого количества антимилитаристских книг и драматических произведений, обращается к западногерманской молодежи.

«Молодежь,— спрашивает он,— неужели ты снова хочешь пережить времена Содома и Гоморры? Неужели ты будешь ждать до тех пор, пока уже будет поздно? Неужели и ты должна содрогнуться при виде остекленевших глаз мертвых борцов за свободу? Тот, кто еще раз осмелится поставить под угрозу мир, обречен на гибель. Нет ничего более безжалостного, нежели генеральская клика. Против нее должна восстать молодежь».

С выступлением Унру перекликается выступление Кристиана Гейслера, представителя среднего поколения западногерманских литераторов, автора романа «Запрос», одной из самых честных и талантливых книг в ФРГ, посвященных расчету с прошлым.

«Войну,— сказал Гейслер,— отменят не те, для кого она в той или иной форме является прибыльной... Войну отменят те, кому она не сулит ничего, кроме бесславной гибели. И господа наверху знают об этом очень хорошо». Далее Гейслер переходит уже непосредственно к чрезвычайным законам. «У нас, например,— говорит он,— они сочинили законы, так называемые чрезвычайные законы, цель которых — помешать тому, что чрезвычайно пугает власть имущих... Что же это такое? В высших сферах... в самых высших, боятся совсем иного «чрезвычайного положения», которое настанет, когда все мы здесь, внизу, очнемся от наркоза и увидим, что держит нас в путах, что делает нас уже много лет беспомощными, превращает в дурачков». Гейслер предупреждает, что в случае принятия чрезвычайных законов «у нас здесь опять можно будет каждого, кто открыто выступает против войны и ее организаторов, уничтожить, сломить. И не только духовно... но и физически, вполне ощутимо, попросту говоря, стереть в порошок».

И, наконец, нельзя не упомянуть о выступлении Хохгута, автора получившей признание во всем мире пьесы «Наместник», где с особой убедительностью и остротой поставлен вопрос об ответственности каждого человека за то, что происходило и происходит на земле. Рольф Хохгут в своей недавней речи еще раз напоминает своим западногерманским соотечественникам, что они должны рассматривать себя не как «отдельные части машины», не как «объекты деятельности правительства», а как граждан, которым надлежит решать «принципиальные проблемы, сложные альтернативы», «участвовать в классовой борьбе», отстаивать свою свободу, свое право на жизнь.

Гневные выступления западногерманских поэтов, прозаиков, публицистов находят отклик у тех немцев, которые не хотят допустить повторения прошлого. И все же не случайно Генрих Бёль в одной из своих последних публицистических работ «Франкфуртские чтения» писал, что в ФРГ есть масса людей, которые стали дедушками, так и не успев стать взрослыми. В этом, казалось бы, добродушном парадоксе очень много горечи. Каждый человек, мало-мальски знакомый с историей Германии XX века — а

история эта поистине писалась кровью,— знает, как дорого обошелся человечеству гражданский и политический инфантилизм немцев, отсутствие политической зрелости у так называемого «среднего человека в Германии», который не чувствовал, да и не желал чувствовать себя ответственным за судьбы страны. Политический инфантилизм немецкого обывателя двадцатых-тридцатых годов — это оборотная сторона пресловутого «верноподданничества», того самого «верноподданничества», которое превратило миллионы немцев в сатрапов и солдат Гитлера.

Борьба против чрезвычайных законов — это одновременно и борьба с политическим инфантилизмом шестидесятых годов, борьба против милитаризма и неонацизма.

Л. ЧЕРНАЯ

АМЕРИКАНСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЖОНСОНА

История знает немало примеров, когда в общественной жизни буржуазного государства наступает критический момент и передовые, мыслящие люди страны оказываются перед дилеммой — промолчать и отступить перед лицом творящегося зла или поднять голос протеста. В странах капитализма, где система пропаганды, располагающая такими могучими средствами воздействия, как печать, радио, телевидение, обрушивает на обывателя поток официальной дезинформации и лжи, поднять голос протеста бывает нелегко, это всегда означает идти против течения, это всегда связано с опасностью для защитников истины.

Такой критический момент выбора между молчанием и риском открытой оппозиции правительству переживает сейчас американская интеллигенция в связи с агрессией США во Вьетнаме. Многочисленные письма протеста, демонстрации и «марши мира» свидетельствуют о том, что передовая часть американского общества — видные ученые, писатели, общественные деятели — не может согласиться с политикой правительства и смело выступает против нее.

Это никак не означает, что правительство мирится с оппозицией и не ведет с ней борьбу. Но борьба происходит, в основном, за кулисами и обычно не становится предметом гласности. Тем более интересно, когда механику этой борьбы выставляют напоказ, на всеобщее обозрение. Это в известной мере удалось сделать видному политическому обозревателю, профессору Чикагского университета Гансу Моргентау, чья статья, посвященная проблеме взаимоотношений между американским правительством и интеллигенцией, создает наглядное представление о том, какими методами правительство Джонсона подавляет оппозицию интеллигенции. Статья эта, опубликованная в журнале «Нью рипаблик», озаглавлена «Истина и власть» и снабжена подзаголовком «Интеллигенция и правительство Джонсона». К сожалению, разрыв между двумя этими заголовками — абстрактным и конкретным — сказался и на характере всей статьи. Рядом с реальными обстоятельствами политической жизни США, которые автор подвергает серьезному рассмотрению, соседствуют отвлеченные рассуждения о взаимоотношениях истины и власти вообще, вне классового анализа этих взаимоотношений.

Профессор Моргентау начинает свою статью со следующего утверждения:

> «Всем известно, что отношения между президентом Джонсоном и интеллигенцией отнюдь не таковы, какими они должны быть. В личных беседах президент горько жалуется на враждебное отношение к нему интеллигенции».

Как указывает автор статьи, президент Джонсон весьма обеспокоен этой проблемой. Он пытается найти объяснение враждебного к нему отношения в снобистском презрении интеллигенции к его техасским манерам и воспитанию. Публично Джонсон изо всех сил ухаживает за американской интеллигенцией, стараясь привлечь ее на свою сторону. Он назначил ряд видных университетских ученых на важные государственные посты, он регулярно приглашает представителей интеллигенции на светские приемы в Белый дом, он даже учредил в Белом доме специальную должность человека, в обязанности которого входит налаживание контактов между президентом и людьми умственного труда. Только в 1966 г. он дважды в публичных выступлениях подчеркнул свое глубокое уважение к интеллигенции.

И тем не менее, констатирует Моргентау,

> «никакого улучшения отношений между интеллигенцией и президентом до сих пор не наблюдается. Этого улучшения и не может быть».

В чем же существо проблемы? Неужели только в личных качествах Джонсона, как представляется самому президенту? Или корень зла лежит более глубоко, в основах его политики?

Исходя из опыта общественной жизни своей родины, Моргентау утверждает, что по отношению к властям Соединенных Штатов работник умственного труда может встать на один из четырех возможных путей: занять позицию пророка-обличителя, замкнуться в башне из слоновой кости, пойти работать экспертом или консультантом правительства и, наконец, недвусмысленно капитулировать перед властью.

Первая возможность — единственно правильная. Что же касается второй, то Г. Моргентау справедливо утверждает, что это — решение проблемы через бегство от нее, ибо, если это может удовлетворить личность, как таковую, то одновременно является предательством интересов общества.

Становясь экспертом или консультантом власть имущих, интеллектуал, как считает автор, отказывается от права обсуждать действия власти, он принимает цели и методы этой власти как нечто данное, и тогда его дело — давать властям квалифицированные советы, не больше.

«Лишь небольшой шаг,— пишет Моргентау,— отделяет независимую позицию от той, когда интеллектуал становится агентом власть имущих... Он оправдывает действия политиков не только по формуле Макиавелли: цель оправдывает средства, но и претендует на их одобрение с позиций истины и морали».

Подходя к исследуемой им проблеме с другой стороны, Г. Моргентау доказывает, что правительство в свою очередь может выбрать одну из четырех возможностей: прислушаться к голосу протеста, постараться подкупить протестующего интеллигента, если же это не удается, «опорочить голос истины», а если и это не выйдет, заставить его умолкнуть.

Каким же путем, по мнению Г. Моргентау, идет правительство Джонсона? В чем «главная ошибка Джонсона»? В том, что президент склонен всякое несогласие со своей политикой рассматривать как нелояльность по отношению к стране.

«Только благодаря такому отношению президент в своей речи в Чикаго 17 мая 1966 г. мог отозваться о критиках его политики во Вьетнаме, как о «некоторых нервных особах, которые в трудный момент колеблются, суетятся и расстраивают ряды. А кое-кто из них набрасывается на собственных руководителей, на собственную страну и на своих сражающихся солдат».

Вот, оказывается, что кроется за формулой «опорочить голос истины»! Г. Моргентау в подтверждение своих соображений приводит комментарии ряда американских газет к выступлениям президента Джонсона, ссылаясь, в частности, на статью в «Нью-Йорк таймс», где речи президента были прокомментированы следующим образом:

«Вчера мистер Джонсон в трех своих выступлениях бросил ядовитые обвинения в адрес критиков, выступающих против вовлечения Америки в войну. По существу, он задавал вопрос: на чьей стороне они находятся?»

Отказывая интеллигенции в праве иметь самостоятельное и независимое мнение о политике правительства, президент Джонсон оставляет для себя таким образом, по словам Моргентау, только два выхода: он должен либо заставить умолкнуть критикующих его интеллектуалов, либо дискредитировать тех, кому не удается заткнуть рот и кого нельзя подкупить.

«Желая во что бы то ни стало иметь одобрение и поддержку со стороны интеллигенции и рассуждая только с позиций власти, президент либо обнимает тех, кто поддается его объятиям, либо старается уничтожить тех, кто отвергает эти объятия. Таким образом, интеллектуалы становятся либо игрушками, либо жертвами его власти...»

Профессор Моргентау с прискорбием констатирует, что определенная часть американской интеллигенции действительно молчит или подкуплена.

«Три фактора определяют готовность интеллигенции молчать или быть подкупленной: конформизм американского общества, личное тщеславие и приманки, которыми правительство соблазняет тех, кто не высказывает открыто своего несогласия с ним».

Эти факторы не нуждаются в особых разъяснениях. Для многих интеллектуальных профессий, скажем, для лиц, преподающих в университетах или занимающихся научной работой, всегда спокойнее не высказывать критических мнений по вопросам политики, ибо это может сильно повредить их карьере. Что же касается подкупа, то, как свидетельствует Г. Моргентау, у американского правительства имеется множество таких возможностей. Автор, в частности, упоминает правительственные заказы университетам на различные исследования, заграничные командировки за счет правительства и даже такую несложную, но действенную форму подкупа, как приглашения на приемы в Белый дом.

Результаты этой политики оказываются весьма ощутимыми.

«Будущий историк, надо думать, напишет историю упорного, планомерного и в значительной мере успешного подавления правительством истины и подчи-

нения ее своим политическим интересам. Крупные газеты публикуют статьи, принадлежащие перу крупных ученых, претендующих на объективную оценку отдельных представителей и действий правительства, в то время как на самом деле эти статьи инспирированы Белым домом. Корреспонденты, находящиеся во Вьетнаме, либо пересказывают официальные сводки, либо скрывают правду под эзоповскими выражениями, для расшифровки которых требуется особая проницательность. Многие из них, возвращаясь домой, сообщают такие факты, следа которых не было в их репортажах с места военных действий».

Впрочем, утверждает Г. Моргентау, эти люди, пошедшие в услужение к правительству и тем самым предавшие истину ради власти, заблуждаются — они не обладают властью, они только служат при дворе.

«Поэтому они в любое время готовы кричать: «Король умер, да здравствует король!» Это удивительное и тяжкое зрелище — наблюдать интеллектуальную акробатику придворных при дворе короля Джона(имеется в виду покойный президент Джон Кеннеди.— *Б. Г.*), которые предусмотрительно перекочевали ко двору короля Линдона (Джонсона.— *Б. Г.*), чтобы вовремя направиться к выходу, как только появятся признаки того, что всходит звезда претендента Роберта (Роберта Кеннеди.— *Б. Г.*). Другими словами, президент Джонсон пользуется поддержкой этих интеллектуалов потому, что он у власти, и до тех пор, пока он у власти. Как только власть уйдет из его рук, его интеллектуальные слуги будут искать нового хозяина».

Видимо, статья профессора Моргентау многих в США задела за живое. Об этом свидетельствует, в частности, отклик, появившийся в «Нью рипаблик» от 17 декабря 1966 г. и принадлежащий перу преподавателя истории университета в штате Огайо Мелвина Урофски.

За словесной эквилибристикой, переполняющей эту статью, проглядывает истинная цель ее автора — затуманить вопрос, поднятый Г. Моргентау, сгладить остроту проблемы, утопить существо вопроса в схоластической игре понятиями. Если же попытаться извлечь смысл из статьи Урофски, то он сводится к завуалированной попытке оправдать сотрудничество интеллигенции с американским правительством и в конечном счете оправдать грязную войну во Вьетнаме. Именно этой цели служат рассуждения о том, что истина не единственна и могут быть, дескать, разные истины.

Прием этот не нов. Всегда находятся люди, в том числе и среди интеллигенции, пытающиеся таким путем оправдать любые грязные дела, творимые властью. Вот и М. Урофски, отталкиваясь от этой весьма скользкой позиции, упрекает Г. Моргентау в том, что тот «не допускает возможности, что интеллигент может поддерживать войну в Азии».

Но ведь жизнь не раз показывала и показывает сегодня, что есть проблемы, в решении которых не может быть компромисса или нейтралитета. Ярким свидетельством этого является сейчас позиция Джона Стейнбека, скатившегося к откровенной поддержке агрессии во Вьетнаме. Неужели убийство женщин и детей можно оправдывать тем, что существует якобы не одна истина, а несколько?

Проблему, затронутую профессором Моргентау, словесной эквилибристикой не решить. Это проблема честного и бескомпромиссного определения каждым своей позиции в сегодняшнем мире. И здесь «нескольких истин» быть не может.

Б. ГРИБАНОВ

МИШЕЛЬ БЮТОР

СТОРОННИКИ И ПРОТИВНИКИ

Встреча с писателем, которого ты знал только по книгам, всегда интересна. Особенно же интересна она, если этот писатель является к тому же одним из зачинателей нового литературного течения.

«Новый роман» возник во Франции примерно лет десять тому назад. Тогда же заговорили и о Мишеле Бюторе в связи с его романом «Изменение». Имя его, как и имена наиболее крупных представителей нового течения — Натали Саррот и Аллена Роб-Грийе (см. статью С. Великовского «На холостом ходу» в № 1 за 1963 г.),— замелькало на страницах журналов и газет. Течение это привлекло большое внимание во Франции — если не читающей публики, то, во всяком случае, критики. Иные склонны были видеть в нем «голос будущего», другие — «новый шаг на пути к литературе будущего». Словом, возник довольно мощный хор голосов, утверждавших, что с традиционным романом покончено, и возвещавших приход новой эры.

Представители нового течения утверждали, что пора оздоровить литературу, вдохнуть в нее свежую жизнь. Это объединяло их, и потому поначалу имена Саррот, Бютора и Роб-Грийе неизменно произносились вместе.

— Натали Саррот, Роб-Грийе и я,— говорит Бютор,— мы не три мушкетера, и неверно всегда называть нас вместе. Момент, когда «неороманисты» были творчески близки друг другу, отошел в прошлое. Каждому из нас присуще свое понимание литературы, и различие в нашей творческой манере стали замечать даже критики.

И в самом деле, Натали Саррот интересует прежде всего «микромир человеческой души», показ доступными писателю средствами малейших движений мысли, рассмотрение под микроскопом того, как зарождаются чувства. Она, словно медик скальпелем, вскрывает кору головного мозга, пытаясь добраться до «тропизмов» (кстати, у Натали Саррот есть книга под таким названием) — некой общечеловеческой психической субстанции. Человек же, как таковой, со своими особенностями, со своей неповторимой индивидуальностью — исчезает. Произведения Натали Саррот отличаются холодной рассудочностью, намеренно усложнены.

В противоположность Натали Саррот, Аллена Роб-Грийе интересует прежде всего материальный мир, «мир вещей», а человек — лишь постольку, поскольку он в этом мире присутствует. Бютора же интересует осознание человеком окружающего мира и самого себя. Ему чужды свойственные остальным «неороманистам» стремления к «дегуманизации» повествования, якобы соответствующей духовным запросам нашего века, главенствующее место в котором принадлежит науке и технике. Чужды ему и попытки создать некую «стерильную» литературу, непричастную к истории общества и социальным преобразованиям.

— Кроме нас троих,— продолжает Бютор,— есть еще и другие писатели этого же направления, более молодые, которые группируются вокруг журнала «Тель-кель», органа «нео-неороманистов», возглавляемого одним из наиболее интересных представителей этого течения, талантливым писателем Филиппом Соллерсом. Таким образом, к направлению «нового романа» принадлежат писатели разные по возрасту и по взглядам. Объединяет же нас то, что все мы рассматриваем наше творчество как поиск, как эксперимент. Наши книги — это не развлекательное чтение, это произведения сложные, отличающиеся прежде всего своей формой. Причем под формой мы подразумеваем не только стиль, ибо стиль для нас — это лишь часть общей

проблемы, проблемы взаимосвязи между отдельными компонентами произведения. Но ведь и произведения реалистов XIX и XX веков не являлись развлекательным чтением, эти писатели тоже не сводили проблему формы к проблеме стиля. Однако они прочно увязывали форму с содержанием, с жизнью, которую они отображали, тогда как у «неороманистов» связь произведения с жизнью порой распадается.

Если в центре литературы реалистической стоял человек со своими страстями, своими радостями и горестями — человек и окружающий его мир, определенная историческая эпоха с ее проблемами, то для «неороманистов» герой — это лишь «деталь архитектурного построения, орудие, позволяющее писателю выразить свои мысли, звено, соединяющее два реальных персонажа — писателя и читателя», в частности, для Бютора — это «средство, позволяющее выразить соотношение времен и лиц».

— Для «неороманистов»,— говорит Бютор,— чрезвычайно важно понятие времени (скажем, в какой день недели происходит действие) и понятие пространства. Важно также, от какого лица ведется повествование (в «Изменении» повествование, например, ведется от второго лица множественного числа.— *Т. К.*), ибо одну и ту же историю можно рассказать от разных лиц поразному.

Кстати,— продолжает Бютор,— пространство и время играли большую роль и в творчестве Льва Толстого. Правда, понимание пространства и времени у него чисто русское, но он интересно экспериментировал с этими двумя понятиями. А Жан-Жак Руссо! Посмотрите, как любопытно перемещаются вокруг Женевского озера все персонажи «Новой Элоизы». Так что эксперименты в этой области не есть нечто новое. Недаром вы найдете следы влияния русской литературы в творчестве Натали Саррот, хотя Толстой в своих произведениях шел от персонажа к структуре, а «неороманисты» идут от структуры к персонажу. До сих пор писатель старался показать многообразие человеческих характеров, разнородность, несхожесть людей между собой. Саррот же не интересует отдельная личность, для нее это — маска, которую она срывает и отбрасывает, стремясь добраться до «тропизмов», отыскать то общее, что таится в каждом человеке, что объединяет людей. А вот Филипп Соллерс, например, считает, что людей объединяет язык. И этой проблеме — проблеме языка и творческого самовыражения — посвящена его последняя книга «Драма», повествующая о драме писателя, о мучительных поисках средств самовыражения.

Понимая узость того читательского круга, который интересуется их произведениями, «неороманисты» утверждают, что значение писателя и произведения не определяется успехом у читателей.

— Популярная книга,— говорит Бютор,— не всегда представляет собой большую литературную ценность, ибо формированию читательских вкусов немало способствуют критики, телевидение, радио, литературные журналы.

Да, реклама, конечно, играет немалую роль в формировании читательских вкусов, и, кстати, именно ей во многом обязан «новый роман» своей известностью. Однако несмотря на многочисленные статьи и рецензии он не завоевал широкой читательской аудитории. В самом деле: вы не увидите в парижских книжных магазинах произведений «неороманистов» в дешевом «карманном» издании, предполагающем большой тираж (средний тираж таких книг — 60—70 тыс. экз.). Не увидите вы их и в руках человека, читающего в метро или в автобусе.

— В нашем современном обществе, с его чрезвычайно сложной структурой,— поясняет Бютор,— читатель не всегда сразу понимает писателя. Иногда признание приходит после смерти, и иные наши писатели воспринимают это трагически.

Живя в эпоху, насыщенную политическими событиями, которые так или иначе затрагивают всех людей, в эпоху, когда особенно остро стоит вопрос «с кем вы, мастера культуры?», «неороманисты» объявляют своим кредо отмежевание литературы от всяких социальных событий. «Неразумно требовать, чтобы наши романы служили политическому делу, даже если это дело кажется нам справедливым»,— говорит Роб-Грийе, выражая общую для всех «неороманистов» точку зрения. Но хотя все они исповедуют это кредо, тем не менее писатель часто не в состоянии удержаться в рамках абстракций. Пристально вглядываясь в движение человеческой мысли, анализируя возникновение эмоций, Натали Саррот, например, описывает мысли и чувства определенного человека, принадлежащего к той или иной среде, и таким образом выражает свое отношение к этой среде. Так, в «Золотых плодах» она объективно обличает мещанство.

Любопытно, что и в публичных выступлениях «неороманисты» активно высказываются против фашизма, против агрессии, против войны во Вьетнаме. Однако свои политические выступления они отделяют от своей литературной практики и не приемлют ангажированности искусства.

В этом причина их несогласия с некоторыми высказываниями Жана-Поля Сартра, которого Бютор в беседе с нами тем не менее почтительно назвал «современным Вольтером».

Жан-Поль Сартр сказал однажды, что, пока в мире существуют миллионы голодных детей, писатель не может не думать об этом и не отражать этого в своих произведениях.

— Я тут не согласен с Сартром,— заметил Бютор.— Всякое произведение обязано своим созданием тем или иным побу-

дительным мотивам, независимо от того, есть на свете голодные дети или нет. Но я не согласен и с теми писателями, которые считают, что литература существует только для избранных, что она не должна иметь никакого отношения к политической и социальной жизни общества. Я считаю, что не может быть литературы для литературы.

Идет ли на земле война или царит мир,— продолжал Бютор,— астроном наблюдает звезды. И, хотя в условиях войны деятельность его вроде бы бесполезна, он объективно приносит пользу человечеству. Так и литература, она может приносить не только прямую, непосредственную пользу, но и пользу опосредствованную. Из всего многообразия тем писатель выбирает ту, которая наиболее близка ему, он ведет вечный поиск, схожий с поиском ученого. Жаль только, что действительность оставляет для этого очень мало времени. Потому-то писатель и должен использовать всякую возможность для глубинного исследования жизни и экспериментировать. Я все время экспериментирую, и мои последние романы — это этюды, в которых я пытаюсь выразить соотношение времен и лиц, этюды, скорее близкие к музыкальным, чем к живописным.

Мы рассказали здесь, что думает о «новом романе» Бютор, и воспроизвели его высказывания в беседе с сотрудниками редакции, хотя не всегда были согласны с ним.

Вскоре состоялась у нас встреча с другим гостем из Франции, известным писателем-реалистом, лауреатом Гонкуровской премии Арманом Лану.

— Да,— отвечая на наш вопрос, сказал Лану,— «новый роман» бесспорно играет во Франции определенную роль, но гораздо больший интерес вызывает он в прессе, чем у читателей или в библиотеках. Я говорю так вовсе не потому, что предубежден против «нового романа». Это эксперимент, а эксперимент — дело естественное, ибо меняется жизнь, и с нею неизбежно должна меняться литература. Традиционный роман не может в законсервированном виде передаваться из поколения в поколение. Однако это не значит, что всякий эксперимент приемлем. Бывают эксперименты пустопорожние, интересные только для самого писателя. А бывают такие, которые интересуют весь мир.

Лану, в частности, высоко отзывается о романе Жоржа Перека «Вещи».

— Это роман,— говорит он,— чрезвычайно современный, чем-то напоминающий книги Роб-Грийе и в то же время имеющий глубокий социальный смысл, роман обличительный, показывающий губительную власть, которую приобретают в нашем обществе вещи над человеком.

В оценке художественного произведения,— продолжает Лану,— исходным моментом, так сказать, пробным камнем должен быть ответ на вопрос о том, для чего оно написано. Если взять «Изменение» Бютора, тут более или менее понятно, для

АРМАН ЛАНУ

чего оно написано. Перед вами восемь пассажиров, едущих в вагоне III класса из Парижа в Рим. Автор показывает семь разных характеров, увиденных глазами восьмого, судьбу этого восьмого, пейзажи, мелькающие в окне вагона,— и перед читателем возникают картины жизни современного французского общества, преломленные сквозь призму авторского восприятия. Возьмем другой пример — роман Клода Симона «Дороги Фландрии». Автор показывает растерянность целого поколения перед лицом войны, рисует ее страшные последствия — и вам тоже ясно, зачем такой роман написан,— говорит Лану.— Но когда читаешь некоторые романы Натали Саррот или Аллена Роб-Грийе, трудно понять, чему они служат.

Думается, что было бы неверно видеть в произведениях «неороманистов» только трюкачество, но, как уже говорилось выше, их манера настолько усложнена, образный строй настолько зашифрован, что их творчество остается всего лишь экспериментом, причем, как правило, экспериментом без будущего.

— Почитайте наши журналы и газеты,— говорит Лану,— выходит, что французские писатели ничего другого не пишут, а читатели — не читают. Тогда как на самом деле читатель предпочитает совсем иную литературу — ту, которую порой не без ехидства и не без злобы называют традиционной. К таким «традиционным» писателям принадлежит, например, известный у вас Эрве Базен. (На русском языке выходили несколько его романов, а также рассказы в различных наших журналах.— Т. К.) Однако в произведениях этого писателя, придерживающегося бальзаковских традиций и стоящего на позициях критического реализма, если разобраться, куда больше новаторства и оригинальности, чем во многих книгах «неороманистов». Да и читают Базена во Франции куда больше, и он имеет большее влияние на молодежь. Шесть его романов вышли в «карманном» издании, а это кое о чем говорит.

Творчество Базена — это литература гнева, литература обличительная, его произведения пронизаны ненавистью к буржуазному обществу, они будят чувства возмуще-

ния и отрицания. Особенной популярностью, по словам Лану, пользуется Базен у нового читателя.

— Под «новым читателем»,— пояснил Лану,— я подразумеваю рабочего. Надо сказать, что в последние годы на наших заводах и фабриках появились так называемые «инициативные группы», которые создают библиотеки, организуют семинары по литературе и искусству, устраивают читательские конференции, дискуссии, обсуждают новинки, принимают у себя писателей.

Лану рассказал, что он часто бывает в гостях у рабочих, ездит по фабрикам и заводам, видит, как множится число любителей литературы и искусства.

— Пролетариат начинает приобщаться к литературе,— говорит Лану.— К сожалению, изменение облика нашего читателя не сопровождается пока появлением значительных произведений, героями которых были бы рабочие. Правда, и сейчас есть писатели, которые пишут о рабочих, о людях труда. Например, Пьер Гамарра, Андре Стиль. Но таких немного.

Иначе обстоит дело в Англии и в Италии, где за последние годы появилось немало писателей, выводящих в своих произведениях героев из рабочей среды и мелких служащих (к числу таких писателей относятся, например, Силлитоу, Чаплин, Барстоу, Уэскер — в Англии или Пратолини, Биджаретти, Шаша, Паризе — в Италии).

Однако я убежден, что процесс, идущий у нас во Франции и выражающийся пока в изменении состава читателей, через какое-то время приведет к тому, что из этой новой массы читателей вырастут и свои писатели.

Судя по всему, Лану прав в своих выводах: действительно, во французской литературе уже явно чаметился отход от «нового романа» в сторону произведений более реалистических, более прямо отвечающих на те вопросы, которые волнуют сегодня людей. Об этой тенденции свидетельствует и присуждение литературных премий за прошлый, 1966 год.

За этот год Гонкуровской премии удостоен роман Эдмонды Шарль-Ру «Забыть Палермо», премии Французской академии — роман Франсуа Нурисье «Одна французская история», премии Ренодо — роман Жозе Кабаниса «Битва под Тулузой» и т. д. Все это романы реалистические, в которых освещаются острые проблемы сегодняшнего дня, интересующие людей, заставляющие их думать.

Роман Э. Шарль-Ру посвящен сопоставлению двух миров — мира алчной, корыстолюбивой и бездушной Америки и живой, отзывчивой, но бедной Сицилии. Писательница несколько идеализирует последнюю, но это не снимает главного — сатирической направленности произведения. Франсуа Нурисье рисует судьбы своего поколения — поколения тридцатилетних, искалеченного войной. Жозе Кабанис показывает неустроенность человека в современном мире, проблемы, стоящие перед писателем, которому так и не удается написать задуманный роман.

Французская литература все больше обращается к серьезной социальной проблематике, к большим вопросам сегодняшнего дня.

Т. К.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Варшавское издательство «Ксенжка и ведза» в последнее время выпустило книгу фронтовых очерков К. Симонова, сборник воспоминаний разных авторов «В редакцию не вернулся», роман М. Стельмаха «Правда и кривда», а также сборник эссе и репортажей о Польше «Память сердца» Ю. Ткаченко и П. Костикова.

Польским издательством «Чительник» (Варшава) выпущена повесть Ю. Рытхеу «Айваигу». В том же издательстве ранее вышла повесть Рытхеу «Время таяния снегов». Ярослав Ивашкевич написал в своей рецензии, что в этой книге «проявился выдающийся писательский талант Рытхеу».

Среди книг, изданных «Чительником»,— «Говорит Ленинград» О. Берггольц, «Рвач» И. Эренбурга, «Восковая персона» Ю. Тынянова, повесть В. Андреева «Детство».

Девятым изданием «Чительник» выпустил повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда», четвертым — повесть В. Пановой «Сережа» и вторым — романи К. Паустовского «Романтики».

Варшавский Государственный издательский институт (ПИВ) недавно выпустил сборник стихотворений армянского поэта Геворга Эмина, роман Всеволода Воеводина «Буйная головушка», поэму Александра Твардовского «За далью даль», а также рассказ Владимира Богомолова «Зося». В 1961 году рассказ В. Богомолова «Иван» был выпущен в том же издательстве в сборнике рассказов о войне «Вторая ночь».

Седьмым изданием в ПИВ'е вышел рассказ М. Шолохова «Судьба человека».

В Италии издан сборник литературоведческих исследований В. Шкловского, в который вошли работы: «Повести о прозе», «Техника писательского мастерства» и другие.

Роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», а также повесть Л. Волынского «Семь дней» вышли в издательстве «Народна младеж» (Болгария).

Издательство Болгарской коммунистической партии выпустило книгу В. А. Зеленцова «Народ Вьетнама победит».

В библиотечке «Советские поэты» издательства «Народна култура» (София) вышли сборники стихов Саломеи Нерис и Ояра Вациетиса.

Там же выпущен роман Аркадия Васильева «Вопросов больше нет...» и приключенческая повесть Вахтанга Ананяна «Пленники Барсова ущелья».

Журнал «Блгаро-советска дружба» печатает повесть Алексея Толстого «Гадюка».

Повесть А. Приставкина «Три жизни» вышла в болгарском «Профиздате».

Варненским издательством выпущен рассказ Михаила Пришвина «Серая сова».

Мюнхенское издательство «Карл Ганзер» напечатало повести В. Семина «Семеро в одном доме» и рассказ В. Аксенова «Товарищ Красивый Фуражкин».

Сборник рассказов Михаила Зощенко «Голубая книга» вышел в ФРГ, в издательстве «Ташенбух-ферлаг» (Мюнхен).

Поэма Александра Блока «Двенадцать» вышла в Штутгарте, в издательстве «Реклам» (ФРГ).

Югославская газета «Политика» публикует в отрывках повесть В. Ардаматского «Грант» вызывает Москву».

На сцене Сараевского оперного театра (Югославия) состоялась премьера оперы Д. Шостаковича «Катерина Измайлова».

Издательство «Свет Совету» в Праге выпустило недавно произведения советских писателей: роман А. Грина «Джесси и Моргиана», а также сборник избранных стихотворений Б. Ахмадулиной — «Струна» и «Театральный роман» Михаила Булгакова.

Словацкое молодежное издательство «Младе лета» выпустило повесть Г. Федосеева «Пашка из Медвежьего лога».

Издательство Галлимара (Франция) выпустило повесть А. Бека «Резерв генерала Панфилова», книгу В. Каверина «Художник неизвестен», а также сборник рассказов Ю. Казакова под названием «Легкая жизнь».

Повесть Владимира Тендрякова «Тройка, семерка, туз» выпущена венгерским издательством «Сепиродалми». В издательстве «Геликон» вышла повесть «Дни и ночи» Константина Симонова и «Алые паруса» Александра Грина. Издательство «Космос» выпустило повесть Юлиана Семенова «При исполнении служебных обязанностей».

Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» вышла в ГДР в издательстве «Фольк унд вельт — Культур унд фортшритт». Тем же издательством выпущена повесть известного советского хирурга Н. Амосова «Мысли и сердце».

Газета «Нейес Дейчланд» писала о выступлениях Андрея Вознесенского, читавшего свои стихи в городской библиотеке Берлина. В ГДР издано несколько сборников стихов Вознесенского. В нынешнем году готовятся к выпуску «Антимиры».

Вознесенский выступил также с чтением своих стихов в Мюнхене (ФРГ), куда он приезжал по приглашению Баварской академии искусств и баварского радио.

Повесть Ю. Бондарева «Последние залпы» вышла в ГДР, в издательстве «Ферлаг дер нацнои».

Пьеса Всеволода Вишиевского «Первая Конная» поставлена на телевидении ГДР.

Стихи Б. Окуджавы опубликованы в журнале «Тагебух» (Австрия).

Памяти В. П. ТЕРЕШКИНА

Безвременно оборвалась жизнь Владимира Петровича Терешкина, старого коммуниста, видного общественного деятеля, члена редакционной коллегии журнала «Иностранная литература».

Все годы сознательной жизни В. П. Терешкина были отданы делу борьбы за идеалы коммунизма. Он был борцом — в подлинном смысле этого слова, и с полным правом о нем можно сказать, что всю свою жизнь он провел на передовой.

Почти полвека назад юноша рабочий Владимир Терешкин вступил в Коммунистическую партию и взял в руки оружие, чтобы в рядах Красной Гвардии, а затем Красной Армии защищать свою родину — молодую Страну Советов от интервентов и белогвардейцев. Укреплению обороноспособности Советского государства он посвящает и многие последующие годы, находясь на ответственной политической работе в Советской Армии. А когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, В. П. Терешкин принимает активное участие в Великой Отечественной войне: он возглавляет политотдел армии вначале на Западном, затем на Карельском фронтах.

С той же революционной страстью он сражается и на фронте борьбы за мир. Его слово слышно на многих Всемирных конгрессах защиты мира. Он избирался членом Всемирного Совета Мира, членом президиума Советского комитета защиты мира, первым заместителем председателя Советского комитета солидарности стран Азии и Африки... Своими выступлениями, проникнутыми благороднейшим гуманизмом, он завоевывает личное уважение и симпатии передовых людей земного шара, лучших представителей творческой интеллигенции.

Большую работу вел Владимир Петрович Терешкин в качестве члена редколлегии журнала «Иностранная литература», и его глубокие, всегда обоснованные суждения помогали находить решение в самых сложных вопросах литературы и искусства.

Коллектив работников редакции журнала всегда видел в нем искреннего, доброжелательного друга, мудрого и доброго товарища, скромного человека.

Вспоминая Владимира Петровича, мы особо остро ощущаем тяжелую утрату.

Редакция журнала
«Иностранная литература»

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

КНИГА ФРАНЦА ФЮМАНА

Франц Фюман. Суд божий. Повести и рассказы. Перевод с немецкого. Составитель Э. Львова. Послесловие С. Львова. Москва, «Молодая гвардия», 1966. 303 стр.

Те прозаики ГДР, которых мы по инерции все еще зовем молодыми, сейчас не так уж юны. Все они шагнули (и некоторые довольно далеко) в пятый десяток своей жизни.

Однако книги людей года рождения 1921—1925, в которых они, бывшие солдаты фашистской армии, стремились беспощадно расквитаться со своим прошлым, сами отнюдь не становятся прошлым для литературы ГДР, для прогрессивной литературы мира. Тема войны и военной машины гитлеровского рейха, всей системы фашизма продолжает оставаться весьма актуальной. И не менее актуальна, к сожалению, тема воспитания человека, удобного для осуществления целей, поставленных себе нацистской (или неонацистской) партией. Большинство военных романов в литературе ГДР, которые создали писатели этого поколения, советский читатель узнал несколько лет тому назад, когда вышли в свет «Украденная юность» Вольфганга Нейхауза, «Приключения Вернера Хольта» Дитера Нолля, «Мы не пыль на ветру» Макса Вальтера Шульца

Франц Фюман, один из самых талантливых представителей этой группы, не привлек достаточного внимания наших журналов и издательств. В сущности, судить о его творческом облике советский читатель сможет лишь сейчас, когда появилась книга «Суд божий», куда вошли несколько рассказов, а также автобиографический роман в четырнадцати новеллах «Еврейский автомобиль». Правда, и после выхода в свет этой книги за гранью все же останется очень важная и еще недостаточно известная у нас сторона творчества Фюмана. Он начинал как поэт и не один год был только поэтом. Впрочем, читатель и сам почувствует это, знакомясь с прозой Фюмана: в образной системе, в смелом сопряжении предметов далековатых, в самом ритме повествования.

Все романы сорокалетних были в известной мере автобиографичны, заключали в себе какие-то черты горького опыта, печальной биографии их авторов. И все же герой ни в одной из этих книг не был тождествен с создавшим его художником: автор, глядя сверху вниз, вершил суровый суд над вчерашним гражданином и солдатом фашистского рейха.

Франц Фюман — самый беспощадный из этих беспощадных. И «я», от лица которого ведется повествование, это не условное первое лицо, это — Франц Фюман, так он и назван в тексте. Это он мальчишкой дрожал от ненависти к «красной сволочи» в дни восстания шуцбундовцев в Вене, подростком сбивал чешские вывески в дни, когда фашистская армия оккупировала Судетскую область, юношей готовился стать «добрым господином» для граждан нашей страны, когда в 1941 году полчища третьего рейха вторглись в СССР.

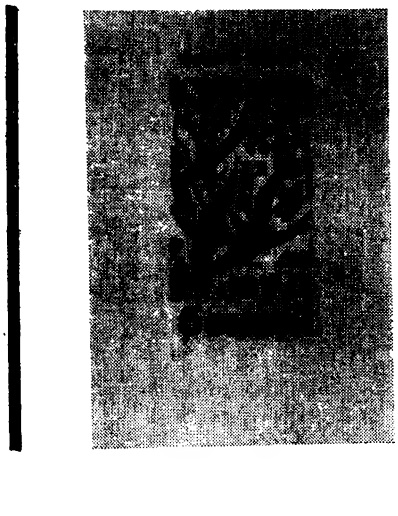
В жестком и беспощадном творчестве Фюмана-прозаика ясно ощущается связь с одной очень важной темой, которая возникла и в советской и в зарубежной литературе при «подведении итогов» первой мировой войны. Это — тема человеческого одичания в «предвоенной» (по отношению к первой мировой войне) Германии. Одичание это, проявившееся не только в общественных, но и во всех личных отношениях на пороге войны, вместе с тем уже само было формой войны, моральной подготовкой к ней. Любо-

пытно (и мне уже приходилось говорить об этом в печати), что не только Арнольд Цвейг (в романе «Молодая женщина 1914 года»), но даже и Генрих Манн (в романе «Голова») подняли эту чрезвычайно важную тему уже после того, как она возникла в молодой советской литературе.

В дни, непосредственно предшествующие войне 1914 года, Андрей Старцов — герой романа «Города и годы» — на улицах города Бишофсберга поистине скользит в еще не пролитой крови, как и герой романа «Голова» Клаудиус Терра, «обретший жизнь» два года спустя после героя Федина. С этой темой «война до войны» связано первое прозаическое произведение Фюмана — повесть «Однополчане». Случайность (непреднамеренное убийство) выступает в ней как форма проявления закономерности.

Да, трое молодых солдат-однополчан, получивших внеочередной отпуск за отличную стрельбу, убили девушку — дочь своего начальника — по несчастной случайности. Но это убийство, совершенное ими в самый канун вторжения фашистской армии в СССР, стало тем «катализатором», который показал истинную цену солдатского братства, немецкой чести и верности и всех прочих фетишей фашистской пропаганды. Ложь, взаимная ненависть, предательство, месть, поразившая невиновных,— вот закономерное следствие страшной случайности, вторгшейся в жизнь трех юношей, воспитанных третьим рейхом. В этой повести Фюмана дан уже самый результат воспитания молодого человека фашистской Германии. «Еврейский автомобиль» — это тщательное и беспощадное исследование всех этапов формирования такого типического характера.

Разве преступна «заданность» характера того мальчика девяти лет, с которым мы знакомимся в первой из новелл автобиографического романа? Конечно, нет. Живое воображение, острое ощущение природы, первые веяния романтических чувств к «прекрасной даме» — вот то зерно характера, которое в других, нормальных условиях дало бы полноценные ростки, но фашистская идеология, разлитая, как незримое зло, во всем окружении героя, еще до прихода фашизма к власти, уже отравляет сознание ребенка, поворачивает «себе на потребу» все его смутные и чистые в своих истоках стремления.



Первая любовь мальчика (или, точнее, говоря словами Л. Толстого из «Детства» и «Отрочества»—«нечто вроде первой любви») обычно носит героический характер, основное ее содержание — это воображаемые подвиги во славу любимой, защита ее от воображаемого нападения злых сил.

Этот девяти-, десятилетний рыцарь, одаренный живым воображением, всегда видит себя в несколько героизированном и приукрашенном виде — чем-то вроде святого Георгия или Тезея; герой романа Фюмана не составляет здесь исключения. Но его тайное и тревожное чувство к кареглазой однокласснице, мечта о подвиге во имя этого чувства изуродованы в самых истоках своих тем фашистским злом, которое живет в сплетнях, слухах, отвратительных антисемитских легендах, проникающих даже и в ребяческую среду.

Анализу Фюмана свойственна не только историческая, но и социологическая точность. Мальчик, о котором идет речь,— это отпрыск буржуазной семьи, семьи фабриканта фармацевтических товаров, и этим — справедливо — многое объясняет в его судьбе и сам автор, и некоторые действующие в романе лица.

Любопытно также, что отец героя — средний немецкий буржуа веймарского толка, сначала увлеченный гитлеризмом, на пороге войны проявляет больше исторического здравого смысла в своем отношении к планам фюрера, чем его воспитуемый третьим рейхом сын.

Если проследить историю формирования героя (соотнесенную в романе с центральными событиями в истории третьей империи), то прежде всего бросается в глаза одна определяющая его судьбу черта: чем старше становится он, тем дальше заходит то своеобразное «раздвоение личности», которым были отмечены уже его школьные годы.

Отрочество героя, период «бури и натиска» в формировании характера, протекает во внутренних конфликтах, отчаянных попытках соединить несоединимое. Да, он ненавидит «красных», вышедших на улицы Вены в 1934 году, но он же, ученик аристократического иезуитского интерната возле Вены, со всею страстью желает, чтобы «красные» (чьими «зверствами» пугают учеников «святые отцы») вторглись в монастырь, предав смерти, потоку и разграблению всех и вся — иконы и алтари, отцов наставников и воспитанников интерната.

Для двенадцатилетнего человека, взращенного в страхе божьем и католической ве-

ре, вопрос поставлен достаточно круто. Более того, острота ненависти к ханжеству и насилию над личностью так велики, что герой заболевает, а затем, перебравшись через решетку монастырского сада, самовольно покидает интернат. Однако страстный, яростный и слепой бунт подростка опять-таки оформляется фашистской идеологией, уже открыто вошедшей в мир после победы Гитлера на выборах. От святых отцов мальчик приходит не к «красным», а в ряды юношеской фашистской организации Судетской области, где он родился.

Дальше начинается история уже не борьбы, а своеобразного мирного сосуществования двух аспектов личности героя — молодого нациста и чуткого артистичного юноши. Этот второй аспект намечен в романе почти пунктиром. Автор точно стесняется сказать о своем юноше хотя бы одно доброе слово, с почти злорадной тщательностью поминая все его ошибки и грехи. А между тем даже тоненькие черточки пунктира показывают, как глубоко противоречие между внутренним миром героя и той жизненной практикой, которая определяет его судьбу. Это противоречие он сам постепенно начинает принимать как нечто само собой разумеющееся, как «предпосылку», которая только и дает возможность жить. Уже в шестнадцать лет — осенью 1938 года — герой становится свидетелем тех демагогических ухищрений, которые были пущены в ход, дабы морально подготовить захват Судетской области немецким фашизмом. Ложь и провокацию, лежащие в основе этой подготовки, герой принимает как нечто вполне естественное. Более того, он, которому не пришло бы в голову лгать родным или товарищам, считает ложь геббельсовской пропаганды не только естественной, но даже героической. Так же раздвоенно воспринимает он узаконенный грабеж Судетской области после присоединения ее к рейху. Раз фашистская пропаганда зовет этот грабеж «братской помощью» — значит так тому и быть.

И вместе с тем как бы «параллельно» этой преступной и жалкой практике молодого нациста течет внутренняя жизнь юноши — поклонника Толстого, Достоевского, поэта, который пишет печальные и утонченные стихи, великолепно знает великую немецкую литературу. Однако «пробиться наружу» эта внутренняя жизнь сможет лишь тогда, когда после позорного и жестокого опыта пребывания в фашистской армии герой попадает в плен и, насильственно вырванный из привычной среды, начинает свой подлинно человеческий путь.

И здесь доминирующей чертой романа остается беспощадность автора к герою и — что особенно привлекательно — полное человеческого достоинства желание честно, не торгуясь и не прибедняясь, заплатить по всем счетам, предъявленным ему историей.

Тяжелую, изнурительную работу по прокладке горной дороги на Кавказе военнопленный Фюман, естественно, воспринимает поначалу как заслуженную гибель и проклятие. Но постепенно и работа, и русские — администрация стройки,— и свои товарищи-военнопленные предстают перед ним по-новому. По пробитой в горах дороге уже идут колонны грузовиков, и это — дело его рук, след реального его участия в создании реальных ценностей.

И русские, все, вплоть до «комиссаров», которыми так пугала солдат геббельсовская пропаганда, естественно, ничуть не похожи на прежнее представление о них. Да и пленные, очутившись вне рядов фашистской армии, вдруг обретают новое лицо и новые черты. Начинаются споры — иногда острые до рукоприкладства, борьба мнений, разные решения будущей своей судьбы. Путь героя ведет в антифашистскую школу, затем — в советскую зону оккупации, будущую Германскую Демократическую Республику.

Сочетание суровости «суда» с большим чувством человеческого достоинства и сознанием личной ответственности перед историей — вот отличительные черты талантливой книги Фюмана. Суровость сказывается и в том, что в книге, в сущности, нет ни любви, ни дружбы. Спутница, «женственность», которая в других военных романах имеет такое огромное значение в перевоспитании участников несправедливой войны, в романе Фюмана отсутствует начисто.

Рассказ «Богемия у моря», последний в книге,— это логическое и эмоциональное ее завершение. Сила его не только в ненависти к позорному прошлому — в нем страстно, напряженно звучит призыв к бдительности, в нем даны образные свидетельства того, что фашизм не только жив в пределах ФРГ, но и воспитывает кадры молодежи, что, говоря словами Брехта,— «еще плодоносит то лоно, из которого все это выползло».

Е. КНИПОВИЧ

ЖАЖДА НОВЫХ ВСТРЕЧ

Молодые поэты Румынии. Перевод с румынского. Составитель А. Садецкий. Предисловие Ю. Кожевникова. Редактор Л. Тоом. Москва, «Прогресс», 1966. 167 стр.

Сознаюсь, что далеко не всегда начинаю читать сборник стихов с самого начала. Так случилось и на этот раз, и где-то в самом конце сборника, в котором собраны произведения двенадцати румынских поэтов, мне встретились строки Иона Хори:

Меня приветствует издалека
Колодца деревянная рука.
(«Время года». Перевод В. Корнилова)

И сразу вспомнилось, как мы мчимся по румынской дороге, и вдруг впереди возникает и наклоняется к колодезному срубу знакомый силуэт.

— Журавль! — восклицаю я обрадованно.

— Кумпана! — отвечают мне спутники.

Бывает, что, листая книгу на незнакомом языке, вдруг наталкиваешься на знакомое слово — раз, другой, третий... И язык уже не кажется столь непонятным, как сначала.

В тот же вечер мы въезжаем в крепость Альба Юлия, подымаемся на стену над воротами и заглядываем в тесную камеру: здесь был заточен вождь крестьянского восстания Хория с товарищами.

Камера расположена под статуей Карла VI. Тому, кто бросил крестьянских вожаков сюда, быть может, нельзя отказать в тяге к эффектной символике: пусть императорский конь попирает смутьянов, пусть из-под его копыт доносятся жалкие мольбы о прощении!

Но камера молчала, а то ругалась — грубо, по-мужицки — или пела песни. Может быть, пели и знаменитую песню про Миорицу, о пастухе, завещавшем овечке, что надо сказать о его смерти матери, чтобы смягчить ее горе.

В камере темно, разные люди приходят сюда, и каждый, кто вглядывается в как бы клубящийся в ней мрак прошлого, по-своему представляет Хорию. Венграм он напоминает Дьердя Дожу — вождя крестьянского восстания XVI века, сожженного потом на раскаленном троне. Нам — Пугачева, чьим путем он пошел всего десять лет спустя.

А сами румыны, наверное, испытывают чувство, подобное тому, которое выразил в сборнике, вызвавшем у меня все эти воспоминания, поэт Александру Андрицою в стихотворении «Дуб Хории»:

Пока я жив —
он надо мной, как знамя...
Я — ветвь его.
И я — его листок.

(Перевод Б. Окуджавы)

«Лист зеленый» — о нем поют во множестве песен. Он уже не просто часть пейзажа, деталь жизни, но почти философский смысл бессмертия жизни, ее постоянного воскресения после самых страшных невзгод. Это маленький ратник великой непобедимой армии.

В русском переводе стихотворения Николае Лабиша, одного из самых сложных и драматических авторов сборника, промелькнула строчка:

И каштаны меня оградят, словно спичку
в ладони.

(«Танец». Перевод Ю. Мориц)

Горестно-личный сюжет стихотворения подсказал автору уподобление человека чему-то непрочному и недолговечному. Но природа, к которой прибегает герой, исцеляла и не такие раны! И не отказывая даже в малой помощи, она ждала дерзновенного творца, сказочного богатыря Фэт-фрумоса, который бы сразил тяготившего жизнь дракона. Не эту ли встречу прославляет Ион Брад?

Край светающей рани,
Невеста с зелеными, как у дриады,
кудрями,
Прекрасная Золушка, взгляд устремившая
ясный
В столетья,
Где принц ее ищет прекрасный,
Талантливый парень,
Земляк мой с крестьянской ухваткою,
Распятый на сучьях и дыбе,
Терзаемый лихорадкою,
Все муки принявший в течение тысячелетия,
Но бунтом вставший в течение
тысячелетия.

(«Страна». Перевод О. Чухонцева)

Быть может, от ограниченности моего личного знакомства с Румынией, да и с ее литературой я слишком часто возвращаюсь при чтении сборника «Молодые поэты Румынии» к воспоминаниям о поездке по этой стране.

Снова увиделся мне Дунай, когда я прочел стихи Тибериу Утана:

Легко разметал ты излуки,
Как спящая женщина
Руки,
Как будто бы руки любимой.
На коих я —
Непобедимый,—
Разнежась, могу и забыться.
. . . . . .
Ты у страны под мышкой
Ее любимая скрипка.

(«Песня Дунаю». Перевод С. Поликарпова)

И снова доносящиеся из-за рубежа вести об успехах румынских друзей вызвали перед глазами картину праздничного осеннего изобилия:

Мне кажется, цифра стучит о цифру,
Как колос о колос.

(Илие Константин. «Контрольные цифры». Перевод Т. Жирмунской)

И очень понятен, и рождает даже какие-то воспоминания о стихах такого рода в нашей собственной русской поэзии романтический порыв Георге Томозея:

Так пускай обойдет мой стих
Все уголки страны,
Как райкомовская машина!

(«Машина райкома». Перевод Л. Тоома)

Книга эта вызывает во мне не только радость новой встречи со страной, с ее людьми (кстати сказать, в сборнике отсутствуют многие имена действительно молодых и уже зарекомендовавших себя в последние годы поэтов, и в то же время, увы, как это часто бывает у нас вообще, все еще числят в «юношах» тех, кто давно перешагнул границу этого возраста!).

Все это порой напоминает первое знакомство, только возбуждающее жажду нового, более продолжительного, доверительного общения.

Хочется пожелать, чтобы румынские писатели и поэты, в частности и молодые, почаще гостили со своими новейшими, выражающими наиболее интересные явления жизни их страны произведениями самых разных жанров на страницах нашей периодической печати, отдельными книгами и коллективными сборниками.

А. ТУРКОВ

«НЕПРИЯТНЫЕ» ПЬЕСЫ

Лилиан Хеллман. Игрушки на чердаке. Перевод с английского Я. Калугина Послесловие И. Грачева. Москва, «Прогресс», 1967. 103 стр.

Читаешь первую страницу нового произведения — черные значки на белой бумаге вдруг начинают звучать разными голосами, вдруг заполняются лицами, которые ясно видишь. И открывается уголок неизвестного мира, где ходят и говорят живые люди.

Издание пьесы Лилиан Хеллман «Игрушки на чердаке» (она и поставлена в США в 1960 году) — продолжение старой дружбы с писательницей. На сценах наших театров шли ее пьесы «Семья Феррели теряет покой», «Лисички», «Леди и джентльмены», «Осенний сад». В 1957 году вышел однотомник драм Хеллман.

Итак, новая пьеса Лилиан Хеллман «Игрушки на чердаке».

Живут в маленьком южном городе сестры Анна и Кэрри. Похоронили мать и отца и остались в том же доме, где прошли их детство и юность, кончается и зрелость, вот-вот настигнет и старость.

Они никогда не любили этот неудобный дом, где по углам и на захламленном чердаке скапливается не только пыль, не только валяются детские игрушки — рядом со взрослыми людьми они выглядят нелепо и печально,— там оседают и несбывшиеся мечты, утраченные иллюзии. Разные были мечты: выйти замуж, бросить постылую службу, купить новый холодильник, поехать в Европу. Но взамен всего этого надо было тянуть лямку, отказывать себе, откладывать на черный день и прежде всего содержать Джулиана, обожаемого Джулиана, младшего брата, баловня семьи.

Джулиану неожиданно достались шальные деньги (он посредничал в продаже земельного участка). И на педантичных, расчетливых сестер вдруг сваливаются привезенные на грузовике мечты.

Эти шляпы, эти платья, эти меха уже не подходят постаревшим Анне и Кэрри. Их старые мечты лежат в коробках, висят на плечиках, стоят в ящиках, и перед ними в остолбенении застыли женщины. А Джулиан ничего не понимает: ведь он готовил сюрприз, он хотел как лучше.

Куплено то самое пианино, о котором Кэрри мечтала всегда, а в тот момент, когда пианино вносят в дом, ее только и заботит, почему молоденькая неряшливая жена Джулиана открывает парадную дверь, не потрудившись одеться.

Если назвать высоким словом «мечта» желание иметь новый холодильник, то она сбылась у сестер Бернирс, как сбылась в жизнях сотен, тысяч американцев. Но люди от этого не стали счастливее. И писательницу глубоко тревожат запыленные души, тусклые, как плохо протертые окна, тревожат человеческие отношения, превращающиеся в рухлядь в том мире, где царит всевластие вещей.

При этом ее пьесы менее всего аскетичны: ее мир — вещный мир. О настроениях, о переменах часто сообщают вещи. Слуга-негр ворчит: снова велят включать холодильник; это сигнал: опять не состоится поездка в Европу.

Деньги и вещи часто определяют и судьбы героев, и развитие сюжета. Мало кто из современных писателей так по-бальзаковски знает многообразные проявления силы денег, не только их отравляющее, губительное воздействие, но и ту власть, ту свободу, ту независимость, которую они дают, и в то же время тесные пределы этой свободы и этой независимости.

И все-таки Хеллман имела право написать в предисловии к своим пьесам: «Я писатель, которого больше всего заботят моральные проблемы» (1944).

Кэрри действительно хотела новое пианино. Но это было лишь частью ее мечты, это — лишь символ стремления к счастью. Счастье не состоялось. И потому пианино, подаренное Джулианом, которого она к тому же любила более чем сестринской любовью, оказывается убогим заменителем. Оно лишь напоминает обо всем том, что не состоялось.

Одна из наиболее органично хеллмановских тем — тема «родных врагов». Больнее всего ранят друг друга самые близкие люди — муж и жена, брат и сестра, мать и дочь. Их удары болезненнее чужих. В «Игрушках на чердаке» тоже ранят друг друга Анна и Кэрри, Лили и ее мать, брат и сестры.

Пьесу, именно так воплотившую тему «человек и вещи» и тему «родных врагов», могла написать только Лилиан Хеллман. Но во втором акте существует еще и другая пьеса, своего рода социальный детектив — о том, как Джулиан достал деньги и как из-за неловкой ревности жены и сестры он потерял и деньги и самоуважение. В этих в быстром темпе развивающихся событиях труднее обнаружить своеобразие Хеллман.

Если принять известное деление Шоу, то пьесы Хеллман относятся к «неприятным». Эта неприязнь к окружающему миру — у Хеллман неприязнь, неразрывно сплетенная с любовью,— складывалась на всем протяжении жизни и творчества.

Лилиан Хеллман родилась и выросла в состоятельной семье на Юге, в Новом Орлеане. Рано ушла из дома, чтобы самой строить свою судьбу. Училась, много читала, много путешествовала по разным странам, по разным континентам мысли. И начала писать.

В 1934 году дебют на Бродвее, пьеса «Детский час», выдвинула ее в первые ряды американских драматургов. И дальше уже вся жизнь связана с театром. Когда Хеллман говорит: «Терпеть не могу театр!» — эти слова следует понимать: так люблю, что действительно не терплю плохих, даже и средних пьес, спектаклей, актеров.

Лилиан Хеллман воспитана тридцатыми годами,— тем временем, когда лучшая часть американской интеллигенции, отрицая окружающее, мечтала о счастье всех людей, путаясь, ошибаясь, спотыкаясь, активно искала пути к иному, более справедливому обществу. Она достойно шла сквозь трудные годы, выпавшие на долю ее поколения. В 1937 году она была с республиканцами в сражающейся Испании. В 1942-м она написала сценарий фильма «Северная звезда», стремясь поддержать Советский Союз. В 1944-м приехала к нам, была на фронте, потом в Америке выступала, рассказывала о нашей Отечественной войне как истинный друг. В 1952-м ее вызвали в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Реакционным сенаторам из комиссии она показалась «краснее», чем была на самом деле. Вела себя на допросах мужественно и благородно — так же как вели себя в часы испытаний созданные ею герои. Последовал «знак доблести» — включение в черный список.

Таковы факты. Они, скорее, свидетельствуют об идеях, дорогих Хеллман, а она не только создатель характеров в пьесах (в отличие от многих интеллектуальных драм у нее и запоминаются прежде всего люди), она и сама — характер, драматичный, яркий, противоречивый, неразрывно связанный со своим временем. Человек она угловатый, резкий, умный. Как и в пьесах, в ее поведении ранимость, нежность, истинная любовь к людям глубоко скрыты за защитной броней насмешек, острот.

Сейчас, когда времена маккартизма прошли, ее пьесы публикуются и ставятся *, ставятся и фильмы по ее сценариям, она член Академии литературы и искусства, она удостоена премий и званий, о ее творчестве пишут диссертации.

Последняя пьеса «Моя мать, мой отец и я» (1963) — тоже из очень «неприятных» пьес. Пожалуй, самая неприятная.

Поэт Роберт Лоуэлл назвал эту пьесу «веселой разновидностью отчаяния».

Глава семьи, Герман Гальперн близок к банкротству, а его жена Рона охвачена манией покупок. Их сын, 26-летний Берни, никак не найдет себя, принимая каждое новое увлечение — гитара, медицина, спорт, живопись, скульптура, фотография, наконец, литература — за жизненное призвание.

Старая мать Роны перебирается к дочери и зятю, внося бесчисленные комические осложнения в их и без того не простую жизнь. При всех своих чудачествах она — единственная в семье, сохранившая остатки здравого смысла и простой доброты.

Служанка прекрасно понимает, что взбалмошная, беспомощная семья без нее не обойдется, и она прочно сидит на шее у хозяев.

В пьесе (вернее было бы назвать ее сценами, сюжет пьесы аморфен) точны приметы нашего времени. Пенится своеобразный «интеллектуальный коктейль»: отчуждение, битники, военный психоз, бизнес, негритянская проблема, джаз, психоанализ. Разнокалиберные идеи, противоречивые представления беспорядочно сосуществуют в сознании героев, как уцененные меха, шляпы, сервизы в квартире Гальпернов.

Хеллман зло высмеивает интеллектуальные забавы современного мещанина. Так, например, психоанализ для Роны Гальперн — лишь удобная ширма для адюльтера, а для ее великосветской знакомой госпожи Паркер — способ убить время и «модно» потратить большие деньги.

Обычная буржуазная семья изображена трезвым наблюдателем в формах самой жизни, строго реалистично. Каждый эпизод сам по себе извлечен из реальных обстоятельств. И тем не менее в нелепостях обычного, в несовместимом сочетании заурядных частностей создаются коллизии, характерные для драматургии абсурда.

Пьеса Хеллман к театру абсурда, конечно, не принадлежит. Здесь нет ни носорогов, захвативших европейский город, здесь никто не ждет таинственного, непостижимого Годо. Ощущение абсурдности возникает из быта. Вот Рона купила крабов, потому что это «модно» и дорого, а Ганна выбросила их в мусоропровод, потому что с ними много возни. Или мать Роны (которую в конце концов определили в дом престарелых) просит, чтобы страховая фирма дала ей «вперед» деньги, предназначенные для ее похорон.

Американцы много покупают. Рона много покупает. И драматург лишь чуть дальше

* В репертуарном театре Нью-Йорка возобновляется спектакль «Лисички».

продвигается в том же направлении, что и сама действительность,— охваченная военной паникой Рона мечется по магазинам, приобретает не только огромные партии консервов и норковую шубу, но и собрание сочинений Томаса Гарди, и стол для массажа. Так нагруженный реальными вещами ковчег погружается в пучину абсурда.

Так же абсурдна и так же естественно вытекает из ненормальной жизни и война, которая неизвестно почему возникает во втором акте и быстро кончается.

В США, как и во многих странах, царит сегодня культ молодежи. Дети, даже и взрослые дети,— предмет подобострастного, едва ли не раболепного обожания окружающих. А Лилиан Хеллман рисует злой портрет великовозрастного болвана. Берни Гальперн ко всему равнодушен, он с детства привык только получать, знает одни права, но никаких обязанностей, он не способен принимать решения, он лишь безвольно перемалывает поступающую информацию. При этом, по природе своей, он вовсе не плохой парень, он чем-то сродни Холдену Колфилду. Но ведь и сэлинджеровский герой, проживи он еще десять лет, не взрослея, не приобретя чувства ответственности, воспринимался бы иначе, и многие его достоинства стали бы недостатками, даже пороками.

Все можно обесценить, лишить смысла — даже такое великое движение, как борьбу за гражданские права негров. Берни внезапно, между занятиями скульптурой и увлечением гитарой решает бороться и предлагает любовнику служанки срочно отправиться на Юг. И нашлись же американские критики, лишенные чувства юмора, которые на этом основании решили, что новая пьеса Хеллман — «антинегритянская»!

В конце пьесы происходит некое смещение, размываются границы между тем, *что* осмеивается, и *кто* осмеивает. Зрители даже с известным удовлетворением могут вернуться в мир абсурда обыкновенного, в быт Гальпернов. Теперь глава семьи извлекает немалые доходы из мошеннической операции, заменяя хорошую обувь покойников на плохую.

Две последние пьесы Хеллман — очень разные и в главном близкие — написаны в добротной, реалистической манере. И вместе с тем в этих пьесах впитан и опыт остросовременных течений в искусстве: Хеллман — реалист творческий, развивающийся. «Если бы я не надеялась, что буду двигаться вперед, я не хотела бы жить»,— писала Хеллман двадцать с лишним лет тому назад.

Сейчас она пишет лирическую прозу. Опубликованы главы воспоминаний о Дешеле Хеммете; он был писатель, сценарист, общественный деятель, участник двух войн. И самый близкий ей человек на земле. В прозе раскрывается новая грань ее таланта, таланта, необходимого людям.

Р. ОРЛОВА

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ЧЕЛОВЕК В ОБЕЗУМЕВШЕМ МИРЕ

Hélène Parmelin. Le guerrier fourbu. Paris, Julliard, 1966.

«Мне хотелось бы запечатлеть лик этого дня. Решающего для персонажей моей книги. Их много. Не спорю. Но гораздо меньше, чем в реальной действительности. Я теряю их по дороге. Отсеиваю, потому что не могу иначе. Мне хотелось бы показать их всех вместе, сразу. Даже если в большинстве случаев люди незнакомы друг с другом, в одновременности их поступков и мыслей есть нечто волнующее, более того — тревожное. Приводящее в отчаяние человека с обостренной ясностью видения. Невозможно не думать о том, сколь опасно жить в замкнутом пространстве внутреннего мира. Или внешнего. Личного. Или национального».

Это цитата из романа Элен Пармелен «Изнемогший боец», опубликованного в 1966 году. Но и не читая книги, трудно ошибиться в определении даты, когда подобные слова могли быть написаны. Ощущение общепланетарности, неотвязное чувство взаимозависимости, связанности каждой индивидуальной судьбы со всем, происходящим на земле людей,— черта нашего века, предмет его гордости и все обостряющаяся болезнь. Сколько месяцев понадобилось Марко Поло, чтоб добраться до экзотического Китая? Колумбу — до Америки? Радищев, будучи крупным государственным чиновником и пользуясь самыми скорыми лошадьми, смог доехать на перекладных из Петербурга в Москву за 4 дня. Сегодня Пекин или Нью-Йорк, Ханой или Гавана ближе к Москве, чем Петербург в начале прошлого столетия. Понадобилось полстолетия, чтобы открытие Америки изменило экономику Испании и всей Европы. Несколько десятилетий отделяют взятие Бастилии от Сенатской площади. Октябрь 1917 года изменил судьбу человечества, судьбу *всех* людей на земле, даже тех, кто не мог знать, не мог услышать, не мог даже вообразить себе штурм Зимнего. Авиация, радио, телевидение. Не далек час, когда, благодаря спутникам связи, мы увидим и услышим все, происходящее на земле. Даже на Луне. Может быть, на Марсе. Но у этой головокружительно прекрасной перспективы есть и оборотная сторона. В 1967 г. только узколобый мещанин способен, пряча голову, как страус, надеяться, что бомбы, падающие на вьетнамские деревни, не имеют *прямого* отношения к его существованию.

В «Известном солдате», романе 1962 года, Элен Пармелен попыталась передать сплетенность событий мирового масштаба и того, что принято именовать мелочами жизни,

осмос единовременных и пространственно не соприкасающихся фактов. Если Дос Пассос искал новые формы повествования, чтоб выразить парадоксальную отъединенность каждой индивидуальной жизни внутри нераздельного единства, именуемого «Америка», если Сартр в «Отсрочке», соединяя в одной фразе жесты и мысли героев романа, находившихся в разных концах страны и на разных уровнях общественного сознания, воплощал таким образом всеобщность страха и растерянности перед надвигающейся войной, которые, с его точки зрения, характеризовали Францию в канун Мюнхена, то Элен Пармелен раздвинула рамки одновременного изображения до масштабов планеты. Алжир, Вьетнам, Конго, Чили; фашистский путч, референдум, землетрясение, забастовка; она сама — писательница, пишущая этот роман; читатель, читающий этот роман; герои романа — уже ставшие его героями и еще не ставшие, еще полуфабрикаты, обдумываемые ею, писательницей, воспринимающей все, что в мире происходит, подавленной хаосом независящих от нее событий. Писательница ощутила себя вместителем трагической запутанности жизни и поставила перед собой задачу передать это ощущение в как можно более непосредственном, как бы необработанном виде.

«Изнемогший боец» очищен от репортерской скороговорки, от преднамеренной необработанности фактов, от преизбыточного их изобилия (как бы чего не упустить!). Но в этом классически выстроенном романе, где есть главный герой (журналист Гильом Лашарре, сошедший с ума после контузии, полученной во Вьетнаме) и несколько второстепенных персонажей, связанных с ним (жена, мать, друг, врачи, сестры), где Элен Пармелен, не пытаясь объять необъятное, рассказывает нехитрую историю того, как лечат и не могут вылечить Лашарре, говорится — и с гораздо большей силой, чем в «Известном солдате»,— все о том же: «...о том, сколь опасно жить в замкнутом пространстве внутреннего мира. Или внешнего. Личного. Или национального». Сколь опасно и сколь безумно.

Гильом Лашарре — известный журналист. Он информирует о том, что происходит на земле. Он и его друг фотограф Саба всегда там, где происходит самое интересное. Куба. Алжир. Вьетнам. Израиль. Конго. Гарлем. Венесуэла. И опять Вьетнам. Лашарре — интеллигент. Он любит книги. Его отнюдь не влечет к себе война. Но всякий раз он оказывается там, где льется кровь. Это не тяга к авантюрам. Это — сегодняшнее лицо человечества. Лашарре — не коммунист. Не фашист, разумеется. Он не может помешать себе ненавидеть куклуксклановцев, линчующих негра, но стремится быть абсолютно непредвзятым: он не преминет рассказать в репортаже об американском враче, спасающем раненого вьетнамского ребенка, в то время как напалм сжигает десятки деревень. Он смотрит и рассказывает. Он — модель объективного сознания человечества. Насколько оно может быть объективным, конечно.

Лашарре и Саба идут через джунгли с американским патрулем. Они подрываются на мине. Саба отделывается легкими царапинами. Лашарре отнимают раздробленную руку. Он возвращается в Париж. Но случилось непоправимое: где бы Лашарре ни находился — в своем номере гостиницы «Рим» на Рю де Ренн или в лечебнице для душевнобольных «На двенадцати холмах», расположенной в живописном уголке Лазурного берега,— он остается во Вьетнаме, на плоскогорье Плей-Ме в ожидании атаки. И в Родезии. И в Венесуэле. Всюду, где болевые узлы человечества. У него помутился разум. Личность его раздвоилась — он узнает жену и врачей, он любуется мирным пейзажем юга Франции, но *одновременно* он слышит разрыв бомб, гул Б-52, возвращающихся на базу, и голоса в джунглях, и треск американских вертолетов. Лашарре безумен. Но ведь все, что видится его больному мозгу, действительно существует. Объективно существует в тот самый момент, когда «нормальные» люди, окружающие Лашарре, живут каждый своей жизнью. Но как сложится их жизнь, во многом *действительно, объективно* зависит от того, чем бредит Лашарре. Не говоря о том, что неподалеку от мирнейшего заведения профессора Делассю с его старыми платанами и новейшим медицинским оборудованием, помогающим проникнуть в психику больного, расположена американская военная база, и вертолеты — пока еще без бомб, правда,— пролетают над садом. А под окнами на синей глади моря нередко возникает силуэт подлодки, к которому все привыкли, как к части пейзажа. Возможность превращения «На двенадцати холмах» в поле боя существует объективно. Для Лашарре она уже стала действительностью. Остальные предпочитают о ней не думать. Так кто же безумен?

Безумие оказывается наиболее адекватной картиной объективного мира. Безумие царит в действительности. Излечить Лашарре можно, только излечив мир. «Для того чтоб вырвать с корнем заболевание Лашарре,— говорит один из докторов,— нужно, чтоб прекратилась война».

Лашарре всего лишь душевнобольной. И персонал лечебницы, привыкший ко всяким психическим травмам, приобщается к его «бреду» не потому, что сумасшествие «заразно», а потому, что Лашарре — обнаженная рана человечества. Старшая сестра Лолотт, помогая ему делать вырезки из газет, натыкается на высказывание командующего американскими воздушными силами во Вьетнаме, который грозит стереть с лица земли все города Северного Вьетнама, вернуть страну к каменному веку. И от ее профессионального хладнокровия не остается следа: «Я бы расстреляла этого типа только за одну эту фразу»,— яростно кричит она. Юная практикантка Анни — немножко влюбленная в Лашарре и потому принимающая особенно близко к сердцу все, о чем он

говорит, хотя это всего лишь бред безумца,— идет в кино, чтоб отдохнуть, рассеяться, но кинохроника неумолимо возвращает ее на плоскогорье Плей-Ме, о котором говорит Лашарре. «С Лашарре мы все не можем выбраться из укрепленного лагеря Плей-Ме... Он нас загнал туда, ничего не попишешь...» — констатирует доктор Брето.

Лашарре и в болезни остается верен задаче своей жизни: он информирует и своей информацией требует, чтоб каждый осознал ответственность за то, что происходит во Вьетнаме. За все, что происходит на земле. Но обыватель не хочет ответственности, обыватель справедливо боится прозрений, озарений, бескомпромиссной ясности. Обыватель предпочитает держаться подальше от опасных сумасшедших, полагающих, что каждый, как Атлант, должен возложить на свои плечи всю тяжесть мира. Как говорит мэр городка, требуя от профессора Делассю удаления опасного больного: «Точно и без этого забот не хватает!» И в самом деле, у него столько хлопот — и дела муниципалитета, и флебит жены. «Нет, каждый за себя, а бог за всех...»

Лашарре увозят в сумасшедший дом.

И все становится на свои места. Профессор Делассю продолжает лечить больных, изредка предаваясь тайной страсти к фокусам и все чаще прибегая к наркотикам. Жена Гильома Лашарре, несмотря на любовь к мужу, утешается с американским журналистом. Саба отправляется в Японию с другим напарником. «Надо быть безумцем, чтоб возложить себе на плечи всю тяжесть мира»,— думает молодой доктор Саградо. Но все они не могут не возвращаться мыслью к Гильому Лашарре, который где-то в сумасшедшем доме «участвует во всех сражениях мира. Один. Без передышки. Среди водородных бомб и подлодок, вооруженных поларисами, самоуправляемых снарядов и пушек, разворачивающих свои длинные шеи на танках и бортах стальных кораблей, в адском реве реактивных самолетов, взмывающих в воздух с брюхом, набитым гроздьями бомб и резервуарами с жидким огнем. Среди всех этих ракет земля-земля, воздух-воздух, море-море и суша-суша. Среди всех ракет с боеголовками, нацеленными на человека».

Элен Пармелен свойствен стиль бытовой и ироничный, слабости людские ей не чужды и понятны. «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо».

Но та растерянность перед абсурдностью мира и кровавостью истории, которая отличала и ее героев, и ее самое в «Известном солдате» и к которой она склонна была относиться с трагическим недоумением и пассивной снисходительностью, теперь уступила место требовательной уверенности, что бездействие преступно. Гильом Лашарре безумец, но его безумие — вольтова дуга озарения. Вольтова дуга — видимое доказательство существования электричества. Понять, что оно существует — первый шаг, чтоб им овладеть. Не забывайте, что во Вьетнаме идет война!

Л. ЗОНИНА

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИНДУЛЬГЕНЦИИ

Libero Bigiaretti. Le Indulgenze. Milano, Bompiani, 1966.

На титульном листе романа Либеро Биджаретти — обычное предупреждение автора: «Факты и обстоятельства, упомянутые в этой книге, носят вымышленный характер, и любое совпадение является случайным».

Трудно, однако, представить себе книгу, содержание которой находилось бы в таком несоответствии с этим предупреждением. Роман Биджаретти «Отпущение грехов» — прежде всего памфлет, в котором изображены поныне здравствующие и работающие литераторы. Правда, Биджаретти не вступил на путь некоторых наших любителей этого жанра и, как правило, не придает изображенным им персонажам физического сходства с их прототипами. Но они легко угадываются человеком, сколько-нибудь знакомым с нынешней итальянской литературной средой и с некоторыми особенностями ее быта.

Пять литературных вечеров в неделю, вернисажи, коктейли, поздние ужины в одной из римских тратторий и затем до двух-трех ночи беседы за водкой или виски в каком-либо салоне; сплетни и литературное злословие вперемежку с разговорами о новейших направлениях в искусстве, о новых, «вошедших в моду» теориях... И все вместе чем-то неуловимо похоже на «истории» из жизни «богемы», которые рассказываются обычно знакомым, и на то изображение людей, «расточающих славу», которое создается на Западе многими иллюстрированными журналами. Ведь теперь времена, когда литератор находился в тени, миновали; усилия «культурной индустрии» направлены не столько на рекламу произведений писателя, сколько на создание мифологизированного портрета «знаменитости», в котором все внимание потребителей привлечено к внешним чертам персонажа и к его быту.

Разумеется, роман-хроника Биджаретти, уже известного советскому читателю по талантливому роману «Конгресс» *, и вульгарные отчеты иллюстрированных журналов о жизни писателей и кинорежиссеров — вещи совершенно разные, и общим здесь является лишь подчеркнутый интерес к быту, а также строгая иерархия движущихся на литературной сцене персонажей. Здесь точно и строго определено, кто важен, значителен, известен, кто моден сегодня, что сегодня модно, о чем следует говорить, а что можно совершенно спокойно оставить за пределами повествования.

Актуальность книги в том, что автор сумел в нынешний, на мой взгляд, в чем-то кризисный для итальянской литературы мо-

* Рецензия на роман была опубликована в журнале «Иностранная литература» № 5 за 1966 год.

мент показать если не причины, то результаты изменений, происшедших в сознании многих деятелей литературы и искусства: пренебрежение к идеологии, отказ от активной общественной позиции (в романе это определено как движение от «импеньо» к «дизимпеньо», от «завербованности» к «незавербованности»). С этими явлениями, свидетельствующими о растерянности известной части творческой интеллигенции перед лицом относительного укрепления позиций капитализма, связано возрождение формалистических течений и возникновение в Италии «неоавангарда».

В таких условиях как бы смещаются некоторые понятия, и сегодня нередок отказ от подлинных ценностей итальянской культуры последних лет. «Ты — левый интеллигент»,— говорит архитектор Даволи другу молодости, писателю Марио, к которому относится слегка пренебрежительно только оттого, что тот не достиг успеха, вернее, того светского и рекламного успеха, к которому столь жадно стремятся персонажи хроники Биджаретти. «Какой там левый? Левых больше нет», — отвечает ему Марио.

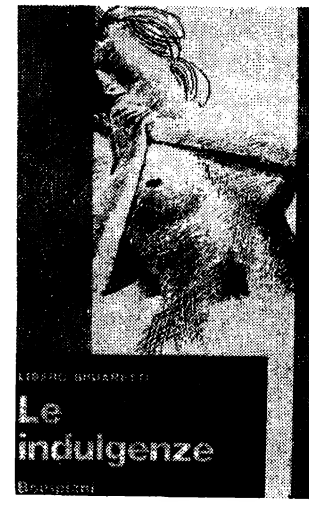
Отмеченные выше изменения в сознании некоторой части итальянской интеллигенции, поддерживаемые всеми средствами «культурной индустрии» в условиях шумной активности неоформалистов,— явление самых последних лет. Начало, разумеется, трудно определить с хронологической точностью, и все же очевидно, что этот отход от реализма совпадает во времени с началом шестидесятых годов (в октябре 1963 года в Палермо образовалась группа «неоавангарда», назвавшая себя, в подражание западногерманской «Группе 47» «Группой 63»*). Автор «Отпущения грехов» почти хронологически точен. Герою его книги Даволи, крупному архитектору, вернувшемуся в Рим после пятилетнего пребывания в Латинской Америке, особенно ясны происшедшие изменения, и принимает он их не так уж легко, хоть и стремится привыкнуть к новому для него духовному климату.

Сегодня известны обстоятельства возрождения формалистического искусства в сегодняшней Италии, проясняется непосредственная связь между возникновением неоавангардистских групп и теми изменениями, которые произошли в общественной жизни страны. Поддержка «неоавангарда» «неокапитализмом» видна невооруженным глазом. Нынешним итальянским представителям экспериментального искусства и дня не пришлось сидеть на мансардах в ожидании славы; их книги (преимущественно теоретические работы) стали одна за другой выходить в крупнейших издательствах, стали предметом шумной рекламы на радио, телевидении и в больших газетах. Сами они быстро получили доступ к командным постам «культурной индустрии», их поощряли с нескрываемой снисходительностью хозяева крупных монополий. В хронике Биджаретти и об этом сказано с достаточной ясностью.

Эта книга, в сущности, описывает один римский вечер, столь похожий на многие другие вечера,— вернисаж, ужин, потом виски в доме у мецената. За ужином появляется некий Гуарньери, владелец заводов, банков и фирм, человек, отталкивающий своим откровенным цинизмом, с ним подобострастно беседуют все участники литературно-светского застолья — «левые» интеллигенты; архитектор Даволи выслушивает сентенции Гуарньери с чувством глубокого отвращения, которое, однако, тщательно скрывает от собеседника, и в первый же вечер знакомства с ним добивается поддержки своего архитектурного проекта, представленного на конкурс. Гуарньери, выслушав архитектора, подходит к столу и делает пометку у себя в блокноте. Одна лишь пометка в блокноте всесильного человека решает дело.

Словом, в книге Биджаретти правдиво, естественно, средствами, далекими от гротеска, изображена определенная среда сегодняшних римских литераторов, художников, артистов, воспроизведены детали быта и столь же правдиво выражено преобладающее в этой среде сегодня ощущение кризиса. Однако, при всей верности изображенных деталей, автор книги, на наш взгляд, действительно не поднимается над хроникой, не приходит к обобщениям, не отступает хотя бы на шаг в сторону для того, чтобы оттуда, а не только изнутри этой среды взглянуть на предмет своих наблюдений.

Вот, например, начало книги. Непрерывный поток машин, движущихся по римским улицам. Раздражение, вызванное невозможностью вырваться из этого потока. Чувство бессилия, ощущение нелепости перед тем,



* См. статью Ц. Кин «Литературная алхимия», опубликованную в «Иностранной литературе» № 1 за 1966 год.

что машины, созданные, чтобы развивать скорость в сто пятьдесят и двести километров, передвигаются со скоростью не более пяти километров в час. Картина знакомая. Скажем, тот же Феллини в «8½» сумел превратить ее в символ современного капиталистического мира. Здесь же, в романе-хронике Биджаретти, эти страницы нужны скорее, лишь чтоб объяснить то чувство неудовлетворенности, которое овладевает его героем, когда он приезжает на выставку живописи, чувство, не покидающее его на протяжении всего вечера, то есть на протяжении всей книги.

Изображенная автором литературная среда — это как бы фон, на котором происходит «охота» его героя за понравившейся ему женщиной, также неотъемлемо принадлежащей к изображенному автором миру. Мотивы секса проходят через всю книгу; именно секс есть та нотка, которая вносит известное разнообразие в жизнь избранной автором среды. Биджаретти не доходит до откровенных натуралистических описаний, которые часто встречаются в книгах итальянских писателей, однако некоторые страницы романа подчеркнуто эротичны.

Конечно, автор критикует среду, к которой он и сам принадлежит, как литератор, живущий и пишущий в наши дни в Риме. Критика заключена в самом изображении, как мы сказали, вполне достоверном; однако роман недаром назван «Отпущение грехов»: автор тоже легко выдает индульгенции своим персонажам, готовым без особых колебаний приноровиться к существованию, в основе которого лежит способность к компромиссу; за собой автор сохраняет право на иронию по отношению к самому себе и тем, рядом с которыми ему приходится жить и работать. «Ну, кто скажет, что жизнь здесь не прекрасна? Здесь не бывает тумана, здесь не падает снег... здесь живут со спокойным сознанием своего превосходства. Даже в этот предрассветный час совсем не холодно, порою — летом — ветер доносит с моря запахи соли и йода, перемешанные с вонью автобусов в центре города. Римляне не любят деревьев, не любят животных, к деревне они относятся с древним недоверием, которое всегда испытывали к зараженным малярией болотам Агро. Но они доверительны даже в своих обвинениях, сердечны даже в своем недоверии. Они выросли в тени Большого Купола * и в изобилии располагают приобретенными по недорогой цене индульгенциями; они стали снисходительны, они отпускают грехи, прощают, освобождают. В конце концов, я тоже римлянин»,— заканчивает свою книгу Биджаретти.

Прочтя роман, мы можем сказать, что познакомились с хроникой жизни итальянской литературной среды, с внешними проявлениями тех настроений кризиса, которые присущи ей сегодня.

Г. БРЕЙТБУРД

* Купола собора Святого Петра.

НАРОДНАЯ КОМЕДИЯ ЭРНСТА БРУНА ОЛЬСЕНА

Ernst Bruun Olsen. Bal i den morgerlige. Kobenhavn, Gyldendal, 1966.

За последние двадцать пять лет ни одна пьеса не вызывала в Дании таких страстных споров, как комедия Эрнста Бруна Ольсена «Бал у буржуа».

Самое удивительное заключается в том, что пьеса эта не только привлекла внимание театралов, но и вызвала споры по радио, телевидению, в газетах. Она взбудоражила, возмутила, всколыхнула общественное мнение — а именно этого и добивался автор. Ольсену удалось то, к чему тщетно стремились многие политические деятели — оживить политические и идейные споры в Дании. Сразу же прекратились нескончаемые разговоры о кризисе театра, билеты на новую пьесу расхватываются в один миг; на многие представления организации и общества попросту закупают все места в театре, чтобы после спектакля тут же, в зрительном зале, провести дискуссию о пьесе.

Каково же содержание этой пьесы, полностью отвечающей непременному требованию Георга Брандеса о том, что литература должна выдвигать на обсуждение важные общественные проблемы?

«Бал у буржуа» — это народная комедия. Народная в том смысле, что она отражает точку зрения народа: ее автор сам вышел из низов и проблемы рабочего класса ему хорошо знакомы. Пьеса пронизана любовью к народу и горечью, потому что народ сплошь да рядом позволяет вводить себя в заблуждение. Автор не боится дать наглядный урок народу, на стороне которого он решительно и недвусмысленно стоит.

В центре действия — добропорядочная датская семья, симпатизирующая социал-демократам. Муж и жена в свое время познакомились друг с другом на машиностроительном заводе. Впоследствии они пережили нацистскую оккупацию — в то время они твердо верили, что владелец завода, выпускающего оружие для гитлеровцев, будет наказан, а его предприятие — передано рабочим. Но на деле все сложилось по-иному. Завод перешел в руки сына промышленника, работавшего на оккупантов, и новый хозяин установил у себя модные порядки — по принципу «сотрудничества» с рабочими. Рабочие участвуют в управлении предприятием — при условии, разумеется, что они принимают те самые решения, которых от них ждут. Итак, отец семейства продолжает работать на заводе; за свой нелегкий труд он даже получает возможность приобрести в рассрочку автомобиль, этот символ зажиточности в «государстве всеобщего благоденствия». Его жена между тем сидит дома, но и она берет надомную работу, чтобы увеличить семейный бюджет и получить возможность определить

сына в гимназию. Родители мальчика решили, что он ни при каких условиях не станет рабочим, не будет гнуть спину на сильных мира сего. Они хотят сделать из него образованного человека, который смог бы впоследствии рассчитывать на более или менее интересную работу. Мать гимназиста, позабыв о классовой солидарности, нарушила действующее на заводе трудовое соглашение; за это возмущенные коллеги изгнали ее из своих рядов. Но и сын ее тоже подвергается изгнанию и избиению — его преследует «золотая молодежь» за то, что, осмелившись явиться на бал в буржуазный клуб, он к тому же еще дерзнул ухаживать за девушкой из высшего общества.

Хотя, согласно официальной версии, классовые различия в Дании давно отменены, они тем не менее существуют, утверждает драматург. В созданной им острой пьесе говорится о классовой борьбе, вернее, о недостаточной интенсивности классовой борьбы в буржуазном обществе, управляемом социал-демократами. В этом обществе самому рабочему классу грозит «обуржуазивание». Есть рабочие, готовые уверовать в то, что все классовые проблемы окончательно разрешены, стоит только предоставить им несколько большую долю продуктов потребления, которые они сами производят, но которые присваивает себе капиталист.

Эрнст Брун Ольсен — знаток театра. Он понимает, что на сцене должно быть показано действие и противодействие, а сюжету должен соответствовать определенный подтекст — только тогда пьеса будет побуждать зрителя к размышлению. Из всех молодых датских драматургов он в профессиональном отношении наиболее опытен и искусен. Он точно знает все возможности сцены, он не боится использовать опыт, приобретенный им в бытность актером и режиссером. Наконец, он обладает творческой фантазией.

«Бал у буржуа» — пьеса с необыкновенно сильным политическим зарядом. Пусть автору можно предъявить некоторые упреки по части художественной формы (например, отдельные его приемы страдают наивностью и чрезмерной сентиментальностью). Все это мелочи в сравнении с общим впечатлением, которое производит этот спектакль.

По форме пьеса напоминает «Кумир подростков» — первое произведение Ольсена, направленное против циничной эксплуатации «развлекательной промышленности» реакционными кругами. Здесь мы узнаем тот же прием — показаны «обрывки снов», «эпизоды из прошлого», песенные и танцевальные интермедии и стихотворные монологи. Пожалуй, жанр музыкальной комедии здесь менее уместен, чем в «Кумире подростков»; и все же разнообразие театральных средств ведет к тому, что эта гневная, горестная комедия смотрится с большим интересом. Ольсен бросает нам в лицо свои политические обличения, и все же пьеса и забавляет, и развлекает нас.

Эрнст Брун Ольсен понимает, что заманить датского рабочего в театр — не слишком легкое дело: в нашей стране редко ставятся пьесы, привлекающие интерес трудящихся. И вот Ольсен написал пьесу, которая непосредственно затрагивает их интересы, и результат, как говорится, не замедлил воспоследовать.

Накануне премьеры этой пьесы автор данной статьи интервьюировал Ольсена по датскому телевидению. В этом интервью писатель выступил с резкой критикой тех социал-демократических политиков, которые давным-давно отказались от своего собственного требования передачи всех средств производства обществу.

Пьеса «Бал у буржуа» — это призыв рабочего писателя остерегаться оппортунизма. Это предостережение: известное улучшение материального положения рабочих не должно вести к забвению великой цели. Эрнст Брун Ольсен знает: хотя за последние годы датский рабочий класс и добился некоторого повышения заработной платы и соответственно известного повышения своего жизненного уровня, тем не менее эти завоевания сводятся на нет ростом цен и изматывающей нервы интенсификацией труда на производстве.

Но Ольсен знает еще и другое: даже самые жирные крохи со стола богачей не могут изменить того факта, что в процессе производства рабочий класс не выступает хозяином своего труда, а это как раз и есть самое главное и именно здесь должен быть дан решающий бой.

Пьеса Эрнста Бруна Ольсена призывает также быть начеку перед лицом фашистской угрозы. В ходе дискуссии по телевидению писатель сделал особый упор на этом вопросе, осудив оппортунистическую позицию социал-демократии по отношению к Соединенным Штатам в связи с вьетнамской проблемой.

Пьеса эта представляет собой вызов обществу, которое унизило достоинство человека, превратив его в орудие капиталистической погони за прибылью. Снаряд явно попал в цель — люди, стоящие у власти, узнали себя в этой пьесе. Эрнст Брун Ольсен щелкнул бичом — и раздался оглушительный волчий вой!

ЭРИК ДАНИЭЛЬСЕН

г. Копенгаген.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

«КРАСИЛЬНЯ»

Внимание читателей и критики привлек первый роман писательницы Мэны Колторп — «Красильня». По словам рецензента еженедельника «Трибюн», книга поражает точностью реалистического изображения жизни рабочих фабрики-красильни. Читатель попадает в самую гущу фабричной жизни, становится свидетелем нещадной эксплуатации рабочих, которых хозяин выгоняет на улицу, несмотря на то, что они по тридцать лет проработали в его красильне.

Мэна Колторп — внимательный наблюдатель, пишет рецензент. Она сама несколько лет проработала на таком предприятии. Ничто не укрывалось от ее пытливого, критического взора. И вот теперь вышла книга, которая не осталась незамеченной.

Рецензент «Трибюн» отмечает как достоинство романа то, что автор не увлекается столь модным ныне абстрактным «психологизмом», а исходит из реальной жизни, из экономических и социальных условий существования трудового человека в капиталистическом обществе.

ЖИЗНЬ В РЕДФЕРНЕ

Пертский театр «Нью форчун» поставил пьесу «Старик является домой» — первое крупное драматургическое произведение известной поэтессы и романистки Дороти Хьюэт.

Хьюэт показывает жизнь той части Сиднея — Редферна, где люди с трудом сводят концы с концами, где болезнь, горе, неустроенность — частые гости. Не все благополучно и в семье рабочего Тома Доккерти, главного героя пьесы...

Смех и горечь, мужество и отчаяние смешиваются в потоке жизни, который выплескивается на сцену, пишет корреспондент еженедельника «Трибюн», Хьюэт взывает не к жалости, а к пониманию. «Мы живем, как воробушки, и умираем, как воробушки, и щебечем, обращаясь к звездам»,— шутливо говорит Том Доккерти, когда его дети, всеми силами стремившиеся вырваться из Редферна, понимают в конце концов, что именно здесь, несмотря ни на что, они найдут драгоценное человеческое тепло.

АВСТРИЯ

«КОНЕЦ «ВЕЧНОГО ПОКОЯ»

Венский ежемесячник «Тагебух» опубликовал отрывок из нового романа австрийского писателя-коммуниста Франца Кайна «Конец «Вечного покоя», который вскоре выходит в берлинском издательстве «Ауфбауферлаг» (о первом романе Кайна «Поднялся фён» см. сообщение в «Иностранной литературе» №№ 3 и 8, 1963).

«Вечный покой»,— пишет рецензент журнала «Тагебух»,— это не только название провинциальной гостиницы, в которой развертываются события, но и характеристика жизненной ситуации, поведения и настроения многих персонажей романа, стремящихся замаскировать свое истинное лицо и скрыть преступное прошлое. Автору удается сорвать маску благодушия с этих людей, показать, что их душевное состояние далеко от покоя, и тем более от вечного...»

АНГЛИЯ

«ПРЕКРАТИТЬ УБИЙСТВА ЛЮДЕЙ!»

Возмущение многих деятелей культуры Англии вызвало письмо в поддержку агрессии США во Вьетнаме, опубликованное газетой «Таймс», которое было подписано Кингсли Эмисом, Джоном Брейном и некоторыми другими. В связи с этим выступлением писатель Адриан Митчелл, автор стихотворного текста сатирической пьесы «US», направленной против войны во Вьетнаме, дал интервью газете «Морнинг стар».

«Авторы письма,— говорит Митчелл,— недовольны усилением «антиамерикан-

ской пропаганды». «Давно пора прекратить кампанию против действий США»,— призывают в своем письме Эмис, Брейн и компания. Разумеется, Джонсон был бы рад, если бы мы последовали такому совету. Давно пора прекратить, но не кампанию протеста, а войну во Вьетнаме. Самое главное — это прекратить продолжающиеся убийства людей».

Спросите молодых, предлагает Митчелл, тех, кто составляет большинство участников движения за прекращение американской агрессии в Юго-Восточной Азии. «Это поколение,— заявляет писатель,— даст вам весьма решительный ответ. Эмис и его единомышленники не найдут у нас в стране поддержки».

«Нужно всеми средствами усиливать кампанию протеста против войны во Вьетнаме,— призывает Митчелл.— Мы должны найти новые формы выражения нашего гнева и возмущения».

«Эмис, Брейн и компания,— говорится далее в интервью,— имеют наглость «взывать к голосу разума». Может быть, этой горстке людей принадлежит монополия на «разум»? Логичнее предположить, что разум глаголет устами тех 1500 представителей различных университетов Англии, которые поставили свои подписи под письмом в «Таймс», резко осуждающим политику США во Вьетнаме и английское пособничество этой политике. Письмо это было напечатано на той же неделе».

Митчелл говорит о мужестве и смелости американских борцов против войны во Вьетнаме, для которых оппозиция правительственной политике означает большие трудности и лишения, а иногда и потерю работы, тюрьму, увечья.

В заключение писатель призвал всячески расширять движение против преступной войны США во Вьетнаме.

«НОЧЬ ГЕНЕРАЛОВ»

На экраны Англии вышел фильм «Ночь генералов», созданный совместно английскими и французскими кинематографистами по одноименному роману Ганса Гельмута Кирста. Действие его начинается в 1942 году в оккупированной немцами Варшаве и продолжается в Париже в 1944 году, а также непосредственно после войны во Франции и в Западной Германии. В главной роли — генерала СС Танца — снимался известный английский актер Питер О'Тул. Повествование строится на расследовании нескольких убийств неполитического характера, совершенных в Варшаве в 1942 году. Как выяснилось впоследствии, садистом-убийцей был генерал Танц. Уже после войны, отбыв незначительный срок наказания как военный преступник, Танц оказывается в Западной Германии среди своих друзей — бывших гитлеровцев, с которыми с полуслова находит общий язык. Но возмездие настигает генерала в лице бывшего его денщика Гартмана, который находит Танца, чтобы передать в руки правосудия. Садист-генерал кончает жизнь самоубийством...

Кадры из фильма «Ночь генералов». В главной роли — Питер О'Тул.

(Еженедельник «Фильм»)

Фильм «Ночь генералов» поставлен режиссером Анатолем Литваком, который долгое время работал в Голливуде, а в настоящее время живет во Франции. Главная цель создателей фильма, как они сами ее определили,— показать моральную деградацию гитлеровских «сверхчеловеков», которых сегодня в Западной Германии пытаются изобразить героями-мучениками, показать, кем они были на самом деле: мелкими карьеристами, убийцами и извращенными маньяками.

Значительная часть фильма снималась в Варшаве.

Фильм «Ночь генералов» с интересом встречен в Англии. Обозреватель газеты «Морнинг стар» пишет, что создатели фильма очень точно передали дух германского милитаризма, создав фильм-предостережение именно сейчас, когда «под флагом НАТО американские генералы от Эйзенхауэра до Лемнитцера призывают нас пасть в объятия этих чудовищ, назвать их нашими союзниками и поклоняться их кованым сапогам, кото-

рые еще недавно несли смерть всем городам и селам Европы — от Ковентри до Сталинграда, через Роттердам, Варшаву, Орадур, Лидице и Освенцим».

БОЛГАРИЯ

В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ

В честь 50-летия Советской власти болгарские издательства выпускают много интересных книжных новинок.

Издательство Болгарской коммунистической партии готовит несколько сборников с речами, докладами и выступлениями Г. Димитрова, В. Коларова и Т. Живкова об Октябрьской революции и о распространении ее идей в Болгарии.

Издательство «Блгарски писател» выпускает сборники «Рассказы Октября», «Поэзия Октября», «Октябрьская звезда», «Октябрьская революция в болгарской литературе» и книги — «Песнь о России» Д. Методиева, повесть «Курьер» С. Северняка, путевые заметки «В СССР спустя тридцать лет» Ф. Панайотова.

Широкие планы у издательства «Народна култура». Как уже сообщалось, в юбилейном году появится новая библиотечка — «50 лет советского романа», в которой в числе первых выйдут произведения М. Шолохова, А. Макаренко, А. Толстого и Г. Николаевой. Будет выпущен сборник «Пятьдесят лет советского рассказа», а в библиотечке «Советские поэты» выйдут стихи Н. Тихонова, А. Суркова, А. Исаакяна, Зульфии, С. Нерис, Л. Дмитерко и др. В новой библиотечке «Театр» уже вышла пьеса «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского и готовится к печати «Волшебная мельница» М. Стельмаха.

«Профиздат» даст читателям сборники рассказов Г. Караславова «На страже» и Л. Стоянова «Эхо «Авроры». Там же будет выпущен роман Л. Леонова «Барсуки».

Издательство «Народна младеж» в честь Октября готовит сборник «От «Авроры» до «Восхода» и эссе С. Продева «О революции», а также переводы повести Э. Казакевича «Звезда» и книги «Герои Брестской крепости» С. С. Смирнова.

Путевые заметки К. Крстева «Дорога над облаками», переводы книг А. Малышкина «Люди из захолустья» и П. Подлящука «Товарищ Инесса» выйдут в этом году в издательстве Отечественного фронта.

Варненское издательство выпустит однотомник неиздававшихся в Болгарии произведений А. Толстого, а Пловдивское — перевод книги Ю. Давыдова «Этот миндальный запах».

НОВАЯ КНИГА О МИХАИЛЕ ШОЛОХОВЕ

Вслед за книгой Христо Дудевского, посвященной творчеству Шолохова, недавно вышло исследование Йордана Цонева «Михаил Шолохов и болгарская литература».

«В монографии Цонева,— пишет обозреватель журнала «Блгаро-советска дружба»,— два основных раздела — «Михаил Шолохов и наша литературная критика» и «Михаил Шолохов и развитие болгарской литературы».

Йордан Цонев прослеживает влияние Шолохова на творчество отдельных болгарских писателей и на болгарскую литературу в целом. Автор собрал много новых материалов по этому вопросу.

По словам обозревателя, такое выдающееся произведение, как «Тихий Дон», помогло и помогает болгарским писателям в создании многоплановых эпопей о революционной борьбе болгарского народа. В числе этих писателей он называет Г. Караславова, Д. Димова, Д. Талева, С. Даскалова, Е. Станева и других. «Труд Цонева,— пишет в заключение обозреватель,— дает нам возможность получить представление о плодотворном участии Михаила Шолохова в развитии болгарской литературы и особенно нашей современной литературы».

РАССКАЗЫВАЮТ БОЛГАРСКИЕ ПИСАТЕЛИ

На очередном литературном понедельнике в Союзе болгарских писателей Димитр Стоевский поделился впечатлениями о посещении ГДР, а Блага Димитрова — о пребывании в Демократической Республике Вьетнам.

Величие и героизм вьетнамцев, по словам поэтессы Благи Димитровой, особенно впечатляют после нескольких дней, проведенных в Пекине, среди беснующихся «красных охранников». Контраст очень велик: «культурная революция» — это олицетворение хаоса и разнузданности. Будни борющегося Вьетнама — это свидетельство неослабевающего мужества, редкого самообладания.

«Культурная революция» закрыла учебные заведения; необъявленная война в

Литография Николая Стоянова «Монтаж».
(Журнал «Изкуство»)

ВЕНГРИЯ

В нынешнем театральном сезоне в Национальном театре г. Мишкольце с успехом идет пьеса известного венгерского писателя Ласло Немета «Западня», рассказывающая о последнем периоде жизни А. С. Пушкина. Пьеса вошла в сборник избранных драматических произведений Немета, изданный недавно в Будапеште.
На нашем снимке сцена из спектакля «Западня»: в роли Пушкина лауреат премии имени Ясаи — Геза Полгар, в роли Натальи Гончаровой — Ибойа Пева.

стране Хо Ши Мина еще шире открывает двери школ по ночам, в тускло освещенных тростниковых укрытиях. «Ученики Мао» за несколько месяцев уничтожили уникальные памятники, создававшиеся на протяжении веков; вьетнамцы дорожат всем, что связано с их прошлым и их сегодняшней историей.

Стоевский рассказал, что немецкие писатели собрали средства на 2000 велосипедов — в дар борющемуся Вьетнаму.

ГВАТЕМАЛА

ГИБЕЛЬ ПОЭТА-ПАРТИЗАНА

Латиноамериканская печать сообщила о гибели молодого гватемальского поэта-революционера Отто Рене Кастильо, в течение последнего года сражавшегося в рядах партизан Гватемалы и попавшего вместе со своими товарищами по партизанскому отряду в засаду, устроенную правительственными войсками.

Отто Рене Кастильо, автор нескольких поэтических сборников, был талантливым представителем молодой революционной поэзии своей страны, очень популярным среди молодежи не только Гватемалы, но и всей Центральной Америки.

В прогрессивной печати Латинской Америки отмечается, что Отто Рене Кастильо своим уходом в партизаны показал пример решения важной проблемы, стоящей перед молодыми латиноамериканскими поэтами,— проблемы активного участия в национально-освободительной борьбе, развертывающейся на континенте.

ГДР

НА ПЕРВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СОЮЗА НЕМЕЦКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

На состоявшейся недавно первой конференции Союза немецких писателей были подняты важные проблемы литературного творчества.

«Как писатель творит?» — этой теме была посвящена большая часть доклада Анны Зегерс. «Я считаю, что писатель может писать обо всем, о чем он хочет сказать,—и о положительных и об отрицательных сторонах жизни»,— заявила Зегерс. Важна общая идейная направленность произведения. Она высоко оценила роман Германа Канта «Актовый зал».

В своем выступлении она говорила и об актуальных политических проблемах, о литературах двух Германий. «Между нами и лучшими западногерманскими писателями нет пропасти — нас объединяют общие антифашистские цели»,— заявила Зегерс.

О роли писателя в общественной жизни говорил Курт Хагер. «Функции писателя заключаются не только в том, чтобы ставить вопросы перед обществом и вскрывать его противоречия, но и в том, чтобы указывать правильное направление общественного развития в духе решений партии и правительства»,— сказал Хагер. Жизнь подтвердила правильность «биттерфельдского пути». «По этому пути мы будем идти и в дальнейшем»,— заключил он.

Александр Абуш назвал ошибочными взгляды тех, кто считает все, созданное в литературе до 60-х годов, «преддверием» социалистической литературы. «Мы не допустим отказа от социалистической литературы, ставшей уже классикой, от литературы Бехера, Брехта, Мархвицы, Фридриха Вольфа и других крупных писателей. Мы будем продолжать их традиции»,— сказал Абуш.

О том, что незаслуженно забыты некоторые писатели, говорил Бернгард Зеегер. Он выразил сожаление, что театры не ставят пьес Фридриха Вольфа, что издательства не печатают Мархвицу, что мало сейчас говорят о стихах известного поэта Кубы.

Дитер Нолль говорил о проблемах, связанных с расколом Германии. Писатели

ГДР, отметил он, сожалеют о том, что их произведения доходят только до одной трети немецкого иарода. «Мы будем верны нашему строю, нашим представлениям о прекрасном — они дают достаточно простора для игры форм, для нового содержания, для нового соответствия формы содержанию,—сказал далее Нолль.— Не будем забывать о том, что наш путь из литературы ГДР в национальную и мировую литературу неразрывно связан с ростом и укреплением нашей республики».

Тезис о том, что писатель должен активно участвовать в общественной жизни, должен быть «организатором и руководителем», был основным тезисом выступления Макса Вальтера Шульца. Бехер был министром культуры, Брехт — руководителем театра, Бредель — президентом Немецкой академии искусств, Анна Зегерс возглавляет Союз писателей. «Конечно это трудно,— сказал Шульц.— Бывает, что такая работа поглощает писателя...Но я не думаю, что я принципиально неправ. Эрвин Штриттматтер был некоторое время первым секретарем Союза. Ему пришлось нелегко. Но, если я не ошибаюсь, значительная часть его романа «Оле Винкоп» родилась именно на основе этого практического опыта».

Макс Циммеринг говорил в своем выступлении о поэзии, о том, что она должна быть современной и доходчивой.

Конференция приняла резолюцию, в которой подчеркнула ответственность писателей ГДР как участников социалистического строительства. «Вместе с писателями Западной Германии и Западного Берлина мы боремся против попыток втянуть литературу в подготовку новой войны»,— говорится в резолюции. Писатели ГДР заявили также о своей преданности рабоче-крестьянской власти ГДР, о своем стремлении создавать образы нового социалистического героя, продолжать гуманистические и реалистические традиции, особенно традиции антифашистской и демократической литературы.

История знаменитого спортсмена-гонщика Манфреда фон Браухича рассказана в телевизионном фильме «Без борьбы нет победы» (режиссер Руди Курц). Судьба героя тесно связана с историей немецкого народа последних 30 лет. «Жизнь героя этого фильма — пример многим, кто сейчас ищет свой путь в Боннской республике»,— пишет рецензент газеты «Берлинер цейтунг», откуда заимствован этот кадр (роли исполняют актеры Марга Легал и Эшард Хауссман).

«Вьетнам — гравюра на дереве Арно Флейшера.

(Газета «Дейче фольксцейтунг»)

ФРГ

ТАМ, ГДЕ ПРАВЯТ «ОСНОВАТЕЛИ БАНКОВ»

Недавно вышедшая во Франкфурте-на-Майне автобиографическая повесть западногерманского драматурга Вольфганга Грэтца носит название «Мир снизу». Грэтц — автор многочисленных радиоспектаклей и антигитлеровской пьесы «Заговорщики», вызвавшей бурную дискуссию на страницах газет и журналов, но до сих пор еще не показанной ни одиим театром в ФРГ.

«...Грэтц,— пишет рецензеит еженедельника «Ди аидере цейтунг»,— окидывает свою юность не критическим взором сорокалетнего зрелого человека, а рассказывает о ней языком дерзкого подростка, вступившего в конфликт с писаными и неписаными законами общества и не понимающего, почему «маленьким» людям не позволено делать того, что можно «высокопоставленным»... Повесть Грэтца может служить как бы дополнением к роману Фаллады «Кто однажды отведал тюремиой похлебки», с одной стороны, а с другой — своеобразным развитием мысли гангстера Мэкхита из брехтовского «Трехгрошового романа»: «Что такое иалет на банк в сравнении с основаиием банка?..» Грэтц обвиияет судей, которые сажают за решетку только мелких взломщиков и, кормя их тюремной похлебкой, не исправляют, а лишь готовят к последующим взломам и грабежам. Но еще больше обвиняет Грэтц само общество, в котором основатели банков, то есть крупные грабители. по законам этого общества занимают привилегированное положение.

В повести «Мир снизу» Грэтц рассказывает об этапах своего детства и юности с 1926 по 1948 год. Разлад между родителями (мать уехала в эмиграцию, отец остался в гитлеровской Германии). Годы учения в различных интернатах и частных школах. Взрыв во время химических опытов, ко-

торыми увлекался Вольфганг, и последовавший за этим суд. В 1943 году — служба в зенитной части и обвинение в шпионаже. Несколько месяцев в предварительном заключении. После 1945 года — в Западной Германии случайная работа и спекуляция на «черном рынке». Три месяца в исправительно-трудовом лагере и побег...

«...У так называемых «патриотических кругов»,— пишет рецензент,— повесть автора «Заговорщиков» вряд ли найдет сочувствие. Грэтц беспощадно разоблачает гитлеровских офицеров и нацистских бонз, которые безнаказанно занимались грабежом и спекуляцией, в то время как «мелкую сошку» сажали в тюрьму. Иначе и быть не могло: преступный режим изо дня в день порождал преступников... Но и после 1945 года,— заключает рецензент,— Грэтц не заметил сколько-нибудь значительных перемен в жизни: «обществом» продолжали руководить те же «основатели банков», преуспевавшие при нацизме, и те же угодные им законы».

ДРВ

«ПОДНИМАЕТСЯ БУРЯ»

На экраны страны вышел новый фильм «Поднимается буря», снятый режиссерами Хиу Тханхом и Ле Хийеном на Ханойской киностудии. Главная героиня фильма — молодая южновьетнамская коммунистка, боец Национального фронта освобождения, которая попадает в плен. Ее брат — молодой офицер марионеточной армии — случайно оказался свидетелем пыток, которым подвергли его сестру, и убийства его маленького племянника. Только тогда офицер начинает понимать истинную роль американских «советников» и переходит на сторону Национального фронта...

По словам корреспондентов ежеиедельника «Франс нувель», фильм «Поднимается буря» показывает всю жестокость вооруженной агрессии США против вьетнамского народа, размах вьетнамского Сопротивления, единство всего народа в борьбе против захватчиков.

ИЗРАИЛЬ

ПОЭЗИЯ ПУШКИНА НА ИВРИТЕ

Известный израильский поэт и переводчик Авраам Шлёнский, как сообщает литературный обозреватель газеты «Кол гаам», завершил недавно большой труд. В издательстве «Сефрият поалим» («Рабочая библиотека») вышла книга его переводов «А. С. Пушкин. Поэзия». В книгу вошли «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Русалка». Содержательное и интересное, по отзыву газеты, исследование о «величайшем русском поэте всех времен» Пушкине написала специально для этого издания поэтесса Леа Гольдберг. Заключительная часть книги содержит комментарии к переводам и указатели, составленные самим Шлёнским.

Авраам Шлёнский не впервые обращается к творчеству великого русского поэта. Его перевод «Евгения Онегина», сделанный тридцать лет назад, выдержал шесть изданий.

ИНДИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ ПРОГРЕССИВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

В Дели с успехом прошла шестая Всеиндийская конференция Ассоциации прогрессивных писателей Индии, собравшая более 200 делегатов из всех штатов страны. На конференции, в работе которой приняла участие делегация советских писателей, был утвержден «Манифест Ассоциации» и ее новый устав.

В «Манифесте» отмечается, что очередная конференция Ассоциации собралась в период глубочайшего национального и международного кризиса и потому прогрессивные писатели Индии считают необходимым заявить, что их целью является борьба против угрозы термоядерной войны, против сил империализма и неоколониализма, возглавляемых Соединенными Штатами Америки, борьба за всеобщий мир, за улучшение экономического положения Индии, за стабилизацию ее внутриполитического положения, за повышение культурного уровня народа.

«Мы считаем своей обязанностью защищать и сохранять нашу благородную самобытную культуру, а также развивать ее в духе передовой гуманистической культуры современного мира,— говорится в «Манифесте».— Мы продолжаем считать своей обязанностью создание демократического общества, построенного на принципах социализма, где не будет места эксплуатации человека человеком, где восторжествуют правосудие и уважение личного достоинства человека, где людям будет гарантирована счастливая и обеспеченная жизнь...»

В «Манифесте» также выражается надежда, что все передовые писатели Индии, независимо от их политических взглядов, объединятся для достижения этих благородных целей.

В новом уставе Ассоциации сказано, что ее цель — способствовать развитию прогрессивной литературы на всех индийских языках, помогать рабочим, крестьянам и молодежи приобщиться к культуре, собирать национальный фольклор, способствовать развитию контактов между писателями различных языков Индии и их международным связям, защищать экономические и прочие интересы индийских писателей.

Генеральным секретарем Ассоциации прогрессивных писателей Индии избран известный писатель-коммунист Саджад Захир, в состав объединенного секре-

тариата вошли доктор Намвар Сингх, Каранджит Сингх и С. Такуи Хайдер.

ИТАЛИЯ

«ПЛАКАТЫ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Корреспондент газеты «Унита» сообщает, что издательство «Эдитори риюнити» выпустило альбом «Плакаты русской революции». В нем представлены плакаты, созданные в Советской России за период с октября 1917 года по 1929 год. Среди их авторов — Маяковский, Моор, Дени, Черемных и другие художники. Это издание, по словам корреспондента, «совершенно исключительное по графическому оформлению, представляющее огромный интерес и имеющее историческое значение; такое издание по случаю 50-летия Великой социалистической революции выпущено впервые в мире... В альбоме воспроизведены в натуральную величину сорок плакатов... Сорок изумительных произведений, цветных и черно-белых, которые самым убедительным и непосредственным образом иллюстрируют «события и идеи» переломных лет революции, гражданской войны и иностранной интервенции, борьбы за построение первого в мире социалистического государства».

Альбом снабжен обстоятельной вступительной статьей, написанной Джузеппе Гарритано. Им же выполнен и перевод подписей под плакатами, а также составлены необходимые итальянскому читателю примечания.

СПЕКТАКЛЬ ОДНОГО АКТЕРА

Необычный спектакль под названием «Голос господ» был показан недавно на сцене римского театра «Систина». Сто девять персонажей были представлены... одним актером — Алигьеро Носкезе. По свидетельству печати, он создал смелый, остро сатирический спектакль. Перед зрителями проходят многие политические деятели Италии — представители «господ». Едкие реплики актера служат им характеристикой. Так, например, на сцене появляется жаждущий власти представитель правого крыла христианско-демократической партии, который под дружный смех зала жалуется зрителям: «В нашем демократическом государстве каждый гражданин может быть избран президентом, каждый, кроме меня».

Алигьеро Носкезе на сцене.
(Журнал «Вие нуове»)

Выходит человек в плаще и каске, в котором все узнают бывшего министра Шельбу, прославившегося тем, что в пятидесятых годах он пытался с помощью полиции и оружия остановить рост рабочего движения в стране. Человек замахивается дубинкой на зрителей и кричит: «Все итальянцы должны почувствовать удары моей дубинки!» В ответ из зала раздаются возгласы: «Не выйдет!..»

«Это самый острый политический спектакль, какой мне пришлось видеть за последиее время,— писал корреспондент журнала «Вие нуове».— Талант актера, его необыкновеиные перевоплощения, а главное — острая политическая направленность спектакля приводят к тому, что Алигьеро Носкезе никого ие оставляет равнодушным, он всех вынуждает задуматься над тем, что хотят дать Италии «господа».

«БОГ КУРТ»

В интервью газете «Паэзе сера» Альберто Моравиа рассказал о том, что закончил работу над своей новой пьесой «Бог Курт». Пьеса состоит из пролога и двух актов. «Действие драмы происходит в гитлеровском концентрационном лагере в 1944 году,— рассказал Моравиа.— В ней четверо действующих лиц, одни мужчины, заключенные и эсэсовцы — двое заключенных и двое эсэсовцев, рядовой и офицер по имени Курт. Он — комендант лагеря». Однако, добавил писатель, «в пьесе не будет ни пыток, ни смертей». Это будет скорее произведеиие морально-психологического плана.

Постановка пьесы на сцене ожидается иынешней осенью. На вопрос о том, имел ли он в виду, когда писал свою драму, каких-нибудь определенных итальянских актеров в качестве исполнителей, Моравиа ответил: «А разве это возможно? Ведь в Италии нет актеров. Я хочу сказать, что все они нынче думают лишь об одном — сниматься в кино».

НЕУТОМИМЫЙ ПАЗОЛИНИ

Итальянские критики часто шутят, что им трудио угнаться за новыми произведениями писателя-режиссера Пьера Паоло Пазолини, создаваемыми им в разных жанрах, трудно уследить за происходящими с ним метаморфозами. В 1967 году Пазолини остается верен себе. Сейчас он заканчивает съемки киноновеллы «Земля, как она видна с Луны», которая войдет в цветной фильм «Ведьмы», состоящий из нескольких новелл, создаваемых различными режиссерами. Это комедийная фантастическая история, фильм-аллегория в духе последней картины Пазолини «Птицы большие и маленькие». В новелле заняты популярные актеры — Сильвана Мангано, Тото, Нино Даволи, Лаура Бетти. Сразу же после окончания съемок Пазолини отправится в Марокко, где начнет работу над экранизацией трагедии Софокла «Эдип». Фильм будет состоять из четырех частей; при этом действие первой — пролога и

последней — эпилога будет происходить в наше время в разных городах Италии. Вторая часть фильма расскажет о детстве и юности Эдипа, третья будет содержать экранизацию трагедии Софокла. До начала работы над этим фильмом или сразу же после нее Пазолини предполагает посетить США с циклом лекций о кино и его новых изобразительных средствах. Писатель-режиссер намерен также начать редактировать новый теоретический киножурнал, в котором он будет развивать взгляды, изложенные им в докладе «Запечатленный язык поступков» на конференции в Пезаро, посвященной «новому кино». Не оставляют Пазолини и мысли о том, чтобы заняться театральной режиссурой — он хотел поставить одну из новых пьес Моравиа «Мир такой, каков он есть», но помешала работа в кино. Однако главное место в планах Пазолини занимает фильм «Задача», работу над которым он начнет весной нынешнего года. Это будет произведение, обличающее нравы современной итальянской буржуазии. «Я проникну в этот мирок возможно глубже,— сказал Пазолини в интервью журналу «Вие нуове»,— и покажу его критически, причем это будет мирок не средней буржуазии, а скорее элиты». На главную женскую роль в своем новом фильме режиссер уже пригласил известную актрису Лючию Бозе, в последние годы отошедшую от кино и живущую в Испании. Она с радостью приняла это предложение.

КУБА

УСПЕХИ КУБИНСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ТЕАТРА

Известный испанский театровед Хосе Мария де Кинто побывал недавно во многих странах Латинской Америки и в том числе на Кубе. Кинто опубликовал в журнале «Инсула» серию статей-репортажей, рассказывающих о тяжелом положении театра в странах Латинской Америки.

Последняя статья этой серии посвящена успехам и задачам кубинского театра, его функциям, организации, репертуару и особенностям развития. Кинто подробно информирует своих читателей о том, как готовятся на Кубе профессиональные актеры, каково положение кубинских актеров после революции, как работает Дом театра, созданный после свержения диктатуры Батисты, какую важную роль в развитии национального и латиноамериканского театра играют конкурс «Дома Америк» и «Фестиваль латиноамериканского театра», проводимый ежегодно на Кубе. Особое восхищение вызвали у испанского специалиста театральные бригады, созданные при гаванском театре «Франсиско Ковarрубиас» — «настоящие ударные бригады, которые выезжают в деревни, чтобы принести народу искусство театра».

Кинто смело и настойчиво проводит мысль о том, что только революция смогла дать кубинскому театру необходимые условия для успешного развития и только полная национализация театра, проведенная в стране, превратила всех, кто связан с театром, в полноправных граждан.

Противопоставляя кубинский театр «суперкоммерческому театру в тех странах, где господствуют жестокие законы спроса и предложения», Кинто пишет, что на Кубе с победой революции возрождена великая культурная миссия театрального искусства.

НА ЭКРАНЕ — ХЕМИНГУЭЙ

Известный кубинский режиссер Фаусто Канель и сценарист Лисандро Отеро создали документальный фильм «Хемингуэй». В фильме использованы материалы из киноархивов, а также сняты дом писателя, его яхта, уголки Гаваны, которые он любил. Как пишет корреспондент кубинской газеты «Хувентуд ребельде», в фильме показано постепенное «становление человека и художника». В фильм включены также кадры, рассказывающие об участии Хемингуэя в гражданской войне в Испании. Использован и фильм голландского режиссера Йориса Ивенса «Испанская земля», комментарий к которому написал и читал Хемингуэй.

ОАР

«РАССКАЗЫВАЮТ ДЕСЯТЬ ЛИТЕРАТОРОВ»

Издательство египетского журнала «Аль-Хиляль» («Полумесяц») выпустило сборник «Рассказывают десять литераторов». Автор книги — молодой критик Фуад Даввара—воспроизвел в ней свои беседы с десятью наиболее известными представителями египетской литературы. Это — Таха Хусейн, Тауфик аль-Хаким, Махмуд Теймур, Хусейн Фавзи, Яхья Хакки, Мухаммед Фарид Абу Хадид, Азиз Абаза, Мухаммед Мандур, Фатхи Радван, Нагиб Махфуз.

Журнал «Аль-Адиб» поместил рецензию на книгу Даввары. Автор рецензии египетский литератор Ала ад-Дин Вахид считает, что книга «Рассказывают десять литераторов» — одна из немногих хороших критических работ, посвященных современной арабской литературе. Он отмечает серьезность затронутых в ней проблем и вместе с тем живость и оригинальность изложения.

ПОЛЬША

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОКТЯБРЕ

Польская печать систематически помещает материалы, посвященные 50-летнему юбилею Октябрьской революции. Газета «Трибуна люду» ввела рубрику «Листки из календаря революции», где рассказывает о том, как готовилась в Рос-

сии победа социалистической революции.

Воспоминания поляков — участников революционных событий в России — постоянно печатаются на страницах еженедельника «Польское обозрение» под общим заголовком «Встречи с Октябрем».

В одной из последних публикаций рассказывается о поляках—участниках и защитниках Октября. «Пусть никто в будущем не посмеет сказать, что мы, поляки, которым русская революция несет свободу, не защищали ее до последней капли крови»,— говорилось в обращении Центрального Исполнительного Комитета групп Социал-демократии Королевства Польского и Литвы в России, опубликованном 28 февраля 1918 года.

В ряды Красной Армии вступили тысячи поляков. В первые дни и месяцы революции были сформированы польские революционные воинские части, из которых особенно прославились Красный революционный варшавский полк и Западная стрелковая дивизия. В их формировании принимали участие известные польские коммунисты — Станислав Бобинский, Стефан Жбиковский, Станислав Будзынский, Роман Лонгва и другие.

Польские революционные части дрались против контрреволюции за установление Советской власти в Москве и Белгороде, участвовали в ликвидации банд анархистов в Москве, в подавлении бунта левых эсеров в Москве и их восстания в Ярославле, вели упорные бои против войск Деникина и Краснова, Пилсудского и Врангеля.

Покрыла свои знамена славой Западная стрелковая дивизия, о которой один из ее организаторов, комиссар Станислав Бобинский, писал, что она «...несомненно, может считаться делом революционных польских рабочих и солдат, которые под руководством польских коммунистов стали организаторами и душой всей дивизии».

«РОМАН НЕ УМИРАЕТ»

Под таким заголовком в газете «Жице Варшавы» опубликована статья писателя Яна Парандовского, который, в частности, пишет: «О кризисе романа говорят и пишут давно, многие предсказывают в недалеком будущем закат этого литературного жанра, который якобы уже изжил себя после двух веков славы».

С наступлением новой эры — эры пара и электричества — начали раздаваться голоса, что у людей не будет ни времени, ни желания читать объемистые романы, что будущее принадлежит небольшому сборнику рассказов в пределах трехсот страниц, пишет Парандовский. Однако вслед за железной дорогой появился автомобиль, за ним — самолет, газеты выходят умопомрачительными тиражами, появилось кино, радио. Роман тем временем процветал как ни в чем не бывало, а рассказ приходил в упадок.

«В списке бестселлеров роман занимает одно из ведущих мест; оно сохранилось за ним и в переводах,— продолжает Парандовский.— Достаточно даже беглого ознакомления с ежегодным изданием ЮНЕСКО «Индекс переводной литературы», чтобы в этом убедиться. Более того, с течением лет роман как бы вбирает в себя новые соки, становится совершеннее, в то время как произведения других жанров, пользовавшиеся популярностью в былые времена, быстро стареют и предаются забвению».

Современный роман — это жанр, в котором человек как бы познает самого себя, отмечает писатель: «Никогда ранее человек не открывал в себе самом, во всем, что он есть и чем он был, стольких тайн»...

По мнению Парандовского, безразлично, будет ли роман написан в соответствии с определенной традицией или же окажется в кругу доселе неведомых или избегавшихся приемов композиции и стиля. Главное, подчеркивает писатель, не в крикливых предсказаниях нового пути, а в добросовестной работе над тем, что писатель хочет создать. Именно так возникают произведения, достойные уважения и вызывающие удивление, и наконец, наиболее редкие, рождающиеся в порыве высочайшего вдохновения — шедевры.

ПОЛЬСКОЕ КИНО — ЕГО СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В польской печати появляется много материалов о нынешнем состоянии польской кинематографии. В последнее время, отмечают авторы статей и обзоров, все чаще можно услышать голоса о кризисе польского кино. Как же в действительности обстоит дело?

Если приглядеться внимательно к тому, что было выпущено польской кинематографией за последние несколько месяцев, то можно заметить явления примечательные и обнадеживающие, пишет критик Януш Газда в еженедельнике «Экран». Вышли фильмы, которые рассказывают зрителю о современной жизни Польши. Это фильмы — «Если кто либо знает...» Казимежа Кутца, а также «Место для одного» Витольда Лесевича и «Катастрофа» Сильвестра Хенцинского. Появились интересные исторические фильмы — «Фараон» Ежи Кавалеровича, пользовавшийся большим успехом у зрителей, комедия «Марыся и Наполеон» Леонарда Бучковского (недавно умершего).

Актуальные политические проблемы подняты в фильмах «Потом наступит тишина» Януша Моргенштерна, «Бумеранг» Леона Янното, «Схождение в ад» Збигнева Кузьминского.

Польская «новая волна» была представлена лентой «Барьер» молодого режиссера Ежи Сколимовского. В числе удачных психологических картин следует назвать «Нелюбимую» Яноша Насфетера. Порадовали польского зрителя и комедии: уже упомянутая «Марыся и Наполеон», а также «Жареные голубки» и «Лекарство от любви».

«Проблемы польского кино...» — рисунок Чарли (Кароля Ферстера) в связи с дискуссией в прессе о ситуации в польской кинематографии.

(Газета «Жице Варшавы»)

Однако, по мнению Газды, успехи эти не так значительны, как в прежние годы, когда о польском кино писали как об одном из ведущих в мире.

По мнению Зигмунда Калужинского, обзор которого опубликован в еженедельнике «Политика», причины этого — в особенностях работы творческих объединений, возникших более десяти лет тому назад. Режиссеры здесь работают настолько «автономно», что это порой приводит к недостаточно критическому взгляду на свою деятельность.

Однако, автор не отрицает положительной роли творческих объединений. По его мнению, они нуждаются в кадрах высококвалифицированных работников, а также страдают от отсутствия того, что можно было бы назвать идеологическим планом работы, вытекающим из общенациональной ситуации, из требований текущего момента.

С критическими замечаниями выступил в газете «Трибуна люду» обозреватель Ян Альфред Щепаньский. Все же «несмотря на разного рода трудности,— пишет он,— мы ищем новых путей для фильмов самого важного общественного и реалистического направления, для фильмов социалистических по духу и содержанию и несмотря на разного рода неудачи,— мы ищем новых решений. Мы защищаем занятые позиции и берем штурмом новые...»

Критик Кшиштоф Теодор Теплиц в еженедельнике «Культура», соглашаясь с мнением Калужинского по вопросу о творческих объединениях и об «избыточной» независимости в них режиссера, говорит об организационных несовершенствах в системе подготовки фильмов.

«У нас есть сценарист и режиссер, но кто-то должен выполнять функции продюсера»,— пишет Теплиц.

В том же номере «Культуры» писатель Ежи Путрамент высказывает противоположное мнение: «Кое-кто проливает слезы по поводу того, что у нас в Польше нет продюсеров. Мне кажется, что это абсолютно абсурдное предположение. Именно отсутствие продюсеров творческие работники кинематографа на Западе считают одним из важнейших достижений кинематографии социалистических стран».

Действительно ли можно говорить об упадке польского кино?— спрашивает Путрамент. Если сравнить нашу продукцию с теми низкопробными западными фильмами, которые мы имели возможность видеть на наших экранах в последнее время, то можно сделать вывод, что наши дела обстоят не так уж плохо. У нас были такие выдающиеся фильмы, как «Пепел» и «Фараон», которые просмотрели несколько миллионов польских зрителей.

«Я призываю слишком нервных: спокойствие!— пишет в заключение Путрамент.— Только спокойствие может нас спасти. Только спокойно можно исправить те сравнительно незначительные неполадки и только спокойно и на широком форуме можно обсуждать более серьезные недостатки».

РУМЫНИЯ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ГАСТРОЛИ

Крупнейший румынский драматический театр — Национальный театр имени И. Л. Караджале (Бухарест), знакомый советским зрителям по гастролям в 1958 году, совершил длительную зарубежную поездку. В соответствии с соглашением между Венгрией и Румынией о культурном сотрудничестве Национальный театр показал в Будапеште знаменитую комедию Караджале «Потерянное письмо», пьесу Ал. Войтина «Люди, которые молчат», посвященную подпольной борьбе Румынской коммунистической партии, и другие постановки. Одновременно будапештский театр имени Аттилы Йожефа дал в столице Румынии ответные спектакли.

После окончания гастролей в Венгрии Национальный театр отправился в Вену. Эти гастроли румынского театра в Австрии явились первыми после 75-летнего перерыва — с 1891 года, когда знаменитые трагики Григоре Манолеску и Аристицца Романеску предприняли со своей труппой поездку в столицу Австрии.

■

Бухарестский Театр комедии, побывавший с гастролями в Советском Союзе в 1963 году, совершил поездку в Чехословакию, ГДР и ФРГ. Показанные в Берлине спектакли: «Троил и Крессида» Шекспира (режиссер

Давид Эсриг) и «Начальник сектора душ» Ал. Миродана (режиссер Мони Гелертер) пользовались большим успехом у зрителей. Особый интерес вызвал спектакль «Троил и Крессида», названный критиком берлинской газеты «Нейес Дейчланд» «одним из выдающихся театральных событий последних лет». Критик подчеркивает своеобразие режиссерской концепции и сценического оформления.

За гастролями в Берлине последовали спектакли в Веймаре и других городах ГДР.

После гастролей Театра комедии в Бонне западногерманская пресса писала о высоком уровие актерского исполнения и своеобразии режиссерского замысла в спектакле «Троил и Крессида».

«ФИЛЬМ-ПОРТРЕТ»

Румынский режиссер Андрей Блайер закончил работу над съемками нового фильма «В воскресенье в 6 часов». Фильм рассказывает о молодом поколении, только вступающем в жизнь, о его трудных поисках и свершениях. Главный герой картины — молодой человек, только что окончивший школу. Не попав в институт, он идет работать на строительство крупиого завода. Юноша, которого за застенчивость и тихий характер прозвали «послушным мальчиком», проходит через все испытания, стаиовится достойным членом общества.

Называя картину Андрея Блайера «фильмом-портретом молодого поколения», рецензент журнала «Флакэра» пишет: «Режиссер Андрей Блайер и автор сценария Константин Стоичу сумели создать интересный и правдивый фильм, лишенный какой-либо искусственности и схематизма. Все персонажи картины, сыгранные к тому же талантливыми молодыми актерами, очень рельефны и выразительны, они надолго остаются в памяти зрителя».

ОБМЕН КНИЖНЫМИ ВЫСТАВКАМИ

После выставки западногерманской книги, состоявшейся в октябре прошлого года в Бухаресте, где 206 издательств ФРГ представили около 2500 книг, журналов и образцов художественной печати, Совет по делам издательств и книготорговли Румынии организовал ответную выставку румынской книжной продукции во Франкфурте-на-Майне.

«Румынские книгоиздатели,— пишет корреспондент газеты «Франкфуртер альгемейне цейтунг»,— подготовили для экспозиции книги 1790 названий. Среди них произведения классической и современной литературы Румынии, переводы мировых классиков, книги по философии, истории, лингвистике, изобразительному искусству, музыке, экоиомике и различным отраслям науки и техники...»

Кадр из фильма «В воскресенье в 6 часов» (роли исполняют Ирина Петреску и Дан Нуту).
(Журнал «Чинема»)

СИРИЯ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СИРИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА

До последнего времени имя Абделькадера Айяша — адвоката из провинциального городка Дейр эз-Зора на северо-востоке Сирии — было мало кому известно. У Айяша была одна страсть: он собирал песни и пословицы родного Приевфратья, изучал древние народиые обычаи и ремесла. Результаты своих изысканий он опубликовал в местном журнале «Саут аль-Фурат» («Голос Евфрата»), а также выпускал отдельными брошюрами за собственный счет. Исследования Айяша недавно были оценены по достоииству. Ему была предоставлена возможность совершить двухмесячную поездку в Советский Союз и европейские социалистические страны, где он ознакомился с деятельностью научных учреждений, занимающихся изучением фольклора. Недавно, как сообщает корреспондент журиала «Аль-Адиб», Айяш выпустил тринадцатую книжку из задуманной им серии «Фольклорные исследования в долине Евфрата». Она называется «Детские припевки» и посвящена песням и играм сирийских детей.

США

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЖОЗЕФА НОРТА

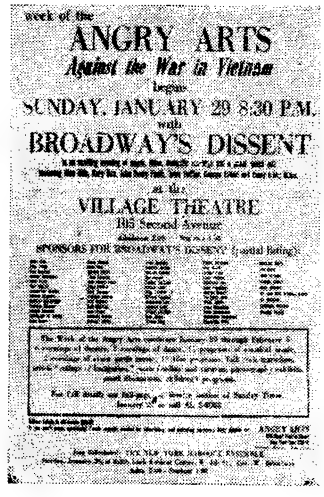
Известный публицист Джозеф Норт опубликовал в газете «Уоркер» открытое

письмо Джону Стейнбеку в связи с его «Письмами к Алисе», в которых тот солидаризуется с американской политикой агрессин во Вьетнаме и одобряет карательные операции против вьетнамского народа. С гневом и горечью пишет Джозеф Норт о позоре, которым покрыл себя автор «Гроздьев гнева», вызвав справедливое возмущение всех честных людей.

«С возрастающим недоумением и чувством стыда,— пишет Норт,— я следил за Вашим диалогом с «Комсомольской правдой»... Я никак не могу забыть, что Вы являетесь автором «Гроздьев гнева» и последних книг — «Путешествие с Чарли» и «Зима тревоги нашей». И хотя жизнь привела к множеству разногласий между нами с того давнего времени, когда пути наши скрестились, я все же продолжал относиться к Вам с уважением, как к писателю и человеку.

Когда я читаю Ваши сообщения в виде «Писем к Алисе» в «Ньюс-дей», я недоумеваю: тот ли это Стейнбек, которым я восхищался все эти годы? Я не буду останавливаться сейчас на всех аспектах Вашего диалога с «Комсомольской правдой». Слишком много пришлось бы сказать горьких слов... Остановлюсь здесь только на одном абзаце, во втором из Ваших писем к Алисе.

После того, как Вы участвовали в боевом вылете армейского вертолета над районом Плей-Ку, Вы написали: «Я наблюдал за ними (за командой вертолета), за их руками на рычагах управления; точность координации их движений напоминала мне уверенные и кажущиеся медленными движения рук Казальса, когда он играет на виолончели... Можете ли Вы понять чувство гордости, которое ощущаешь, гордости за то, что принадлежишь к одному с этими людьми племени? Это чувство, вероятно, прямо противоположно тому, которое я иногда с дрожью стыда испытываю на родине, когда вижу вьетников (участники движежения протеста против



«Сердитое искусство» — под таким названием в США прошла неделя протеста творческой интеллигенции против войны во Вьетнаме. В «Вилэдж-тиэтр» на Второй авеню Нью-Йорка выступали артисты — танцоры, музыканты, поэты, исполнялась классическая и авангардистская музыка, демонстрировались кинофильмы. Среди инициаторов недели «сердитого искусства» (ее афиша нами воспроизводится) — Ален Альда, Руби Ди, Джон Генри Фольк, Сильвия Финк и др.

войны во Вьетнаме.— *Прим. ред),* их грязные лица...»

Трудно поверить, что Вы являетесь автором этих строк. Невольно я вспоминаю о сыне Муссолини, который летал на бомбардировщике над Эфиопией. Впоследствии он описывал свои переживания в момент, когда сбрасывал бомбы, свой экстаз по поводу красоты взрывов, «подобных распускающемуся цветку...»

А когда Вы видите борцов за мир, у Вас появляется «дрожь стыда»...

...Но, Стейнбек, я тоже знаю «вьетников» и должен сказать, что большинство из нас, тех, кто их знает, считает их надеждой нашей страны. Я видел, как эти молодые американцы (у них нет вертолетов и пулеметов) шагали в дождь и снег навстречу полиции, навстречу насилию, навстречу тюрьме. Некоторые из них, такие, как Шейни, Гудмэн и Швернер, отправились на Юг, вооруженные только теми идеалами, к которым Вы стремились в «Зиме тревоги нашей».

Джозеф Норт напоминает Стейнбеку и о трех юношах, заключенных ныне в форте Худ за отказ принимать участие в грязной войне американских империалистов во Вьетнаме.

«Их руки,— пишет Норт,— быть может, не напоминают Вам руки Казальса, но присмотритесь повнимательнее, Стейнбек, и Вы увидите, что на них нет крови».

«АМЕРИКА, УРА!»

Постановщик антивоенной пьесы «Вьет-Рок» — Джозеф Чайкин вновь привлек внимание критики и зрителей спектаклем «Америка, ура!» в своем маленьком «Покет-тиэтр». Пьеса посвящена проблемам простых людей в США.

Автор ее — драматург Жан-Клод Ван Италлика. Это — сатира на американский образ жизни. Несколько эпизодов разыгрываются на сцене на бело-серебристом фоне, символизирующем «нейлоновую культуру» современной Америки: несчастный случай на улице, демагогическое выступление кандидата на пост губернатора, сулящего избирателям золотые горы, сцена в приемной врача модной ныне в США профессии психиатра. Большой, современный город — символ безразличия и бесчеловечности. Заключительная сцена происходнт в лечебнице для душевнобольных. «Что ж,— резюмирует рецензент журнала «Нейшн»,— это и есть обстановка, в которой мы живем, это и есть наша страна».

Джозеф Чайкин заявил недавно в интервью газете «Нью-Йорк таймс»: «У нас не только театр сатиры. Мы, конечно, часто прибегаем к сатире, но это только один из творческих элементов. Большое влияние на нас оказал Брехт. Мы хотим работать в таком направлении, чтобы создать театр социальной значимости».

«СЫН ВЕЛИКОГО ОБЩЕСТВА»

Так называется новый сборник фельетонов Арта Бухвальда, одного из самых смелых и талантливых мастеров политической сатиры в США.

Сборник открывается фельетоном, в котором говорится о том, на сколь опасный путь вступила бы Америка, «если бы ее президентом стал Барри Голдуотер». Вслед за этим идет изложение политики США, которая в полной мере осуществляет программу ультраэкстремистов во Вьетнаме! Бухвальд высмеивает «высший свет» Вашингтона с его типично техасской «культурой». Недаром рецензент сборника Вирджиния Кэркинз в журнале «Стард ревью» пишет: «В своей новой книжке Бухвальд как бы врывается прямо в гущу джонсоновского «великого общества» и, сев верхом на своего конька, стреляет «с бедра» во все стороны».

«Где вы берете материал для своих фельетонов, каждый из которых кажется остроумнее предыдущего?» — спросил фельетониста корреспондент «Нью-Йорк таймс бук ревью» Кэбелл Филлипс.

«Секрет заключается в том, — отшутился Бухвальд,— чтобы поближе познакомиться со всеми окружающими вас в Вашингтоне достойными и остроумными людьми. Когда вы их хорошо узнаете, то даже если они не говорят ничего достойного или остроумного, вы уже представляете себе, что бы они сказали, если бы только это могло им прийти в голову, и — эврика! — ваш очередной фельетон готов!»

КОМУ ПРИСУЖДАТЬ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ?

Ежегодно на книжный рынок Соединенных Штатов Америки выпускается огромное количество книг. Однако несмотря на это члены жюри различных литературных премий все чаще и чаще оказываются в затруднительном положении при выборе кандидата, достойного премии.

Например, на конкурс, объявленный издательством «Харпер энд Роу», сообщает обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс», поступило 552 произведения. Редакторы издательства отобрали 7 романов и передали их жюри для окончательного решения. Но на членов жюри эти романы «не произвели никакого впечатления», и премия «Харпер» осталась неприсужденной второй раз со дня основания.

Издательство «Делл» также объявило, что литературная премия «Делта» не будет никому присуждена, так как жюри не нашло достойного премии произведения.

В этой связи «Нью-Йорк таймс» напоминает, что одна из самых крупных литературных премий 1965 года также осталась неприсужденной: жюри, в которое входили представители издательств «Путнамз санз», «Фоусетт уорлд лайбрери», журнала «Мак Колл» и кинокомпании «Эмбасси», проголосовало против присуждения премии какому-либо произведению.

«Конкурсы на лучшее художественное литературное произведение по-прежнему не могут выйти из тупика»,— констатирует обозреватель «Нью-Йорк таймс».

СОМАЛИ

«ИФТИИНКА АКООНТА»

В Сомали вышли первые номера «Ифтиинка акоонта» («Свет знания»). Это первый журнал на сомалийском языке, выхода в свет которого с нетерпением ожидала сомалийская общественность. Главный редактор журнала — сомалийский ученый и литератор Шире Джаама Ахмед, которому принадлежит заслуга составления сомалийского алфавита на латинской основе. Этот алфавит применен в «Ифтиинка акоонта».

(Кроме алфавита Шире Джаамы Ахмеда в Сомали применяется арабский, а также оригинальный сомалийский алфавит «исмаиия», изобретенный сомалийским шейхом Исманом в начале нынешнего века. Ни один из этих алфавитов не признан официально.)

Журнал «Ифтиинка акоонта» посвящен вопросам сомалийской культуры и литературы.

ТУРЦИЯ

ПОПУЛЯРНОСТЬ ГОГОЛЯ

С большим успехом идет на сцене анкарского Художественного театра инсценировка «Записок сумасшедшего» Гоголя. На протяжении всего спектакля на сцене всего один актер Генчо Эркал, исполняющий роль Поприщина.

Название театра не случайно совпадает с названием всемирно известного театра, созданного Станиславским. Руководители труппы и ее актеры считают себя последователями «отца турецкого театра Э. Мухсина, который в двадцатые годы побывал в Москве, присутствовал на репетициях великого русского режиссера и творчески воспринял его систему. В репертуаре театра помимо «Записок сумасшедшего» — «Карьера Артуро Уи» Б. Брехта и пьеса турецкого классика Х. Гюрпынара «Комета».

В отзывах на спектакль «Записки сумасшедшего» критики единогласны: с восторгом отзываясь о нем, в особенности об игре Г. Эркала, они утверждают, что этой постановкой театр заново открыл для турецкого зрителя великого писателя России.

В последние годы Гоголь стал в Турции одним из популярнейших драматургов. В Стамбульском театре Сурури-Джезар идет инсценировка «Шинели», поставлен также «Ревизор» и инсценированы «Мертвые души».

УСПЕХ МОЛОДОГО ПОЭТА

Крупнейшая литературная премия Общества турецкого языка за 1966 год присуждена поэту Джемалю Су-

рейя за книгу стихов «Кочевник». Первая книга молодого поэта вышла в 1958 году. С тех пор Джемаль Сурейя зарекомендовал себя как один из самых талантливых поэтов страны. Он выступает также в качестве переводчика поэзии, критика, искусствоведа и является редактором литературного журнала «Папирус», издающегося в Стамбуле.

ФРАНЦИЯ

«КРАСИВЫЕ КАРТИНКИ» СИМОНЫ ДЕ БОВУАР

Последний роман Симоны де Бовуар «Красивые картинки» разительно отличается от всего, что было до сих пор ею написано, и потому вызвал некоторое замешательство даже среди критиков. Роман написан в форме диалогов, в нем писательница живописует нравы парижской буржуазии.

Одни критики увидели в романе обычный «парижский» роман, другие — «кривое зеркало», третьи — неудавшуюся сатиру.

В интервью, данном газете «Монд», Симона де Бовуар рассказала о задачах, которые она перед собой ставила, работая над этим романом:

— Если бы я хотела одним словом охарактеризовать «Красивые картинки», то я бы сказала, что это книга о правде. Меня заставило написать ее острое раздражение, которое я испытываю по отношению к окружающему нас миру лжи. Пресса, телевидение, реклама, мода, лозунги, мифы, которые усваиваются людьми и которые закрывают от них реальный мир...

...Мне захотелось составить перечень всех этих пущенных в ход штампов, сделав из них что-то вроде монтажа.

— Композиция вашего произведения напоминает в какой-то степени композицию «Золотых плодов» Натали Саррот,— заметил корреспондент «Монд».

— Нас с ней интересуют разного рода штампы. Она использует штампы интеллектуальных снобов, а я — крупной технократической буржуазии.

— Почему вы выбрали именно эту среду?

— Потому что именно эта среда пользуется всеми благами современной технической цивилизации. Заметьте, я не восстаю на манер Кристины Рошфор против технического прогресса вообще. Мне нравятся и реактивные самолеты, и прекрасные машины, и телевидение... Я протестую против того, как они используются, и против лжи, которую изобретают те люди, что ставят этот прогресс на службу своей выгоде и спокойствию...

— А не приобретает ли ваша книга, как бы помимо вашей воли, более общий, более философский смысл?— спросил далее кореспондент.

— Если некоторые читатели воспринимают книги более широко, тем лучше. Но я на это не претендовала. Я хотела нарисовать только один класс, который живет в заблуждении и во лжи и который не может и не хочет докопаться до реального положения дел.

— Итак, еще одна сатира?

— Да, или скорее произведение объективного разоблачения. Ибо я не деформирую, а фотографирую, и документ говорит сам за себя. А моего голоса не слышно. Если бы я хотела сказать, что я думаю сейчас о жизни, о счастье, я бы написала другую книгу.

«ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС»

«Трансъевропейский экспресс» — новый фильм писателя Роб-Грийе, в котором он выступает как режиссер, сценарист и актер. Появление фильма на экранах Парижа вызвало живой интерес публики и критики.

Действие фильма начинается в поезде, следующем из Парижа в Антверпен. Один из героев фильма—сценарист (его играет сам Роб-Грийе) — излагает продюсеру идею киносценария. Продюсер и его секретарша скептически воспринимают банальный детективный сюжет полицейского фильма — с контрабандой наркотиков, эротическими сценами, садистскими убийствами. В это время в поезд садится... придуманный сценаристом персонаж, которого играет актер Жан-Луи Трентиньян. С этого момента слова сценариста служат как бы комментарием к развертывающемуся на экране действию...

В еженедельнике «Леттр франсез» опубликована беседа его корреспондента с Роб-Грийе.

Корреспондент выразил восторг по поводу откровенно пародийного аспекта фильма, в котором высмеиваются герои типа Джеймса

Исполнители основных ролей в фильме «Трансъевропейский экспресс» — Жан-Луи Трентиньян и Мари-Франс Пизье.

(Еженедельник «Леттр франсез»)

Бонда, и музыкальные паузы, и сам сценарист-рассказчик, и искусственный кинематографический язык.

«В моем фильме подлинный творец — кинокамера,— заявил Роб-Грийе. — Она раскрывает бесконечные возможности творческой фантазии».

В газете «Комба» Роб-Грийе писал: «Я хотел показать, что в фильме действуют не живые персонажи, а актеры, играющие персонажей. Как и в моих романах, речь идет не о так называемой реальности, созданной иллюзией, но о вымысле, который развивается сам по себе».

По мнению обозревателя еженедельника «Экспресс», «в этом фильме невозможно отличить «правду» от «фальши», потому что в нем все правда, даже неправдоподобное, все реально, даже нереальное, все истина, даже ложь. Зритель все время чувствует, что на его глазах делается фильм».

Корреспондент газеты «Юманите» пишет, что «фильм «Трансъевропейский экспресс» — остроумный выпад против имеющих шумный успех в прессе и зеленую улицу в кино модных фильмов, использующих из чисто коммерческих соображений фрейдистские теории».

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА БОДЛЕРА

Еженедельник «Фигаро литтерер» сообщает о важном событии в литературной жизни страны: в руинах одного дома случайно обнаружены неизвестные юношеские письма Бодлера. В 1967 году во Франции будет отмечаться столетие со дня смерти поэта, и к этой дате будет приурочен выпуск издательством Грассе писем Бодлера.

Письма эти были найдены в доме, который во время войны подвергся разрушительной бомбардировке. Считали, что погибли и книги, и архивы. Каменщики, восстанавливая недавно стену дома, обнаружили пакет, завернутый в клеенку. В нем-то и оказалось около сотни писем Бодлера, адресованных им из лицея матери, отчиму и сводному брату. Письма освещают обстоятельства исключения будущего поэта из лицея, до сих пор неясные его биографам.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЛАДИСЛАВ МНЯЧКО: «Я ВИДЕЛ ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

Еженедельники «Культурни живот» и «Литерарни новины» публикуют репортажи известного словацкого писателя Ладислава Мнячко из Демократической Республики Вьетнам.

Под заголовком «Я видел это преступление» в еженедельнике «Литерарни новины» опубликован репортаж Мнячко, в котором рассказывается о варварских бомбардировках авиацией США жилых кварталов Ханоя.

Рядом — снимки убитых американскими бомбами вьетнамских детей, наполовину засыпанных землей. Тут же — снимки пленных американцев. Мнячко беседовал с одним из них и был свидетелем того, как обращаются вьетнамцы с пленными врагами.

Один из американских стервятников был сбит, и раненый летчик захвачен в плен. К американцу, шедшему под конвоем, приблизился вьетнамский крестьянин.

«Ты убил мою жену и троих детей! — бросил он в лицо янки.— Я никогда тебе этого не прощу. Никто из нас не простит...»

«Американцу перевели эти слова,— рассказывает Мнячко.— Он повесил голову. Его увели... в больницу. Если б его убили, это было бы возмездием. Но его не убили. Ему перевязали обожженное лицо и раненую руку.

Это преступление,— пишет Мнячко в заключение репортажа.— Преступление! И позор. Самый большой позор Америки за всю ее историю. Его ничем не удастся смыть!»

НОВЫЙ ТРУД ЧЕШСКИХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ

В издательстве Чехословацкой Академии наук вышел объемистый том «Истории французской литературы XIX—XX вв.», подготовленный коллективом литературоведов под общим руководством проф. Яна Отокара Фишера. Издание рассчитано на два тома — первый том охватывает литературу от Великой французской революции до Парижской коммуны, второй доведет изложение до наших дней. В издании отражены и труды советских литературоведов. Много внимания уделено так называемым массовым литературным жанрам — революционной песне, роману-фельетону, политическому памфлету и т. д. Издание богато иллюстрировано.

Молодой режиссер Вацлав Ворличек поставил пародийный фильм с фантастическим сюжетом «Кто хочет убить Джесси?». В нем высмеиваются шаблонные приемы ковбойских фильмов. «Кто хочет убить Джесси?» получил Большую премию международного фестиваля фантастических и утопических фильмов в Триесте. На снимке — кадр из фильма.

(Еженедельник «Фильм»)

ШВЕЙЦАРИЯ

АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В Лозанне в издательстве «Ранконтр» выпускается первая на французском язы-

ке антология русской литературы от писателей-декабристов до писателей Октябрьской революции. В нее войдут романы, рассказы, философские и политические эссе, пьесы. Из двенадцати намеченных к опубликованию вышли уже три. Первый том целиком посвящен Пушкину. В него вошли «Евгений Онегин», «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка», «Борис Годунов». Второй том включает «Философические письма» и «Апологию сумасшедшего» Чаадаева, «Горе от ума» Грибоедова, «Маскарад» и «Герой нашего времени» Лермонтова. В третьем томе — «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Шинель» и первый том «Мертвых душ» Гоголя.

Составитель антологии Жорж Альда во вступительной статье говорит о том, что антология призвана дать хотя бы приблизительную «картину беспрецедентного расцвета русского гения». Он пишет: «Русская литература XIX века предвосхитила по форме и содержанию западную литературу и явилась источником ее позднейшего развития».

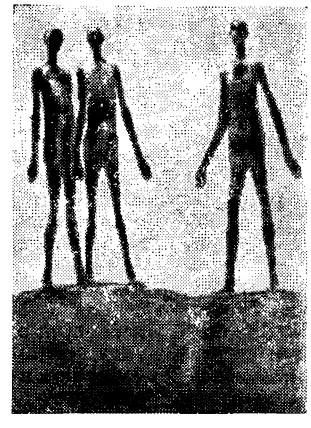
ШВЕЦИЯ

ПОМОГАЮТ ВЬЕТНАМСКИМ ПАТРИОТАМ

Как сообщает печать, живущий в Швеции писатель Петер Вейс и его жена Гунила Палмстиерна недавно стали членами правления шведской рабочей организации в поддержку южновьетнамских борцов за свободу. (Эта организация, насчитывающая 35 отделений на местах, в прошлом году собрала в фонд помощи 130 000 шведских крон.)

Петер Вейс в настоящее время работает над пьесой о борьбе вьетнамского народа за национальную независимость.

ЮГОСЛАВИЯ



Двадцать пять лет назад в Югославии началась организованная вооруженная борьба против фашизма, возглавляемая коммунистами. Эту дату широко отметил югославский народ. В память о 1 700 000 югославов, отдавших жизнь за освобождение своей страны от немецко-фашистских захватчиков, в местечке Титель воздвигнут монумент, автор которого — скульптор Йован Солдатович. Гигантские десятиметровые фигуры видны издалека, они как будто взывают к живым: «Помните о нас!»

(Журнал «Флакэра»)

АНТОЛОГИЯ ХОРВАТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В связи с празднованием столетия Югославской академии наук и искусства решено выпустить «Антологию хорватской литературы» в двадцати томах. Как сообщают редакторы издания Марин Франичевич, Марьян Маткович, Иво Франгеш и Драгутин Тадийянович, этот монументальный труд охватит все, что было создано хорватскими литераторами от возникновения письменности до настоящего времени в области поэзии, романа, рассказа, драмы, эссе, путевых заметок, мемуаров и писем.

ЮАР

НАЧАЛО И КОНЕЦ ДИКТАТУРЫ

В своем новом романе «Наш остров теперь» Питер Абрахамс показывает процесс зарождения, разгула и падения диктатуры на одном из островов Вест-Индии, только что получившем независимость.

После смерти белого президента роль вождя освободительного движения берет на себя хитрый и изворотливый политический деятель Джосиа. Своими демагогическими уверениями в том, что интересы народа для него превыше всего, выше интересов богатых и власть имущих, он быстро завоевывает популярность в стране. Джосиа становится главой государства. Но установленный им режим личной власти вызывает недовольство даже его близких сторонников. В стране усиливается оппозиция диктатуре, и, в конце концов, она терпит крах.

Другой, не менее важной фигурой, является в романе молодой негр Симпсон. На его примере писатель показывает разочарование молодежи в своих лидерах, охватившее ее в период диктатуры, и вместе с тем ее нерешительность — у нее не хватает мужества взять будущее страны в свои руки.

Отмечая большие художественные достоинства нового романа, критик журнала «Уэст Африка» пишет, что «Наш остров теперь» — весьма актуальная книга, которая заставляет читателя задуматься над описанными в ней событиями

Авторы этого номера

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ — WŁADYSŁAW BRONIEWSKI (1897—1962).

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей большой цикл стихов выдающегося польского поэта Владислава Броневского, перу которого принадлежит много поэтических сборников и переводов из русской и советской поэзии. Поэзия Броневского давно и хорошо знакома советскому читателю. Некоторые стихотворения, вошедшие в нашу подборку, даны в новых переводах. В разделе «Критика» читатель найдет статью Бориса Слуцкого о творчестве поэта.

■

ДЖОН АПДАЙК — JOHN UPDIKE (род. в 1932 г.).

Один из наиболее значительных молодых писателей США. Наши читатели помнят его роман «Кентавр», который был опубликован в двух первых номерах журнала за 1965 год. Там же была напечатана беседа с писателем, который во время пребывания в Советском Союзе посетил редакцию «Иностранной литературы» «Кентавр» нашел широкий отклик во многих странах, во Франции он получил премию «За лучший иностранный роман 1965 года».

Перу Дж. Апдайка принадлежат романы «Ярмарка в богадельне» («The Poorhouse Fair», 1959), «Кролик, беги» («Rabibt, Run», 1960), принесший ему широкую литературную известность, и многочисленные рассказы.

В этой книжке журнала мы знакомим читателей с новой книгой Дж. Апдайка, романом «Ферма» («Of the Farm», 1965). Рецензию А. Елистратовой на этот роман читатель найдет в № 11 нашего журнала за 1966 год.

■

ЛЮДВИК АШКЕНАЗИ — LUDVIK AŠKENAZY (род. в 1921 г.).

Известный чешский писатель, драматург и публицист. Советские читатели знакомы с его творчеством по многочисленным новеллам, публиковавшимся в периодической печати. В нашем журнале печатались его очерки «Бабье лето» (№№ 5—6, 1957), пьеса «Гость из ночи» (№ 1, 1962).

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей радиопьесу Л. Ашкенази «За ваш счет...» («Bylo to na vás úcět»), впервые исполненную по Пражскому радио в 1964 году, затем опубликованную в журнале «Divadlo» в 1965 г. и вышедшую отдельным изданием. На международном конкурсе радиопьес в Италии в 1964 г. пьеса Л. Ашкенази была удостоена первой премии.

■

ПОЛЬ ХОГАРТ — PAUL HOGARTH (род. в 1917 г.).

В разделе «Изобразительное искусство за рубежом» мы публикуем подборку иллюстраций из вышедшей в 1966 году в Англии книги-альбома «London à la Mode».

Книга содержит работы Поля Хогарта — видного английского художника-графика, автора портретов, жанровых рисунков, литографий, репортажей-зарисовок, получивших широкую известность далеко за пределами Англии. Сопроводительный текст написан английским литератором Малькольмом Магериджем.

Автор подписей к рисункам в нашей подборке — сам Поль Хогарт, хорошо знакомый советским читателям по неоднократно публиковавшимся в нашей печати репродукциям его работ.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ.**

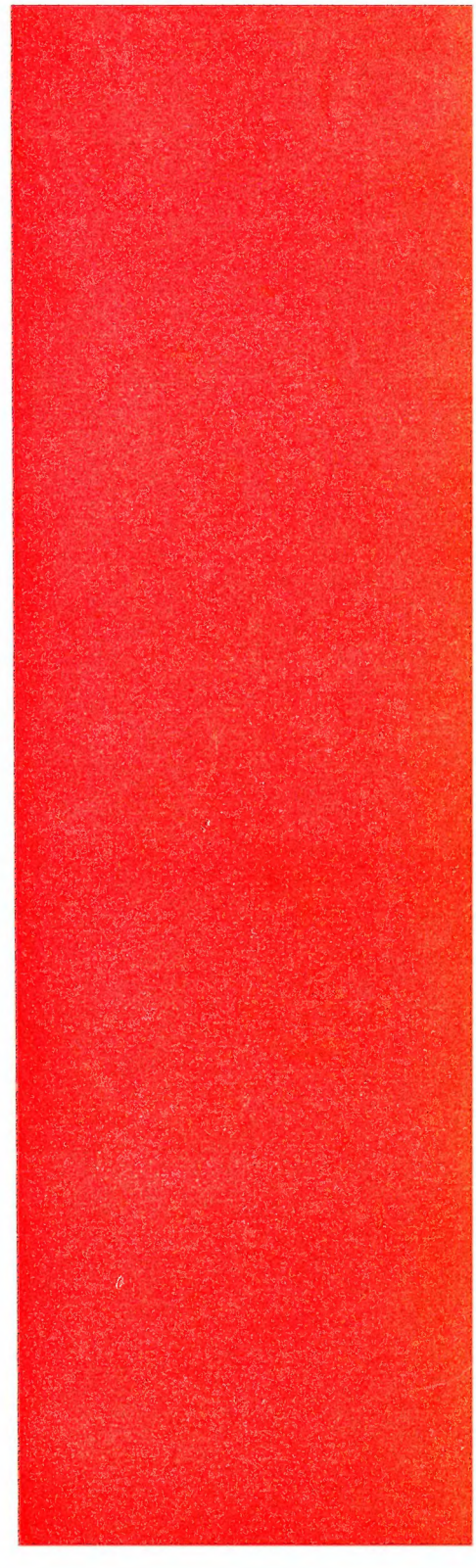
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

А 10434. Сдано в производство 6/II-67 г. Подписано к печати 24/IV-67 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л. = 18 п. л. Зак. 462

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

ИНДЕКС 70394



Цена 80 коп.